

ISSN 0206-8680

3

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
АЛЬМАНАХ

КИНОСЦЕНАРИИ

1987

ИЗДАЕТСЯ
С 1973 ГОДА

КИНОСЦЕНАРИИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ

3

1987

- 3 *Н. Аллахвердова*
ПРОШЕНИЕ О ПОМИЛОВАНИИ
- 34 *В. Мнацаканов, С. Снежкин*
ПЕТРОГРАДСКИЕ ГАВРОШИ
- 56 *А. Родионова*
ПРИГОРОД
- 75 *Т. Баблуани*
СОЛНЦЕ НЕСПЯЩИХ
- 112 *Л. Корнилов*
ГЛОТОК ЧИСТОЙ ВОДЫ
- 130 *В. Приемыхов*
ВЗЛОМЩИК
- 149 *Э. Акопов*
ДРУГ
- 170 Из архива мастеров
Г. Шпаликов
**«ДЕВОЧКА НАДЯ,
ЧЕГО ТЕБЕ НАДО?»**

ГОСКИНО СССР
МОСКВА • 1987

Главный редактор В. СОЛОВЬЕВ
Редакционная коллегия:
О. АГИШЕВ, С. АНТОНОВ, Е. ГАБРИЛОВИЧ, Е. ГРИГОРЬЕВ,
Р. ИБРАГИМБЕКОВ, В. СЫТИН, С. СОЛОВЬЕВ, В. ТРУНИН,
В. ЧЕРНЫХ

Ответственный секретарь Е. КЛЕЙНЕР

Выпуск подготовили к печати:
О. ГОРБАЧЕВА, Н. РЮРИКОВА,
Т. ПОКРОВСКАЯ, М. СЕРГИЕНКО

Технический редактор Л. РЯБЫКИНА
Корректор И. АВЕТИСОВА
Мл. редактор Т. ЕРМОЛОВА

© В/О «Союзинформкино»

Сдано в набор 08.05.87. Подписано к печати 24.07.87. А05579
Формат 70×100¹/₁₆. Усл. печ. л. 15,6+0,32. Уч.-изд. л. 21,4
Усл. кр.-отт. 16,24. Печать офсетная. Бумага типограф. «Сыктывкар»
Гарн. таймс. Тираж 83 255 экз. Заказ № 1334. Цена 1 р. 20 к.

Всесоюзное объединение «Союзинформкино» 109017, Москва,
Б. Ордынка, 43. Тел. 231-11-33.
Адрес редакции: 103006, Москва, Воротниковский пер., д. 12.
Телефон 299-47-74.

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический
комбинат В/О «Союзполиграфпром» Государственного комитета СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
142300 г. Чехов Московской области



НИНА ГРАНТОВНА АЛЛАХВЕРДОВА училась на факультете журналистики МГУ, автор ряда очерков, рассказов, телепередач. В 1972 году закончила Высшие сценарные курсы Госкино СССР. По ее сценариям поставлены документальные фильмы «Идущие впереди», «Композитор Арам Хачатурян», «Вода живая», «Наше слово», «Жил-был Матвей». Литературный сценарий «Пионерка Мэри Пикфорд» (в соавторстве с Е. Григорьевым) опубликован в альманахе «Киносценарии». Н. Аллахвердова автор более десяти литературных киносценариев.

Литературный сценарий Нины Аллахвердовой «Прощение о помиловании» готовится к постановке на киностудии «Мосфильм».

НИНА АЛЛАХВЕРДОВА ПРОШЕНИЕ О ПОМИЛОВАНИИ

Петербург. Весна. Камень. Кругом камень. Резкий свет заливает соборы, безлюдные площади. И гнетет, странно давит тяжелая тишина, тюремная тишина, в которой в это мгновение пребывает город...

СОБЫТИЯ ФИЛЬМА БУДУТ ПРОТЕКАТЬ ВСЕГО 21 ДЕНЬ — С 20 АПРЕЛЯ ПО 11 МАЯ 1887 ГОДА.

ПРИГОВОРЕННЫЙ

Монолог первый — монолог Александра Ульянова

20 АПРЕЛЯ, УТРО... НА ОБЖАЛОВАНИЕ — 2 ДНЯ.

Из полного безмолвия возникает Петропавловская крепость. Окна почти под самым потолком, окна не в мир, а внутрь, чтобы не свет, а лишь напоминание о нем проникло в камеры. Чувство тревоги нарастает, захватывает целиком, когда приближаешься к этому мраку...

Тюремная камера, огромная, промозглая. Посреди камеры, словно тень в полумраке, — человек. Кто он — мужчина или женщина, сколько ему лет, давно ли он стоит так, — мы не знаем.

Я опять в своей камере. Я не оговорился — в «своей», — слышим мы голос арестанта. — Это моя камера. После пяти дней суда, во время которых мы помещались в доме предварительного заключения, нас опять водворили сюда, в те же камеры,

где каждый из нас уже провел до суда целых полтора месяца. Но теперь эти камеры стали другими — это камеры смертников.

Сумерки в камере сделались гуще, фигура в сером арестантском халате — еще более расплывчатой, бесформенной. Теперь она уже едва различима.

Мое имя, отчество, фамилия и то, что мне лишь две недели назад исполнилось двадцать один, и то, что я был студентом Петербургского университета, и мои научные изыскания, люди, в среде которых я жил, мои родные, сверстники, книги — на этот раз все осталось за пределами камеры навсегда. Мне вынесен смертный приговор. Им завершился весь предыдущий этап моей жизни. Он завершился так глубоко, что ничего из прежнего мне больше не принадлежит, ничего своего, кроме этой камеры, этого халата и этой спадающей с ног обуви со странным названием «коты», у меня больше нет. Если, конечно, я могу все это считать своим.

Заключенный пошевелился, переступил с ноги на ногу. Шорох в дверях привлек его внимание.

Меня доставили сюда сегодня на рассвете. Сколько же я простоял, войдя сюда, так неподвижно? Я услышал движение за дверью, повернулся и встретился с настроенным взглядом. Караульный солдат. Я приметил его напряженное лицо еще когда меня только вводили в камеру. Видимо, с

того момента, как захлопнулась дверь, он наблюдал за мной непрерывно. Иначе в этой полной тишине я не мог бы не услышать его крадущихся шагов. Тюрьма обострила мой слух до такой степени, что шорохи производят на меня не меньшее впечатление, чем гром небесный на обычных людей.

Бесконечные тюремные коридоры, двери, двери, двери с порядковыми номерами. Мерцающий вдали огонек лампы.

Помню, двери распахнулись. Что было потом? Сколько времени прошло с тех пор, как я шагнул из полутемного коридора крепости в камеру и замер так, спиной к двери? Час? Или, может быть, два, три? Впрочем, время теперь не имеет для меня значения...

Перед нами возникает Симбирск восьмидесятих годов прошлого века, бесконечные дали роц, лугов, полей... Энергичный черноглазый студент в распахнутой шинели сошел на перевале с пролетки...

Мне привиделся Симбирск, каким я увидел его в последний раз. Я долго смотрел на оставленный город, окутанный, как казалось, тончайшей голубой вуалью, так осязаема была дымка. Волга сверкала в лучах солнца, купола отливали золотом...

Со стороны кладбища доносятся удары колокола. Величественно и одиноко парит над Симбирском какая-то птица.

Студент вскочил в пролетку, лошади тронули... пошли, пошли, поскакали, и пролетка превратилась в точку в бесконечной перспективе дороги.

Сколько раз за минувшие недели ареста я мысленно оказывался не в этих стенах, а на лугах, полях и в рощах милого моему сердцу детства. Я скакал на конях, спал в сенных стогах в нашем Кокушкино, плавал, смотрел, как падает с камня на камень и разбивается на миллиарды бриллиантов вода, слышал чаек в бурю...

Камера. Взгляд, постепенно привыкнув к полумраку, скользнул по железной доске стола, вделанной в стену, по узкому сиденью, тоже железному и вделанному в стену, как и стол.

Да, караульный! Какой цепкий глаз! А вот и сравнение из моего недавнего, но теперь уже невозвратно далекого прошлого: глазок—микроскоп, а я, наверное, микроб, которому осталось жить не более двух суток. К тому же по порядкам, введенным здесь, он не знает, кто я. А кто я?

- Фамилия?
- Ульянов.
- Имя?

— Александр.

— Отчество?

— Ильич.

Петербургская судебная палата. Перед столом следователя Александр Ульянов. В выражении худого, бескровного лица, в глубоко запавших глазах, в привычном резком движении головы, каким он поправляет падающие на лоб пряди темных волос, непостижимое спокойствие.

Мы не видим следователя, только звучит за кадром монотонный голос, задающий вопросы:

— Время рождения?

— Тридцать первое марта одна тысяча восемьсот шестьдесят шестого года.

— Вероисповедание?

— Православное.

— Народность?

— Русский.

— Происхождение?

— Сын действительного статского советника.

Последовала короткая пауза, затем следователь продолжил:

— Ваше звание?

— Дворянин.

— Место рождения?

— Нижний Новгород.

— Занятия?

— Студент четвертого курса Петербургского университета.

— Факультет?

— Естественный.

— Семейное положение?

— Холост.

— Какими располагаете средствами к жизни?

— Средства к жизни получаю от матери.

— Имеете братьев, сестер?

— Да. Братья Владимир и Дмитрий, сестры — Анна, Ольга и Мария.

— А вам известно, господин Ульянов, что совершенное вами преступление...

Голос уходит в небытие, растворяется.

Камера. Кровать, намертво привинченная к полу, толстые прутья оконной решетки, навечно вросшей в стену. Александр сидит на полу, прислонившись к стене.

Никогда не видел, чтобы караульный менял глаза, да еще так быстро. Что это он — то левым, то правым? Ему, как видно, действительно страшно, как бывает страшно человеку перед чем-то неведомым... Страх, страхи — что это такое? С того момента, когда я решил принять участие в заговоре, я ежесекундно преодолевал в себе чувство страха.

Александр идет по университету. Встречные здороваются, протягивают ему руки —

кажется, каждому приятно поздороваться с ним, хоть минуту побыть рядом, перекинуться словом.

Около студенческой раздевалки его окликают товарищи.

— Александр Ильич,— говорит он, понизив голос и в волнении оправляет на себе сюртук.— Я жду вас с утра. Делаю вид, что приятель подтягивает меня по латыни. Не ходите на квартиру Канчера. Там засада.

Продавец птиц на многолюдной площади. Клетки стоят одна на другой, подвешены к перекладинам лотка. Бьются в клетках чижик, зяблики, малиновки, скворцы, голуби.

Покушение на царя не удалось. Я не знал подробностей и вообще обстоятельств дела. Кто арестован и как держатся арестованные в отношении других участников заговора? Но я был спокоен, когда шел на квартиру Канчера.

Александр в наглухо застегнутой шинели смотрит на птиц, потом достает деньги, не считая, отдает продавцу, ищет, не осталось ли в карманах еще какой копейки.

Птицы! Мне захотелось выпустить их. Я знал, идя к Канчеру, что деньги, как и вещи, которые сейчас на мне, уже никогда мне больше не понадобятся.

Александр открывает дверцы клеток. Люди останавливаются, смотря, откуда столько птиц в небе.

Продавец отставляет в сторону пустые клетки. Он очень доволен — птиц в клетках почти не осталось.

Я поднялся по лестнице, позвонил. Открыла квартирная хозяйка. Глаза полные ужаса, она пыталась предупредить меня. Я шагнул через порог и... провалился в бездну: на меня тут же накинудись, захлопнулась дверь, сделалось темно.

Арестантская в Петропавловской крепости. Жандармы толпятся вокруг кого-то, кого мы еще не видим.

Мужские голоса, грубые, резкие, похожие на окрик команды:

— Все, все сняты!

— Снять все!

— Теперь в сторону!

— Стоять!

Тюремщик несет арестантскую одежду. Спины жандармов, похожих в своих шинелях на неуклюжих матерчатых кукол, набитых ватой, расступаются, давая ему дорогу, и мы видим в их серой гуще беззащитную фигуру обнаженного юноши. Это Александр.

Начинается унизительный, бессмысленный обыск. Двое обыскивают арестованного, заглядывая в ноздри, в рот, ощупывая

волосы. Другие спешно, тщательно обшаривают одежду — куртку, брюки, рубашку, шинель, белье, ботинки, брошенные на пол,— потом одежду собирают, уносят. Взамен к ногам арестованного бросают тюремное белье, халат, обувь — «коты».

Александр будто парализован. Долго смотрит на груду одежды, не понимая, что это перед ним.

Здесь, среди тюремщиков, я испытал какой-то новый для себя, неопиcуемый страх. Боялся как бы не я, а что-то неподвластное мне. Руки и ноги оледенели. Физическое усилие, необходимое для того, чтобы натянуть халат, коты, стало не по силам. При этом я сознавал, что моя слабость возбуждала в тюремщиках что-то особенно низменное, животное, грубое. Они торопили меня...

Александр поднимает глаза: в проеме двери стоит, стараясь быть незамеченным, человек лет тридцати в сюртуке со знаками различия, которые говорят, что он занимает скромную должность «молодого товарища прокурора». Не выдержав зрелища унижения, которому подвергают юношу, молодой товарищ прокурора отводит глаза. Это словно придает силы Александру. Глубоко вздохнув, он начинает натягивать грубое, почти негнущееся белье, похожий на армяк суконный халат и эту странную обувь, что-то вроде старых стоптанных сапог с обрезанными голенищами немислмого размера...

Я не знал, что человек в сюртуке молодого товарища прокурора — Князев.

Тюремный коридор. Обступив Александра со всех сторон, тюремщики ведут его, мерно чеканя шаг. Большие коты спадают с ног арестанта, шлепают по каменному полу.

Но я уловил его деликатную попытку пощадить мое самолюбие. И это вернуло мне силы.

Лязг засовов. Тюремщик. Поправил фитиль, оглядел нетронутый завтрак арестованного — кружка с жидким чаем, хлеб. Тот по-прежнему сидит у стены. Поворот ключа. Стихающие шаги. Звук далекой двери. Тишина.

Опять появился и замер испуганный глаз караульного.

Александр метнул исподлобья взгляд на дверной глазок.

Я спрашивая себя: как определить пелремену, которая произошла со мной со дня ареста? Страх, меня оставил страх. Я больше не боюсь. Хотя не все из нас выдержали испытание до конца...

— Подсудимые, встаньте,— суховатый мужской голос переносит нас в зал суда.—

Оглашается приговор Особого присутствия правительствующего сената, состоявшегося пятнадцатого — девятнадцатого апреля одна тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года...

Все взоры устремлены на подсудимых. Пятнадцать человек. Среди них три женщины.

Степан Волохов, Иосиф Лукашевич, Петр Шевырев, Василий Генералов, Александр Ульянов — те, кто моложе остальных.

За ними — Канчер в подобострастной позе, чуми приподнявшийся на цыпочках. Он очень возбужден. Не мигая, смотрит на судей. Лицо его горит. Он вытирает испарину со лба. И вдруг не выдерживает: — Подождите! Я должен сказать!

Председатель суда, первоприсутствующий сенатор Дейер, зачитывающий приговор, потянулся к колокольчику.

— Я случайно попал в это!.. — зашепшил Канчер со слезой в голосе. — И я ведь все про всех рассказал!..

— Михаил! — тихо окликнул его Александр. — Михаил!..

— Я устал, понимаешь? — повернувшись к Александру, обычным голосом сказал Канчер и зачистил почти механически, без интонации, стараясь перекричать колокольчик: — «Всепресветлейший Державнейший Государь, Самодержец! Недостойного верноподданного Михаила Никитина-Канчера Прощение»...

В зале растерянно переглядывались. Мария Александровна сжала руки, прикрыла глаза. Сидящий рядом с ней Вячеслав Федорович Пестовский заботливо взял ее руки в свои.

— ...«Несколько раз брался за перо, но оно выпадает из рук»...

Отчаянно звонил колокольчик.

— ...«Несчастный случай ввел меня в такую среду товарищей... припав к ногам Вашего Императорского Величества... верным и полезным слугой... если же я и был сообщником»...

— Уведите его, — распорядился Дейер. Канчера подхватили, повели из зала.

...«объясняю это временным умопомрачением».

Подсудимые побледнели, сникли. Только Александр проводил Канчера взглядом.

Камера. Александр взволнованно ходит. *Прощение о помиловании! Существует такая стандартная форма, одна для всех. Нужно только поставить свою подпись под этими верноподданнейшими словами. И вот Канчер читал это прощение наизусть!*

Дверь открылась. Вошли конвойные.

Вот и все. За мной пришли. Впрочем, нет! Что это мне пришло в голову? Еще

два дня! На обжалование приговора еще целых два дня! А! Вот в чем дело! Мне разрешили свидание... с мамой. Силы оставили меня.

Конвойные быстро и споро замкнули на Александре ножные и ручные кандалы. Старший конвоир что-то коротко приказал. Александр шагнул в коридор. Конвойный впереди. Конвойный сзади. Бесконечные коридоры крепости.

Зачем? Зачем все это? У нас с мамой нет сил для свиданий. Невестя каким путем мама добивается такой возможности. Уже в третий раз. Но ничего кроме все большего и большего страдания при встречах со мной она не обретала и не обретает. Как ни странно такое говорить, но все это похоже на отношения, которые прервались, прервались окончательно. В последний раз мама уже не просила, она потребовала прошения, сказала, что если я не соглашусь его написать, она... сама простится со мной. Совсем! Она вынуждена будет это сделать во имя остальных детей. Я не в силах был поднять на маму глаза. Жизнь, как ни горько она сложилась для мамы, уже невозможно повернуть вспять. Но мама не слышит, не понимает. А я? Я, кажется, способен теперь только к переправе из этой жизни, в которой от меня больше уже ничего не зависит, в небытие. Чем быстрее переправа, тем, может быть, лучше...

Двери комнаты для свиданий распахнулись. Это обычная камера с ее аскетической обстановкой. Перед Александром, когда он переступил порог, — Вячеслав Федорович Пестовский.

— Это вы? — в тревоге воскликнул Александр, почувствовав, как ослабели его ноги. — А мама?

— Что поделаешь, Саша, что поделаешь! — заговорил Пестовский. — Зато нам удалось свидеться! Наконец-то! Конечно, все тебе шлют приветы...

Это Пестовский! Сейчас он будет уговаривать меня подать прошение... Как я устал!

— ...Александр, ты будущее науки, — говорит Пестовский. — Я просто потрясен. Сам Менделеев молит государя императора пощадить тебя. Помоги же и ты себе! Если бы не твое поведение на процессе, тебя бы помиловали. Непременно помиловали! Ведь закон не предусматривает смертной казни для несовершеннолетних.

Закопченный потолок комнаты свиданий, покрытый ржавыми пятнами сырости, повторяет сводчатую форму окна, нависая над головой, как крышка сундука.

Все, все знакомо! Родственник нашей семьи, более того — друг дома, но... Я не люблю его... С самого дня ареста он предпринимает усилие за усилием, чтобы помочь мне... маме. Но нам помочь нельзя. Его

усилия бессмысленны, даже враждебны. Он написал властям заявление, что нельзя считать душевно здоровым человека, которому открыты все творческие перспективы и который вдруг, в мгновение превратился из преуспевающего студента в инициатора заговора. Его забота чуть не лишила меня возможности выступить на суде. То есть того главного, к чему я шел с момента покушения, а, может быть, и вообще — все последние годы.

— Саша, даже народовольцы ничего не смогли изменить в истории России. А ведь какие это были люди — интеллигенты, ученые, личности! Средства! Ор-га-ни-за-ци-я! А вы? Кто вы? Если бы вы затаежи свой фарс еще до народовольцев, вы, возможно, и имели бы право на иллюзии. А так, поверь, я ведь помню свою юность. Эти три последних месяца твоей жизни, когда ты вступил в организацию, ничто по сравнению со всей твоей предыдущей жизнью и по сравнению со всей жизнью вообще. Я тоже в твоём возрасте был способен на вспышки, на что-то такое, чему сам потом удивлялся. Но вот все случилось, все перебрало. Я понял, что сегодня упорствовать в своей правоте значило бы проявлять глупость, если не жестокость. Если бы не приговор, этот ужасный приговор, все это было бы просто смешно!

Он никогда не поймет, как я восхищаюсь каждым из своих товарищей по процессу. Мы — нечто малое? Едва заметное? Ну, что ж! Я как биолог знаю, что возможности развития зависят не от величины исходного. Малое оно или громадное — для развития имеет значение не это. Он никогда не поймет, чего стоит такой приговор уже сам по себе. Если нас хватил только на то, чтобы вернуть интеллигенцию к мыслям о народовольцах, мы уже не напрасны. Они все оставили поле битвы. Мы же действовали.

— Саша, ты не слушаешь, ты не слышишь. И самого худшего из нас я не поставлю рядом с таким, как он. Бывают такие периоды в жизни общества, когда бездействие более разрушительно, чем любые, пусть ошибочные действия.

— А ведь мне так трудно приступить к самому главному. Сейчас речь не о тебе. Мария Александровна... Она начинает заговариваться. Вчера вообще меня не узнала. Ты понимаешь? Смотрит и не видит...

Александр повернулся, впервые внимательно взглянул на Пестовского.

— Врачи считают, что она теряет рассудок!

В глазах Александра метнулся испуг. Лицо исказилось.

— Ты понимаешь, чем это грозит всем! Душевное смятение столь велико, что она,

лично меня всегда поражающая способностью держать себя, уже совершенно собой не владеет.

Александр закрыл лицо руками. Нравственная пытка становилась невыносимой.

— Страх за тебя превратил ее в комок нервов. Ужас перед твоей казнью разрушает ее психику.

Ноги Александра подкосились. Рыдания сотрясали плечи. Он сполз на пол, обхватил голову руками.

— Мама!.. Нет. Только не это! Какое ужасное несчастье! Ничто не может сравниться с этим — расстаться с мамой, живой, но как бы умершей, лишенной рассудка. Что же делать? Подать прошение? Но это значило бы оскорбить всех и все! Мама теряет рассудок!.. Как страшно! Боже мой, как же мне страшно!

— Ты напишешь прошение, Саша? — просит Пестовский. — Я умоляю тебя, Сашенька! Умоляю!

Александр не мог отвечать. Рыдания душили его.

Ночь. Александр сидит на откинутой на ночь кровати, закрыв лицо руками.

В камере моей негде повернуться. Маняша, Дмитрий, Ольга, Анна — боже мой, она в тюремных одеждах! — Владимир, наша няня, мама, папа, уличный городской в Симбирске, наши родственники в Самаре, мои профессора, товарищи, жандармы, император Александр Третий, все участники покушения, какие-то жители Петербурга, хозяин квартиры, которую я снимал, дворник, дававший лживые показания на суде, агенты охраны, околоточные, надзиратели — словом, все люди, которых я успел узнать за двадцать один год своей жизни, сейчас здесь. Они наперебой говорят мне каждый свое, они требуют от меня ответа, они плывут в каком-то странном хороводе... Неверные лица, заискивающие улыбки, мутные глаза, втянутые в плечи головы... Меня захватил страх. Он возродился во мне, этот, как я думал, подавленный страх.

ЛЮБЫМ ПУТЕМ

Монолог второй — монолог

Марии Александровны Ульяновой

20 АПРЕЛЯ... НА ОБЖАЛОВАНИЕ — 2 ДНЯ.

И опять этот день, один из двух, отпущенных на обжалование приговора. У солнечной набережной напротив Петропавловской крепости Мария Александровна. Отсюда крепость кажется совсем не страшной. Вьются над шпилем собора голуби.

Вчера состоялся суд, а на рассвете Сашу перевели обратно в Петропавловскую. Что

он делает сейчас? О чем думает? Страшно представить пустыню, которая его окружает. Иногда кажется, что если собраться с силами и упереться руками в стену крепости, она просто рухнет...

...Мария Александровна стоит в приемной, ожидает, когда ее примут... Протягивает прошение какому-то официальному лицу... Чиновник смотрит поверх ее головы...

Но нет! Не только Саше, даже Anne, ни в чем не замешанной и, однако, арестованной, я ничем не смогла помочь...

Мария Александровна поднимается по лестнице казенного здания. Останавливается, устало прислонившись к стене. Ноги ее не держат.

И если договаривать до конца, то нужно признать, что главное сейчас, как это ни невозможно,— мои отношения с Сашей. Мне кажется, я потеряла с ним внутреннюю связь.

Снова улицы Петербурга, заполненные спешащим народом. Летят пролетки. Снуют торговцы. Мария Александровна останавливается около ателье фотографа. Невидящими глазами смотрит на фотографии, выставленные в окне,— чужие лица, чужие жизни.

Саша больше других детей похож на меня и всегда был мне ближе всех. Но теперь он не только не делает ни малейших усилий, чтобы объясниться со мной, но, более того, он ведет себя, как человек, который рассчитался со всем, что составляло нашу жизнь до ареста, и которого... с нами уже не будет больше никогда... Он определенно избегает меня.

Камера свидания. Молодой помощник прокурора Князев следит глазами за Марией Александровной.

Вот звон кандалов. Мария Александровна в нетерпении бросается к дверям, но нет, мимо... Устало опускается на койку. Снова звон кандалов. Ближе. Еще ближе... В дверях, поддерживая тяжелые кандалы, появляется Александр, уже не юноша, а взрослый, много перестрадавший человек. Мария Александровна разрыдалась, прижимая к глазам кружевной платочек...

Князев делает знак конвоиру и следом за ним выходит из камеры.

Мне хотелось обнять его, прижать к себе, но эти цепи... Я разрыдалась. И услышала тихий голос: «Прошу тебя, мама...» Этого было достаточно. С немыслимой отчетливостью я поняла, что не я его веду. Он сам идет, и путь его мне неведом... Да полно, знала ли я сына когда-нибудь

раньше? Не заблуждаюсь ли я, думая, что понимаю других моих детей? И не скажется ли позже, что я отчуждена от реальности в гораздо большей степени, чем даже допускаю теперь? Я перестала верить самой себе, я не понимаю сына, не понимаю людей вокруг себя и не узнаю Петербург, в котором родилась и который всегда любила. Но я должна действовать. Любими средствами — молить, просить, объяснять, спрашивать... Я должна спасти Сашу.

И снова какая-то лестница, роскошная, вельможная лестница, по которой она тяжело поднимается вверх.

Сейчас мне предстоит встреча с самим обер-прокурором Неклюдовым. Он согласился принять меня, потому что мой муж, Илья Николаевич, и после смерти окружен глубоким уважением всех, кто его знал, а обер-прокурор Неклюдов — его ученик.

В зале суда тишина. Обер-прокурор Неклюдов, справа от судейского стола, внимательно слушает речь Александра Ульянова. И хотя Александр говорит негромко, своим обычным глуховатым голосом, каждое его слово слышно.

— Я могу отнести к своей ранней молодости то смутное чувство недовольства общественным строем, которое, все более и более проникая в сознание, привело меня к убеждениям, руководившим мною в настоящем случае. Но только после изучения общественных и экономических наук это убеждение в ненормальности существующего строя вполне во мне укрепилось и смутные мечтания о свободе, равенстве и братстве вылились для меня в строго научные и именно социалистические формы.

Обер-прокурор Неклюдов резко перебил Александра:

— Прошу подсудимого говорить ближе к делу!

Сенатор Дейер согласно кивнул головой. Александр помолчал и значительно громче, как бы подчеркивая тем самым особую важность следующей фразы, произнес:

— Я понял, что изменение общественного строя не только возможно, но даже неизбежно...

Мария Александровна неожиданно поднялась. Увидев это, Неклюдов испуганно привстал, проводил Марию Александровну взглядом.

Кабинет в доме обер-прокурора. Неклюдов выходит из-за стола, идет предупредительно навстречу Марии Александровне.

— Здоровы ли ваши дети в Симбирске? Есть ли от них вести?

Мария Александровна хочет ответить, но вместо слов получается какой-то шепот. Вид ее страшен.

— Научите меня, как я должна просить, — с трудом произносит она. — Мне еще не приходилось этого делать.

— Но как же быть, Мария Александровна? В конце концов, не все зависит от нас — не Александр выбрал меня себе в прокуроры, и не я выбирал его себе в подсудимые.

— Неужели государь не помилует сына? В момент покушения Саша не был еще совершеннолетним...

— Мария Александровна, для вас Александр — сын, юноша, которому всего двадцать один год...

— Только исполнилось. На днях, — поспешно вставила она.

— Вот видите. Я тоже не могу забыть, что это сын Ильи Николаевича. Ваш сын. Но для народа он — пугало, нечто чудовищное, страшное и опасное.

Мария Александровна в ужасе поднесла руку к губам.

— Да, да, Мария Александровна. Я глубоко вам сочувствую, но единственно, чем могу помочь — это дать ясную картину о положении вашего сына, — голос его зазвучал, он невольно увлекся своей ролью. — Вот его дело: не отрицает вины, более того, ведет себя как руководитель организации, убежденно отстаивает свои позиции, служит примером для других в стоицизме...

— Но ведь вы говорили на суде, что Александр брал на себя много чужой вины...

— Ну и что? — обычным голосом ответил Неклюдов. — Я старался быть объективным. Ваш сын предельно активная и чрезвычайно смелая личность. Он наш убежденный и сильный противник. — Неклюдов снова заговорил прокурорским тоном. — Другое дело, если он признает свою вину, покается. Нужно прошение.

— Я написала прошение государю.

— Мария Александровна, ваша просьба — это только ваша просьба, которая ни в чем не пересекается с убеждениями сына.

— Но вы же знаете, Александр отказался подать прошение.

— Молите сына. Если он напишет просьбу о помиловании, то можно считать, что в результате смертного приговора он изменился, понял свои заблуждения. И тогда есть о чем говорить. Впереди еще два дня... Впрочем, нет, всего один день... Признание! Хотя бы формальное признание заблуждений!

Мария Александровна встала.

— Спасибо. Но я не знаю, как это сделать. Неклюдов развел руками.

Этот город... В нем нет ничего, кроме бесконечной, безмерной пустоты, в которой погибают мои дети... Я одна. Все пошло прахом. Все впустую.

Обер-прокурор Неклюдов стоит у окна. Теперь это просто усталый человек. Он грустно смотрит, как одинокая хрупкая женская фигура пересекает пустынную площадь, заворачивает за угол.

Мы с мужем старались дать детям образование, старались вырастить их достойными, добрыми, способными принести пользу обществу. К чему это привело? Вчера я была у Саши, я делала все, чтобы повлиять на него...

Камера в доме предварительного заключения. Мария Александровна и Александр друг против друга по обе стороны стола.

— Саша, сынок, я умоляю тебя подать прошение!

— Мама, — твердо и властно сказал Александр, — еще раз говорю тебе — смирись. Я не хочу, чтобы ты обманывалась. Судьба моя предreshена, комедия прошения ничего изменить не может. Я хотел бы, чтобы все произошло, когда ты будешь дома. Ты должна уехать.

— А Аня? Оставить ее одну?

— Да, да, Аня, — Александр встал. Грохнула цепь. Он наклонился, подхватил ее. Повернулся к оконцу, вглядываясь в слабый поток света.

— Саша, ты мой сын, — сказала Мария Александровна с силой. — Я тебя родила. Неужели же ты не понимаешь, я должна буду потом всю жизнь, всегда представлять тебя в последние минуты твоей жизни... с веревкой... И не только я, но и Аня, Ольга, Володя, Митенька, Маняша. Ты понимаешь? Понимаешь? Только ты можешь защитить нас от этого.

Александр повернулся к матери, беспомощный, открытый.

— Подумай, прошу тебя, на что мы обречены. Прошу тебя, подумай о нас. Спаси наше будущее любой ценой. Любой, Саша. Ты слышишь меня? И пусть ты пожертвуешь всем, что для тебя дорого. Пусть единственным результатом твоего душевного подвига станет моя надежда на возможность будущего для них. Это все, о чем я в состоянии думать и о чем я тебя сегодня прошу.

— Мама, не проси меня. Только смерть выведет меня за этот круг. И только смерть моя принесет вам покой.

— Саша, твоя гибель — это моя смерть. Но твое сегодняшнее отношение к нам не легче смерти. Я больше не могу тебя умолять, убеждать. Если я не оказываю на тебя воздействия, я постараюсь быть хорошей

матерью другим детям. Я стану делать все, чтобы спасти их будущее. Если ты все-таки не станешь писать прошение, если ты не хочешь подумать о нас, мы расстанемся навсегда прямо сейчас!

Но прежде, чем Мария Александровна успела встать, повернуться к двери и уйти, она услышала:

— Прощай, мама!

Саша вышел из камеры первым, не обернувшись!

Домашний кабинет сенатора Таганцева. Уже смеркает, но предметы еще видны. Мелодично отбивают четверть настольные часы. В дальних комнатах им откликаются большие, столовые, к этим присоединяются на улице башенные.

Мария Александровна сидит в кабинете на диване в позе терпеливого ожидания.

Мария не дает покоя одно воспоминание. Когда Саша последний раз уезжал из Симбирска, он и Илья Николаевич долго ходили по саду...

Тихий осенний сад. Мы видим его из окна сверху. Илья Николаевич и Александр ходят по дорожке туда и обратно, туда и обратно, тихо беседуют о чем-то.

О чем они говорили? Тогда я не задумывалась об этом. Я только обратила внимание, что Илья Николаевич выглядел постаревшим. Анна уезжала позже. Прощаясь, Илья Николаевич сказал ей удивившие меня слова: «Скажи Саше — пусть он побережет себя хотя бы для нас». Он был задумчив и грустен. Почему я не расспросила его?.. Теперь Ильи Николаевича нет, а Саша...

Снова кабинет. Мария Александровна по-прежнему ждет.

Я перебираю наше прошлое, мгновение за мгновением. Мне так важно понять Сашу. Сердце говорит мне... Он сожалеет обо мне! Материнское чутье не может меня обмануть. Он лучше многих... лучше меня. Именно поэтому он так отчужден.

Снова часы пробили четверть. Вошел слуга, внес канделябр. Мария Александровна не пошевелилась.

Часы бьют... Время утекает между пальцев. Его остается все меньше. А я все сижу и жду человека, который вряд ли мне чем-нибудь поможет. Сенатор Таганцев, бывший сослуживец моего мужа по Пензе. Он не горопится.

В кабинет входит Таганцев. За пуговицу его вицмундира заткнута салфетка. Спохва-

тившись, он снимает ее. Садится в кресло.

— Мария Александровна, дорогая, ваш приход мне понятен,— сразу начинает он.— Но чем я могу помочь? Дело решено. В течение четырех дней суда было представлено сто тринадцать зарегистрированных документов, убедительно доказывающих вину вашего сына, посягнувшего на жизнь священной особы государя императора. Я не буду обсуждать поведение вашего сына. Это дело его совести. Я думаю также, что вы тоже не одобряете его. Вы доказали это тем, что вышли вчера из зала суда.

— Вы можете поддержать мое прошение государю? Присоединиться к нему? — перебила его Мария Александровна.

— Мария Александровна,— помолчав, сказал Таганцев.— Вы знаете основной закон механики — действие вызывает противодействие. Анархистствующие студенты вышли на улицы Петербурга с бомбами в руках. Реакция возлагает ответственность за это на либеральные реформы. Если хотите, это я жертва заговора, к которому примкнул ваш сын! Я и мои убеждения! Мы с Ильей Николаевичем, вашим мужем, свято верили в просветительство, как в идею, способную привести народ и общество к улучшению их жизни. И теперь этой идее нанесен сокрушительный удар. Обер-прокурор Неклюдов, другие продажные политики искусственно раздувают дело, стараясь создать впечатление, что благодаря им раскрыт крупный заговор.

Как странно он истолковал мой поступок, я совсем не поэтому вышла из зала суда. Я понимала, что Саша каждым словом ведет присяжных к безусловной необходимости вынести ему смертный приговор. Его перебивали. Я почувствовала, что больше не могу присутствовать при этом. Но эти люди... они ведь слышат только себя!

— Чтобы доказать, что либеральная политика терпит фиаско, чтобы скловырнуть таких людей, как я, они устраивают различные провокации — репрессии, аресты, высылки из Петербурга, отчисления из университета... Вы, наверное, слышали о волнениях студентов? А ведь это только начало! Мария Александровна, ваш сын должен подать прошение о помиловании! Просьба о помиловании помогла бы изменить сложившееся положение и помогла бы делу либеральных реформ.

— Благодарю вас. Беседа с вами мне очень много дала.

Напряжением всех сил, сдержав подступившие к горлу рыдания, Мария Александровна встала и, не взглянув на Таганцева, быстро пошла к двери.

Били башенные часы на улице. По небу мчались быстрые, тревожные облака. Клонились под ветром деревья. Все летело, все мчалось мимо нее. И бой часов как будто подхлестывал это движение.

Лучше бы они не били, эти часы. Они точно заколачивают меня. Мы покинуты всеми...

Навстречу ей шагнул молодой человек в студенческой тужурке.

— Марк?! — воскликнула она. — Это вы?

Он молча смотрел на нее. Ее била дрожь. — Зачем вы пришли? Оставьте нас! Я знаю, вы считаете себя женихом Анны. Но я должна вам сказать: не тревожьте нас больше. Анна — сестра приговоренного к смерти! Я думаю, это понятно? Не подавайте ей напрасных надежд! Вы не сможете их оправдать! Пусть все произойдет в наших жизнях разом! Мы люди вне общества! Будьте же милосердны, отступитесь от нас сейчас же!

Она кричала не в силах больше переносить происходящее и понимала, что это ужасно. Ведь больше всего на свете сама она всегда ненавидела сцены.

Ошеломленный Марк растерянно разводил руками.

Мария Александровна остановила пролетку.

— Прощайте! — донеслось из пролетки.

ВЕРНОСТЬ

Монолог третий — монолог

Вячеслава Федоровича Пестовского

21 АПРЕЛЯ, УТРО... НА ОБЖАЛОВАНИЕ — 1 ДЕНЬ.

В доме Пестовского, где остановилась Мария Александровна, тихо, сумрачно. Тяжелые занавеси задернуты, солнечные лучи не пробиваются сквозь них. Светится лампа-ночник в изголовье кровати. Вячеслав Федорович еще не встал. Он лежит, закинув руку за голову, в другой руке у него папироса. Лицо его задумчиво.

Ах, боже мой, боже мой! Надо вставать. Вставать и действовать... Как все-таки тяжело! Не хочется вставать. Не хочется начинать новый день. Правда, теперь есть надежда на прошение. И еще есть день. Целый день... Вчера за завтраком я дал слово Марии Александровне, что попытаюсь убедить Сашу написать прошение, и я сдержал свое слово.

Пестовский стряхнул пепел в пепельницу, стоящую на ночном столике, и этим жестом он словно вернул нас во вчерашний день...

Вячеслав Федорович вошел в столовую. Его лицо хмуро, и семейство — жена

Пестовского, их дети, гувернантка, — без того не слишком оживленное, затихает. Каждый спешит закончить свой завтрак побыстрее.

Как она поседела, осунулась. Какое горестное лицо. Даже от бывлой осанки мало что осталось. На людях она еще держится, а дома... В глазах постоянно стоят слезы. Нет таких вещей, на которые я не пошел бы, чтобы хоть немного облегчить ее горе.

Пестовский бросил на Марию Александровну сочувственный взгляд — перед ней только чашка кофе.

Мария Александровна измучена, истерзана. У нее уже ни на что нет сил. Эти силы ей должен дать я. Иначе, чего стоит моя любовь?

Завтрак окончен. Домашние разошлись по своим делам.

— Мария Александровна, голубушка, нельзя же так, — мягко пожурил Марию Александровну Пестовский, — надо же немного поесть. У вас сегодня трудный день. Понадобится много сил. Вы хоть спали этой ночью?

— Да, да, конечно, — рассеянно ответила Мария Александровна. Она подошла к роялю, откинула крышку, тут же вновь закрыла, повернулась к инструменту спиной и, спохватившись, поправилась: — Нет, не спала. Я все перебирала разговор с Сашей. Я была жестока с ним, — голос ее упал до шепота.

— Мария Александровна, не жалейте ни о чем. Так надо. Теперь вы спасете его, я уверен. Не бойтесь сердиться. Александр должен видеть, что несчастье и любовь не делают вас беспомощной, что вы способны идти к победе. Сердиться и сердиться!

— Нет, нет, здесь что ни сделай — все не победа. Наш случай такой, что победы быть не может, — она порывисто вздохнула, глянула на фотографию, стоящую на камине. Здесь и Илья Николаевич, и Саша, и Анна — все, о ком изболелась ее душа. — Но так я, возможно, хоть в какой-то степени повлияю на события. И либо вырву Сашу из рук смерти, либо тоже не стану жить!

Слезы побежали по ее щекам.

— Мария Александровна, дорогая, что вы говорите, помилуйте, — морщась от сострадания, уговаривал ее Пестовский. — Понимаю, вам теперь нельзя к Саше, раз вы поставили ему условие, так я попробую. Если мне удастся получить свидание, я уговорю его, поверьте.

Слабый отблеск надежды засветился в глазах Марии Александровны: она не может произнести ни слова, только смотрит на Пестовского изумленным, вопрошающим взглядом.

— Я верю вам, Вячеслав Федорович,— тихо сказала она.

Пестовский оживился, раскурил трубку — сам поверил в надежду, которую посеял.

— Мне кажется, я знаю один ход... Мы вызволим Сашу! Вызволим! Это не может не подействовать.

— Тогда скорее, не будем терять ни минуты,— лихорадочно заговорила она, но тут же спохватилась: — Извините, я нагружаю вас чрезмерно.

— Что вы?! Я сам желаю этого. Я прямо сейчас поеду в департамент за разрешением. Думаю, что они мне не откажут.

— Да, да. И знаете... У Сашеньки такая манера. Возможно, он ничего не скажет, а выражая согласие, только кивнет вам. Не пропустите, пожалуйста, этот момент. Саша вообще не очень склонен говорить.

— Знаю, но надо вернуть ему чувство жизни. Надо каким-то образом дать ему почувствовать, от чего он собственно теперь отказывается. Что еще составляет помимо этой несчастной политики смысл его жизни?

Губы у Марии Александровны задрожали: — Но ведь я все, все говорила ему вчера. Он был непреклонен. Ах, ничего не выйдет, Вячеслав Федорович.— Она отвернулась к окну, прижав платок к глазам.

— Петропавловская крепость! Нет, департамент полиции!

Кучер недоуменно смотрит на Пестовского.

— Сначала департамент полиции! — уточняет Вячеслав Федорович. Он возбужден, полон энергии.

Пролетка тронулась. Тихий переулочек, в котором стоит дом Пестовского, сменился шумным проспектом.

Я должен, должен уговорить Александра. Здесь все средства хороши. Мария Александровна верит мне, беспрекословно выполняет все, что я ей советую: ездит по адресам, которые называю, написала прошение на имя государя о помиловании сына. Что бы ни случилось, я останусь верен ей и ее семье. Люди моего поколения, и я в том числе, давно растеряли идеалы юности, касающиеся общественного устройства жизни, но нравственно мы себя сохранили!

Зал суда. Александр, приступая к своей защитительной речи, нашел глазами Марию Александровну, чуть заметно наклонил голову.

— Среди русского народа всегда найдется десяток людей,— говорит Александр с силой непоколебимого убеждения,— ко-

торые настолько преданы своим идеям и настолько горячо чувствуют несчастье Родины, что для них не составляет жертвы умереть за свой народ. Таких людей нельзя запугать чем-нибудь.

Пестовский, сидящий рядом с Марией Александровной, видит, как бледно ее лицо, как мучительно сжаты руки в темных перчатках.

— Всякий застой порождает разложение,— продолжал Александр.— Если бы в мире допускатся возможность остановки?! Она невозможна. Спячка, которая сковывает нашу страну, приводит к процессам порчи и разложения, к конфликту с мировым развитием...

Департамент полиции.

Пестовский идет длинным коридором. Он, конечно, удивительно талантлив. Блистателен. Но его поведение — цепь безумств. Когда я добивался еще до суда, чтобы его признали душевнобольным, это был не только тактический ход. Я, право же, так думаю. Во-первых, куда же девался честный, нравственный юноша, погруженный в науку, удивительно воспитанный, преданный сын? Во-вторых, ничем иным не объяснить его пренебрежение к близким, его стремление к смерти, отсутствие боязни перед ней, наконец. Нет, если считать Александра здоровым, то все это слишком непонятно.

— Вы думаете, император помилует Ульянова, если он напишет прошение? — Пестовский в кабинете начальника департамента полиции Дурново.

— Во всяком случае, император делает больше доброго, чем мы можем каждый раз ожидать,— ответил Дурново.— А вы? Вы действительно думаете, что можете повлиять на Ульянова?

— Думаю, что не исключено. Иногда нужен лишь точный предлог, чтобы, воспользовавшись им, освободиться от заблуждения. Я постараюсь дать ему такой предлог.

— Ну что ж, свидание состоится. Хотя я и не верю в успех вашей миссии. Его уговаривала мать, я лично с ним разговаривал... Впрочем, не буду вас задерживать. Попробуйте. И напомните Ульянову, что одиннадцать участников процесса прошение уже подписали.

— Одиннадцать? А кто же не подписал, позвольте полюбопытствовать?

— Это не имеет значения,— сухо ответил Дурново и поднялся, давая понять, что время аудиенции истекло.

Зал суда.

— Я заранее отказываюсь от всяких

просьб о снисхождении, потому что считаю такую просьбу позором знамени, которому служил,— говорит Пахом Андреюшкин, высокий, статный, темнорусый, с горячими глазами.

— У меня нет просьб как к суду, так и к самому правительству,— резко звучит голос Осипанова, коренастого брюнета с пристальными косящими глазами.

— В свое оправдание могу привести только то, что всегда, как и в данном случае, поступал так, как убежден и в согласии со своей совестью,— это Генералов.

Пестовский, респектабельный господин, замкнутый, корректный, спускается по лестнице департамента.

Для человека моей профессии не составляет труда определить, кто эти трое, кроме Ульянова. Андреюшкин, Осипанов, Генералов — наиболее стойкие и последовательные участники процесса. Если мне удастся склонить Александра к прошению, то за ним, возможно, последуют и эти юноши. Это сохранит им жизнь, и я, сыграв в их судьбах эту главную роль, буду счастлив.

Работают печатные станки. Здесь, в стенах типографии, Пестовский еще быстрее, еще энергичнее и увереннее. Он диктует наборщику:

— «Студентов Санкт-Петербургского университета оповестили о смертном приговоре. Речь ректора Андриевского, последовавшая за этим, шла под восторженные возгласы студентов и завершилась пением гимна».

Появляется главный редактор газеты. Лавируя между станками, он подходит к Пестовскому.

— Сообщение должно быть как можно более коротким. Чрезмерное внимание к процессу неуместно,— говорит он одобрительно, прислушавшись к тому, что диктует Пестовский. Он явно доволен.

Пестовский кивает.

Чего только не приходится писать. Издержки профессии. А между тем, истинное положение вещей совсем другое: есть случаи избияния слушателей, сочувствующих казни, по рукам ходят листовки, поддерживающие заключенных. Так что Александр прав — мы были и остаемся варварской страной. О свободе слова у нас не может быть и речи.

За спиной Пестовского громко разговаривают двое журналистов — молодой и постарше:

— А я что говорил с самого начала?

Лучше бы не предавать этих маньяков суду, а без всякого шума отправить в Шлиссельбургскую крепость, и делу конец. Я говорил ведь?

Слова, слова, слова... Я и моя жена Ася всегда любили семью Ульяновых. И не потому только, что между нами существует родственная связь... Но жизнь гораздо проще и грубее, чем мы думаем. Книжки, высокие мысли, в них изложенные,— это одно, а жизнь, вот эта реальная жизнь, жизнь, которой мы живем,— совсем другое. Мне всегда нравились книжки в доме Ульяновых. Книг много, и все читаются. Даже маленькую Маняшу я видел с книгой, а ведь ей было тогда только три года. Ни Мария Александровна, ни Илья Николаевич, конечно же, ни в какой мере не способствовали нынешнему мировоззрению Александра, но они... как бы это точнее выразить, всегда немного пугали жизненные сюжеты с литературными.

Пестовский едет в пролетке мимо Суконой линии Гостиного двора, выходящей на Невский. Купцы и сидельцы возле лавок заывают людей, расхваливают товары:

— Что прикажете-с, чего угодно-с?

— Есть лучшие товары-с... петенеты-с, шелковые материи-с, сукна-с...

Идет по Невскому мимо модных магазинов — английскому Николас и Плинке, шляпного магазина Циммермана, ситцев русского изделия Битенпажа, магазинов мужского платья Едера...

Станным образом один случай не идет у меня из головы. Журналистская судьба занесла меня в прошлом году в Шлиссельбург. Когда возвращался, на пароме под охраной двух солдат ехал какой-то громадный детина. Мне шепнули, что это палач. Я смотрел на него с острым любопытством.

Промозглый осенний вечер. Паром отошел от крепости, контуры ее едва угадываются в тумане. Пестовский стоит, завернувшись в теплый плащ. Палач мерзнет, ежится на ветру.

Видно, не только одного Пестовского притягивала фигура палача — из рулевой рубки вышел капитан, смотрел холодно, безразлично.

— Ваше превосходительство,— взмолился великан-палач,— не откажите в милости, прикажите дать водки. Замерз.

— Небось не к тетке на блины приезжал,— хмуро сказал капитан. И приказал выглянувшему вслед за ним матросу: — Дай ему водки! Да посуду ополосни потом...

— Спасибо,— сказал палач, выпив водки.

И закорюствовал, обращаясь к матросу: — А я тебе в благодарность, как повесят кого, веревку отрежу. Веревка повешенного приносит счастье.

Туман. Голос палача звучит гулко, вязко.

У самых ворот Петропавловской крепости кучер резко придержал коней, испуганно обернулся на пролетку. Что за человек ездит с ним? Объехал целый город, торопил, волновался, а теперь сидит неподвижно, не выходит...

...Пестовский в сопровождении двух караульных идет по мощеному двору Петропавловской крепости.

О какой веревке говорил палач? Зачем его доставляли в Шлиссельбург? И был ли он на самом деле так несчастлив? Или же мне это только показалось, а унижался он из-за водки? Но образ парома, растворяющегося в тумане, не выходит у меня из головы...

Туман, туман, туман. Тревожные гудки парома. Один, другой, третий...

Пестовский преодолел себя, загасил недокурную папиросу, энергично встал, начал приводить себя в порядок.

Ну, вот и все! Вчера я сделал все, что пообещал Марии Александровне. Она почти по-детски поверила, что Саша будет жить. Правда, Александр не сказал мне, что напишет прошение, но я уверен, теперь он не может его не написать.

Пестовский бреется перед зеркалом. Целый ритуал — взбить пену кисточкой, подливая горячую воду из кувшина. Поправить бритву о ремень, висящий тут же. Намылить щеки, густо, легко. Потом снять пену бритвой, поворачивая лицо то так, то сяк, чтобы лучше было видно, поднимая брови от напряжения.

Может быть, это звучит кощунственно, но несчастье с Александром я воспринял прежде всего как прямое и жестокое оскорбление, которое жизнь нанесла Марии Александровне. Ни минуты не колеблясь, я кинулся на помощь, и с этого мгновения ни в чем от нее не отступался. Каждую минуту я рискую. Каждую минуту могу быть признан неблагоденственным на службе, да и просто в обществе. Но я стараюсь не думать об этом и только действую.

Удалил остатки пены салфеткой, смочил одеколоном щеки и подбородок.

Я глубоко почитал Илью Николаевича, я всегда благоговел перед Марией Александровной — женщиной удивительной, а если говорить о женской красоте, то это именно та женщина, которую безо всяких оговорок

я могу назвать красивой... Не знаю, в какой связи, но мне хочется сказать о том, что Мария Александровна всю свою жизнь прожила в провинции, в Петербурге она только родилась, но провинциалкой она никогда не была.

Повязывает галстук, причесывается.

Ее можно поставить в пример многим светским женщинам. Осанка, жесты, голос, спокойная изысканность, с которой она всегда одевалась. С самого детства в любую погоду она обливается холодной водой — даже эта деталь о многом говорит. Полная самообладания, полная чувства долга перед мужем, детьми, вообще перед окружающими. Какие способности! Говорит на многих языках, перевела даже роман с английского — он издан, великолепно играет на фортепиано. Великолепно! Тот, кто раз слышал, никогда не забудет.

Придирчивый взгляд в зеркало — кажется, все хорошо, одергивает скюртку и выходит из комнаты.

И вот все рухнуло. Мне кажется, Мария Александровна потеряла способность играть. Навсегда...

Неожиданно Пестовский прислушался. Сюда, наверх, явственно доносятся звуки фортепиано.

— Мария Александровна! — восклицает Пестовский, еще прислушивается и вдруг сбегает вниз. — Да, да, это она! Она!

Мария Александровна играет, но это происходит уже в другой гостиной — в доме Ульяновых в Симбирске. Илья Николаевич сидит в кресле, закрыв глаза, слушает. Александр у окна, он смотрит на небо. Анна, Володя, Дмитрий, Маняша, Ольга и Пестовский — все здесь.

Много раз за эти дни я видел, как Мария Александровна проводит по воздуху, как по клавишам. Иногда дотрагивается до инструмента, словно беря у него силы. Но играть она не могла. А теперь вот заиграла. Она приободрилась! Она надеется!

Пестовский переглядывается с женой, она понимающе улыбается: Мария Александровна за фортепиано. Она играет!

Да, все хорошо. Александр напишет прошение. Все еще может образоваться, вернуться к прошлому.

Вдруг Мария Александровна прервала игру, опустила руки на колени, повернулась к Пестовскому, посмотрела с сомнением и так, как будто вернулась из дальних стран, из другого мира.

— Мария Александровна! — кидается к ней Пестовский

Мария Александровна смотрит на него, точно не понимает.

— Все ужасно, ужасно, — тихо шелестит ее голос.

— Да нет же, Мария Александровна... Вы так радовались вчера! Мы столько переговорили с вами хорошего!

— Вячеслав Федорович, Саша согласился написать прошение?

— Да, — удивленно ответил Пестовский.

— Но почему? Почему?

— Он любит вас, Мария Александровна, он думает о вас.

— Он и раньше любил меня. Все ли вы мне сказали? Что произошло с ним за последние сутки? Он кивнул вам головой, как я сказывала вам вчера? Он кивнул?

Пестовский не знал, что отвечать.

— Нет. Кажется, не кивнул. Впрочем, я не помню!

Мария Александровна смотрела на него задумчиво.

— Не знаю, возможно ли это вообще объяснить. Ночь я прожила надеждами на Сашино прошение, но теперь меня охватило вдруг сомнение... Вдруг стало ясно, что важнее всего сейчас понять, знала ли я Сашу когда-нибудь по-настоящему или нет. Мне кажется, он ждет теперь от меня только этого. Я должна его понять!

— Мария Александровна, не понять, а спасти, — сказал Пестовский. — Вы же хотели добиться от Саши прощения!

— Вы не поможете мне повидаться с Марком Елизаровым и этим судейским. Как его? Кажется, Князев?

— Марк и Князев? — воскликнул Пестовский, все более удивляясь. — Это же несоединяемая публика. Первый — типичный анархистствующий студент, второй... — Пестовский махнул рукой. — Да какие же у вас могут быть с ним дела?!

— Прежде, чем я увижусь с Сашей в последний раз, я хочу попытаться разобраться в его жизни. Марк поможет мне узнать Сашу в его студенческой жизни. Они много времени провели втроем — Марк, Саша и Аня. А Князев?.. Я почему-то рассчитываю на него. Мне кажется, этот человек небезразличен к нам с Сашей. В таком состоянии, в каком я живу в эти дни, эти вещи видишь безошибочно. Князев мне поможет понять жизнь Саши последнего месяца.

— Мария Александровна, да разве же мы не знаем этого сами?

— Дорогой, дорогой Вячеслав Федорович! Боюсь, что мы больше разбираемся с вами в собственных чувствах, чем знаем то, что есть на самом деле.

Мария Александровна встала из-за фортепиано, вышла из комнаты.

Но почему же все-таки она произнесла эти слова: «Прежде, чем я увижусь с Сашей в последний раз»?

ВНУТРЕННЯЯ ПРАВДИВОСТЬ

Монолог четвертый — монолог молодого товарища прокурора Князева

21 АПРЕЛЯ, ДЕНЬ — НА ОБЖАЛОВАНИЕ ОСТАЛИСЬ СЧИТАННЫЕ ЧАСЫ.

Просторный кабинет Князева в холостяцкой квартире. Вдоль стен книжные шкафы. Книг много, они любовно расставлены по полкам. Горит свеча. На фарфоровых часах с пастушками двенадцать часов.

Мне не удалось сегодня заснуть. Я думал о жизни. Все в ней складывалось правильно, разумно. В юстицию пришел по призыву, считал, что занимаюсь нужным, важным делом. И вдруг эта встреча! Как будто кто-то позвал меня, я распахнул окно, вдохнул другого воздуха и теперь не могу уже оставаться там, где был раньше.

Князев раздвигает шторы, смотрит в окно. Ветер гонит по каналу мелкую рябь. Солнце отражается в окнах и в воде. Покой, тишина разлиты в мире. И в свете ясного дня особенно ненужным кажется забытый огонек свечи. Князев задумает ее.

Я встретил Ульяновых, и жизнь изменилась. Пожалуй, уточню — изменилась моя внутренняя жизнь. Разве мог я прежде допустить такую ситуацию — мать государственного преступника приглашает меня на встречу, и я принимаю приглашение?

Князев развернул лежавшую перед ним записку, перечитал ее.

Невский проспект. Голоса разносчиков, цокот копыт по мостовой. Город живет обычной жизнью, только все кажется как бы настороженным, немного приглушенным: прохожие несколько неуверенны, много городских, мало движения.

Кажется, я разгадал сущность этих людей. Разгадка проста и очень сложна — внутренняя правдивость. Да, да, мы изболелись по правде, мы страдаем по ней, как страдает природа в засуху. Но порой мы даже не догадываемся о собственных страданиях, как это было со мной до недавнего времени.

Князев идет по улице, ничего не замечая вокруг. Встречный студент, в котором мы не сразу узнаем Марка Елизарова, довольно грубо задел его плечом, не извинился. Но Князев этого не заметил.

Я присутствовал на свидании матери и сына, которое привело к драме, потому что внутренняя правдивость, присущая им, требовала окончательного разрыва, и они, два действительно любящих друг друга человека, на него пошли.

Неожиданно Князев остановился перед витриной фотографа. Лица, лица, чужие, ненужные. Что привлекло его внимание? Может

быть, он, как и Мария Александровна, которая так же безмолвно стояла здесь день назад, инстинктивно почувствовал необходимость в чем-то постоянном, неускользающем, неподвижном?

В караульном помещении Петропавловской крепости и на фоне окна стоял юноша, бледный, как полотно, мне даже показалось, испуганный. Но вот он повернулся, посмотрел, и меня поразила спокойная, мягкая печаль его глаз. Все вдруг обрело другое значение. С этого и началось. Но я тогда еще не понял, что затронуты не только мои чувства, но и вся моя жизнь.

Важный генерал на фотографии твердо и серьезно смотрит на Князева, точно призывая его одуматься. Князев усмехается этому взгляду.

Как необычно он держался в тюрьме — молчаливо, отстраненно, но неизменно вежливо и мягко! Я убеждался, что он делался день ото дня все сильнее, пронзительнее и тише.

Князев, продолжая путь, подходит к книжному магазину «Милье». Звякнул дверной колокольчик. Приказчик, разговаривавший с посетителем, узнал Князева, радостно ему кивнул.

— Интересуетесь новинками? Могу кое-что предложить.

— Мне нужен Гейне в подлиннике.

Приказчик замаялся, вопросительно глядя на Князева.

— Разрешение имеется, не беспокойтесь. Вы же знаете, к какому ведомству я принадлежу.

Приказчик улыбнулся, жестом попросил Князева подождать.

Что дает Александру силу? В чем загадка мягкого, ясного тепла, которое он излучает? Это все та же его неизменная правдивость. Александр, обреченный с самого начала и понимающий это, более полноценный и живой, чем те, кому предстоит жить, а не умереть. Потому что человек, в котором нет лжи и фальши, всегда полон жизни.

— Изволите интересоваться поэзией? — вмешался взлохмаченный молодой человек с горящими глазами. Это Марк Елизаров, который вошел в магазин вслед за Князевым и теперь не спускал с него лихорадочных глаз. — Весьма допустимо для людей вашего ведомства.

Тон его был вызывающий и резкий. Посетители, находившиеся в магазине, почувствовав возможность скандала, поспешили выйти — прямо под начавшийся дождь.

— Днем вы судите ни в чем не повинных людей, а на ночь изволите читать о свободе бунтарского поэта, на которого для обычных людей наложен запрет?

— Что вам угодно? — холодно спросил Князев.

— Ареста, — незамедлительно ответил Елизаров. — Вам это принесет повышение по службе.

— Заверните книгу, — сказал Князев испуганному приказчику и, повернувшись к Елизарову, оглядел его поношенную шинель, добавил с оттенком презрения: — Вы его дождетесь, господин вечный студент, если будете продолжать в том же духе.

Взяв книгу, он вышел из магазина. Резкий ветер отвернул полу его шинели, чуть не сорвал с него фуражку.

Этот фигляр, конечно, пьян и лезет на рожон. В такие дни в перепуганной столице он, наверное, кажется себе смельчаком. Но к тому, что я называю внутренней правдой, это никакого отношения не имеет. В тех людях, о которых я теперь постоянно думаю, нет ничего демонстративного. Пожалуй, сильнее всего я это почувствовал на суде во время речи Александра.

Зал суда. Люди сидят, подавшись вперед, в одинаковых позах, как будто все они — одно существо. Внимательные глаза, окаменевшие от напряжения лица.

Строй речи, интонация — все свидетельствовало о том, что он хочет донести до всех, включая судей, ту правду, которой владеет. В зале люди, не разделяющие его взглядов, более того, враждебные ему. И все же им, именно им, он предназначает сейчас свои убеждения, добываясь самого большего: его слышат! Несмотря на самый специальный допуск публики в зал, эта речь тотчас стала известна. Признано, что она не уступает знаменитой речи Желябова. Словом, кто станет отрицать мнение правительства: Александр Ульянов особенно опасен.

Поток света, падающий на Александра из круглого окна, как бы отделяет его от всех присутствующих. Глядя на него, трудно поверить, что он — обвиняемый. Открытая смелость, безупречная логика мыслей, спокойная, естественная речь наводят на мысль об университетской аудитории, о научном диспуте.

— Единственный правильный путь воздействия на общественную жизнь есть путь пропаганды пером и словом. Поэтому ближайшее политическое требование интеллигенции — это требование свободы мысли, свободы слова. Для интеллигентного человека право мыслить и делиться мыслями с теми, кто ниже его по развитию, есть не только неотъемлемое право, но даже потребность и обязанность. Но по мере того, как теоретические размышления приводили

меня к этому выводу, жизнь показывала самым наглядным образом, что при существующих условиях таким путем идти невозможно.

В тишине зала отчетливо раздался стук какого-то упавшего предмета. Все лица повернулись в сторону дамы, уронившей веер.

— При существующем отношении правительства к умственной жизни невозможно не только социалистическая пропаганда, но даже общекультурная, даже научная разработка вопросов крайне затруднена. Известно, что у нас дается возможность развивать умственные силы, но не дается возможности употреблять их на служение Родине.

Как одухотворены сейчас лица Осипанова, Генералова, Андреюшкина, как будто освещены изнутри новым светом. У сумрачного, ушедшего в себя Шевырева слезы на глазах. Замер в подобострастной неподвижности обычно суетливого Михаила Канчер.

Он, этот мальчик, которому едва исполнился двадцать один год, в эти мгновения будто поднимал все происшедшее на совершенно иную плоскость, будто показывал, что такое высота человеческого духа, что такое состоявшаяся человеческая жизнь, которая не зависит от того, сколько лет прожил на свете человек.

По случаю хорошей погоды двери Кавалергардского манежа распахнуты настежь. Лошади, всадники, быстрый бег по кругу — все это создает рисунок столь контрастный тому, чем заняты мысли Князева, что он невольно остановился и засмотрелся. Один из молодых людей, узнав его, приветственно помахал рукой. Но Князев не ответил, резко повернулся, пошел прочь. Часы на башне Адмиралтейства пробили время.

До вступления приговора в силу осталось десять часов. Теперь император ставит вопрос перед департаментом полиции следующим образом: «Не может быть, чтобы группа юнцов сама по себе организовала покушение и даже идейно его обосновала. Скорее всего, арестована маленькая группа огромной организации, подобной «Народной воле». Итак, либо должны быть прошения о помиловании, которые покажут, что организация разгромлена, либо нужны действия в отношении той организации, которая стоит за заговорщиками». Александр Ильич не подпишет прошения. Это ясно. Но я также знаю, что если нам в департаменте приходит в голову какая-то мысль, то и в эти последние часы человеческой жизни мы начинаем бороться за ее осуществление, даже твердо зная, что потерпим поражение.

Череда камер — тюремный коридор.

Несмотря на лязг засовов и скрип двери, Александр, стоящий у окна, забранного решеткой, неподвижен.

— Александр Ильич! — окликнул его Князев.

Александр повернулся, и Князев невольно даже отступил, увидев в слабых отсветах солнца, едва выглядывающего между быстрых далеких туч, его осунувшееся, неподвижное лицо с мертвыми глазами.

— Что с вами, Александр Ильич?!

Александр не ответил.

— Я принес вам томик Гейне. Вы обмолвились, что хотели бы его почитать.

— Спасибо. Я очень тронут.

Они стояли у противоположных стен камеры, и пространство, разделяющее их, казалось непреодолимым. Но Князев сделал еще одну попытку.

— Сегодня я увижу Марию Александровну. Могу я ей что-то передать?

— Передайте, что я здоров. Что я просил о свидании и нам его разрешили. — Помолчав, он с усилием добавил: — Передайте, что я написал прошение.

— Александр Ильич!

Александр посмотрел на Князева с недоумением.

— Я понимаю, вы испытываете недоверие, — отозвался на этот взгляд Князев. — Но сейчас все смешалось... у нас нет времени... и я должен говорить. Прощение нужно только для того, чтобы опубликовать сообщение в правительственных «Ведомостях». Вас не помилуют!

Князев говорил горячо, сбивчиво, ничем не напоминая сейчас того сдержанного, корректного чиновника, которым был обычно.

Недоумение на лице Александра сменилось вниманием. Не улыбка, тень ее прошла по его лицу.

— Знаю, — мягко сказал он.

— Знаете? Так зачем же? Вы так многого добились на суде! Ореол духовности, ореол вашей личности... Вы же возвышаетесь над всеми.

Александр задумался, лицо его просветлело, жизнь снова проснулась в его глазах.

— В моем нынешнем положении нет ничего, на что я имею право... Тем более на ореол, — Александр даже улыбнулся. — Я не сомневаюсь, что прошения от нас ждут не ради наших жизней. Но все, что я должен был сделать, я сделал, и теперь меньше всего допустимо заботиться о себе. Сегодня прошение — это единственное, чем я могу помочь матери. Делу, которое уже сделано, это не может принести вреда. Ей нужно пережить какие-то часы, удержаться. Это придаст ей силы и возможность повидаться со мной перед казнью. Вот и все, что

сегодня важно. Мне уже, в общем, за это прошение обещали свидание с мамой. Потом — я верю в маму — придут новые силы, она сумеет посмотреть в глаза происходящему, а пока... мама теряет рассудок,— тихо сказал он,— мне сообщили...

— Мария Александровна?! — ахнул Князев.

— Да. Мама надеется, что лишь только я напишу прошение, как государь поспешит отменить мой смертный приговор. Восстановится что-то прежнее, привычное, и мы потихоньку, любя друг друга, станем доживать отведенные нам годы. Мама думает, что государь ждет прошение для того, чтобы даровать мне жизнь. Нет! Когда прошение не будет принято во внимание, мама, наконец, поймет, что не я один причина ее сегодняшнего состояния.— Александр отвернулся к окну, звякнув кандалами.— Что же касается моего имени и гордости, то все это из той жизни, о которой я уже ничего не помню...

...Коридор Петропавловской крепости. К камере Ульянова идет священник. Остановился и, перекрестившись, вздохнул. Дверь открылась, вышел бледный Князев, постоял, пропуская священника в камеру.

Полутемный притвор Исаакиевского собора. В этот час там пусто. Князев зажигает свечи, долго стоит, склонив голову,— мы не видим его лица и не знаем, повторяет ли он молитву или просто думает. Мимо прошел служка. Шорох его рясы вывел Князева из задумчивости. Спокойно и отрешенно смотрели с иконы глаза Богородицы.

Увидеть Марию Александровну сломленной... Это страшно... Тем более, что еще утром я позволил себе предположить, что как ни велико горе Марии Александровны, оно должно в конце концов привести к большому духовному здоровью, а не наоборот. Если, конечно, вы правильно вывел для себя, что такое «внутренняя правда».

Минуя прислугу, Князев прошел в гостиную Пестовских, чувствуя себя связанно, как человек, первый раз попавший в дом и не знающий, что его ждет. На камине — фотография семьи Ульяновых, снятая в недавний, счастливый период жизни.

— Здравствуйте. Я знала, что вы придете.— Мария Александровна вошла собранная, спокойная, с сухими глазами.

— Я только что от Александра Ильича,— живо подхватил ее приветствие Князев.

— Что он? — мягко спросила Мария Александровна.

— Я отнес ему Гейне по его просьбе,— помолчав, Князев добавил нейтрально: — Александр написал прошение.

— Вы действительно сочувствуете Саше, сочувствуете всем нам, я не ошиблась... Помогите же мне! — Мария Александровна опустила на диван.— Что-то пугает меня так же сильно, как прежде, и не дает той надежды, которую я должна была бы испытывать. Скажите, ради бога, скажите! Как вы относитесь ко мне?

— Я благодарен вам за приглашение. За то, что вы поверили мне,— немного чопорно говорит Князев.

— Я много раз просила Сашу о прощении, он не хотел меня слышать. Что же случилось? Как мне понять Сашу? Вы знаете его таким, каким я его уже не знаю. Поэтому я и прошу вас...

— Да, да, все будет хорошо,— осторожно сказал Князев.

Она вдруг посмотрела строго и требовательно.

— Скажите мне прямо — его сломили? И этому способствовала я?

— Нет... — вскинулся Князев и вдруг замолчал, захлебнувшись собственной ненатуральной эмоцией.

— Говорите, говорите, пожалуйста,— умоляюще сказала Мария Александровна.— Мне так важно знать о моем сыне!

— Что бы вы хотели знать? — Князев боролся с собой, со своим волнением.

— Сейчас,— лицо Марии Александровны стало очень сосредоточенным и углубленным.— Почему Александр вошел в заговор? Почему он вел себя так на суде, как будто сам искал смертного приговора? Почему отклонял мои просьбы о прощении и почему он подал его сейчас?

— Я могу ответить вам только: не знаю, не знаю, не знаю. Нужно время, чтобы понять все это. Сказать же я могу только то, в чем абсолютно уверен,— голос Князева набрал силу, зазвучал полно и глубоко.— Александр Ильич преподавал мне урок свободы! Я говорю не о его убеждениях, мне чуждых, я говорю о правде, которой он неукоснительно следует и которая для него превыше всего. Он показал мне — да и не только мне! — что труднее всего — следовать правде! Но в каком бы положении человек ни находился, эту возможность у него отнять никто не может. Более того, это тот случай, когда человек отвечает за себя сам. Вот почему я думаю, что и прошение он написал как свободный человек... Может быть, ему надо было дать вам какое-то время для надежды? Может быть, именно ради этого он и написал прошение? Ему очень важно, чтобы вы ему верили...

— Я вас слышу,— взволнованно, с силой

сказала Мария Александровна.— Я постараюсь.

Оба замолчали. Их сдержанность, взорвавшаяся таким неожиданным образом, требовала паузы. Князев опустил глаза.

Наконец, Мария Александровна спросила уже более спокойным тоном:

— Надеюсь, теперь мне дадут свидание с сыном? Как вы думаете, он захочет повидаться со мной? Вчера мы так нехорошо расстались.

— Он сам просил о свидании, и ему разрешили.

— Да? — Мария Александровна засветилась.

— Но я боюсь,— осторожно начал Князев,— не приведет ли эта встреча к новому непониманию.

— Отчего?

— Но ведь... Мария Александровна, только ради правды я решусь вам сказать, что меня сейчас смущает. Вы простите меня! Но ведь решающим обстоятельством в его поступке было известие о том, что вы тяжело больны, что вы теряете рассудок,— с усилием продолжил он.— Я понимаю, крайние обстоятельства подвигли вас на это... — Князев поискал слово,— ухищрение. Кто может не понять вас в этом! Но поймет ли он?

— Ухищрение? Что вы имеете в виду?

Князев молчал.

— Я теряю разум? Вам так кажется?

— Нет, что вы, Мария Александровна, наоборот, вы...

— Но я же и не могла бы сойти с ума, я не имею на это права. Это значило бы оставить его одного,— к Марии Александровне мгновенно вернулось состояние истерики. Голос ее перешел на шепот.

— Вы меня не поняли,— поспешно поправился Князев.

— Ах, вы думаете, что я прибегла к уловке? Но это невозможно. Мы никогда с Сашей не лгали друг другу.

— Знаю,— с облегчением сказал Князев.— Я вам поверил. Поэтому решаюсь быть предельно откровенным.

— Наверное, я была слишком резка с ним,— не слушая Князева, продолжала Мария Александровна.— Я напугала его своим состоянием! И он подумал...

— Нет, нет! Александр Ильич сказал, что ему сообщили об этом.

— Кто же?

— Наверное, ваш родственник. Больше некому. Простите, но придя сюда, я нашел вас здоровой и сначала предположил, что он действовал от вашего имени.

— Боже мой! Теперь я понимаю,— медленно сказала Мария Александровна.— Это, действительно, наш родственник. Мы с вами в его доме.— Она беспомощно огляделась.—

Так вот каким путем он добился прощения! Теперь Саша возненавидит меня за обман! Теперь я не смогу показать ему на глаза! Он решит, что я сознательно вынуждала его отказаться от самого себя, что я использовала для этого его... любовь, его страх за меня! — Она заметалась по комнате. Остановилась возле Князева и горько сказала: — Вы пришли, и опять все, все переменялось.

— Да,— сказал он.

— Но что же теперь делать? — Она искала у него опоры.

— Сказать правду,— твердо ответил Князев.

— Вот вы и сказали свое слово,— поднялась Мария Александровна.— Только ради этого я и просила вас сюда прийти. Спасибо.

Быстрым шагом вошел Пестовский. Он взволнован.

— Боже мой, боже мой,— почти стонет Мария Александровна и вдруг срывается на крик: — Вячеслав Федорович! Вы, оказываетесь, действовали по принципу — все действия хороши, если они ведут к цели! Вы... не могли! Вы не должны были... Вы не смели говорить Саше, что я теряю рассудок! Вы же знаете, с какой строгостью относится он к каждому своему слову. Он не лжет ни в малом, ни в большом! Ему даже в голову не может прийти, что прибегнуть к обману в такие решительные минуты жизни вообще возможно! Единственное, что у него еще оставалось,— это возможность следовать своему пониманию, и вы у него это отняли! Он больше не может опираться на самого себя! Вы оскорбили Сашу! Вы обманули меня!

— Мария Александровна, что вы говорите? — потрясенно сказал Пестовский.— Это же вы говорили — любым путем спасти ему жизнь.

— Я, наверное, действительно тогда лишилась рассудка,— неожиданно тихо произнесла она.— Я верила вам, я делала все, что вы говорили. А вы? Сначала вы внушали мне, что Саша безумен, теперь обрушили на него, что рассудок потеряла я. А-а, я, кажется, поняла! Люди с таким отношением к жизни, как у Александра, для вас — безумцы! Саша создает, он утверждает в жизни, что может. И расплачивается... вы слышите?.. расплачивается за это до конца. А что создаете вы? Почему вы посягаете на то, чего не создавали?

— Саша разрушил семью. Вы... вас не узнать, вы поседели... Вы кричите! — Пестовский был в отчаянии.

В гостиную вошла, держа в руках свежие «Ведомости», жена Пестовского:

— Вячеслав Федорович! — окликнула она мужа.

— Я же, оказывается, еще и виноват! Я, наверное, заслужил, но вы подумайте, зачем я все-таки пошел к Саше? Вы вспомните, я рядом с вами в такие дни! Я рискую служебным положением, семьей!

— Вячеслав Федорович,— еще раз окликнула жена Пестовского,— я давно вам говорила: мы жертвы чужих страстей.— Она повернулась к Марии Александровне: — Я еще вчера удивилась, как вы отнеслись к тому, что Саша согласился подписать прошение. Вам оно не нужно! Вместо того, чтобы радоваться, вы обвиняете!

— Ася! — окликнул ее Пестовский.

— Мария Александровна, вы слишком честный человек для таких людей, как мы! — Ася! — Пестовский потянулся к газете, стараясь прервать жену.

— Вот правительственное сообщение в «Ведомостях» о подавших прошения,— жена Пестовского ловко увернулась от руки мужа.— Здесь не названа фамилия Ульянова...

— Так Саша не написал прошение? — пытается понять Мария Александровна.

— Я не стал вам показывать газету, боялся расстроит! А Александр, получается, вообще не подумал о вас,— как-то даже светло сообщил Пестовский.— Вы же, Мария Александровна, уже выбросили меня из своего сердца!

— Не написал?

— Да, Мария Александровна, Саша опять нанес вам удар. Ужасный, безжалостный. Что вы скажете на это теперь?

Мария Александровна молчит.

— Мария Александровна, не молчите, прошу вас. У нас есть еще семь часов до вступления приговора в силу! Давайте подумаем, что еще можно сделать!

Мария Александровна молчит.

— Мария Александровна!... — Пестовский чуть не плачет.

— Видно, пришел нам срок расстаться с Сашей,— просто и очень спокойно говорит Мария Александровна.

— Ну, что ж, Мария Александровна, вы отпустили меня от себя,— тихо сказал Пестовский.— Я думал, что нужен вам, что вы цените наши отношения, но вы сами сейчас освободили меня от обязанностей перед вами.

Ночь. Город затих. Отражаются в Неве фонари. Замерла громада Зимнего дворца. Всего несколько окон светятся на фасадах домов. Проехала пролетка по набережной. И снова тишина. Темная гладь канала. Окно во втором этаже нового дома. В окне Князев. Он во фраке, видно, еще не успел переодеться.

По отношению к таким людям, как Александр и Мария Александровна, принятые меры не годятся. Они того масштаба, который нам, обычным людям, неведом. Александр Ильич уже за чертой обычного. Мария Александровна, как я понимаю, еще по эту сторону черты, но она из тех, кто в силах за нее ступить. Я же из тех, кому это не дано. Увы, мы не сразу ушли от Пестовского. Прежде чем мы вышли из дома, явился еще один человек. Марк Елизаров. Последствия его прихода были очень тяжелы для Марии Александровны. Впрочем, это особый разговор... Позже я сказал Марии Александровне, что знаю о прощении Александра наверняка. Что он мне сам о нем сказал. И что я постараюсь выяснить обстоятельство. Мария Александровна была спокойна. Она спросила: «Как же вы будете жить дальше?» Я ответил с той внутренней правдивостью, которой стал придавать значение в последнее время: «Не знаю». Я действительно не знаю. Похоже, я уже навсегда упустил момент, когда действие, решимость изменить свою жизнь открыли бы мне такую возможность. Я человек потрясенный, но не более того. Впереди у меня лишь длинная череда дней. Но я так же понимаю — то, что я приблизился к этим людям, понял их высоту, их правду, навсегда наложит отпечаток на все, чем я буду жить.

Над городом начинает звучать бой часов. На обжалование вместо обычных двух недель было дано всего два дня. Это значит, что судьба заключенных решена еще до суда и что его задача лишь выполнить волю его императорского величества.

Замершие силуэты домов. Бьют часы над тихим Невским. Над Петропавловской крепостью. Над Медным всадником, вздыбившим своего коня.

Вот и истекли последние сутки. И там, в тюрьме, приговор вступил в силу. А мы? Мы на свободе? Порой город кажется мне большой тюрьмой, где все — бессрочные узники. А разве не так? Разве не узник государь, запертый в своей Гатчине под охраной войска?

...Обнаженные женские плечи. Военные мундиры. Блеск звезд и орденов. Гремит мазурка, танцуют, летят по зале пары. И вдруг замерли...

С самого дня несостоявшегося покушения государь живет в загородном дворце, как в осаде. Всюду мнутся ему заговоры, бомбы. И только сегодня он вдруг решил выехать в город на бал великого князя Владимира, чтобы пресечь слухи о страхах, которые его одолевают. Пробыл на балу минут пятнадцать, не больше. Проход государя по залам дворца и его быстрый отъезд не

только на меня, но на многих произвели впечатление похоронной процессии.

Двенадцатый, последний удар часов и — тишина.

Вот и все. Что же еще? А-а, еще его ответ! Я спросил Александра Ильича: «Надеялись ли вы хоть одно мгновение, что ваши намерения осуществятся и принесут плоды? Что вы одержите победу?» На меня смотрели черные глубокие глаза, полные спокойствия. «Нет». «Нет?! Почему же вы тогда не бежали? Полиция о вас не знала, вы могли скрыться...» Он посмотрел в упор и так же спокойно ответил: «Я не хотел бежать, я хотел умереть за мою отчизну».

За окном, у которого стоит Князев, — звезды, мириады звезд. Небесная бесконечность.

Я спросил: «Александр Ильич, могу я вам быть чем-то сейчас полезен?» «Да. Я хотел бы прочитать Гейне в подлиннике, — отозвался он просто. — Но это, наверное, слишком серьезная просьба?»... Почему звезды не приходят в равновесие с окружающим пространством? Почему они светят, посылая энергию в течение многих лет и не остывают? Какова природа звездной энергии?

ПОРОГ

Монолог пятый — монолог Марка Елизарова
21 АПРЕЛЯ, УТРО... НА ОБЖАЛОВАНИЕ
ОСТАЛСЯ 1 ДЕНЬ.

Взошло солнце, все осветилось ясным, теплым светом, все ожило вокруг.

На крыльце небольшого дома, съжившись, охватив колени руками, сидит человек.

Весенняя улица, вся в молодой, легкой зелени. Человек пошевелился, поднял голову. Это Марк Елизаров. Он смотрит на окна второго этажа: там дрогнула занавеска и кто-то в сью очередь из окна смотрит на него. Он встал, поежился от холода.

Мария Александровна сказала, что я должен оставить Анну, потому что я никогда не женюсь на ней, — тут он даже рассмеялся невесело. — Ведь из слушательницы Бестужевских курсов, девушки из хорошей семьи и моей невесты она превратилась в арестантку, сестру государственного преступника, осужденного на казнь. Что я мог ответить? Сказать, что я уволен со службы? Это значило бы усугубить и без того непосильный гнет ее души. А утверждать, что я женюсь на Анне? Имею ли я теперь на это право?

— Здесь еще? — шептались в сенях две испуганные женщины — хозяйка и служанка.

— Здесь. Господин, всю ночь просидел?

— Что надо-то ему? Разве городского позвать?

Марк повернулся лицом к двери, и служанка, всматривающаяся в него через дверную щель, ахнула:

— Да это ж Анны Ильиничны жених! Не пускать! Не пускать его! Тоже небось арестант!

— Да нет, как можно! Вещи же остались. — И, приоткрыв дверь, хозяйка тихонько позвала: — Господин Елизаров! Вы что здесь?

— Здравствуйте. Я не хотел вас беспокоить. Можно мне посидеть немного в комнате Анны?

Хозяйка поколебалась, но впустила и в тесной, заставленной передней, испуганно глядя на него, проговорила:

— Горе-то какое! Что Анна Ильинична, здорова ли?

— Здорова, — устало сказал Марк. — В тюрьме она. Пока еще ничего не решилось.

— Барышня милая такая, тихая. Я теперь, знаете, всего боюсь. У дома все кто-то вертится. Присматривают. Что же это теперь и по ночам дежурят?!

Она ввела его в комнату и, поправив покрывало на кровати, сказала:

— Вот прибралась, как сумела. А то ведь все перевернули, искали что-то. — И, помолчав, робко спросила: — Как же теперь, ждть ее или сдавать? И за это время мне как, заплатят ли? Вы не за вещами?

— Вы подождите, подождите еще. Я дал телеграмму начальнику департамента полиции, где прошу не высылать Анну и дозволить поселиться при мне. Все образуется. А за эти два месяца я вам заплачу.

— Ну и хорошо, — успокоившись немного, сказала хозяйка. — Может, кофею вам сделать?

— Нет, спасибо. Я тут просто немного посижу.

— Сидите, бог с вами, — она тихо вышла из комнаты.

Марк без сил опустился на стул и огляделся. Скромная, чистенькая комнатка, без каких-либо излишеств. Все, как при Анне, и в то же время не так. На столе, покрытом кружевной скатертью, лежало вышиванье, валялся наперсток. Марк машинально взял его в руки.

Я не был в этой комнате с того самого дня — воскресенья, первого марта. Это было в другой жизни, спокойной, безмятежной. Знать бы тогда, что на следующий день Анна, придя на квартиру к Александру, будет арестована.

Эта же комната, только не такая безжизненно-прибранная, как сейчас. Фотография Александра на столе, портрет Ильи

Николаевича на стене в траурной рамке.

Марк смотрит на небо, виднеющееся из-за деревьев сада. Анна вышивает, нитка запуталась, она нервно дергает ее.

— Так тревожно сегодня. День хороший. Весна. Может быть, потому, что Саша не зашел? Он всегда по воскресеньям заходит ко мне. Он... таятся от меня. Отчего это? С ним что-то происходит, я чувствую. Может быть, он влюблен?

— Влюблен? Нет, вряд ли,— чуть рассеянно отвечает Марк.

— А я думаю, у него любовь и скорее всего трагическая.

— Все вам, девицам, любовь чудится,— мягко, чуть иронично произнес Марк.

Анна засмеялась. Наперсток упал с колен, покатила по полу, но она не нагнулась поднять его, а подошла к Марку, стала за его спиной и проследила его взгляд.

— Вы на небо смотрите? Саша тоже очень любит смотреть на небо. Вы замечали, какое у него при этом лицо?

— Да, да,— сказал Марк,— какое-то детское.

— Когда мы были маленькими, он не был таким скрытным. Сдержанным — да, но не скрытным. А сказать вам, почему люди любят смотреть на небо?

— Скажите,— снисходительно согласился он.

— Потому что небо — самое чистое из всего, что есть на свете,— убежденно произнесла она.— Посмотреть на небо значит утвердить в себе образ чистоты. А душа, которая постоянно носит в себе такой образ, сама становится чище. Это мое открытие,— гордо добавила Аня.

Марк повернулся, внимательно и серьезно посмотрел на нее.

Город проснулся, полон жизни. Гремят тяжелые возы, дребезжат пролетки, звеня, проезжают конки. Это уже другая улица, широкая, оживленная. Лохматый возчик чуть не наехал на Марка, который стоит посреди мостовой, смотрит в небо. Видно, Марк в своей мятой, потрепанной шинели не внушает уважения даже возчику. Марк молча перешел на тротуар.

Образ чистоты. Какие наивные, детские мечтания. Там, где сейчас Аня и Александр, неба не видно. В телеграмме я просил не разрывать связанных невидимо сердец; просил об Ане как о невесте. Просил пожалеть ее мать. Бедная Мария Александровна.

Человек в гороховом пальто делал вид, что рассматривает витрину.

Этот не первый день ходит за мной. Интересно, что они хотят узнать, что выведать! Досталось ему, наверное, в эти недели

таскаться за мной по городу! Ведь я не могу оставаться на одном месте. Только движение успокаивает меня. Что-то он думает обо мне? Наверное, полагает, что я буйно помешанный. И в самом деле, все эти дни я буйствовал, нарывался на аресты, скандалил, и все это, как я теперь понимаю, от чувства собственной несостоятельности.

Марк оглядывается. Гороховый следует за ним, даже не особенно таясь.

Нужно немного отдохнуть и успокоиться.— Марк лежит, не раздеваясь, накрывшись шинелью в небольшой, бедно обставленной мансарде, которую он снимает с товарищем-студентом.— Спать я, кажется, совсем разучился.— Он отвернулся к стене.— Но у меня такое чувство, что я вот-вот пойму что-то главное, что-то очень важное, после чего моя жизнь в корне переменится. Нужно только хорошенько подумать.

— Марк, ну и вид у тебя,— говорит его товарищ, откладывая книгу, которую читал.— Тебя не лихорадит? Сейчас налью чаю. Больше ничего нет.

Как же все случилось? Мы с Аней действительно не знали о заговоре, вообще ни о чем не подозревали. Но если для большинства случившееся невероятно и непостижимо, то я был бы нечестен, утверждая, что для меня эта трагедия — полная неожиданность.

В дверь постучали.

— Слушай,— сердито начал вошедший.— Ты одалживал у меня брюки?

— Одалживал,— сказал товарищ.

— Одалживать можно на час, на вечер, на несколько дней, наконец. А ты уже месяц мне их не возвращаешь.

— Но мне не в чем ходить.

— Мне-то что за дело. Я тоже не богат.

Голос становятся тише, размываются... *Александр убежденный социалист. Мы с ним из одного землячества. Дело пропаганды он считал очень важным и вовлекал в него своих товарищей, в том числе и меня. Да, он делал все это. Изучал Маркса, вел рабочие кружки Галерной гавани, организовывал новые. Это же делали многие из нас. Но в отличие от нас, он никогда и нигде не говорил об этом, так что многие студенты, далекие от него, упивавшиеся собственным вольнодумием, говорили ему прямо в лицо о его аполитичности. Он никогда не возражал. Никогда. Ему это было не нужно. Мы оба с ним участвовали в добролюбовской демонстрации, оба тяжело переживали аресты, оскорбления интеллигенции, последовавшие за ней, но выводы сделали совершенно разные. Я созерцал происходящее и делался все более скептическим. Он же ринулся в деятельность.*

Снова стук в дверь.

— Слушайте, что я достал! Листовка Союза соединенного петербургского студенчества,— сказал один из вошедших студентов.

— Это какая? Выпущенная после речи Андриевского?

— Да.

— Давайте, только тише и окна занавесим. Там под лестницей шпик стоит. Марк, наверное, привел.

— «Санкт-Петербургский университет опозорен,— начинает читать один из студентов.— Он холопски пополз за своим ректором к стопам деспотизма и сложил у его ног свои знамена. Он забрызгал несмываемой грязью свои лучшие традиции, которые были его украшением, его силой...»

— Ах, как сказано! — горячо восклицает другой студент.

— Это такая гнусность — поднесли адрес царю, да еще от нашего имени! — поддержал его второй.

— «Мы же, со своей стороны, спешим заверить, что не выражали согласия на поднесение адреса, что мы не отступались и не отступимся от своих традиций, освященных тысячами жертв, а будем стремиться к воплощению правды в общественные формы, как мы ее понимаем, и всегда будем учиться находить, понимать и любить ее. Мы никогда не порицали и не будем порицать наших братьев по сердцу, гибнущих в застенках, но преклонимся перед их нравственной чистотой и будем учиться тому, как нужно любить и бороться...»

Вот и еще одно доказательство его правоты. Конечно, не заговор был смыслом его усилий. Ведь ради того, чтобы разбудить людей, он и вошел в заговор. Но наше студенческое вольнодумство было совсем не той водой, в которой он мог бы плавать. Слишком ее мало для такого человека, как он. Если бы был известен путь для действий, то не было бы и заговора. Впрочем, это я теперь только понимаю. А тогда... Он ведь не старался выделиться, когда бывал на наших нелегальных сборищах, на студенческих вечеринках. Мне почему-то запомнилась одна. Может быть, потому, что я тогда впервые увидел его в окружении будущих товарищей по процессу, а может быть, из-за разговора, который у нас с ним тогда состоялся.

Большая комната в квартире у одного из состоятельных студентов. При помощи импровизированного занавеса часть комнаты превращена в сцену. На ней сейчас находятся три студента и девушка-курсистка с милым, значительным лицом. На вид ей лет семнадцать.

В «зале» Александр, Шевырев, Генералов, Елизаров с Анной. Еще студенты и курсистки.

— Иван Сергеевич Тургенев. «Порог», — произносит один из студентов, исполняющий роль «от автора».

— «Я вижу громадное здание,— продолжает другой.— В передней стене узкая дверь раскрыта настежь; за дверью — угрюмая мгла. Перед высоким порогом стоит девушка... Русская девушка. Морозом дышит та непроглядная мгла; и вместе с ледящей струей выносятся из глубины здания медлительный, глухой голос».

— «О ты, что желаешь переступить этот порог,— еще один студент делает шаг вперед и произносит: — знаешь ли ты, что тебя ожидает?»

Девушка, зарозовев лицом, говорит:

— «Знаю».

— «Холод, голод, ненависть, насмешка, презрение, обида, тюрьма, болезнь или самая смерть?» — говорит студент.

— «Знаю», — отвечает девушка-курсистка. Легкие кудри спадают на лоб и на затылок. Шпильки не могут их удержать.

— «Отчуждение, полное одиночество?»

— «Знаю... Я готова. Я перенесу все страдания, все удары».

Как безгранично серьезны сейчас глаза девушки.

— «Не только от врагов — но и от родных, от друзей?»

— «Да... и от них».

— «Хорошо. Ты готова на жертву?»

— «Да».

— «На безымянную жертву? Ты погибнешь — и никто... никто не будет даже знать, чью память почитать!..»

Голос девушки окреп, зазвенел:

— «Мне не нужно ни благодарности, ни сомнения. Мне не нужно имени».

Глаза Александра блещут. Он подался вперед, он действительно взволнован тем, что происходит на сцене.

— «Знаешь ли, что ты можешь разувериться в том, чему веришь теперь, можешь понять, что обманулась и даром погубила свою молодую жизнь?» — спросил студент.

— «Знаю и это. И все-таки хочу войти»

— «Войди»

— «Девушка перешагнула порог — и тяжелая завеса упала за нею», — произнес первый студент.

— «Дура! — проскрежетал кто-то сзади», — произнес второй студент.

— «Святая! — пронеслось откуда-то в ответ». — Это третий студент.

Двое расторопных молодых людей закрыли занавес.

В зале задвигались, захлопали.

Исполнители вышли кланяться. У девушки — какая она тоненькая! Как горделива

ее походка! — на глазах слезы восторга и счастья.

Александр аплодирует вместе со всеми. К нему пробираются Аня и Марк.

— Саша, я еще не имел возможности поздравить тебя с награждением золотой медалью за твои научные изыскания, — с чувством сказал Марк.

— Спасибо, — просто ответил Александр.

— Я давно хотел сказать тебе, — Марк возбужден, говорит приподнято, даже торжественно, — что я горжусь дружбой с тобой. Ты лучший из людей, которых я когда-либо знал!

Александр, не любивший пафоса, как-то дернулся, посмотрел Марку прямо в глаза, сказал неожиданно резко и очень серьезно:

— Мы живем в такое время, когда лучших людей держат в тюрьмах.

В комнате на мансарде набилось множество молодых людей.

— А я тебе говорю, что он никогда не подаст прошения! — горячится один из студентов, потрясая «Ведомостями».

— Одиннадцать из пятнадцати человек уже подали.

— Но Ульянова среди них нет! Склонить голову перед царем! Предать наши принципы! Он не может это сделать!

— Что ты себя с ним равняешь! — Марк вскакивает с кровати, в бешенстве кидается на говорящего. — Какие принципы? Какие, я спрашиваю, у тебя есть принципы? Он жив, что ты его отпеваешь? Прощения он не напишет? Вот чего тебе еще от него нужно! Ты на свободе! А он, может быть, завтра умрет! Все вы горазды только языком болтаете!

Ошеломленные внезапной вспышкой, все замолчали.

— А ты? — исподлобья взглянул на него говоривший.

— И я, и я такой же — болтун, не способный на дело. — Он схватил шинель и направился к выходу.

— Марк, погоди, тут тебе записку принесли, — сказал молоденький студент, до этого молчавший. Он только с простодушным сочувствием слушал своих друзей.

Марк взял записку, пробежал глазами, спросил:

— У кого есть часы?

— Половина четвертого.

— Не успеваю. Нужны деньги на конку. Меня Мария Александровна Ульянова просит к себе.

Начали спешно выворачивать карманы. С трудом набрали несколько копеек.

— Передай ей нашу любовь и поклонение, — очень серьезно сказал студент, распахнувший перед Марком дверь.

Марк спустился по крутой лестнице, ведущей с мансарды, пересек двор, свернул за угол. И вот уже он едет на площадке конки, в глубине которой виднеется гороховое пальто.

Да, было бы неправдой на самом деле, если бы я сказал, что столкнулся с тем, чего никак нельзя было предположить. Надо быть честным перед собой. Просто Александр не настолько серьезно воспринимал меня, как я думал. Он скрыл от меня свое решение вступить в заговор? И совершенно справедливо. Кто я такой? Человек, не способный к действию. И Мария Александровна права, что меня изгнала. Я недостойн ее дочери. Зачем только она меня зовет? Еще этот шик...

Оглянувшись на горохового, Марк неожиданно соскакивает на ходу и бежит к проходному двору. Гороховый замешкался, побоялся соскочить сразу. И вот Марк уже на другой улице. Снова проходные дворы... Оглядывается... Удалось ли ему оторваться от преследования? Запыхавшись, вбегает в подъезд дома Пестовских.

В гостиной стоит гнетущая тишина, вызванная словами Марии Александровны: «Я хотела бы уйти отсюда вместе с вами!» — обращенными к Князеву. Марк, войдя сюда в лихорадочном возбуждении, не понимает, что здесь происходит.

— Здравствуйте, — говорит он всем и, пораженный присутствием Князева, договаривает, обращая теперь только к нему: — А-а-а, утонченный читатель Гейне! Вы-то как здесь?

Князев, очень бледный, прямо посмотрел в глаза Марку.

— Молодой человек, — истерично воскликнул Пестовский. — Вы тоже, как и я, ни в чем не отступили от Марии Александровны! Но когда вы узнаете, как Мария Александровна обошлась со мной, вы поймете, что с вами будет то же самое! Бегите, пока не поздно! Вспомните о своей репутации, о службе, о семье! Еще вчера Мария Александровна не понимала Александра, а сегодня она там же, где и он, и к ней присоединяются самые неожиданные личности! — ткнул он пальцем в сторону Князева.

Но и тут Марк по-своему истолковывает поведение Пестовского и его слова, он думает, что состояние Пестовского вызвано странным присутствием здесь Князева. Он опять говорит с Князевым:

— А вы, оказывается, не просто судейский, а из тех, кто судит самого Александра Ульянова? Значит, я не ошибся, заметив вас сегодня у «Милье»! Что же вам нужно-то здесь? Прощение? Все то же

прощение? Наслышан! Все наслышаны! Но вы его не дожидаетесь, имейте в виду! — Он схватил газету, которую держал в руках Князев, и потряс ею перед его лицом: — Нет этого и не будет!

Губы Марии Александровны шевельнулись, но она так и не смогла ничего сказать.

Пестовский же, как-то тоненько пискнув, бросился вдруг на Марка с кулаками.

— Как вы смеете?! Здесь? В моем доме? Не дождемся прощения? Вон! Во-он! Вешать! Таких надо вешать, вешать! — совершенно забывшись, кричал он.

Мария Александровна при этих словах как бы остолбенела на мгновение и, потеряв сознание, рухнула на пол.

Князев едва успел ее подхватить.

Марк у тюрьмы, где содержится Анна. Глухая стена. Часовой у ворот. Светит луна, заливая все вокруг странным, нереальным светом. Марк стоит, опустив голову, засунув руки в карманы. Он без головного убора, воротник его шинели поднят.

Обморок Марии Александровны был глубок и страшен. Почти два часа мы не могли привести ее в чувство. Боже мой, сколько я пережил за это время! Но что мои переживания по сравнению с силой и напряжением ее чувств! Я-то вел себя, как дурак, как глупый мальчишка. Не знал, кто такой Князев. Не осознавал величия и ужаса той сцены, при которой мне довелось присутствовать.

Марк разминает затекшие ноги, зябко поводит плечами, как будто только теперь почувствовал, что замерз. Марк вынимает руку из кармана. На ладони наперсток, который он по-видимому случайно захватил с собой. Он рассматривает его.

Все-таки она проходит... эта ночь... Я пытался спать по ночам в эти двое суток, стеречь время, быть часовым при нем. Но разве его удержат? Вот-вот пройдет и этот, второй день обжалования, приговор окончательно вступит в силу. Да и зачем стеречь его, этот день? Ведь Александр все равно не напишет прощения. Я это знаю, как никто другой.

В тишину затемненной деревьями улицы у дома предварительного заключения один за другим падают двенадцать ударов — неся известие о начале новых суток.

Марк подходит к стене тюрьмы. Осторожно кладет наперсток в пробивающуюся, серебряную в лунном свете траву. Выпрямляется. Смотрит в небо. Там мириады звезд.

Вот и все. Все совершилось уже. И во мне совершился переворот. Наконец, я понял: жить так, как жили мы раньше,—

безнравственно. Поэтому я становлюсь человеком, готовым всецело принадлежать одной цели — переустройству общественной жизни. Я становлюсь революционером. Это мой путь. И я не отступлю от него, что бы ни случилось. Я не знаю теперь, имею ли я право на брак с Анной, захочет ли Анна разделить свою судьбу с человеком в определенном смысле уже новым для нее, почти незнакомым? Примет ли меня в этом образе Мария Александровна рядом со своей дочерью? Может быть, и нет. Но я всегда буду служить ей и ее семье. Всегда. Я так многому научился у них. Александр любит — жизнь, людей. Поэтому он приговорен. Я тоже готов к любви. Я слышу голос: «Войди!» Я шагаю за порог.

ПРЕДАТЕЛЬ

Монолог шестой — монолог Петра Шевырева
5 МАЯ, УТРО. ПРИГОВОР ВСТУПИЛ
В СИЛУ. ВПЕРЕДИ — КАЗНЬ.

На рассвете в камерах Петропавловской крепости, куда и днем едва пробиваются лучи солнца, непроглядная тьма.

Приглядевшись, можно различить лежащего на койке человека. Гул голосов, где-то грохнула дверь. Звон кандалов. Шаги, шаги, ближе. Молодой голос:

— Прощайте все! Меня повели!

Человек вскопчил. Напряженно стоит среди камеры. Ждет.

Вот этот миг. Боюсь ли я? Нет. Я, Петр Шевырев, двадцати семи лет от роду, готов покинуть мир. Я не много видел здесь хорошего. Не много и успел, хотя всю жизнь, сколько себя помню, находился в состоянии лихорадочной деятельности. С того момента, когда я осознал, что главное в моей жизни — борьба с существующим строем, я бросил все, чем жил раньше,— дом, семью, друзей, перевелся из Харьковского университета в Санкт-Петербургский и исходил город в поисках тех, на кого мог бы опереться. Это я, я вовлек всех в заговор, и то, что я не увижу больше товарищей, не смогу сказать им, о чем думал в эти дни, что понял и осознал,— единственное, что меня сегодня по-настоящему печалит.

Загребел замок. Дверь отворилась.

Надзиратель отомкнул кандалы. Внесли свечу. Своя одежда — ее бросили к ногам — страшно измята. Обувь с трудом налезает на отвыкшие ноги. Халат, белье, коты — на пол. Оделся. Снова замкнули кандалы.

Длинные пустые коридоры. Случайно попавшийся стражник поспешно повернулся лицом к стене: никто не должен видеть арестанта. Позади надзиратели, офицеры, тюремная стража.

Нижний этаж. Двор. Тюремные ворота. Черная тюремная карета.

Арестант шурится на неяркий свет начинающегося утра. Жандармы подхватили его под руки, толкнули в карету, сели напротив.

Значит, вот как это бывает. Мой последний путь. Ни одной живой души рядом. Некому взглянуть в глаза.

Бледное лицо заключенного за оконной решеткой.

Город, который я не успел полюбить, виден мне сейчас так, словно бы это он, город, а не я, посажен за решетку... Я никогда никем особенно не дорожил. Чувство любви незнакомо мне, оно было ненужно в моей жизни. Но сейчас, когда предстоит расстаться с жизнью, так страшно уходить из нее в полной немоте и безвестности.

Колеса гремят по камням мостовой. Цокают копыта лошадей. Жандарм, повернувшись, задел саблей за выступающую из стены скобу. Шевырев болезненно морщится. Зажимает уши руками.

Голова раскалывается на части! Куда меня везут? Зачем? А может быть... Нет, не надо тешить себя надеждой! Помилования нет и не может быть. Я это понимал даже тогда, когда писал прошение.

Карета остановилась.

Узкая полосатая калитка, через которую конвоиры, держащие арестанта под руки, протиснулись с трудом. Вода, черная, густая вода, в которой тускло поблескивают звезды. Труба пароходика у пристани, выбрасывающая клубы дыма. Трап. Палуба. Люк. Шевырева впихивают в люк и только здесь отпускают.

Первое, что он видит, когда стоит на лестнице и всматривается в полумрак тускло освещенного трюма, это поднятые к нему лица Генералова, Осипанова, Андреюшкина, Ульянова. Они стоят, прижавшись плечами, держась скованными руками друг за друга, — видно, тоже только встретились. Вокруг — жандармы. Их много набилось в трюм.

Переполненный радостью встречи, несмотря на кандалы, Шевырев буквально скатывается с лестницы и бросается к товарищам. Все, кроме Ульянова, отступают от него, так что между Александром, Шевыревым и теми тремя образуется пространство.

— Ах, вот оно что! — Точно наткнувшись на преграду, Шевырев останавливается и неожиданно смеется. — Вы считаете меня предателем?

Он переводит глаза с одного на другого. Только Александр, видит он, не выражает в своем взгляде отчуждения.

— Но, скажите на милость, что я предал?

Разве я назвал хотя бы одно имя? Все вы знаете мою память. Вы знаете, сколько мне известно фамилий, адресов, имен. Разве они фигурировали в процессе? Да, я пытался скрыться от ареста. Да, я уступил на процессе Александру место руководителя заговора. Мне казалось, что он стремится к этому из тщеславия и потому, что молод, мальчик, и так и не понял, что произошло. Может быть, вы думаете, что я это сделал из страха? Нет, я ничего не боялся и не боюсь. Но когда заговор провалился, когда я увидел все в истинном свете, я вдруг понял унижительность положения — я вхожу в историю нашего отечества как организатор не только неудавшегося, но и смехотворного покушения. — Он поворачивается к Осипанову: — Ты, Осипанов, смотришь на меня с презрением, но понял ли ты всю нелепость своего поведения в околотке, куда тебя привели, не подозревая даже о заговоре? Ты бросил на пол книгу, которую держал в руках. Ты надеялся, что бомба, спрятанная в ней, взорвется и ты геройски погибнешь. Зачем тебе было погибать в компании ни в чем не повинных околоточных? Мало того, они даже ничего не заподозрили, решили, что ты уронил книгу случайно. Тогда ты поднял ее и снова, вопреки здравому смыслу, бросил, во второй раз. И опять никто ничего не заподозрил. И только когда один из полицейских поднял и удивился ее тяжести, они поняли, что это за книга, и испугались. А ведь все, Осипанов, что требовалось, когда ты был задержан, это предъявить документы и уйти восвояси. — Он переводит глаза с одного на другого. — Как глупо, как смешно и глупо мы себя вели!

Все молчат. Смотрят на Шевырева.

— Ты, Генералов, отвечал за металлщиков на Набережной. Ты, вероятно, и придумал, чтобы металлщики прохаживались неподалеку друг от друга, делая вид, что они совершенно незнакомы. Именно это-то и навело полицейских, не раз видевших их вместе, на подозрение. И они решили их проверить у них документы. А ты, Андреюшкин, великий заговорщик, зачем ты написал своему приятелю в Харьков, — и так запросто, в заурядном письме, — что вошел в заговор и готовишь покушение на государя? Боже мой, мы только жалкая горстка запутавшихся и неопытных юнцов! Вот что я понял, когда все произошло, и разуверился в смысле дела, которое мы делали. Я был готов отдать моему народу все. Все! — с силой повторил он. — А в итоге лишь одно: средства, которые мы избрали, не те. Путь к спасению людей нам закрыт. Мы не знаем его.

— Замолчи! — прервал его Осипанов. — Покушение сорвалось, но дело, ради которого мы его затеяли, осталось. А ты отрекся

от всего. Ты — предатель. Ты написал прошение, молил о помиловании.

Качало. Пятеро стояли в трюме в окружении конвоиров, жандармов, солдат.

— А может быть,— Шевырев презрительно глянул на Осипанова,— если бы и вы написали прошение, нам даровали бы жизнь?

— Нет, Петр! — сказал Александр.

— Почему ты так уверен? — похоже, что Шевырев теперь откровенно зауродствовал.— Почему ты всегда так уверен?

— Потому что я тоже написал прошение! — тихо сказал Александр.

Все повернулись в его сторону.

— Перестань, Саша! Кто же этому поверит? — вскричал Осипанов.— Зачем ты возводишь на себя напраслину? Ты и его теперь хочешь защитить?

— Это долг перед матерью. Я должен был его выполнить. Я написал прошение,— твердо повторил Александр.

— Ничего не понимаю,— бурно заговорил Андреюшкин.— Я на кого угодно готов был подумать, но ты, Саша... У всех у нас родные, близкие. И о маме не просят того, кого намеревались убить. У него тоже есть своя мама. Ты слишком демонстрировал свое желание умереть! Это производило неприятное впечатление, понимаешь? Даже тягостное! И... не выдержал. Силы твои кончились. Жаль! Жаль! Как и Шевырев, ты предал не нас, себя!

Теперь отступили и от Александра. Саша стоит, не двигаясь. Трое по одну сторону, Ульянов и Шевырев по другую, но тоже не рядом, не смотрят друг на друга.

— Перестаньте! — страстно говорит Шевырев.— Нам же предстоит умереть!

Трое переглянулись. Шевырев проследил за их взглядами.

— Неужели от того, что мы неожиданно здесь, на пароходе, вы надеетесь, что нас помиловать? Даже я, написавший прошение, на это не рассчитываю, тем более незачем надеяться вам. Я написал его еще до суда. Я пал так низко в своем разочаровании, что мне казалось — пусть пожизненное заключение, пусть что угодно, но только жизнь. Может быть, поэтому я смог больше, чем другие оценить то, что произошло на суде, когда Саша заговорил. Нас не помиловут. Я не знаю, куда нас везут, но мы будем казнены. Если бы мое поведение и мое прошение пересилили значение твоей речи, Саша, я был бы для вас более, чем презренный человек. Но вам, как и мне, могли бы сохранить жизнь. Нам вынесли смертную казнь не присяжные, это сделал сам Александр своей речью. Я хочу поклониться и поблагодарить, Александр, тебя за это. Я понял тогда, что человеческое слово способно

делать чудеса. Я понял, что во всем нужно идти до конца, что нет безнадежных ситуаций, что всегда есть еще шанс для борьбы. Я увидел совсем в другом свете и себя, и всех нас. Им не удалось сделать то, что они задумали. Они хотели использовать наш позор, позор нашей юношеской слепоты, наше неумение, неопытность, они выставили нас на обозрение обывателям и надеялись, что мы сотрем в памяти людей, дискредитируем то, что успели сделать народовольцы. А вместо этого ты... ты сумел разрушить этот замысел силой своих убеждений, ты вернул нам счастье наших устремлений. Я счастлив, что могу сейчас это сказать. Не мысли о смерти заботили меня все это время. Я страдал и думал только об этом. Да, да! Страдал с того момента, как Александр произнес речь. Я вспомнил то, ради чего когда-то возникли наши идеи, я испытал стыд, который страшнее любого приговора, ко мне вернулось чувство собственного достоинства, я опять поверил, что жил не напрасно. Пока ты, Саша, столь, как мне казалось, увлекался своим благородством, я посматривал на тебя с иронией старшего и с нежной презрительностью. Когда ты столь демонстративно, как я думал тогда, отказался от защиты на суде, я рассмеялся. Но когда услышал твою речь и понял, что ты отказался от защиты только ради того, чтобы произнести свое слово, я поверил в тебя, а, значит, поверил во все.

Помолчав немного, он сказал уже другим тоном, устало и грустно:

— А что касается прошения, я уверен, Александра сломить нельзя. Я думаю, понятно, что если Саша и написал прошение, то он сделал это совсем не по тем причинам, по каким написал прошение я. И следовательно, все, что связано с прошением Александра, тоже — другое.

— Какое же? — спросил Осипанов.

— В том-то все и дело, чтобы понять... Я хочу сказать, что если мы столько уже прошли рядом с Сашей и не поняли, что... его нельзя судить, как вот, допустим, меня... то мы вообще... ничто.

— Я лично ничто,— сказал Генералов.— И я не понимаю.

Саша молчал.

— Да, Саша, а почему ты здесь об этом сказал? — спросил Андреюшкин.— Мог бы промолчать. Мы бы не узнали. Может быть, ты раскаиваешься в сделанном?

— Нет,— Александр встретился взглядом с Андреюшкиным, и тот не выдержал его взгляда.

— А в прошении ты раскаялся в своих убеждениях? Ведь этими соображениями руководствовался царь, милостиво требуя наших прошений!

— Нет. Решаясь на прошение, я лишь бросился на помощь маме.

— Какое же, я не понимаю, ты написал прошение, если оно не содержало раскаяния? Ведь прошение пишется по образцу?

— Нет, я писал от себя,— Саша как-будто с трудом оторвался от своих мыслей.

— И что же за этим? Что с прошением? — разговор по-прежнему вел Андреюшкин.

Саша пожал плечами.

Наступила тишина. Слышен был только плеск воды за кормой. Даже жандармы молчали, точно завороченные всем, что происходило. И тогда Александр шагнул к друзьям.

— Спасибо,— сказал он Андреюшкину,— спасибо тебе за вопросы. Петр прав — мы сейчас в таком моменте жизни, когда надо радоваться каждой возможности все договорить.

Положив руку на плечо Андреюшкину, Александр протянул другую руку Шевыреву, как бы объединяя всех.

— Сядем,— просто сказал он.

Звякнули кандалы. Все опустились на пол. Сверху кажется, как будто они собрались в кружок, как на сходке. Александр заговорил негромко, просто и убежденно:

— Не будем жалеть ни о чем. Дело, за которое мы взялись, новое, очень трудное. Оно не было нам так ясно, как теперь. Все мы живем в этом мире, чтобы действовать. Все приходим к истине во время поиска. И наша истина выявилась постепенно, по мере того, как мы вызревали, делая наше дело. Я по-прежнему убежден, что борьба — это не только дело политики, но принцип нашего морального существования. Инерция и неподвижность приносят зла больше, чем ошибки, которые бывают, когда мы движемся к истине. Тем более, что источник, откуда протекали наши ошибки, совершенно чист.

Молодые люди, бледные, изнуренные, доживающие последние мгновения жизни, с горящими глазами впитывали его слова.

— Каждому поколению легко ошибиться,— продолжал Александр,— поверив, что его усилия оказываются ключевыми, переломными для его народа. Мы же не будем обманывать себя. Мы действовали не на том уровне, который приводит к радикальным сдвигам. Да и эпоха наша не та. Наш заговор — событие весьма скромное с точки зрения его исторической значимости, и видеть его надо скромно, не преувеличивая, не драматизируя происходящего. Радикальные сдвиги происходят редко. Но мы все-таки действовали. И я верю — ближайшие поколения, идя за такими, как мы, должны будут открыть действительный путь и тем определить характер движения истории вперед.

С грохотом откинулась дверь люка, в свет-

лом проеме появилась голова офицера. Сразу стал слышен крик чаек.

Звения кандалами, заключенные стали подниматься по лестнице. Чистая и прекрасная расстилалась перед ними Нева. Вырисовывалась вдали старая крепость: высокие толстые стены из белого камня и угадывающиеся под ними глубокие подземелья.

— Шлиссельбург,— дрогнувшим голосом сказал Осипанов.

Александр оглянулся. Лица друзей были бледны и сосредоточенны. В глазах читалось отчаяние. Реальность приговора приближалась к ним вместе со стенами этой крепости, сейчас, когда после долгого перерыва они прожили несколько часов вне камер, видели над собой небо и глотнули свежего воздуха, казалось непереносимой.

И тогда Александр начал декламировать:

На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна.

Никто не удивился: ритм стихов как будто совпадал с медленным движением парохода, и в такт этому движению наплывала на них крепость.

И дремлет, качаясь,
и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.

Местами камень в стенах красный, точно пропитанный кровью.

И снится ей все,
что в пустыне далекой,
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утесе горячем
Прекрасная пальма растет.

На узкой полоске земли, между водой и стенами, вздрагивает от ветра сухой прошлогодний бурьян.

На необозримом просторе Ладожского озера белеют еще не растаявшие льдины.

В серый плащ укрылись боги.
Спят, ленивцы, непробудно.
И храпят, и дела нет им,
Что швыряет буря судно.

Пароходик остановился, спустили трап.

А ведь, правда, будет буря,
Вот скорлупке нашей горе!
Не удержишь этот ветер,
Не взнуздаешь этот ветер!

Два дюжих жандарма первым подхватили Шевырева под руки, поволокли его к воротам. Так начался переход с корабля к крепости. Тихо и спокойно контрастируют стихи Гейне с происходящим, возвышаются над ним.

Ну и пусть рычит и воет,
Пусть ревет хоть всю дорогу.

Завернусь я в плащ мой верный
И усну, подобно богу.

Остановились. Много жандармов столпились у ворот.

Шевырев поднял голову и посмотрел вверх на башню. Сверкает в лучах восходящего солнца надпись, сделанная золотом: «Государева», сверкает и золотой ключ на шпиле.

Шевырева втолкнули в какую-то комнату. И снова сначала: раздели, обыск, тюремная одежда у ног. Только все здесь делалось молча, точно эти люди не умеют говорить. В Шлиссельбурге с арестантами не говорят. Заковали в кандалы, и — надзиратель жестами приказал следовать за ним. Загребев, закрылась тяжелая, окованная железом дверь.

И тут же пошел дождь, весенний обильный дождь. Он омывал стены крепости, прыгал по тяжелым плитам двора.

Шевырев стоит посреди камеры, смотрит на дрожащий огонь площадки.

Как ни странно, но в этих сырых казематах во мне вдруг родилось не желание жить, не надежды — нет! Во мне вдруг родилось чувство жизни! Как? Почему? Не знаю. Я вдруг стал видеть разводы на стенах камеры, копоть, шум дождя, даже караульных за стенами камеры, как что-то прекрасное, совершенное в своем роде и неповторимое. Уже некуда спешить и ничего никому не нужно доказывать. Все, что я мог сделать за свой век, я сделал. Я был счастлив, что я повидал товарищей и что мы все друг другу досказали. С этой нашей последней встречи и до той самой минуты, когда нас повели на казнь, я с каждым мгновением любил их все больше и больше.

Двери распахнулись. Шевырев сам идет навстречу коменданту, офицеру, солдатам, священнику с крестом...

В который уже раз за миллионы минувших лет свет в этом мире сменяет тьму.

Три виселицы с веревками. Эшафот. Тяжелые тучи над высокой крепостной стеной. Вдоль тюремной ограды земля, желтеющая одуванчиками.

Отчего у тюремщиков такая страсть тащить волоком людей, которые и в голове не держат оказывать им сопротивление?

Горят в полумраке факелы. По одну сторону эшафота — начальство. По другую — гробы. На эшафоте, опершись на столб виселицы, здоровенный бородатый мужик — палач.

Закричал петух. Казалось, он полон презрения к этому кошмарному, залитому рассветной влагой миру.

Я увидел пять гробов, два из которых были прислонены к стене, а три накрыты крышками и лежали на земле, и понял, что гробов из нас уже нет в живых. Кто же остался, кроме меня? Кто разделит сейчас эту участь рядом со мной?

Мучительно продираясь сквозь серые облака, захлебываясь в них, пыталось взойти солнце.

— *Здравствуйте, Петр Васильевич,* — услышал я тихий голос Александра.

Шевырев оглянулся. Александр, бледный, спокойный, стоял возле. Губы у Шевырева задрожали.

— *Здравствуйте, Александр Ильич,* — ответил я.

И, повернувшись туда, где стояли три гроба, Шевырев крикнул, будто приветствуя погибших товарищей, — Осипанова, Андреюшкина и Генералова.

— Да здравствует «Народная воля»!

Подождал священник. Александр поцеловал крест.

Священник был очень бледен. Я рассмеялся.

Шевырев оттолкнул руку с крестом, глянул в рассветное небо, потом перевел глаза на Александра — тот стоял, глядя куда-то вверх происходящего, — посмотрел на ярко-желтые цветы одуванчиков. Они светились, как маленькие солнца среди молодой травы.

Экран погружается в темноту. Голос Шевырева:

В этот момент что-то мягкое и бесконечное легло мне на голову, на лицо. А-а, мешок... Они казнят в мешках. Еще какие-то движения рук по мне, подсказки, что я должен делать, куда стать. Потом на какое-то мгновение здесь, в Шлиссельбургском дворе, словно яркая, резкая вспышка, воцарилось лето. Какая-то желтая гнилушка, нет... звезда... да нет же, солнце.. и я полетел...

ДОРОГИ

Монолог седьмой — монолог Анны Ульяновой

11 МАЯ — ТРЕТИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ КАЗНИ ЗАГОВОРЩИКОВ.

Сегодня мне приснился удивительный сон. Будто иду я по нашему дому в Симбирске. А в нем ни души. Пустые комнаты, распахнутые двери. Ветер листает страницы раскрытой книги... Сад тоже заброшен: голые деревья, опавшие листья, унылая пустота... Я прикрыла за собой калитку и вдруг обернулась — вспорхнули голуби над крышей... Что это? Дом ожил, в окнах ярко, празднично. Слышна фортепианная музыка. Горит яркий свет. А сад полон зелени, веселого шума листьев! На ветвях — сверканье румяных плодов! И здесь, в саду,—

родные. Все в полном сборе. Папа, мама, Маняша, Володя с Сашей, Митенька, Оля, даже кошка с собакой. В руках у всех корзины и ведра, полные яблок...

Серые квадраты потолка, пола, стен тюремной камеры. На кровати сидит юная арестантка. Это Анна. У нее испуганное и несчастное лицо и столько усталой печали во взгляде.

Сколько я спала? Наверное, лишь мгновенье? Ведь я уснула только на рассвете... В уме моем безостановочно звучит и звучит защитительная речь Саше...

Анна встает, зябко кутаясь в халат, подходит к столу. Здесь библия, кружка с водой, гребенка. Она отпивает глоток воды. Поливая себе из кружки, умывается. Начинает медленно расчесывать волосы. Эта простая привычная процедура словно бы успокаивает ее: на мгновение она перестает быть арестанткой, а становится просто очень молодой, милой и грустной девушкой.

Мой брат всегда был для меня примером. И если бы меня вдруг, без всякой подготовки, перевезли сейчас в зал суда, я бы прямо вот так, в арестантском халате, могла бы выступить адвокатом на процессе и, не сомневаясь, отстояла бы Сашу... Ему было семнадцать лет, когда на мой вопрос: «Какие пороки самые худшие?», он не задумываясь, ответил: «Ложь и трусость».

Ему было пятнадцать лет, когда в гимназическом сочинении он написал: «Для полезной деятельности человеку нужны честность, любовь к труду, твердость характера, ум и знания».

С Невы дует студеный ветер. Он раскачивает деревья, покрытые молодой зеленой листвой. Прохожие, подгоняемые им, почти бегут, тем более, что и задерживаться здесь, возле мрачной тюрьмы, никому особенно не хочется.

У ворот стоит пролетка с поднятым верхом. Подошел Марк, махнул рукой в сторону тюремных ворот. Кучер согласно кивнул. В Марке сейчас трудно узнать мрачного, расхристанного студента, каким он был. Он подтянут, спокоен.

Я по-прежнему ничего не знаю, не понимаю. Только чувствую, чувствую, за этими тюремными стенами разворачиваются трагические события. Они докатываются до моего сердца отзвуками какой-то страшной беды... На душе зябко, тревожно, тяжело... Тюрьма — это ад... Это что-то ужасное! Но если это поможет Саше, я хотела бы больше никогда не выйти из ее стен...

Из ворот тюрьмы выходят Мария Александровна и Анна. Анна бледна нездоровой

бледностью человека, долго не видевшего солнечного света. Она останавливается и, болезненно щурясь, смотрит на небо, пронзительно синее, как бывает только в ветреные дни.

— Как режет глаза!.. Мама.. извини.. Я немного постою...— говорит Аня.

— Поспешим в пролетку, Аня. Может быть, когда мы сядем, тебе станет легче!

— Нет, мама. Я не могу спешить. И потом... мне страшно.

Аня шагнула к пролетке. Сделала шаг, еще... и пошатнулась.

— Нет, мама, я не сделаю ни шага из тюрьмы, пока не узнаю, пока не услышу...—

Мария Александровна смотрит на Анну. Как она сейчас похожа на свою мать, на нее, Марию Александровну!

— Что же ты хочешь узнать, Аня?

— Просто скажи мне все сама. Просто скажи. Мама, ты ведь знаешь, я очень плохо переношу яркий свет вообще, а после камеры... Ты так изменилась, мама. Марк, может быть, ты отпустишь пролетку?

Мария Александровна обхватила Аню за плечи. Аня отстранилась.

— Я сам скажу,— мягко сказал Марк и взял Аню за руку.— Теперь больше все равно скрывать нельзя... Ну, спрашивайте меня, Аня! Я скажу вам все.

— Когда это случилось? Я должна знать.

Мария Александровна и Марк молчали.

— Когда казнили Сашу?!

— Восьмого мая, Анечка, на рассвете...

Сжав кулаками виски, Аня прислонилась к тюремной стене.

Еще одна камера свиданий в Петропавловской крепости. Но теперь больше нет необходимости уговаривать Александра написать прошение. Поэтому Марию Александровну и Александра разделяют две решетки, между которыми ходит караульный; в углу на табуретке — надзиратель, в дверях — второй караульный. Им больше не представляют условий для разговора.

Лицо Саши за двое минувших после прихода Пестовского суток изменилось еще больше. Оно обескровлено. Впавшие глаза, пробивающаяся борода, скорбная линия рта. Он держится руками за железные прутья.

Мария Александровна тоже другая — она собрана, внешне спокойна, глаза ее сухи, из них исчез вопрос и исступленная просьба.

Как мало времени им было отпущено на эту последнюю в жизни встречу! Оба понимали, что встреча последняя. Мама сказала мне, что именно тогда она, освобожденная ото всего и даже от надежды спасти Сашу, наконец поняла и увидела его. Увидела, как глубоко он верил, как остро чувствовал, сколько оттенков в этот миг различал и на какой ис-

тинной высоте были их собственные отношения.

— Сашенька,— с тихой нежностью говорит Мария Александровна.— Я здорова, со мной все в порядке. Мне только страшно, что ты подумаешь, будто я прибегла к уловке...

— Нет, мама,— перебивает ее Саша.— Я слишком знаю тебя. Я никогда бы не подумал... И я ни о чем не жалею.

Мария Александровна вздохнула с облегчением, сбросив тяжесть.

— Мама, пока это возможно,— Александр попытался смягчить сказанное бескровными губами,— у меня просьба к тебе.

— Да? — откликнулась она.

— Я медаль заложил за сто рублей. Выкупи, пожалуйста, продай. Она стоит сто тридцать. Тридцать рублей я должен Туликову. Марк его знает. Сделаешь, мама? Мне не хочется оставаться кому-нибудь должным.

— Да, да, конечно, все сделаю. Что еще?

— Еще несколько книг. Они на моей квартире. Их надо вернуть Костину. С факультета.

— Я передам. Я все сделаю.

Но вот взгляд Александра напрягся, Мария Александровна поняла, что сейчас он скажет что-то очень важное, что ему непросто сказать.

— Говори,— сказала она.— Саша, я слушаю тебя.

— Мама, здесь в городе живет одна девушка...

— Девушка?

— Да. Славная. Ее зовут Варя. Марк знает, где она живет. Мы едва знакомы, никогда еще не говорили. Познайся с ней.

— Хорошо, сынок. Что мне ей сказать?

— Ничего. Только посмотри на нее моими глазами.

— Значит, она не знает о твоём отношении к ней?

— Думаю, что знает. Мне всегда казалось, что она тоже...

— Почему же ты не поговорил с ней?

— Это было бы очень плохо для нее. Ты теперь уже можешь судить об этом сама — по Анне. Анна — моя сестра, и этого достаточно, чтобы она...

— Господа, господа, на подобные темы разговаривать запрещено! Не нарушайте, господа! Говорите о другом...

— Сашенька, что ты читаешь? Тебе позволяют?

— Да. Гейне. Он мне очень помогает.

— Папа любил его. Помнишь, он мне читал его, когда мы с ним познакомились?

— Но меня тогда не было,— недоуменно и чуть тревожно сказал Саша.

— Ты, Саша, был всегда. И всегда будешь. Все лучшее в моей жизни связано с тобой.

— Спасибо, мама. Я понимаю. Как Аня?

— Она не знает о приговоре.

— Побереги их всех, мама. И не грусти обо мне.

— Время свидания кончилось,— объявил, поднимаясь с табурета, надзиратель.

Оба испуганно оглянулись на него. Наверное, им одновременно пришла в голову мысль, что больше в их совместной жизни ничего не будет.

— Мама, я перечислил такие долги, а о главном, о долге перед тобой...

— Ты свободен, сын, от долгов передо мной и перед всеми нами тоже...

Саша оценил нечеловеческое усилие, которое она должна была сделать над собой, чтобы сказать эту фразу, и именно теперь, не выдержав нервного напряжения, сделал два шага вдоль решетки, как бы надеясь выбраться за нее, опять ухватился за решетку, пытаясь удержаться и не упасть, и разрыдался, сотрясаясь всем телом, от безысходного и ни с чем не сравнимого отчаяния. Даже фигура судейского чиновника, присутствующего при свидании, не помешала этому прорвавшемуся, наконец, эмоциональному порыву всегда предельно сдержанного Александра.

— Прости меня, мама, прости,— выговаривал он сквозь рыдания.— Я причинил тебе столько страданий!

И Мария Александровна, бледная как полотно, вдруг почувствовала необычайный прилив сил. Огромная, неподдающаяся определению волна чувств захлестнула ее сердце. Она окликнула Сашу:

— Мужайся, Саша!

В последний раз встретились их глаза — глаза матери и глаза сына. Мы видим, что это смотрят друг на друга люди, между которыми больше уже нет ничего недосказанного, которые верят друг другу, все понимают и готовы к встречам — один со смертью, другая — к встрече со своими детьми и к будущей дороге рядом с ними.

Все петербургские лестницы похожи. Нарядные фасады, величественные, монументальные дома, а стоит войти в подъезд, и сразу мрак, холодность пронизывают человека.

Одинокая фигура женщины с трудом преодолевает эти лестницы: широкие, просторные, темные и всегда безлюдные.

Мария Александровна читает табличку, некоторое время стоит, собираясь с силами, затем звонит в дверь. Открывают. Она говорит что-то односложно, отдает книги, поворачивается, уходит...

В ломбарде. Выкупает золотую медаль...

Мастерская ювелира. Протягивает медаль, забирает деньги, уходит...

Снова лестница. Снова звонит в дверь, отдает деньги...

Лицо Марии Александровны. Кажется, она уже не нуждается в выражении сочувствия, не ждет помощи, недостижима для недоброжелательных взглядов.

Мария Александровна у какого-то дома, смотрит на окна, но внутрь не входит.

Три юные горожанки, по-видимому, курсистки, оживленно разговаривая, подошли к дому, остановились под балконом.

— Варенька! — негромко окликнула одна из подруг.

Тотчас на балконе второго этажа появилась девушка. Мы узнаем ее. Это девушка, которая играла в инсценировке «Порога». Она очень красива. Бледное лицо в ореоле легких, пышных волос, которые не удержат никакими шпильками и гребнями, безграничная серьезность серых глаз, видная даже на расстоянии.

Девушка сбежала вниз. Оживленно разговаривая, подружки дошли до угла, и тут Варя, точно почувствовала что-то, оглянулась, встретилась глазами с Марией Александровной. Что-то метнулось в ее глазах, какое-то внимание, пристальная мысль. Она даже приостановилась, точно попыталась что-то понять.

И тут из-за угла выбежал мальчишка-газетчик:

— Срочное правительственное сообщение! Сообщение!.. Казнены! Государственные преступники казнены!

Мария Александровна прислонилась к стене дома. Ноги не держали ее. Безмерная боль была в ее взгляде.

А на углу опускалась на руки перепуганных подруг побледневшая девушка.

Теперь, сопоставив факты, я понимаю, что в тот роковой день, когда на рассвете не стало Саши, у мамы хватило твердости не только прийти ко мне на свидание, но еще и скрыть от меня истинное положение вещей.

Камера свиданий в доме предварительного заключения. Здесь она тоже разделена двумя решетками.

Как мама шла по тюремному коридору, я увидела еще издали. В ней была какая-то совершенно необычная собранность, сосредоточенность. Встречные тюремщики невольно кланялись, уступали ей дорогу, смотрели вслед. Я подумала тогда, что с Сашей хорошо, что он помилован, иначе откуда бы она взяла силы? Я спросила: «Мама, что? К чему их приговорили? Ссылка?» Она не стала меня разуверять, ответила коротко и как-то очень просто: «Молись за него, Аня!» Но в маме

столько было покойной и оправданной уверенности, а мне так хотелось поверить, что я поверила...

По проходу между решетками безостановочно ходит надзирательница. Анна стоит по одну сторону, Мария Александровна по другую.

Жизнь ни на минуту не давала ей передышки: ведь ей еще нужно было хлопотать за меня, даже в этот день она не могла ни на минуту остаться наедине со своим горем.

Кабинет начальника департамента полиции Дурново.

Мария Александровна стоит — не то ей не было предложено сесть, не то она сама отказалась. Она не в трауре, но лицо ее скрыто темной вуалью.

Дурново говорит с ней, не поднимая глаз от бумаг. Все это выглядело бы оскорбительно, если бы не удивительное достоинство, которым веет от Марии Александровны.

— Государь удовлетворил вашу просьбу о смягчении участи вашей дочери. Она будет освобождена, но выслана из Петербурга под надзор полиции.

— Благодарю.

— Подробные распоряжения получите в канцелярии. Что касается... до прошения вашего сына, оно не было передано государю, так как по сути изложенного в нем и по форме, в которую заключено изложенное, оно ни в коем случае не может рассматриваться как прошение, но только как частное письмо. Мы тем более были вправе передать его государю, что даже подписано оно не как принято — «верноподданнейший», а просто «Александр Ульянов». Вот, взгляните, — он протянул Марии Александровне исписанный лист бумаги. — Александрю, видите ли, пишет Александр! — Дурново от слова к слову овладевала истерика. — Постарайтесь, госпожа Ульянова, сделать так, чтобы остальные ваши дети не повторяли преступных ошибок брата. Кстати, если они захотят переменить фамилию, государь не будет препятствовать этому.

— Фамилию? — надменно переспросила Мария Александровна. — Нам нечего стыдиться нашей фамилии. И я думаю, что Россия еще будет гордиться ею. Да, я горжусь моими детьми.

Дурново вскинул голову, впервые взглянул на нее.

— Удивительная черствость, — негодуя сказал он, убирая в стол прошение. — Страна возмущена и потрясена заговорами. Я до сих пор не могу опомниться от процесса. Ober-прокурор Неклюдов опасно заболел —

нервный удар. Опасаются умственного расстройства. А вы, мать...

— Сочувствую,— уронила Мария Александровна и, не дожидаясь окончания разговора, вышла из кабинета.

Лицо Александра во весь экран. Мы не видим, где он находится,— в камере или на свободе. Мы не видим, во что он одет. Мы просто вглядываемся в эти черты, пока он спокойно и неторопливо произносит вслух свое прошение:

«Ваше Императорское Величество! Я вполне сознаю, что характер и свойства совершенного мною деяния и мое отношение к нему не дают мне ни права, ни нравственного основания обращаться к Вашему Величеству с просьбой о снисхождении в видах облегчения моей участи. Но у меня есть мать, здоровье которой сильно пошатнулось в последние дни, и исполнение надо мной смертного приговора подвергнет ее жизнь самой серьезной опасности. Во имя моей матери и малолетних братьев и сестер, которые, не имея отца, находят в ней единственную опору, я решаюсь просить Ваше Величество о замене мне смертной казни каким-либо иным наказанием. Это снисхождение возвратит силы и здоровье моей матери и вернет ее семье, для которой ее жизнь так драгоценна, а меня избавит от мучительного сознания, что я буду причиной смерти моей матери и несчастья всей моей семьи. Александр Ульянов»,— помолчав, заканчивает Саша.

Все здесь, в просторном номере на третьем этаже скромной гостиницы, носит следы сборов в дорогу. Анна, осунувшаяся и обесиленная, сидит в кресле, кутаясь в платок. Мария Александровна, озабоченная упаковкой вещей, входит и выходит в смежную комнату.

Вошел Марк в сопровождении двух носильщиков: привезли с квартиры вещи Ани. В руках у Марка цветы.

Властями мне предписано поселиться в деревне Кокушкино, где у нас дом. Мама с остальными детьми переберется туда тоже. Нам предстоит продать дом в Симбирске, где прошло столько счастливых дней, и таким образом начисто порвать с прошлым. Я у-

варивала маму не делать этого, не следовать вместе с младшими за мною в ссылку, не разорять наш дом в Симбирске. Но мама не слышит меня.

Марк с цветами в руках присаживается на подоконник в свободной позе, не отводя глаз от Ани.

— Скажите мне правду, Марк, о себе,— тихо заговорила Анна.— Скажите, как есть, без утайки!

— Что именно, Аня?

— Вы не думаете о Саше плохо? Не думаете?

— Бог с вами, Аня! Могу ли я думать дурно о замечательном человеке? Я восхищаюсь им!

— Мне страшно, Марк,— сказала Аня, и слезы заструились по ее лицу.— Мне не хочется жить.

В дверях появилась Мария Александровна, с тревогой и упреком посмотрела на дочь.

Марк встал с подоконника.

— Анечка, я прошу вас стать моей женой! — Он повернулся к Марии Александровне.— Я знаю, сейчас не время, но я должен сказать, что очень много понял за это время, отныне вся моя жизнь будет связана с дорогой, на которую указал Саша. Я не знаю, что меня ждет на этой дороге, но уверен, что самые лучшие люди идут по ней...

Аня молчала, она была в оцепенении.

— Ты знаешь, Марк прав,— задумчиво говорит Мария Александровна, глядя на дочь.— Сегодняшний день — это не конец пути. Нет, это начало нового...

Звучит фортепианная музыка. Фотография Марии Александровны в глубокой старости. Озаренное лицо, умное и строгое, в глазах — такое ясное понимание жизни и судеб, смутить и потревожить которое никто и ничто не в силах...

Звучит, делаясь все вдохновеннее и вдохновеннее, фортепианная музыка. На экране еще одна фотография. Последняя. Она возвращает нас в далекое прошлое, в самый исток той жизни, из которой Мария Александровна с гибелью старшего сына ушла навсегда.

На фотоснимке — Мария Александровна, Илья Николаевич и их шестеро детей.



ВАЛЕРИЙ АЙРАПЕТОВИЧ МНАЦАКАНОВ (родился в 1948 году) окончил сценарный факультет ВГИКа. По его сценариям поставлены короткометражные фильмы «Все деньги с кошельком», «Эй, на линкоре!», «Щенок», а также художественный фильм «Я за тебя отвечаю».

СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ СНЕЖКИН (родился в 1954 году) окончил режиссерский факультет ВГИКа. В объединении «Дебют» на киностудии «Мосфильм» поставил короткометражную картину «Эй, на линкоре!».

Фильм по сценарию В. Мнаçаканова и С. Снежкина «Петроградские гавроши» поставил на киностудии «Ленфильм» режиссер С. Снежкин.

ВАЛЕРИЙ МНАЦАКАНОВ, СЕРГЕЙ СНЕЖКИН ПЕТРОГРАДСКИЕ ГАВРОШИ

Учитель Константин Иванович Локотков поднял камертон, ударил по нему деревянной палочкой. Раздался звенящий звук, на который согласно откликнулись несколько детских голосов.

Константин Иванович сунул камертон в карман мундира, поднял руки, несколько раз плавно взмахнул ими, и...

...десять детских голосов запели:

Да снизойдет благословенье Бога
На души, чуткие к Добру...

Пели ужасно. Фальшивили невероятно. А когда один из мальчиков, по кличке Японец, вдруг получил толчок в бок и захихикал, сбившись, Константин Иванович закричал:

— Стоп! Хватит! — Он бросил палочку на кафедру и ткнул пальцем в направлении Японца: — Ты!

— Я! — прижал Японец руки к груди.
— Ты, ты! Что веселишься?! Пойдешь на горох!

— Господин учитель... — плаксиво завел Японец.

— Васильков, горох!

Из ряда выскочил мальчик и с улыбкой умчался из класса.

— Приготовились... — Константин Иванович поднял руки. — С «Благодарности сердце полно». И чтоб оба дисканта...

— Василькова нет, господин учитель, — напомнил Костыль. — Первого дисканта.

— Тьфу ты... — Константин Иванович опустил руки.

В класс все с той же улыбкой вбежал Васильков и, задыхаясь от бега, отрапортовал:

— Тулла сказал, что горох давно кончился, остался овес!

Хор захихикал.

— Молчать! — обернулся к хору Константин Иванович. — Злодеи несовершеннолетние! Вот вы где все у меня! Вот! — И с силой дважды хлопнул себя по шее, показывая где.

Была ночь. Из кабинета директора в тихие темные коридоры приюта неслись сопение, скрежет, а затем тяжелый медный звон напольных часов.

Где-то далеко внизу, на первом этаже, вдруг раздался глухой и частый стук и неясные крики. Стучали и кричали не переставая.

Константин Иванович вышел из своей комнаты в коридор... Был он в исподнем, в накинутой на плечи учительской шинели, в обрезанных сапогах на босу ногу. Небольшого роста, с огромной лысиной, помятый со сна, он производил комическое впечатление. Шаркая спадавшими с ног сапогами, он быстро

прошел по длинному коридору, спустился по лестнице вниз, где под лестничным пролетом была устроена дворничья, толкнул дверь и вошел в каморку.

На деревянной лавке спал человек. Учитель откинул тулуп, которым был накрыт спящий, и начал его расталкивать.

— Тулла! Тулла! Да вставай же ты, черт! — и с силой ударил лежавшего.

Дворник стал кряхтя и мыча подниматься.

— Слышишь, как ломятся? Возьми что-нибудь... Не дай бог, дезертиры опять развлекаются, — сказал учитель и вышел из дворничьей, а вслед за ним пошел и дворник, держа под мышкой топор.

Они подошли к небольшому тамбуру, за которым стучали в парадные двери, и остановились в нерешительности.

— Кто там и что нужно? — крикнул учитель.

— Откройте! Откройте! — закричали с улицы. И еще что-то неясное.

— Что нужно? — переспросил учитель.

— Ты что, татарин, что ль? Русского языка не понимаешь? — теперь кричал уже не мужской, а визгливый женский голос. — Паренек у нас тут ранетый... Битый час стучим, приютская твоя рожа!

— Какой паренек? — спросил учитель.

— Ранетый. Без чувств подобрали... Да открывай же! — За дверь начинали ругаться.

— Раненый — несите в больницу... — начал учитель, но тут его прервал мужчина за дверью:

— Вот что, друг хороший! Мы свой христианский долг выполнили. А дальше у нас с Зинаидой времени нет с тобой разговаривать. Так что малец здесь на ступенях лежит, а мы пошли. Прощай.

За дверь раздалась удаляющиеся шаги.

Учитель и дворник прислушивались, пока все не стихло...

На ступенях крыльца, под массивной вывеской на портале, на которой значилось: «Ведомство попечительства и благотворительности императрицы Марии Федоровны. Приют для сирот принца Ольденбургского», — прямо под этой доской, прислоненный Зинаидой и ее приятелем к приютским дверям, лежал мальчик лет десяти.

Вдвоем внесли мальчика в комнату, где, судя по горящей керосиновой лампе и застеленному монументальному кожаному дивану, спал до того, как начали стучать в дверь, учитель.

Мальчика положили на второй диван, такой же, как и первый, но не застеленный.

— Господи, что же делать? — Константин Иванович взял с письменного стола графин с водой, набрал воды в рот и брызнул ею в лицо мальчика.

Через мгновение мальчик открыл глаза и, морщась и дрожа, попытался натянуть на себя подобие пальто, бывшего на нем.

— Х-холодно... — сказал он, заикаясь и стуча зубами.

— Очнулся? — обрадовался Константин Иванович. — Тулла, смотри-ка, очнулся!

Константин Иванович достал из шкафа казенное одеяло.

Мальчик спал глубоким спокойным сном.

Константин Иванович отошел от него и, сев за стол, обратился к дворнику, неподвижно стоявшему у дверей:

— А что, Тулла, магометанин мой бесценный, не вздут ли нам самовар? Спать времени не осталось... Исполни, голубчик! Чай ведь не ханжа, которую ты хлещешь, как Вакх, невзирая на запрет Аллаха!

Дворник повернулся и, хрипло шепча под нос какие-то татарские слова, пошел ставить самовар.

Потом он открыл шкаф, забитый упаковками чая снизу доверху (подношения купца первой гильдии Парсаданова. «Колониальные товары. Парсаданов и сыновья»), и достал пачку.

Чай пили здесь же, в кабинете директора приюта — большой и странно обставленной комнате. Меблировка имела два происхождения: государственное в лице Ведомства попечительства и призрения императрицы Марии Федоровны и частные лица, как отдельные, так и объединенные во всевозможные благотворительные организации. И в итоге — удивительная смесь казенного полицейского участка и будуара светской дамы: соседствовали и уживались уже упомянутые монументальные диваны, невероятных размеров письменный канцелярский стол, подсвечники с танцующими девами, бронзовые кони с крыльями... и множество всякой всячины.

Константин Иванович посмотрел на мальчика. Обернулся к столу.

Напротив сидел Тулла и, закрыв глаза, с почти религиозной отрешенностью наслаждался чаепитием.

— Вот несчастье — так несчастье... — со вздохом произнес Константин Иванович. — Хорошо, что он только избитый, а если бы раненый был? Что бы мы тогда с тобой делали? И куда бы мы его понесли? В госпиталь? Дак он переполнен, поди... И помер бы он там в коридоре, не дождавшись помощи, прости господи...

Тулла, дойдя до середины приютского коридора, остановился напротив дверей в спальню и, вынув из-под мышки большой медный колокол на деревянной ручке, поднял



В роли Робеспьера — Валентин Грознов

его над головой и стал звонить. Не переставая звонить, пошел дальше...

От звуков колокола в директорском кабинете проснулся мальчик. Сел на диване, спустив вниз босые и грязные ноги, обхватил руками голову. Так и сидел некоторое время.

В кабинет вошел Константин Иванович, уже в мундире.

— Очнулся? — довольно спросил он.

— Уф-ф... — тяжело вздохнул мальчик. — Голова как чугуном налита и гудит. Сейчас пойду... Дайте водички, горло помочить.

Константин Иванович налил из красивого хрустального графина в хрустальный стакан и подал его мальчику:

— Кто тебя ночью бил?

— Спасибочки. Одежда где моя?.. Идти надо.

— Ну что ж... Не смею, как говорится, удерживать, — насмешливо сказал обиженный Константин Иванович. — А одежда твоя — вон за диваном валяется. Чуть не сожгли ее — питомник блошинный и вшивый, ей-богу! Аж шевелится вся.

— Ничего... от них телу теплее. Они у меня

заместо меха, — мальчик криво улыбнулся.

Одевался он с трудом, иногда опуская руки и отдыхая. Чтобы надеть обувь, он исхитрился ставить ногу на стул и уж так натягивал свои отсыревшие старые ботинки.

Наконец он был одет и, держась за подлокотник дивана, встал. Постоял немного, боясь своего первого шага... потом пошел. Его качнуло, он ухватился за спинку стула, сделал шаг — опять резко качнуло, и он упал.

Константин Иванович подбежал к нему, помог подняться и, придерживая, довел до дивана.

— Я все же одежду твою сожгу. Будешь уходить — оденем, у нас тут есть кое-какие вещи. Ну?.. Согласен?

— Согласен, если одежда хорошая, — отвечал мальчик. — А чего в доме?

— В доме приют для сирот. А ко мне надо обращаться: господин учитель, — сказал Константин Иванович.

— Господ еще в феврале отменили. Сейчас все граждане, — хмуро откликнулся мальчик, уже раздевшийся до исподнего.

Учитель внимательно на него посмотрел, вздохнул, собираясь что-то сказать, но не сказал, а пошел к дверям.

Звенели пестики умывальников, лилась в раковины вода, ребячий гомон и смех раздавались в умывальной.

Все стихло, когда вошел Константин Иванович.

— Долго и шумно!— сказал он. Прихлопнул по ноге здоровенной линейкой.— На молитву!

Дети поспешно заканчивали мытье. Вешали полотенца и, проходя мимо Константина Ивановича, говорили:

— Доброе утро, господин учитель.

И сразу же за дверью умывальной, в коридоре, смеялись и бежали с топотом к столовой.

Когда Константин Иванович вошел в столовую, дети уже стояли за столом, каждый за своим местом, опустив руки по швам.

Константин Иванович встал во главе стола и внимательно осмотрел, на месте ли хлеб в фаянсовых тарелочках.

— Васильков, начинай.

Васильков выбрался из-за стола, подошел к Константину Ивановичу и стал сбоку от него. Вдохнув побольше воздуха в грудь, он сложил перед собой руки и стал бойко читать молитву:

— «От сна восстав, благодаря тя Святая Троица, яко многия ради Твоея благодати и долготерпения не прогневался еси на мя лениваго и грешнаго, ниже погубил мя еси со беззакониями моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечаянии лежащего воздвиг мя еси, во еже утреневати и славославити державу Твою; и ныне просвети мои очи мысленныя, отверзи мои уста, поучатися словесем Твоим и разумети заповеди Твоя, и творити Волю Твою, и пети Тя во исповедании сердечном и воспевати имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков, аминь».

— Аминь,— хором ответили мальчики, и сразу же сели за стол.

Последним на скамейку в прыжке опустил-ся Васильков, читавший молитву.

Хлеб из фаянсовых тарелок был разобран мгновенно. Мальчики принялись за кашу. Перед каждым из них стояла миска.

Учитель ел то же, что и дети: кашу-овсянку, хлеб и чай. Весь завтрак.

Такое же меню было и у Туллы, который ел на кухне, время от времени вставая и через окошко заглядывая в столовую. Правда, чая он выпил столько, сколько выпили все остальные вместе взятые, тайком наливая и наливая себе в железную кружку.

Мальчик, лежавший на диване в кабинете директора приюта, рассматривал кабинет.

Потом сел, спустив вниз тонкие худые

ноги, и приложил руки к голове, как бы проверяя — болит она или нет.

Снова начал осматривать кабинет и вдруг шумно задышал ноздрями, принохиваясь. Встал, опираясь на спинку стула,— в грязных солдатских кальсонах, обрезанных наполовину и завязанных на талии веревкой, накинул на себя одеяло...

Держась рукой за стену, продолжая принохиваться и уже прислушиваясь тоже, медленно двигался по коридору на запах подгорелой каши и частый стук железных ложек.

Первым его увидел мальш лет шести, который, съев свою кашу, просто вертелся на месте и смотрел по сторонам.

Увидев столь странную фигуру, он вскрикнул от испуга и молча протянул руку в сторону двери.

Стих стук ложек. Все молча смотрели на пришельца.

— Зачем ты встал?..— сказал учитель, поднимаясь.

Мальчик стоял у дверей и неотрывно смотрел на миску с недоеденной кашей, которая принадлежала Василькову. Он дрожал и сглатывал слюну — и это было настолько заметно, что испуганный учитель заспешил к нему, опасаясь нового падения.

— Дайте куснуть,— наконец проговорил мальчик.

Его провели к столу. Константин Иванович приказал Василькову:

— Бегом к Тулле! Каши и, если осталось, хлеба!

Васильков, прихватив свою миску, отправился выполнять.

Вскоре все сидели и смотрели, как ест странный пришелец. Даже Тулла высунулся из раздаточного окошка. Посмотреть было на что...

Мальчик жадно заглатывал кашу, заедая хлебом. Потел. И все время бросал вокруг себя невидящие бессмысленные взгляды так, как будто ждал опасности.

В приюте давно уже не кормили так вкусно и разнообразно, как некогда во времена визитов попечителей, очень частых.

В приюте давно уже не кормили так сытно и просто, как до войны.

Но все-таки в приюте кормили каждый день. Поэтому зрелище человека, давно не евшего досыта, производило сильное впечатление...

Опустошив миску, мальчик тяжело дыша облокотился на стол, и вдруг взгляд его замер на каком-то предмете.

— Это что?— спросил он, ни к кому не обращаясь.

— Где?— переспросил сидевший рядом Васильков.

— Вот,— мальчик указал на большой, в рост, писанный маслом портрет Николая Вто-

рого, висевший на стене как раз напротив него.

— Это царь,— Васильков удивленно посмотрел на мальчика. И добавил:— Император...

Учитель чутко среагировал на ситуацию:

— Закончили. Дежурный, посуду! Всем мыть руки!— провозгласил он, и как-то незаметно в его руках появилась линейка.

Васильков, перегибаясь через стол, начал собирать миски; остальные выбирались из-за стола и устремлялись к выходу.

Но тут всех остановил отчаянный крик пришельца:

— Николашку с Сашкой еще в феврале скинули!

— Молчать!— заорал Константин Иванович.— Запорю! А вы что уши развесили?..— накинулся на воспитанников и начал выталкивать их из столовой.— Марш руки мыть!

— Скинули! Скинули! А сейчас судить будут революционным судом и его, и царицу — полюбовницу распутинскую!— кричал мальчик.

Константин Иванович плотно закрыл дверь и крикнул в сторону кухни:

— Тулла! Тулла! Иди сюда.

Из кухни вышел Тулла.

— В карцер,— кивнул учитель на мальчика.

А тот, перебираясь по стене, добрался до угла и, вжавшись в него всем телом, истошно закричал:

— Права не имеешь, буржуй недорезанный! Я рабочих позову, уж они-то тебе сальник штыком пропорют!

Тулла тем временем, почему-то вытирая о рубаху руки, приближался к нему. С другой стороны, огибая стол, шел Константин Иванович.

Мальчик затравленно смотрел то на одного, то на другого... Вдруг рванулся к столу, отчего с него спало одеяло и вновь открылось жалкое худое и грязное детское тело, схватил со стола миску и запустил ею в Константина Ивановича. Тот пригнулся. Миска с грохотом ударилась в печь, упала на пол и долго еще крутилась на одном месте, успокаиваясь.

А мальчик бился в руках дворника, выкрикивая бессвязные слова и угрозы. Тулла крепко держал его. Подоспел Константин Иванович, и вдвоем с Туллой они потащили мальчика к дверям. У порога мальчика вдруг стошнило кашей...

Карцер был в подвальной комнате. Полукруглое окно находилось под самым потолком. У входа стояло ведро, и, кроме дере-

вянной скамьи, в карцере ничего больше не было.

Ослабевшего, бледного и беспрестанно сплевывавшего мальчика Тулла посадил на скамейку и вышел вон. Константин Иванович, стоявший у дверей, пропустил его и бросил мальчику одеяло.

Мальчик поднял одеяло с пола, накинул на плечи и крикнул хрипло:

— Когда отпустите? Кровососы!

— Посиди пока... Робесьер вшивый! — ответил ему Константин Иванович, с силой захлопывая дверь. Навесил замок, а ключ прицепил к ожерелью других ключей, висевших на шее под мундиром.

Мальчик дождался, когда стихнут шаги учителя. Подошел к двери, нажал на ставеньку оконца над маленьким прилавком; та подалась... Мальчик просунул руку в оконце, прижавшись всем телом к двери, достал до дверной ручки с той стороны, пощупал выше... и наткнулся пальцами на висячий замок. Мальчик выругался... Тут его внимание привлек шум с улицы.

Пыхтя от напряжения, он поднял скамью и стоймя приставил ее к стене под окном таким образом, чтобы ножки были обращены к нему наподобие ступенек. Когда ему наконец удалось взобраться на самый верх и, держась за оконную решетку, дотянуться до окна, он увидел сквозь мутное стекло довольно обширный приютский двор, обнесенный высокой кирпичной оградой, длинные поленицы заготовленных на зиму дров, сарай (там хранились различные инструменты, заготовки, сырье для поделок, изготавливаемых в приюте) и даже карету, подаренную приюту одним известным петроградским заводчиком. Трое ребят с Туллой вязали дрова и носили вязанки в дом.

...Мальчик спустился на пол, установил скамейку на прежнее место и, завернувшись в одеяло, лег и вскоре заснул.

Константин Иванович шел по коридору, проверяя двери.

Дойдя до спальни, он остановился и, согнувшись, прильнул к замочной скважине ухом. Кто-то пел:

Маруся знала, что в больнице
для бедных есть один исход...

А пел шестилетний малыш. Остальные мальчики, собравшись в кружок, обсуждали утреннее происшествие.

В чахотке скорчившись на койке,
спокойно смерти ждать приход...

...Константин Иванович осторожно удалялся, слыша тихое, из спальни:

И не запьет папаша с горя,
и мать к могиле не придет...

Поднявшись по лестнице на второй этаж, учитель отпер дверь с надписью «Изолятор».

На одной из пяти коек лежал мальчик. Рядом с его кроватью на табурете стояла миска с кашей, хлеб и сахар.

— Здравствуйте, господин учитель.

— Здравствуй. Почему не ел опять?

— Не хотелось,— ответил мальчик.

— Как это не хотелось? Надо есть, а то не встанешь. Доктор велел тебе есть как можно больше.— Константин Иванович потрогал миску:— Разумеется, остыло. Я скажу Тулле, чтобы разогрел. А ты, пожалуйста, все съешь.

— А нас скоро в Ростов повезут?— спросил мальчик.

— Скоро. Обещали, что скоро. А ты ешь, иначе у тебя не хватит сил на путешествие.— Константин Иванович пошел к выходу. У дверей оглянулся:— Дмитрий, кровь была?

— Нет.

— Ну ладно... Это хорошо,— и Константин Иванович закрыл за собой дверь.

В коридоре он достал ключ и, поколебавшись, все же вставил его в скважину и повернул на два оборота.

Туллу он отыскал на кухне.

— Вот, Тулла, ключ от изолятора. Разогрей снова еду для Мити. Я иду в министерство, к обеду вернусь. И не спи, пожалуйста. Вдруг привезут продукты...

— Жалование игде?— поинтересовался Тулла.

— Я, между прочим, его тоже не получаю полгода!— вскипел Константин Иванович.— А ты чаю выдул уже на два годовых оклада! Что ты там бормочешь? Думаешь, я не замечаю?

— Ким дугмес... Сес нибарагас какра-клар,— ворчал под нос Тулла.

— Кес-мес-бельмес,— передразнил Константин Иванович.— Смотри у меня! Вот запру чай — и будет тебе «дугмес»!

С этими словами Константин Иванович вышел из кухни, а дворник плюнул несколько раз ему вслед и трижды повторил с разными интонациями «дугмес». Даже замахнулся кочергой на дверь. А потом пошел к плите и стал заваривать чай.

В директорском кабинете Константин Иванович долго одевался перед большим зеркалом в резной ореховой раме.

Чистил ботинки.

Собирал в папку какие-то документы.

Выйдя из приюта, он инстинктивно прижался к дверям.

Из-за угла вылетел со скрежетом грузовик, увешанный лозунгами. В кузове стояли трое и выбрасывали на улицу листовки пачками, а четвертый палил в воздух из револьвера.

Одна из листовок скользнула по лицу Константина Ивановича. Он истово перекрестился и, оглядываясь, осторожно пошел вдоль стен домов.

А мальчики, развалившись на постелях, обсуждали утреннее происшествие.

— А как это «скинули»? Как «скинули»?— изумлялся Васильков.

— Чего пристал как банный лист? Я тебе что, поп — чтоб все знать? Вот Котофей придет с улицы и поспрашай,— огрызнулся Костыль.

— А зимой, помнишь, на улице сколько стреляли? Когда нас на другую сторону переселили? Может, тогда и скинули,— объяснил Василькову Ухо.— Сначала стреляли, а потом с трона дернули...

— А войско? А городовые?— не унимался Васильков.

— А чего зимой, Ухо?— встрял Костыль.— Вона и сейчас, почитай, каждую ночь стреляют!

— Эх... скорей бы в Ростов повезли!— подал голос чернявый пацан по кличке Японец.— В Ростове тепло... Апесыны растут. Помню, на святую Варвару попечитель приезжал, так всем пацанам апесыны раздавали... Вкусные!— он зажмурился, вспоминая.

— А жратва до чего неважная стала,— протянул Мясо, лежавший с закрытыми глазами.— Каша да каша. А ране котлеты давали. Щи с мясом. Барыни конфеты давали — ландринки...

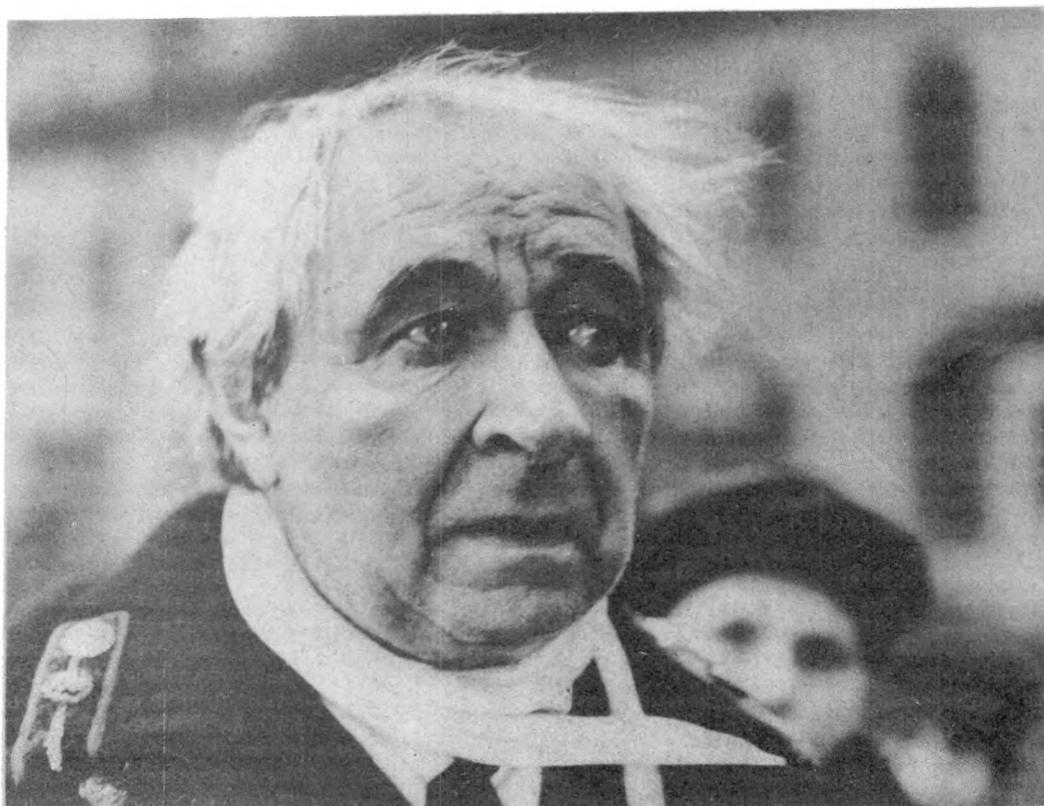
— На пасху пирожные,— подхватил Японец.— С кремом розовым. Из кондитерской купца Огородникова...

— Ежели он правду болтал, что царя скинули, кто ж нас кормить будет?— вдруг спросил маленький шуплый мальчик по прозвищу Муха, бывший в приюте на положении «прислуги за все».

После этих слов компания загрузила, задумалась...

Моросил мелкий петроградский дождик, было очень промозгло, но несмотря на это, улицы были заполнены народом. Повсюду были разложены костры: как бытовые — для согрева так и символические — для уничтожения атрибутов тирании.

Когда Константин Иванович проходил ми-



Кадры из фильма

В роли Константина Ивановича Локоткова — Народный артист СССР Евгений Лебедев

мо одного из таких костров, один из добровольных фейерверкеров, беспрестанно подбрасывавших в огонь все новые и новые двуглавые орлы и бесчисленные портреты царя, обернул к Константину Ивановичу свое пуанцовое от жара лицо и возбужденно проговорил:

— С самого февраля жжем, а все конца нет!— и радостно засмеялся.

На перекрестке Малой Офицерской и Самсоньевской Константин Иванович вынужден был надолго остановиться...

Дорогу перегородила бесконечная серо-желтая гусеница пехотного полка, ползущая откуда-то из глубины Васильевского острова.

Замыкала колонну небольшая отара овец, конвоируемая солдатами с винтовками наперевес, и корова, которую за веревку, накрученную на рога, тащил бородатый унтер-офицер.

— Да здравствуют братья-солдаты четвертого пулеметного полка!— крикнул кто-то из толпы.

Корова от крика дернулась в сторону. Унтер замахнулся на нее концом веревки и вновь потащил за строем.

Строй нагоняла двуболка полевой кухни... Путь уже был свободен, но Константин Иванович продолжал стоять, очарованный зрелищем солдатской жизни.

...Когда он шел по мосту, пробираясь на другую сторону Невы, от одинокого тупоносого военного корабля отвалила двенадцативесельная шлюпка, заполненная матросами в черных бушлатах, и быстро пошла к берегу.

У сходней их ждал патруль в тридцать человек с двумя офицерами... И что-то там произошло, отчего между матросами и солдатами началась рукопашная, а потом раздались одиночные выстрелы, вслед за которыми по набережной к месту схватки побежала группа матросов. Кто-то упал, сраженный выстрелом...

Константин Иванович не стал дожидаться, чем кончится дело. Вместе с другими обывателями он бросился бежать...

Площадь перед Гвардейским экипажем, где находилось министерство социального призрения, была заполнена митингующим народом. С трибун, составленных из ящиков, бочек и всякого бросового имущества, ораторы говорили пламенные речи. Их слышали только те, кто стоял поблизости. Многие переходили от трибуны к трибуне. В колышущейся массе грызли семечки, возникали драки, спорили... Чего только не было в этой огромной толпе рабочих, солдат, студентов и еще бог знает кого! А в одном месте даже играла гармонь и два веселых парня танцевали в тесном кружке освобожденной для этого зрителями мостовой.

Все это было за окном.

А Константин Иванович говорил:

— Поймите мое положение. У нас был целый штат: надзирательницы, учителя, кухарка... А теперь я — и кухарка, и надзиратель, и все сразу. Когда приют уезжал и госпожа Бек, наша директриса, попросила меня остаться на несколько дней с несколькими мальчиками, я не предполагал, что все так обернется! У нас на исходе продукты.

— Что вы, собственно, хотите?— перебил начальник департамента, из окна следивший за происходящим на площади.

— Как что?— растерялся Константин Иванович.— Я напомним: наш приют эвакуировался в Ростов, по плану разгрузки Петрограда. Осталось одиннадцать человек — детей, порученных мне. Две недели назад я приходил, и вы обещали эвакуировать нас в Ростов...

— Какая эвакуация? Какая, к черту, эвакуация?!— закричал вдруг начальник департамента, подходя к Константину Ивановичу и показывая рукой на окно:— У нас революция! Понимаете? Ре-во-люция! Плебс на улицах! Сейчас они поговорят, а потом начнут стрелять! И очень может быть — в нас с вами! Он как бы задохнулся неожиданно и отошел к столу. Начал доставать бумаги из ящиков, засовывать их в портфель.

Только теперь Константин Иванович заметил, что начальник в пальто, что в кабинете страшный беспорядок.

— А как же дети? Сироты? Одиннадцать человек, и один из них болен чахоткой. Помимо этого, сегодня ночью...

— А что хотите,— отмахнулся начальник, захлопывая портфель и направляясь к выходу,— то и делайте. Я, например, сударь мой, уезжаю!— и окинув кабинет последним взглядом, усмехнулся:— Спасайся кто может... Честь имею.

И хлопнул дверью.

Оставшись один, учитель долго сидел безмолвно и недвижно, зажав руки между коленями...

Все то же на улицах: солдаты, матросы, митинги... И большое количество необычных персонажей: то вдруг встретятся китайцы в синих кофтах с косами и с лотками на перевязи, то чинно шествующая группа седобородых туркестанцев в чалмах и в полосатых костюмах, сопровождаемая почтительным поручиком...

Пробираясь через это карнавальное и чуждое ему человеческое месиво, Константин Иванович машинально напевал:

— Не счесть алмазов в каменных пещерах...

Он вернулся в приют совершенно надломленным.

Долго сидел на диване в кабинете, вытянув ноги и не сняв пальто.

Наконец встал и вышел в коридор. Ни звука не раздавалось в приютских стенах.

— Тулла!— тихо позвал учитель и прислушался. Ни звука.— Тулла!— И опять тишина. Заглянул в пустую дворницкую...

Поднялся по лестнице, прошелся по коридору, крича:

— Тулла! Черт бы тебя побрал! Тулла, мерзавец!

Внизу, на первом этаже, звякнуло что-то металлическое.

Константин Иванович бегом спустился по лестнице...

Рывком открыл дверь на кухню...

Дворник наливал чай из медного чайника в свою необъятную кружку. Он испуганно обернулся на шум и застыл с чайником в одной и с кружкой в другой руке. Чай продолжал литься из наклоненного чайника в кружку. Дворник, заметив это, осторожно оставил чайник на плиту.

Константин Иванович набрал воздух в грудь и вдруг засмеялся. Он не просто смеялся, его буквально скрутило смехом, и, отсмеявшись, он долго еще не мог успокоиться: всхлипывал, вытирал навернувшиеся слезы и зажимал рот, душа очередной приступ хотела.

Тулла все это время осторожно улыбался и ждал, чем кончится.

— Хлеб привезли?— ослабевшим голосом наконец спросил учитель.

— Ёк,— последовал ответ.

— Я так и думал,— сказал Константин Иванович, садясь к плите и наливая себе чаю в приютскую кружку.— Не будет хлеба, Тулла. И эвакуации не будет... Революция! Что будем делать?

Тулла молчал.

И опять в приюте было тихо и темно.

Опять часы в кабинете директора пробили полночь.

Когда же стих их звон и скрежет, стал слышен звук, заставивший Константина Ивановича отставить графин в сторону.

Звук временами прерывался, был еще неясен и очень тих, но Константин Иванович накинул на плечи шинель, взял керосиновую лампу и вышел в коридор.

Внизу, на первом этаже, кто-то пел.

Константин Иванович спускался по лестнице вниз, и пение становилось все громче и яснее.

Пел поразительно чистый и сильный детский голос. Пел настолько самозабвенно и выразительно, что учитель несколько раз останавливался, вслушивался и затем быстро шел вперед...

Так он дошел до карцера и встал, пригасив лампу.

Пел арестованный:

Догорай моя лучина,

Догорю с тобою я.

Константин Иванович постоял еще немного. Затем выбрал из связки ключ, открыл карцер и вошел.

Мальчик подждал его посредине карцера, придерживая сползающее с плеч одеяло.

Константин Иванович вошел, поставил лампу на скамью и, дирижируя сам себе, пропел:

— А-ла-ла-ла-ла!— и тут же потребовал:— А ну, повтори.

— Зачем?— спросил мальчик.

— Повтори, тебе говорят!— нетерпеливо прикрикнул учитель.

Мальчик пожал плечами, вздохнул, закинул назад голову и вдруг легко и точно повторил напетую музыкальную фразу.

— А это...— Константин Иванович пропел еще одну.

Мальчик точно так же, как в первый раз, пожал плечами и повторил.

— Петь учили?— быстро спросил учитель.

— Чего?— хохотнул мальчик.— Эту песню мой папаша, когда напивался, пел.

— Пел. А сейчас что — пить бросил? — улынулся учитель.

— Сейчас помер. То есть не сейчас, давно, конечно,— улыбнулся своей оплошности мальчик.

— А мать?— спросил учитель.

— Мамка еще раньше. Покурить не дадите? А я вам, если хотите, еще спою.

— Выходит, ты сирота,— утвердительно сказал учитель.

— Выходит, сирота. Только я у вас оставаться не буду. У вас прав таких нет, меня тут держать.

— Ты, случайно, не из приюта сбежал?— заинтересовался учитель.

— Не-е! Я в приютах не был,— мальчик презрительно улыбнулся.

— А как жил?— Учитель сделал огонь в лампе поярче.

— Хорошо жил. Свободно.

— Ну-ну. Воровал, поди?— вновь засомневался учитель.

— А чем вы меня утром обозвали? Робипером каким-то?— в свою очередь спросил мальчик.

— Робеспьер? Это был такой честный говорун. Ему потом голову отрубили,— ответил учитель.

— За честность?

— За говорливость. Ты «Ручеек» знаешь?

— Это какой?— мальчик поджал губы с сомнением.

С гор высоких, снегом крытых,
По ущельям и камням...—

начал Константин Иванович.

Ручеек бежал к долинам,
К русским дымным куреням...—

подхватил мальчик.

Они пели простую печальную песню о ручейке, что дает начало большой реке Кубань, в чьих водах нашли конец своей лихой жизни множество русских солдат.

Песня тихо разносилась по пустым и темным коридорам приюта и проникла даже во двор, где в это время дворник Тулла, приставив к стене лестницу, перекидывал на улицу увесистой мешок. А затем, сидя верхом на стене, перетянул лестницу на другую сторону и исчез.

Допев песню до конца, они некоторое время молчали, с удовольствием и интересом разглядывая друг друга.

Потом Константин Иванович хлопнул себя по коленям и сказал:

— Знаешь, что такое консерватория?

— Не,— равнодушно ответил мальчик.

— «Не»,— передразнил учитель.— Вот это-то и печалит. Ну да ладно... А что, Робеспьер, не выпить ли нам чаю?

— Можно,— согласился мальчик.— И покурить бы... Очень вас просим.

— Ни в коем случае! Голова все гудит?— спросил Константин Иванович.

— Перестала,— ответил мальчик.

— Тогда пошли.

На кухне Константин Иванович дал мальчику самовар и связку лучины:

— Держи самовар. Лучину — под мышку. А трубу и чайник понесу я.

Он подошел к шкафу, открыл его и запер...

Прежде забитый упаковками чая шкаф сейчас был пуст.

— Түлла! Сукин сын!— прошептал Константин Иванович и бросился вон из кухни.

Влетел в дворницкую...

Остались только скамья и табурет, да лопата и метла в углу. Исчез коврик, которым Тулла покрывал свой топчан, пропали суры корана, висевшие на стене, тулуп и громадная чайная кружка.

...Константин Иванович проверил входную дверь: она оказалась запертой.

...Быстрыми шагами он вернулся на кухню, посреди которой стоял с самоваром мальчик, и увидел, что окно на улице открыто. — Сбежал, подлец... И чай весь унес,— сказал он, закрывая окно.

— Почуял, видно!— с ожесточением произнес мальчик.

— Что?— не понял учитель.

— Что конец скоро всем кровососам. Вот и убеги,— пояснил свою мысль мальчик.

— Ты что — революционер?— Константин Иванович удивленно воззрился на мальчика.

— Ага!— с гордостью подтвердил тот.

— А хоть бы и так. Теперь уже все равно,— махнул рукой Константин Иванович.

Встал и подошел к другому шкафу. Открыл его и, убедившись, что там что-то осталось, с удовлетворением спросил у мальчика:

— А ты кофе пил когда-нибудь?

— Не,— покачал головой мальчик.

— Это вкусно. Даже вкуснее чая. Сейчас попьем. Благо, господин Парсаданов и его сыновья были щедры и поднесли сиротам, помимо чая, еще и кофе.

...Они пили кофе из фарфоровых чашек (сервиз был подарен г. Мордасовым В. П., владельцем стекольных заводов, о чем золотом сообщалось на самом большом блюде), сидя напротив друг друга за большим канцелярским столом в директорском кабинете.

Константин Иванович пил с сахаром внакладку.

Мальчик — вприкуску.

Константин Иванович смотрел на мальчика, на его серьезное худое лицо, на крепкие зубы, которыми он с шумом разгрызал сахар, на грязные в цыпках тонкие руки и поломанные ногти.

— Вкусно?— спросил он.

— Ничего. Сытная,— ответил мальчик, шумно прихлебывая из чашки.

— Шея-то, шея, как голенище. Ты который год не мылся?— спросил учитель.

— Летом в Неве купаюсь, на Каменном. Только там больно мазуту много. От кораблей.

— Напился?— спросил Константин Иванович, видя, что мальчик отставляет чашку.

— Напился,— мальчик посмотрел по сторонам.— Вещей много хороших. Ваши вещи?

— Казенные. Подношения благотворителей наших,— ответил Константин Иванович.

— Так надо папанам раздать. Поровну, чтоб владели,— уверенно сказал мальчик.

— Вот как?— иронически спросил учитель.

— Так. Счас все будут делить... поровну. Что у буржуев отнимут, все между народом разделят. Вот были б вы немущим, вам бы зуб золотой поставили. А то я вижу, у вас мало... А вы кадет или, может, монархист?

— Я — учитель пения.

— А учителя — буржуи?

— Кто как... Есть и богатые. Но очень мало. Ну что, Робеспьер, остаешься в приюте? Поживи, пока хоть йод сойдет. Не будешь же ты таким ягуаром по улицам ходить.

А то я крепко намазал, когда тебя при-

несли... А мы, пока ты здесь, попробуем попеть. А?..

— Дня два можно, — после недолгого раздумья согласился мальчик. — Уж больно мне ваш кофий понравился. А через два дня уйду. Надо мне. И церковное петь не буду.

— Это почему? Ты что — в бога не веруешь?

— Из убеждений, — гордо ответил мальчик.

— Атеист? — спросил Константин Иванович.

— Из убеждений, — повторил мальчик. — О господи ты боже мой! Вот время, — вздохнул учитель. — Идем, я тебя в дортуар отведу. Спать пора.

— Это что ж, опять в холодную? — вскинулся мальчик.

— В спальню. В приютах спальни дортуарами называются.

Звон медного колокола буквально сметал с кровати ребят, приученных многолетней суровой дисциплиной приюта делать все быстро, под страхом наказания.

В это утро учитель звонил в колокол сам.

Уже заправлялись койки.

Уже Мясо успел дать «леща» Фитюльке, и пострадавший, хныча, побежал жаловаться господину учителю.

Уже Гангрена грыз добытый с печки кусочек хлеба, который всю ночь сушился на самом верху, чтоб превратиться в сухарь.

Уже потащился к отпертым Константином Ивановичем дверям Коля Осипов, надрываясь под тяжестью ведра, служившего ночью нужником...

Как вдруг десятковый старший Васильков удивленно произнес:

— Вот тебе и раз!

Все повернулись в ту сторону, куда смотрел Васильков, и увидели, что на вчера еще пустовавшей кровати кто-то спит, закрывшись с головой одеялом.

— Это еще что такое? — с угрозой спросил Мясо, подходя к кровати.

Он рывком скинул одеяло со спящего.

— Так это ж вчерашний! — радостно сказал Костыль. И обратился к мальчику: — Тебя чего, Котофей отпустил?

— Отпустил, — ответил тот, потирая кулаками глаза.

— А чего тогда лежишь? У нас подъем, — все так же, с угрозой, сказал Мясо.

— Давай знакомиться. Меня Костыль зовут. А крещен Николаем, — протягивая руку, сказал Костыль. — Как хочешь, так и называй, я не обижусь. А тебя как звать?

— Меня? — переспросил мальчик. — Ну... Робеспьером,

— Как? — поразился Костыль.

— Робеспьером, — повторил мальчик и, встав с кровати, начал одеваться... Собственно, надеть ему оставалось только ботинки, поскольку спал он одетым.

Мальчики замолчали, наблюдая, как новенький надевает ботинки, с удовольствием их оглядывая, и обдумывали странное имя, только что услышанное.

— Да врет он. Нет такого имени, — первым очнулся Мясо. — Дать ему по сопатке, чтобы знал, как врать.

В спальню вошел недовольный Ухо, громыхнув, поставил у дверей ведро и в недоумении остановился, наблюдая начинающуюся ссору.

— Воздух-то ртом выпусти, а то через задницу выйдет, — посоветовал Робеспьер надувшемуся от злости Самсонову.

— Я счас тебя, глиста, бить буду! — проговорил Самсонов, наступая на новенького.

Тот, сжав кулаки, отходил к дверям, все время бросая вокруг быстрые взгляды. Против здорового и мясистого Самсонова он действительно выглядел очень хилым. Потому остальные ребята хранили молчание, не сомневаясь, что Мясо побьет пришельца.

Самсонов уже занес кулак — новенький был притерт к стене и никуда отступить не мог. Как вдруг Робеспьер метнулся в сторону и, схватив принесенное Осиповым ведро, наотмашь ударил им Самсонова по голове.

Потрясенный Самсонов схватился рукой за щеку... и этой паузы оказалось достаточно, чтобы Робеспьер перехватил ведро и с силой надел его на голову противнику.

Мясо взвыл, тут же получил еще и удар ногой в живот и рухнул на пол, завывая от боли. Ведро покатило по полу.

Робеспьер стоял над ним, тяжело дыша и сжав кулаки. Но Самсонов продолжал выть, держась руками за живот...

— Что за вонь? — морщась, спросил вошедший Константин Иванович. Посмотрел на Робеспьера и понял, что произошло. — Мыться — и в столовую. Васильков, найди виновных, пусть уберут.

Дети стояли каждый на своем месте и удивленно зирали на то, что им предстояло есть.

На столе стояла большая фарфоровая супница, в ней дымилась загадочная черная жидкость. А в тарелке перед каждым лежали по четыре галеты и по ложке яблочного повидла (подношение Американского консервного акционерного общества).

— Каши не будет. Не сварил. Не сумел, — объявил Константин Иванович. — Васильков, молитву.

Ввалились опоздавшие Мясо и новенький.

Встали на свои места. Новенький задержался, высматривая, где незанятая тарелка.

Васильков молитвенно сложил руки:

— От сна восстав, благодарю Тя Святая Троица...

— Ну, как ты сегодня, Дмитрий? — спросил Константин Иванович, входя в изолятор и ставя чашку с кофе, тарелку с галетами и повидлом.

— Хорошо, господин учитель. Крови не было, и спал так крепко, — ответил мальчик, приподнимаясь на подушке. — К ребятам очень хочется. Скучно здесь. Может, оттого и слабею...

— Одному, конечно, скучно, — согласился учитель. — Только как ты встанешь, если доктор велел тебе лежать? А как кровь опять пойдет горлом?

— Не пойдет, господин учитель. Мне уже хорошо. Пустите к ребятам. Заставьте бога молить! — упрашивал Дмитрий.

— Полежи пока... А я сейчас поговорю по телефонному аппарату с доктором Олегом Анатольевичем...

В дверь постучали.

— Можно войти, господин учитель? — спросил Дорожкин, просовывая голову в приоткрытую дверь.

— Вынеси, — учитель кивнул на горшок, стоявший у кровати.

— Здорово, Дима. Когда к нам придешь? — с улыбкой спросил Дорожкин, беря горшок.

Дмитрий выразительно посмотрел на учителя.

Когда Дорожкин вышел, учитель продолжил:

— И если доктор разрешит, ты переселишься в спальню. Договорились?

— Он не разрешит, — печально сказал Дмитрий.

— Почему же не разрешит, если ты себя хорошо чувствуешь? — неуверенно возразил Константин Иванович.

— Потому что он доктор.

В комнату опять постучали.

— Да, — сказал Константин Иванович.

В комнату вошел Дорожкин, поставил горшок под кровать.

— Выздоровливай, Дима, поскорей, — сказал он весело, и они с учителем вышли...

Началось с того, что новенький после завтрака в ботинках и в одежде улегся на застеленную Ухом постель.

— Эй, новенький, на кровати днем лежать нельзя. Карцер можно схлопотать, — предупредил Васильков.

— Это кто сказал? — презрительно отозвался Робеспьер.

— Правила есть. Нам надзиратели читали и директорша фон Бек.

— Фон-барон, кишки вон! Сейчас все можно. А баронов всех уже на Фонтанке перетопили. Где же ваша фонша?

— В Ростов уехала...

— Вот! — удовлетворенно сказал Робеспьер. — Убегла! Так что не бойсь, Костьль, ложись смело!

— А ты чего вчера про царя говорил? Правда, что ли? — спросил подошедший к кровати новенького Иван Варварин — длинный нескладный мальчик.

Новенький привстал на кровати и внимательно посмотрел на всех:

— Да вы что, укушенные, что ли? В первый раз слышали, что царя скинули? Что революция? — новенький уже стоял на кровати и последние слова почти прокричал.

— Какая революция? Это вот что стреляют по ночам... беспорядки? — спросил Васильков.

— Я тебе дам «беспорядки»! Так кадеты врут. А на самом деле — революция! Рабочие, фабричные, матросы и солдаты царя скинули. Бои были в Питере, а пока народ с царевыми войсками бился, буржуи власть захватили — и теперь их будут скидывать!

— А если царя нет, то кто нас будет кормить?! — с ужасом спросил Фитюлька.

— Вот почему каша да каша, — осенило Японца. — Ох, что ж теперь будет? Пропадем...

— Не вой, не пропадешь! Разделят царские сокровища и буржуйские богатства, которые они в Зимний натаскали! Добра там... видимо-невидимо! И золото, и алмазы разные, и еды какой хочешь!.. Ешь, народ, бери золота сколько надо. На всех хватит! И наступит счастье!

— А нам дадут? — усомнился Васильков.

— Всем дадут! А как раздадут — тогда все! Сирот не будет, потому что как сироты появляются? Из нищеты! Зла не будет никакого, потому как все зло от зависти. У тебя есть деньги, а у меня нет — вот я на тебя злобушку и затаил... А теперь чего? У всех поровну будет! — закричал новенький.

— Поровну! Поровну! Поровну! У всех поровну! — закричал и запрыгал самый маленький — Тимка. — Поровну! — пел он, прыгая и крутясь на одном месте.

— Поровну! — закричал Костьль и одним рывком сорвал с кровати покрывало. Вскочив на кровать, он замахал покрывалом, как флагом: — Поровну! Ура!

— Поровну! — закричал Японец и, схватив злополучное ведро, перевернул его и застучал в покореженное днище, как в барабан.

— Поровну! Поровну! Жратвы всем! — кричали, прыгали и скакали вокруг. Сдирали

с кровати покрывала, переворачивали тумбочки, обнимались.

— Тихо! — крикнул Самсонов, вскочив на тумбочку.

Все понемногу угомонились, кроме Фитюльки, который продолжал скакать, пока не получил от Костыля легкую затрещину.

— Цыц! — шикнул на кого-то Мясо. — Что я скажу... Так вас Котофей и отпустит. Крикнет Туллу, а уж тот розги замачивать умеет. Забыли, что ли?

Народ погрузился. Мечта начинала тускнеть.

— Не крикнет, — спокойно сказал новенький.

— А ты почему знаешь? — ехидно спросил Мясо.

— Сбежал твой татарин ночью. Чай приютский прихватил, и фью, только его и видели. А Котофей права не имеет не пускать! А если попробует... — Робеспьер потряс в воздухе кулаком.

Константин Иванович снял трубку с аппарата и, осторожно держа ее на расстоянии от лица, крутанул ручку.

Приблизил трубку к уху. Послушал... Крутанул еще раз.

Наконец в трубке что-то хрустнуло, и Константин Иванович поспешно проговорил:

— Барышня, соедините с три-двадцать восемь, то есть три, два, восемь. Благодарю. На другом конце провода ответили.

— Господин Калиновский! Добрый день...

В столовую ввалилась куча-мала. Костыль, задрапированный в покрывало, сразу же подскочил к раздаточному окну и схватил огромную поварешку:

— Долой Николашку! Долой кровососа! — кричал он, размахивая своим орудием.

Мгновенно к стене, где висел портрет, был придвинут стол, на стол поставлены два табурета — один на другой, — и на это сооружение с обезьяньей ловкостью взобрался Японец.

Пока все смотрели, задрав головы, как он откручивает за холстом веревку, Дорожкин потянул за рукав новенького:

— Робеспьер, а кого новым царем посадят?

— Никого, — ответил новенький. — Вообще царя не будет.

— А что будет? — не понял Дорожкин.

— Совет, — последовал ответ. — Все бедные рабочие, солдаты, мастеровые, прачки будут сидеть во дворце и советоваться с народом, как что делать в державе, — пояснил новенький. — И сироты тоже.

— И сироты — во дворце? — с восторгом спросил Фитюлька.

— И сироты. Мы ж бедные. Беднее нищих. Ну, чего возишься?! — крикнул он Японцу.

— Готово!

И портрет с грохотом упал на пол, но остался в вертикальном положении и так теперь и стоял на полу, слегка наклонясь и глядя на воспитанников приюта спокойными нарисованными глазами.

На какое-то мгновение установилась тишина. Все смотрели на портрет, соображая, как быть дальше.

И тут молчание нарушил Костыль.

— Темную Николашке! — закричал он и, подбежав первым к портрету, накинул на него покрывало и нанес удар ногой.

Хрустнул лакированный холст...

Тут уж кинулись все молотить ногами по накрытому покрывалом портрету.

Когда Фитюлька с трудом выдернул из обломков покрывало, все увидели вместо портрета рассыпавшийся в прах багет, оказавшийся гипсовым, а не резным, и порванный скомканный холст. Все, что осталось от приютского царя.

— Здорово... — промолвил восхищенный Костыль.

— ...Чем я могу помочь? Какие есть в приюте медикаменты? — звучал в трубке металлический голос.

— Йод, — ответил Константин Иванович.

— Ну вот. Поймите, мальчик обречен. Чашотка практически в последнем градусе. Я говорил вам, что единственное, что может продлить его дни, — это или Крым, или степи... кумыс. А это, как понимаете, господин Локотков, звучит сейчас по крайней мере смешно! — продолжал металлический голос.

Константин Иванович отвел трубку в сторону и с недоумением посмотрел на нее. Ему показалось, что из мембраны летит слюна разбушевавшегося доктора.

— С этим трудно смириться. Вам, конечно, трудно, вы — учитель. Гуманизм, высокие идеалы, худенький мальчик, в конце концов... Но я повторяю: он обречен.

— Барышня, отсоедините меня от господина Калиновского, — вдруг прервал докторскую речь Константин Иванович и повесил трубку на рычаг.

В задумчивости пошел к окну, но тут же вернулся. Подошел к шкафу, открыл дверцу ключом.

На полке замерцал хрустальными боками заветный графин.

Константин Иванович открыл дверь изолятора и, стоя в дверях, сказал:

— Одевайся, Митя. Доктор разрешил.
— Господи, как хорошо, — прошептал Дмитрий, улыбаясь и спуская ноги на пол. — Как хорошо!

И когда выпростал ноги из-под одеяла, на пол свалилась окровавленная тряпица. Константин Иванович отвернулся и сказал: — Так я жду. Одевайся.

Мальчики были уже в спальне.

Играли в «слона». Японец, Мясо и Васильков с Дорожкиным водили. Они стояли друг за другом, охватив переднего за пояс. Самсонов упирался руками в стену.

— Давай! — сдавленным от натуги голосом крикнул Японец.

Первым разбежался и прыгнул Дикарев. Прыгнул удачно, почти на шею Самсонову. Тот аж крикнул.

Затем прыгнул Варварин. И тоже хорошо: стукнулся о спину Дикарева.

Мелко перебирая ноги, разбежался Фитюлька и, конечно же, еле вскочил на поясницу самого последнего в «слоне» — Дорожкина. Он пытался перебраться дальше, но бдительный Васильков остановил его криком:

— Фитюлька! Сиди где сидишь! — и командовал остальным: — Поехали!

«Слон», переваливаясь и постанывая, ругаясь на чем свет стоит, начал свое путешествие по спальне, сопровождаемое криком и смехом зрителей.

Когда «слон» поровнялся с дверьми, они открылись и в спальню вошел Константин Иванович с Дмитрием.

«Слон» моментально развалился...

Напуганные мальчуганы стояли, тяжело дыша и ожидая разноса за то, что творилось в спальне.

Но Константин Иванович только сказал: — Всем в класс.

Константин Иванович долго перебирал на пюпитре ноты, наконец поднял голову, осмотрел всех и сказал:

— Поем «Ручеек». Запеваешь ты, — он указал пальцем на новенького. — Как, кстати, тебя зовут?

— Робеспьер, — последовал ответ.

— Ну что ж, — усмехнулся учитель. Поднял руки, взмахнул ими несколько раз... и Робеспьер, удивляясь сам себе, запел:

С гор высоких, снегом крытых,
По ущельям и камням
Ручеек бежал к долинам,
К русским дымным куреням.

Дальше вступили все.

И то ли от страха за содеянное утром, то ли оттого, что удивительный голос но-

венького поразил всех так же, как и ночью учителя, только все пели так стройно, так старательно и с таким удовольствием, что Константин Иванович даже вспотел от радости и возбуждения. Он закрыл глаза и дирижировал теперь, не ведя пения, а просто следуя за ним.

И когда песня закончилась, в классе долго стояла тишина. Как будто все опасались, что неосторожный звук вспугнет то ощущение, что оставалось в душах после пения.

Вдруг эту тишину разорвал сухой надсадный кашель. Зажав руками рот, в кашле надрывался Дмитрий, виновато поглядывая на товарищей.

Между пальцами протекла тоненькая струйка крови, которая, извиваясь, побежала по кисти руки... Течь дальше у нее не хватило сил, и она замерла у запястья.

Под руководством Василькова ребята таскали из поленниц во дворе дрова на кухню. Моросил мелкий дождь, поэтому от поленниц до двери передвигались бегом.

В маленькой щели между поленницей и стеной сидел Робеспьер и дымил огромной самокруткой, сделанной из листа нотной бумаги.

— Ух ты! — завистливо сказал Японец, подбегая к нему. Бросил веревку на дрова и втиснулся рядом. — Где достал?

— У татарина в дворницкой нашел, — ответил Робеспьер.

— Дай разочек, — попросил Японец

— Опосля меня, — сказал Костыль, разлегшийся за Робеспьером. — Я первый.

Постепенно в щель забралась почти все. Растаскивали дрова, освобождая место. Сделали из дров бруствер, чтоб из дома нельзя было увидеть.

А дрова продолжали носить — на кухню — только самые младшие, Фитюлька и Дорожкин.

— Жратва кончится, что будем делать? — сглотнул слону Варварин.

— Во дворце возьмем, — беззаботно ответил Костыль, принимая у Робеспьера самокрутку.

— А хватит и на нас? — засомневался Варварин.

— Хватит! — Костыль подавился дымом и теперь, ругаясь, кашлял.

— А вдруг не хватит? Сколько народу там будет? — не унимался Варварин.

— А не хватит, лавку реквизируем, — с трудом выговорил последнее слово Робеспьер. — Скорприяция скорприаторов!

— Это как? — спросил восхищенный Осипов.

— Отнимем, — пояснил Робеспьер.

— Ограбим, что ли? — испугался Варварин.

— Ты что, дурак? Я ж сказал: скорпиация! — обиделся Робеспьер.

— Робеспьер, а ты откуда столько слов важных знаешь? — с уважением спросил Васильков.

— Это революционеры, те, кто против царя и буржуазии боролись, специально свой язык придумали, когда еще в подполье были, чтоб царские шпики их разговоры не понимали. Идет, скажем, стачка, забастовка. Революционеры речи говорят, а шпики ничего не понимают. Стоят олухами и ушами хлопают. Я сначала на митингах тоже ни одного слова не понимал. Ну уж потом рабочие научили. Разъяснили что чего.

Народ помолчал; самокрутка шла по кругу. Первым нарушил молчание Васильков:

— Надо в дом идти, печи топить. Фитюлька с Вовкой вон уже сколько дров натаскали.

— Погоди-ка! — остановил его Робеспьер. — Пацаны, надо нам свой Совет сделать! Совет сиротских депутатов!

Константин Иванович варил кашу, поминутно заглядывая в книгу с названием: «Друг кулинара». Он сыпал в котел кипящей воды пшеничную крупу.

Сверившись с книгой и не найдя там подтверждения своим мыслям, он махнул рукой и сыпанул в котел вслед за крупой свалывшиеся от долгого хранения сухофрукты:

— Дай бог долголетия первогильдейскому разбойнику, господину Парсаданову. Ну кто бы еще полгода назад стал бы есть эту плесень и пить его выветрившийся кофе. А ныне весьма кстати... — Помешивая поварешкой в котле, он скомандовал: — Дмитрий, зови всех обедать. Василькова ко мне.

Дмитрий вышел во двор и пошел к поленице, из-за которой вырывались клубы синего дыма и слышался гомон ребячьих голосов.

— Господин учитель зовет всех обедать. А тебя, Костя, просит к нему зайти, — сказал он.

— Ну, пошли. Только чтоб всем держаться. Уговор! — объявил Робеспьер.

— Васильков, мы с завтрашнего дня возобновляем занятия по всем предметам и работы в мастерской. Будем делать табуретки на продажу. И с этого жить. Ты как десятковый старший сегодня распределишь мальчиков по верстакам: кого на заготовку, кого на сборку. Тебе виднее. И определишь дневную работу. Понял? — сказал Константин Иванович десятковому старшему.

Васильков стоял, молча глядя Константинову Ивановичу прямо в брови.

— Я спрашиваю, ты понял? — повторил Константин Иванович.

— Да, — очнулся Васильков.

— Если понял, то иди накрывай стол.

Васильков выбежал из кухни, а Константин Иванович направился в кабинет директора.

...Открыл ключом шкаф, взялся за горлышко заветного графина.

В столовую Константин Иванович вошел в прекраснейшем настроении. Потирая руки и напевая арию из модной тогда оперетки. Пройдя несколько шагов, он вдруг остановился, как громом пораженный...

Вместо царя на стене смутно темнел прямоугольник невыцветшей краски.

— Где? — наконец выдал из себя учитель.

— По решению Совета сиротских депутатов портрет бывшего царя разорван и сожжен в печи, — ответил вставший со своего места Робеспьер.

Учитель замотал головой, как бы отгоняя от себя наваждение.

— Ты что мелешь? — ошеломленно спросил он у новенького. — Каких депутатов? — голос Константина Ивановича сорвался. Он начал краснеть на глазах.

Перым не выдержал Костыль.

— Жратва где?! — заорал он. — Месяц на каше сидим! Чай где? Не хотим кофий пить!

— Запираешь почему? Что мы, каторжные?! — поддержал товарища Японец.

— Поровну! Поровну! Поровну! — закричал и засмеялся Фитюлька.

Поднялся невообразимый шум и гвалт. Все кричали и требовали что-нибудь. Фитюлька хлопал в ладоши и прыгал на месте от удовольствия. Мясо столкнул несколько тарелок со стола.

Тут Константин Иванович, до того молчавший и катастрофически быстро наливавшийся кровью — отчего его лысина приобрела малиновый цвет, — вдруг ударил кулаком по столу и очень громко, хорошо поставленным голосом заорал:

— Молчать!

Этот крик заставил всех замолчать. — Совет! Вече новгородское! Парламент дармоедов! Я вам покажу революцию! Я вам не царь Николай... — говоря эти слова, он обходил стол кругом, постепенно приближаясь к новенькому, и, когда поровнялся с ним, неожиданно быстро и ловко схватил его за ухо.

— А-а-а! — закричал от внезапной боли мальчик. — Не имеешь права! Я депутат!.. А-а-а!

Константин Иванович выволок плачущего от боли Робеспьера из столовой.

Все молча смотрели друг на друга, а из коридора неслись удаляющиеся шаги, крики учителя и плач Робеспьера.

— Его же нельзя за ухо... Он же депутат... — пробормотал маленький Фитюлька и тут же получил затрещину от Японца.

Учитель открыл дверь карцера и втолкнул туда Робеспьера.

Дверь с грохотом закрылась.

Робеспьер, плача, забил ногами и руками по двери и кричал:

— Гад! Кровосос подлый! Революцию не задушишь! Уж потом не обижайся на меня! Я рабочих позову, они тебе покажут!

Вдруг дверь открылась, и в карцер поочередно влетели, сбивая с ног сначала новенького, потом один другого: Костыль, Японец, Мясо, Верста, Дикарев.

...Васильков, Ухо и Дорожкин были заперты в дворницкой.

...Дмитрий, Фитюлька и Гангрена остались в спальне по болезни и малолетству, но тоже под замком.

Уже наступил вечер, и «реакция» праздновала победу в директорском кабинете, освещенном керосиновой лампой, и в обществе незабвенного графина. Налив очередную рюмку, Константин Иванович встал, подошел к одному из шкафов и открыл его.

Все полки были забиты папками, на обложках которых были написаны фамилии и имена воспитанников.

Отчества у всех были одни — Ивановичи.

На столе лежали одиннадцать папок. Константин Иванович открыл первую из них.

«Фитюлькин Матвей Иванович, — значилось на первом листе. — Подкинут в полицейский участок Семеновской части Петроградского острова 14 февраля 1911 года. При младенце найдена ленточка с вышитой надписью: «Матвейка».

Константин Иванович взял в руки синюю ленточку, поднес ее поближе к лампе. Рассмотрев, вздохнул, положил обратно в папку.

Допил, что оставалось в рюмке.

Некоторое время сидел, обхватив голову руками.

По оконному стеклу через точные временные промежутки барабанили дождевые капли.

Вздыхнув, Константин Иванович встал и, достав из-за шкафа чемодан, начал собирать свои вещи. Сюртук. Рубашки. Белье. Воротнички. Потертый парадный мундир. Папка с нотами. Папка с документами. Несессер. Летнее светлое пальто. Мягкая шляпа. Две пары ботинок. Камертон. Все...

Надел шинель, еще раз осмотрел кабинет и, задув лампу, вышел.

...Медленно шел по приютскому коридору. Вдруг остановился, поставил чемодан на пол и быстрыми шагами пошел назад, к кабинету.

В кабинете он сразу же пошел к шкафу и, взяв графин, выпил остаток прямо из горлышка.

Выйдя из приюта, он долго стоял у дверей, раздумывая, в какую сторону идти.

В карцере было темно. Тусклый свет, едва проникавший в узкое окошко, иногда вдруг слабо мерцал в ребячьих глазах.

— Робеспьер, а как же дворец? — спросил Варварин. — Без нас, значит, делить будут?

— Не хнычь, выпутаемся, — коротко ответил новенький.

— Уже впутались. Это еще бабка надвое сказала про сокровища твои, а пока здесь без жратвы остались с твоей кракрапией вонючей, — злобно проговорил Самсонов.

— Ты, гад мясистый, революцию не тронь. А то получишь хуже утреннего. А во дворец тебя никто не тянет. Ты здесь будешь лопать кашу с кофеем, — ответил ему председатель Совета сиротских депутатов.

— Заткнись, Мясо, без тебя тошно! — крикнул на Самсонова Костыль. — Когда Котофей нас выпустит?

— Когда-нибудь выпустит. Всю жизнь-то держать не будет. Вот когда накормит? — сказал Дикарев.

— Придет — я ему скамейкой по голове трахну, — заявил председатель Совета. — Будет знать, как депутатов в холодную сажать.

В кладовке.

— Как здесь пахнет... — потянул носом Васильков.

— Как дома у меня. У папки с мамкой.

— А ты что — с родителями? — удивился Дорожкин.

— Дурак ты, Вовка. Родители у всех бывают. Поначалу. Это потом — у кого умирают, кого подкидывают. У кого как. А поначалу папка с мамкой у всех есть. Вот и у меня были. Я помню. По запаху помню.

— Кость, Кость, мне по малой надобности надо. Мочи нет терпеть, — прервал Василькова Коля.

— Постучи, может, откроет.

Ухо стал стучать кулаками в дверь:

— Господин учитель! Господин учитель! Я больше не буду революционером! Выпустите по нужде, господин учитель! — кричал он. Но в доме было тихо.

— Не открывает... — Ухо обернулось к десятковому старшему.

— Давай здесь, — со вздохом разрешил Васильков.

В спальне, конечно, было светлей, чем в кладовке и карцере. Стараниями двух малышей и Мити уже был наведен порядок: поставлены на места тумбочки, застелены кровати.

Арестанты уже разделись и лежали под одеялами. Молчали.

Где-то далеко на улице хлопнул винтовочный выстрел. Потом еще. И все стихло.

— Митя, а правда, Вовка врал, что ты помрешь скоро? — спросил Фитюлька, вылезая из-под одеяла.

Не получив ответа, Фитюлька опять улегся и после некоторого молчания сказал:

— Вовка говорит: раз кровь из груди горлом пошла, значит все: пиши как звали.

Вдруг раздался вскрип, а затем сдавленный стон. Митя плакал под одеялом.

— Не плачь, Митя. Ухо врет, наверное. Он всегда врет. Не плачь...

Мальчики сели на Митину кровать и так и сидели, поджав ноги.

А где-то в городе возобновилась перестрелка.

И не переставая лил осенний дождь.

В дешевом ресторане, в зале, сверкающем огнями, метались заперенные официанты. С треском открывалось шампанское. На маленькой сцене под оркестрик из трех скрипок, фортепьяно и трубы танцевали шесть полуголых женщин.

Народ гулял.

За столиком, на котором в тарелках оставалась скромная закуска, окруженный пустыми бутылками сидел пьяный Константин Иванович и спрашивал усталую даму напротив:

— Зина, ты знаешь, что такое кон-сер-ва-то-рия?

— Нет. Откуда мне, — отвечала Зина. — Вы бы лучше вина заказали.

— Вот это и печалит. Официант! Человек! — закричал Константин Иванович. — Зина, а ты знаешь, кто такой Вольфганг Амадей Моцарт?

— Немец какой-нибудь, — ответила Зина.

— Правильно! — обрадовался Константин Иванович и засмеялся.

— Что изволите? — подскочил официант.

— Вина изволю. Того же и столько же, — отправил официанта Константин Иванович. — А ты знаешь, кто я?

— Знаю. Костик.

— Нет. Я сирота! У меня отчество Иванович! Я мерзавец! — Константин Иванович

стукнул себя кулаком в грудь, и от удара под сюртуком раздался металлический звук.

— Что такое? — Константин Иванович полез за пазуху и извлек увесистую связку ключей на веревке. — Ах, я царь Ирод! — воскликнул он, вставая. — Я же их всех запер!

Он ворвался в приют, взбежал по лестнице на второй этаж и, сорвав с шеи связку, начал открывать все двери.

Таким образом он добрался до спальни. Открыл дверь и вошел.

Мальчики спали.

— Здесь спят, — шепотом произнес он и вышел на цыпочках, покачиваясь.

Открыл дверь в кухню, а в кухне распахнул все дверцы всех шкафов и шкафчиков, одернул занавески на полочках...

— Свобода! — закричал он. — Свобода!

Дверь кладовки распахнулась.

Мальчики повскакали с пола.

— Свобода! — закричал Константин Иванович и помчался по коридору, звеня ключами.

Мальчики осторожно пошли за ним.

Распахнулась дверь карцера.

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

— С последними словами учитель указал на Василькова, Осипова и Дорожкина, стоявших в отдалении.

— Господа сироты! — продолжал Константин Иванович. — Я такой же сирота, как и вы. Только старей... Я так же, как и вы, совершенно одинок в этом преобразующемся мире. Наконец, я тоже Иванович. Как все вы, за исключением многоуважаемого председателя. — Учитель поклонился новенькому. — Потому вы вполне можете избрать меня депутатом вашего сиротского парламента... Вся власть Советам! «Ручеек» споем?

Мальчики смотрели на Константина Ивановича в молчании.

Он махнул рукой и пошел по коридору к себе в кабинет, распевая во все горло «Ручеек».

В карцере первым пришел в себя Робеспьер:

— Пацаны, давай быстрее, может, успеем! А с ним потом разберемся!

Всей гурьбой они понеслись по коридору к выходу. Робеспьер первым толкнул дверь ногой, и она с треском распахнулась.

— Ура! — закричал он, и вся компания вылетела на улицу.

— Эй! Эй! — услышали они крик и обернулись.

Из дверей приюта с грохотом выломился Васильков, катя перед собой тачку на одном колесе:

— Чего я у татарина взял, а! Будет на чем сокровища везти! — похвастался Васильков.

— За мной! — скомандовал Робеспьер, и вся компания, громыхая тачкой, понеслась по улице.

— Эх, про Митю с мелюзгой забыли! — вспомнил Робеспьер, приостанавливаясь.

— А мы их долю принесем! — успокоил вожака Костыль. — Куда же Митьке идти — у него кровь из горла... А с мелюзгой забот не оберешься.

— Точно, — согласился Робеспьер.

Когда компания, обогнув решетку дворцового садика, ворвалась на площадь, то первое, что они увидели — это было великое множество костров, разведенных прямо на брусчатке. Вокруг костров грелись солдаты, рабочие, матросы, такие же пацаны, женщины. В общем, народу было много.

Пролетали мимо автомашины и мотоциклисты. Площадь была в постоянном движении.

Робеспьер, оглядевшись, моментально сориентировался.

— Пошли, — приказал он оробевшим мальчикам и быстро двинулся ко входу в дворцовый двор.

У самых ворот их остановили вооруженные солдаты, один из которых сказал с сильным прибалтийским акцентом:

— Кута пешишь? Ити насат. Прокот нет.

— Как нет? Неужели кончилось все?

— Контилос, контилос.

— Врешь! — закричал Робеспьер.

— Врешь! Не могли так быстро все поделить! А ну, пусти! — Он рванулся вперед, но латыш крепко схватил его за ворот:

— Прокот нет!

В это время из ворот дворца вышла группа рабочих. Один из них, молодой и щербатый, проходя мимо мальчиков, вдруг остановился, увидев Робеспьера:

— Здорово, шкет!

Робеспьер обернулся к нему и закричал:

— Андрюха! Друг!

Приютские с уважением смотрели на эту сцену. Рабочий был туго перепоясан солдатским ремнем, на котором висела полицейская шашка, а за спиной у него торчала винтовка.

— Лех, посмотри, выжил! Помнишь, у лавочника отбивали, — крикнул рабочий своему товарищу.

Тот подошел, пожал Робеспьеру руку:

— Здорово, орел. Выкрасился, смотрю, в честь праздничка...

— Да это так... С буржуем одним сцапался, — небрежно пояснил Робеспьер. — Андрюха, ты скажи этому, чтоб нас пустил.

— Нельзя, дружок. Приказ есть никого не пускать.

— А когда будет можно?

— Скоро, — Андрюха подмигнул и направился к грузовику, в кузов которого залезали его товарищи.

— Эй, а вы куда?! — крикнул вдогонку мальчик.

— Караулы менять.

— А мы с вами?

— Кузьма Семенович, возьмем парней прокатиться? — спросил Андрюха пожилого рабочего в шляпе и в пальто с барашковым воротником.

— Давай, — разрешил Кузьма Семенович.

— Давай, — повторил Андрюха Робеспьеру.

— Давай! — скомандовал Робеспьер товарищам.

Все рванулись к грузовику. Васильков, пометавшись, кинулся с тачкой к часовому, поставил ее у стены:

— Дяденька, посмотри, чтоб никто не увел, а? Пожалуйста. А то она новая совсем! — И бросился за товарищами.

...Грузовик мчался по набережной, оцетняясь штыками.

— Андрюха, — кричал Робеспьер, стараясь перекрыть шум мотора. — Уже делили? — Чего?

— Сокровища!

— Какие еще сокровища?!

— В Зимнем!

— Нет!

— Хорошо! — И Робеспьер глянул на товарищей: дележа не было.

Константин Иванович проснулся: Фитюлькин тряс его за плечо:

— Господин учитель, Митя хрипит, кровь из горла идет сильно!

— Что?.. Повтори! — переспросил учитель, поднимаясь с дивана.

— У Мити кровь из горла идет. Хрипит он уже.

Когда Константин Иванович вбежал в спальню, мальчик был уже бездыханным. Учитель закрыл его глаза. Сложил ему руки на груди и присел на краешек кровати. За его спиной стояли Саша и Матвейка.

Мальчики вернулись в приют ранним утром.

Были они грязные с головы до ног, усталые, но веселые. Воспоминания о прошедшей ночи рвались из них, и они поднимались по лестнице, разговаривая и хохоча.

...Так они вошли в спальню — и замерли на пороге.

Константин Иванович обернулся к ним и сказал:

— Умер Дмитрий. Васильков, надо сделать гроб. Назначь мальчиков в мастерскую. Завтра будем хоронить.

Снова моросил мелкий петроградский дождик.

И опять на огромной площади шли митинги, надрывались ораторы, играла гармошка и летела на мостовую семечная шелуха.

Вдруг на площади волной пошло странное движение...

Сначала те, кто стоял с края толпы, повернулись спинами к ораторам. Потом стали поворачиваться остальные. Стихла гармошка. Остановились кричащие и жующие рты. Застыли на возвышениях ораторы.

Все смотрели в одну сторону...

По краю площади двигалась странная процессия. Впереди шел, опустив лысую голову, пожилой человек маленького роста в шинели с петлицами Министерства народного образования.

За ним в шагах пятнадцати шли одиннадцать мальчиков в приютских кителях. Двое из них тащили за собой низенькую тележку с детским, грубо сколоченным гробом.

Народ снимал шапки и крестился.

И долго еще, когда процессия уже давно исчезла из виду, ораторы не могли решиться продолжить речи.

Сидели в столовой, все на своих местах. Допивали кофе.

— Дети... — устало сказал учитель, не вставая. — Дети... На улице холод и голод. А здесь у вас дом. И... я вам не враг. А хлеба я вам достану.

Робеспьер посмотрел на своих товарищей. И ни один из них не ответил на его взгляд: отворачивались в сторону, смотрели под стол или в чашку. Только Фитюлькин ничего не понимал и весело крутил головой из стороны в сторону.

— Ну, я пошел, — сказал Робеспьер и встал.

И ушел, не оглянувшись.

Учитель несколько раз взмахнул руками, и несколько приютских мальчиков — нестройно и фальшиво — затянули «Благодарственный гимн»:

Да снизойдет благословенье Бога

На души, чуткие к добру...

Константин Иванович шел по улицам города, совершенно пустым сейчас, на третий день восстания. В руках учитель нес замечательные многофигурные часы, подарок представительства фирмы «Павел Буре и сыновья».

Проходя мимо афишной тумбы, он увидел, что патруль рабочих наклеивает на тумбу прокламации.

— Прошу прощения, — обратился к ним учитель. — Вы не знаете, никто не хотел бы приобрести, а еще лучше обменять на хлеб вот такие часы?

— А чего не ходят? — поинтересовался один из рабочих.

— Ходят. — Константин Иванович нажал на рычажок, и внутри часов заиграла механическая музыка, а фигуры закрутились и поехали по кругу.

— Ух ты! — восхитился рабочий. — Только за часы, гражданин, вам ничего не дадут. Часов счас пропасть, каких хочешь. Вон на Сенной — все звенит и кукует.

Патруль пошел дальше, унося ведро с клеем и свернутые в трубочку прокламации.

Константин Иванович бросил взгляд на наклеенный манифест. «К гражданам России!» — бросились в глаза крупные буквы.

...Учитель нагнал патруль у следующей тумбы:

— Пойдите!

Рабочие молча ждали, пока он подойдет.

— А где у вас ваше... правительство?

— Совет, что ли? — не понял один, видимо, главный.

— Вот, вот. Совет. Главный Совет.

— В Смольный идите.

— В Институте благородных девиц?! — поразился учитель.

— В нем самом, — хохотнул рабочий.

— А девицы?.. Хотя, да, конечно... — пробормотал ошеломленный учитель. — Благодарю вас.

И пошел под смешки патруля.

Свернув за угол, он был поражен тем, что к остановке, позванивая, подкатил трамвай.

— Он что же, ходит? — осведомился Константин Иванович, входя в вагон.

— А то нет! — ответила кондукторша.

— И куда он поедет?

— Куда, куда... Известно, по маршруту.

То, что творилось в Смольном, поразило учителя.

Повсюду плотным облаком висел синий табачный дым. Из него появлялись и в нем же исчезали люди. Солдаты спали прямо на полу, положив под голову мешки. Звенели телефонные аппараты. Пробегали мотоциклисты, с ног до головы одетые в кожу.

— Простите... — обратился учитель к человеку в черном костюме, проходившему мимо.

Человек остановился, с секунду рассматривая часы, которые Константин Иванович прижимал к груди, и сказал:

— Жалобы по реквизиции в комнате шестьдесят четыре.

И исчез в клубах табачного дыма.

Константин Иванович еще долго путешествовал по коридорам Смольного, пока к нему не подошел сурового вида небритый человек с повязкой на рукаве и не спросил:

— Кто такой?

— Учитель.

— А что гуляешь здесь?

— А что, собственно, за тон?! — возвысив голос, спросил Константин Иванович.

— Я тебя давно наблюдаю! — с угрозой сказал небритый. И позвал: — Степа!

Подошли несколько вооруженных рабочих, тоже с повязками на рукавах.

— Возьмите этого... подозрительного!

Степа, жевавший хлеб, сунул кусок в карман и схватил Константина Ивановича за локоть.

Учитель выдернул руку, вырываясь.

Но Степа и подоспевшие товарищи схватили его и потащили по коридору.

— Руки! Руки! — упираясь, кричал учитель. — Руки, мерзавцы, уберите! Хамы! — Он предпринял отчаянную попытку освободиться, дернулся всем телом и выронил часы.

Подарок фирмы Буре с ужасающим грохотом разбился о гранитный пол.

На мгновение в коридоре стало тихо. В этот момент открылась дверь, вышла большая группа людей. От них отделился один — высокий, в военной гимнастерке.

— Что здесь происходит? — строго спросил он.

— Подозрительного взяли, — доложил небритый.

— Кто вы такой? — обратился к учителю высокий.

— А вы кто такой? — с вызовом спросил запыхавшийся и красный Константин Иванович.

— Я член комиссии по реквизиции.

— А я учитель пения в сиротском приюте.

— Вы зачем-то пришли сюда?

— Да. Я пришел просить хлеба для сирот. Хлеба мне пока что не дали. А вот часы казенные, которые я надеялся обменять на хлеб, уже разбили, — весь трясаясь от негодования, проговорил Константин Иванович.

— Чего врешь! Часы ты сам разбил, — вмешался небритый.

— Подождите, товарищ Башмаков, — прервал его высокий. — Но... у нас нет хлеба.

— А если у вас нет хлеба, если вы не

можете накормить детей, то зачем же вы брали эту власть! — заорал учитель. — Отдайте ее тем, кто может прокормить сирот.

Небритый сделал инстинктивное движение к учителю, но высокий жестом остановил его.

— Хорошие слова, — похвалил высокий.

— Товарищ Башмаков, проводите гражданина учителя к товарищу Коллонтай.

И не попрощавшись, пошел по коридору.

Учитель в сопровождении четырех рабочих с винтовками подошел к булочной, на вывеске которой значилось: «Булочная и кондитерская с собст. пекарней». Рабочий дернул за ручку звонка.

В мастерской шла вялая работа. Мальчики собирали табуреты.

— Здорово, крысы приютские, — раздался веселый знакомый голос.

На пороге стоял Робеспьер.

— Робеспьер! Ты откуда?! — обрадованно крикнул Костыль. Бросил табурет и пошел к товарищу.

— Ура! — сказал Фитюлька.

И побросав работу, мальчики обступили пришедшего.

— Смотрите, что у меня есть... — Робеспьер осторожно достал из-за пазухи револьвер.

— Ух ты! — восхитился Японец.

— Где взял? — спросил Васильков.

— Там уже нету, — ответил Робеспьер.

— А не стрельнет? — тихо спросил Ухо.

— Не, — ответил Робеспьер. — Патронов нету. А где Котофей?..

— Часы на хлеб пошел менять, — сказал Костыль. И тут же попросил: — Дай подержать.

— Потом... Пацаны, айда на Офицерскую, юнкеров биты!

К дверям приюта подкатила ломовая телега, в которой совсем по-деревенски, задрав ноги, расположились рабочие и Константин Иванович.

Учитель с трудом выбрался из телеги, соскочил на мостовую. Ему подали из телеги два небольших мешка, корзину и ящик. — Я очень вам благодарен, — сказал учитель рабочим.

— Да чего там... — великодушно ответил старший.

— И вам, — обратился учитель к мрачному «реквизированному» извозчику.

Тот прорычал что-то в ответ и дернул вожжами.

Телега поехала.

— Прощайте! — крикнул Константин Иванович.

— Прощай! — ответили ему...

...Он занес ящик на кухню и опустил его на пол рядом с принесенными ранее мешками и корзиной.

Обернувшись, увидел стоящего в дверях Фитюлькина.

— А где все? — весело спросил учитель. — Сейчас будет готовиться революционный обед из реквизированных продуктов! Мечта сиротского парламента!

— Все пошли с юнкерами сражаться. А меня не взяли. Сказали, чтоб дом сторожил, пока вы не придете. А теперь можно мне пойти?

— Куда?

— На Офицерскую.

По улице бежал учитель. За ним едва поспевал Фитюлкин. Обгоняя их, проехала пролетка с вооруженными рабочими.

Все окна в трехэтажном здании училища были открыты. На подоконниках лежали мешки с песком. За мешками торчали винтовочные стволы и головы юнкеров. В трех окнах, по флангам и в центре, были установлены пулеметы.

Было тихо. Рабочие, разделившись на группы, покуривали и вполголоса обсуждали действия двух пожилых путиловцев, суетившихся у пушки.

— Выдвигаемся, товарищи, — негромко сказал человек в очках и в помятой шляпе. — Пока наших пушкарей дождешься, неделя пройдет.

Рабочие побросали сигарки и начали рассредоточиваться в цепь.

Пацаны стояли у пушки, с благоговением наблюдая за действиями пушкарей.

— А ты болтал — в японскую, в японскую! — передразнил своего товарища путиловец.

— Так это ж новая система, французская, — оправдывался тот.

Наконец замок отошел, открывая дуло. Пушкарь радостно засмеялся:

— Смотри-ка! Отскочил-таки, гад! Давай наводи!

Напарник прильнул к окуляру прицела и начал крутить маховики.

— А вы чего глазеее? А ну, подноси снаряды, которые с зеленой полосой, — скомандовал заряжающий ребятам.

Отталкивая друг друга, мальчики бросились к зарядным ящикам.

Костыль, надрываясь и припадая на хроющую ногу, первым донес снаряд до пушки. Заряжающий послал его в ствол, закрыл замок и крикнул:

— Готово!

— Товарищи, по выстрелу — вперед! На гнездо контрреволюции! — крикнул человек в очках. И скомандовал: — Давай!

Заряжающий отвернулся, зажмурился. Открыл глаза и сказал пацанам:

— Ухи закройте, а рот, наоборот, разиньте! Ну, благославясь! — И дернул за шнур.

От пушечного выстрела мальчики попадали на землю.

Когда рассеялся дым, Костыль вскочил на ноги и начал трясти головой.

— Не слышу, ничего не слышу! Вот шарандахнуло!

— Снаряд давай! — крикнул заряжающий. Верста подтащил свой снаряд, который вновь был отправлен в ствол.

В это время началась частая ружейная стрельба, рабочие медленно продвигались вперед, стреляя из винтовок.

Застрочил юнкерский пулемет — и наступавшие укрылись за углы домов и в подворотнях.

Путиловец дернул за шнур. И крик восторга вырвался у всех: снаряд угодил в угол училища, и вся правая половина здания была закрыта облаком пыли и известки.

— Ура! — рабочие вновь пошли в атаку.

— Ура! — кричали пацаны.

В одном из окон училища торчал белый флаг.

Юнкера по одному выходили из ворот, бросали винтовки в кучу и становились у стены в несколько шеренг.

От ближней к стене шеренги отделился плотный, невысокий юнкер. Заметив, что красногвардейцы, охранявшие пленных, почти забыли о них и переговариваются между собой, он медленно стал отходить в сторону ближайшего переулка.

Первым его заметил Робеспьер.

— А ну, стой! — крикнул он.

Юнкер побежал.

Несколько красногвардейцев бросились за ним — и с ними Робеспьер, на бегу выхвативший свой незаряженный револьвер.

Юнкер выбросил назад руку и наугад выстрелил.

Робеспьер как-то странно дернул головой, по инерции пробежал несколько шагов и упал на мостовую.

Константин Иванович сразу же увидел своих.

— Вот вы... — с трудом переводя дыхание, сказал он. — А я еды достал. Колбасы, хлеба... Все здесь?

Мальчики молчали.

— Все здесь? — повторил учитель. — А Робеспьер где?

— Там лежит, — указал головой Костыль.

На пустой площади лежал Робеспьер. Вокруг его головы уже образовалась лужица крови. Константин Иванович встал рядом с ним на колени, обхватил тело мальчика и приподнял его.

Голова Робеспьера откинулась назад.

Из училища выводили последних обезоруженных юнкеров и выстраивали их посередине площади. Юнкера были еще совсем юные, почти мальчишки, и очень напуганные. Они с ужасом смотрели на человека, который стоял на коленях и прижимал к груди тело убитого мальчика.

А рядом с учителем, тесно прижавшись к нему и друг к другу, стояли еще десять мальчуганов, ежившихся от осеннего ветра.

— Как его звали? — вдруг очнулся учитель. — Как его звали? Кто знает?

— Робеспьер, — ответил Фитюлькин.

Фотограф установил свою треногу и попросил не двигаться. Арестованные юнкера и арестовавшие их рабочие сосредоточенно и хмуро смотрели в объектив аппарата.

Рабочий поднял револьвер Робеспьера, вопросительно посмотрел на мальчиков и учителя.

— Я возьму? — спросил он нерешительно. Ему никто не ответил, и он пошел дальше, унося револьвер с собой.

Константин Иванович по-прежнему прижимал к себе мертвое тело Робеспьера, а вокруг него теснились десять мальчиков. Десять Ивановичей.



АННА СЕРГЕЕВНА РОДИОНОВА окончила Литературный институт имени М. Горького и Высшие сценарные курсы при Госкино СССР. По сценариям А. Родионовой поставлены художественные фильмы: «Школьный вальс» (режиссер П. Любимов), «Карнавал» (режиссер Т. Лиознова), «Переходный возраст» (режиссер И. Скутельник). Сценарий «Пригород» написан в 1982—1984 гг.

АННА РОДИОНОВА ПРИГОРОД

Дом казался мрачным, нахохлившимся, обиженным. Логутков ходил по комнатам, щелкал выключателями. Вспыхивали мутные голые лампочки и тут же меркли от бьющего в окошки солнечного света. Старик был бодр, ходил легко, но дышал часто и с усилием давил в себе кашель. Одет был чисто и бедно — пенсионер весной.

— Ну что скажете? — бухнул кашлем Логутков и палкой сбил нависшую паутину.

— Говорить нечего, — развел руками Рыбкин, — все сказано, плачу наличными.

— Ну уж, — покосился старик, — так сразу.

— А чего тянуть, — легко сказал Алексей, — формальности улажены, завтра приезжает моя жена, хозяйка, так сказать... а я уже... вот тут...

Говорил он немного неловко, как человек, не привыкший к общению с людьми. Скорее, не говорил, а нацупывал интонацию в поисках доверительности. Заменял слова жестами, улыбкой. Улыбка у Алексея была замечательная, детская. Сразу слетал внешний форс и он становился простым парнем, своим. Логутков на интонацию не ловился, он был недоверчив и угрюм.

— Весна, — сказал Алексей, открывая окно. С треском порвались полоски бумаги, заклеивавшие щели, и клочья ваты вывернулись наружу. Молодой нежный сад висел в воздухе облачком светлой зелени.

Деньги Алексей толстой пачкой выложил на стол.

— Смелый вы человек, — без улыбки сказал Логутков, — такие деньги в кармане носите.

— Я на машине.

— Машины у меня никогда не было. А вот дача была. — Логутков начал раскладывать увесистую пачку на тонкие стопочки сотен.

Алексей вышел на веранду с выбитыми цветными стеклышками окон, тонкой вязью оконных переплетов — послевоенной моды дачного строительства.

Дом еще продолжал жить чужой жизнью. Казалось — в этих прогнивших половицах, перекошенных дверях, ржавом умывальнике над тазом с отбитой давно эмалью еще витал дух недавнего человеческого счастья.

— Дом хороший, крепкий, — сказал старик, не замечая, что двери не закрываются, а прислоняются кое-как, что пол трещит, а сквозь щели сияет небо. — Там, в сарае, есть замазка... я даже могу стекла сам вам вставить. Вот как-нибудь приеду в выходной и с удовольствием займусь... Дом прекрасный, сейчас таких не строят, тут каждый гвоздь мной вбит. А как легко дышится... В старых высушенных временем домах всегда легко дышится, вы обращали внимание? Печку я недавно перекладывал, она почти не дымит.

А небось решили — старый хрыч, какую цену запросил...

— Да что вы... Это, так сказать, усредненная рыночная цена, я узнавал.

— А все потому, что это моя жизнь... Вы знаете, у меня была жена...

— Да, да, вы мне рассказывали...

— Был сын...

Логутков достал из кармана бутылку домашнего вина.

— Прошлогоднее, — с гордостью заметил хозяин. — Видите — урожай тысяча девятьсот восемьдесят третьего года! Выпьем?

— Я не пью.

— Я вам не верю.

— И не курю.

— И при этом у вас есть деньги, — пенсионер задумался. — Сотенные бумажки. У меня когда-то самое большое пятидесятки водились. Пятерка по-нынешнему. Что ж, выпью один.

Вышли из дома, присели на крыльцо. Солнце садилось. Прохладный майский вечер опускался на глубоко дышащую землю.

— Хорошо, — сказал старик.

— Неплохо, — весело согласился Алексей. Пенсионер начинал ему надоедать.

— Здесь — вечность.

— Да я сам, как видите, удрал из города — да ну его, шум, гам, дела, звонки сплошные... А тут полчаса от центра и...

— Здесь вечность.

Старик, стесняясь, выпил из горлышка. Вино пролилось. Он затер пятно чистым носовым платком и встал.

— Привидений здесь нет, — сказал он сердито, — и домовых тоже. Хотя по крыше иногда кто-то ходит. Но, я думаю, это кошки.

— Как прозаично, — улыбнулся Алексей. — Уж лучше привидения, как в фамильных замках.

— Привидения — не приведи господи, — сказал Логутков. — Я жену после ее смерти несколько раз видел — то в саду, то на лестнице...

Алексей покивал сочувственно и незаметно бросил взгляд на часы. Пенсионер заметил его равнодушие и свистнул собаку. Бесхвостый пес, виляя за отсутствием хвоста всем задом, предстал перед хозяином.

— Идем, Тришка. — Старик потрогал на прощание стенку с выщербленной штукатуркой. — Да, я хотел показать вам погреб...

— Я уже видел, вы показывали в прошлый раз.

— И чулан? — недоверчиво спросил Логутков.

— И чулан.

— Ну что ж...

Замерли. Чистым ясным звуком пропела электричка.

— Если с умом, то хороший огород можно завести, у жены все росло. Есть такие люди — с легкой рукой, у них все растет.

— Я могу вас отвезти на станцию... а то и вправду сумма большая.

— Я здесь всех знаю, и меня все знают. Я могу, кстати, если вам нужны сюжеты, очень многое рассказать...

— Мне не нужны сюжеты, я сам их придумываю.

— Наверное, хорошо платят.

Алексей потерял терпение.

— Ну, всего, — он протянул Логуткову руку.

— Кино народ любит, — продлил прощание пенсионер, ища, что бы еще сказать, чтобы только не рвать так внезапно и навсегда последнюю ниточку с прежней жизнью. — Так я стеклышки вставлю... У меня и в Москве есть запасные, я их когда-то много приобрел, по дешевке...

И вдруг резко и не оборачиваясь пошел к калитке. За ним трусил Тришка, виляя задом, как ловкий царедворец...

...Алексей шел по поселку, присматриваясь к домам, резным калиткам, втягивая запах весенних костров, прислушиваясь к лаю собак, чьим-то гулким голосам. В окнах горел закат.

Большей частью это были одноэтажные, крытые шифером, обшитые вагонкой строения, лишенные архитектурной мысли, явно списанные когда-то друг с друга, но со временем обретшие неповторимость благодаря фантазии своих хозяев. На одной избе был флюгер — петух, на другой висел флаг, забытый с майских праздников. Толстые задумчивые девушки вели по домам коров, козы криками напоминали о себе своим забывчивым хозяевам, где-то зажига́т на верандах, еще холодных, не прогретых теплым солнцем, голые электрические лампы. Навстречу прошло несколько человек, не глядя на Алексея, хотя он был склонен поздороваться. Но это был пригород, а не деревня, здесь не здоровались и приезжим не удивлялись.

Чужая и странно тревожащая жизнь тлела в этих домах с тусклыми окнами и голубыми силуэтами телевизоров.

Через поле, уже в темноте, Алексей вышел к станционной площади, похожей на все подмосковные площади такого рода. Уходил последний автобус в глубинку, и молчаливые женщины с сумками, вековечно перекинутыми в общей связке через плечо, тяжело взбирались на его высокие ступеньки. Шофер курил.

Зажглись редкие, те, что остались неразбитыми, фонари.

Возле памятника росли маленькие аккурат-

ные елочки, придавая конкретному месту официальность и недоступность.

Из пустого магазина две продавщицы в белых халатах вывели, почти вынесли какого-то мужика и что-то закричали водителю автобуса. Но тот как будто не слышал, быстренько прибил ногой окурок и сел за руль.

— Подождать просят, — сказал Алексей.

Но автобус уже разворачивался, и через мгновение на опустевшей площади остались четверо — Алексей и те трое.

— Эй, молодой человек, — закричали продавщицы, выбиваясь из сил, — помоги... куда нам его..

Алексей оглянулся.

— Это вы мне?

— Ну а кому, памятнику, что ли, — рассердилась толстенная в круглых очках, — нам магазин запереть, а он, черт, спит.

Алексей подхватил сползающее тело, и в этот момент девушки с поразительной скоростью содрали с себя белые халаты, заперли двери, повесили два могучих замка.

Из-за поворота длинной яркой лентой ползла электричка. Девушки взвизгнули и припустили, на ходу захватывая халаты и без того набитые сумки.

Алексей дотащил пьяного до ящиков, тот неожиданно открыл глаза и обнял его за шею.

— Друг, — сказал пьяница, — друг на всю жизнь.

— Во нализались, — произнес кто-то с оттенком восторга.

С поезда шли люди.

— Товарищи, помогите, — взмолился Алексей, — вы не знаете, кто это?

— Память пропил, — опять восхитились, — и ведь одет прилично.

— А я этого знаю, — сказала женщина, указывая на Алексея, — он всегда сухим из воды выходит... С кем ни пьет — сам как стеклышко, а напарник в стельку.

— Да вы что, — поразился Алексей, — я не здешний.

— Ври, — сказала женщина, — каждый день тебя тут вижу.

— Идем, Тань, зуд у тебя прямо на алкашей, что ты с ними цапаешься?

Женщины отошли. Подошли мужчины.

— Гордеев вроде, — сказал один задумчиво, изучая спящего в профиль.

— А пьет, учтите, — вернулась первая женщина, — не на свои, а зарплату у всех высосет и бросит... А сам как стеклышко...

— Ну и пусть лежит тут, — Алексей разозлился. — Тоже мне, гуманность проявил, дурак столичный.

— Слышала? — донеслось до него. — Две «столичных».

И кто-то поддержал:

— Как пить — вместе, а пбмочь человеку — это никак.

— Да я не знаю, куда его отвести, — закричал Алексей, я бы отвел, что мне, трудно?

— Гордеевы на Ломоносова живут, в госдоме, — доверительно сказал мужчина.

— Где?

— В государственном доме.

Очевидно, открыли шлагбаум, потому что потоком пошли машины. Один автобус остановился, и все, кто только что окружали Алексея, мгновенно исчезли в автобусе.

— Постойте! — Алексей бросился за автобусом. Но задние красные огоньки издевательски мигнули и скрылись.

Сзади засигналили. Шло такси.

— Пожалуйста, я заплачу, — взмолился Алексей, — подвези человека, на Ломоносова... государственный дом какой-то... там скажут... я заплачу.

— Трояк, — сказал шофер.

— Хорошо. — Алексей протянул трешку.

— А сам-то что?

— Я не еду... мне в другую сторону.

— Тогда красную.

— Красную?!

— Не хочешь — как хочешь... Пусти дверцу.

— Ну ладно, просто странно, тут так близко...

Алексей достал десятку.

Шофер замер.

— Ты что, я так сбрыхнул, а ты вправду?

— Но я понимаю, это труд... и просто неприятно, он такой грязный. И потом, очевидно, вам не по пути...

— Вали ты...

Шли пешком. Как ни странно, Гордеев вполне успешно передвигал ноги. И если бы не его страстное желание ежеминутно объясняться Алексею в любви, было бы даже ничего.

— Ты мой друг... я сразу понял, что ты мой друг... Федя — не друг... А ты друг... Федя совсем не друг... Федя подлец... а ты нет...

Госдом на Ломоносова узнавался сразу. Это был не дом, скорее некий организм с разноцветными дверьми, странно и нелепо приляпанными с разных боков, несколькими фонарями, почтовыми ящиками с приклеенными названиями газет.

Уродливый этот организм тем не менее жил, смотрел телевизор и собирался ко сну. Из одной двери вышла крошечная старушка с ночным горшком. Она поставила его на ступеньки и стала запереть дверь. Потом она скрылась в темноте, где смутно по-

дозревался общественный туалет, и довольно быстро вернулась.

— Бабуль,— Алексей страшно смутил старушку,— Гордеевы здесь живут?..

Старушка вздрогнула, спрятала сосуд за спину и указала подбородком:

— Вот там, видите, кожей обито...— и стала суетливо отпирать свою дверь.

Кожей было обито еще при царе Горохе. Алексей прислонил Гордеева к ключьям грязной ваты, вылезавшей из прорех, и сильно постучал. Тут же отозвались:

— Ты чего стучишь, чего стучишь, рассту-чался...

Из распахнутой двери пахнуло теплом и уютом. Алексею даже ковер на стенке привиделся.

— Это к вам? — спросил он полную недоверчивую женщину.

— Мама, кто там? — прозвучал девичий голос.

— Папочка с работы пришел,— с неожиданной иронией отозвалась Гордеева, изучая Алексея,— ножками пришел... Ну что, Ленечка, заходи, заждались тебя.

Дверь щелкнула Алексею чуть не по носу. Ему стало обидно.

— Хоть бы спасибо сказали,— проворчал он.

И тут же тяжелый, ежедневный, будничный скандал обрушился по ту сторону обитой кожей двери. Голоса ширились, увеличивались, множились, девичий голос лез в колоратуру. Под ноги Алексею из соседней двери вышвырнули кошку. Она сверкнула диким глазом и умчалась к орущим котам. В ту же минуту где-то сбоку вылили ведро. Он поспешно отступил, и уже шаг спустя скандал не был слышен. И скрытая загадочная жизнь госдома осталась за его уродливыми перекошенными дверями.

Сопровождаемый верным Тришкой, Логутков шел по улице. В руке — коробка из-под торта.

— Здравствуй, Павел Ефремович,— приветствовала его соседка. В тренировочном костюме и в облепленных грязью резиновых сапогах она толкала перед собой тачку с навозом.— Никак возвратился?

— Тянет. Неделю не был, и сил нет,— признался пенсионер и полюбовался навозом.— Хорош навоз, где брали?

— Как всегда, у тети Дуси. Очень она сокрушается, что вы уехали, Павел Ефремович, боится — новый хозяин не даст ей косить.

— Я с ним поговорю.

— А что это у вас? — Соседка показала на коробку из-под торта, аккуратно перехваченную веревкой.

— Стеклышки, цветные... обещал новому хозяину вставить.

— Чего?!.— ахнула соседка.— Куда ему это вставить?

— На веранду.

— Да ты иди, Павел Ефремович, полюбуйся на веранду свою. Иди-иди.— И соседка решительно свернула тачку к своей калитке.

Терзаемый недобрыми предчувствиями, в ожидании гадостей и безобразий, чинимых на бывшей его даче, Логутков подошел к забору и глянул в щелку.

Дома не было.

Соседка медлила у калитки.

Логутков отошел немного и проверил номер дома.

— Он, он,— крикнула соседка.— Можешь не проверять, на следующий же день все под бульдозер.

Дома не было, как не было призрака, как не было еще вчера жившего, а сегодня умершего человека. На месте крылечка, веранды, увитой каприфиолью, на месте так долго и мучительно создаваемого почти живого существа — было пусто.

— Ты что? — крикнула соседка.— Плохо тебе?

Логутков улыбнулся.

— Нет, я так... я пойду. Я... потом...

Почему-то всегда кажется, что разлука с милым и близким тебе существом окажется не такой тяжелой, если будет возможность хоть изредка, хоть украдкой, но видеть его.

...А по дороге один за другим шли грузовики с песком и кирпичом, трайлеры с прогибающимися янтарно-желтыми на солнце досками, сильные молодые бородачи вынимали из юркого «газика» рулоны рубероида. Новые двери и окна стояли, прислоненные к березам, и казались фантастикой.

Алексей в высоких сапогах и широко расстегнутой на груди ковбойке весело распоряжался всеми этими людьми, машинами, материалами. Люди и материалы — все было первосортное. Кирпич не колосся и бросался, а аккуратно передавался по одному из рук в руки. Люди тоже были красивые, отменные — они красиво носили стройотрядовские куртки, их сильные мускулистые тела современно дисгармонировали с модами бородами. Они все были разрушительно безразличны к прошлой жизни Павла Ефремовича Логуткова. Из них была деятельная энергия.

— Алексей Кириллович, разрешите вас на минутку,— к Алексею подошел бригадир.— У меня к вам от всей бригады ну, что ли, дополнительное условие.

— Я вас слушаю, Виктор Михайлович.

— Осторожно, Афанасий, ты ударишь но-

гу,— отвлекся на секунду бригадир. Он был похож на заботливую воспитательницу детского сада.

— Игорь, Олег, никто не видел гвоздодера?

— О чем речь, Никита, ты меня смешишь, кирпич испокон веку клали под фундамент в два кирпича.

— Но в три будет практичнее, мы же не экономим.

— О чем речь, старик.

— Так что за условие? — напомнил Алексей.

— Крайне важнейшее. Наша бригада, сами видите, укомплектована всеми специалистами. Вот, к примеру, Афанасий... Афанасий, ты, право, обстанешься без потопства, разве можно так много на себя брать... Он отличный каменщик. У него кладка фирменная, в прошлом году мы воздвигали церковь в Кижях...

— Как воздвигали?

— Официально это называется реставрировали, но вы сами понимаете, что легче разрушить и возвести, чем колупаться и восстанавливать. Олег и Игорь — перво-классные плотники и аспиранты, Никита — кандидат наук и прекрасный кровельщик. Афанасий, как, впрочем, и ваш покорный слуга, тоже кандидат наук, но работает в смежной области. Я думаю, что большие подробности вам не понадобятся, все же некоторое инкогнито мы обязаны соблюдать, хотя бы ради реноме.

— Так что — условие? — улыбнулся Алексей.

Ему все чертовски нравилось. Нравилось и эти веселые современные парни, умеющие обращаться и с пицущей машинкой, и с топором,— он только что заметил, как Никита свой топор достал из «дипломата». Ему нравилось самое строительство, творчество. Ему нравилось, что он еще молод и полон сил и что, черт побери, можно не крохоборничать.

— У нас одного специалиста нет — по щам и кашам. Афанасий сварил кашу, но вы сами понимаете...

— Это все жена,— Алексей успокоил бригадира и похлопал его дружески по плечу.— Она вот-вот придет и сварит вам все что угодно.

Оля сошла с поезда и зашла в сельпо. Там она встала в длинную очередь, стойчески покоряясь необходимости. За ней встала девушка. Молодой человек со шрамом отошел от прилавка, распахивая по карманам бутылки. Увидел девушку.

— Люся! — обрадовался он.

— Славик! Откуда? Когда?

— На прошлой неделе.

— Поздравляю.

— Что ж тут поздравлять.

— Ну все же,— смутилась Люся,— свобода.

— Свобода — это осознанная необходимость,— согласился Славик.

— Где работать устроился?

— Еще нигде. Погулять хочу. Имею право. А ты где, что — ничего про тебя не знаю. Может, замужем уже?

— Да нет. Я учусь, на вечернем — в торговом... Работала в магазине, сейчас ушла, у меня сессия.

— Сессия — слова-то какие... А давно ли мы с тобой гуляли под фонарями?

Оля кипела. Очередь почти не двигалась. Было жарко.

— Может, в кино сходим как-нибудь?

— Драмсарай закрыт. Теперь к нам вагончик приезжает.

— Отстали от культуры. У нас на Колыме на каждом шагу шикарные кинотеатры. Нам вообще, знаешь, много кино показывали. Ну, идем? Сегодня?

— На работу тебе надо устроиться.

— Работа не волк... Девушка, вы берете или нет?... Во, vareжку разинула. Влюбилась, что ли?

Оля вспыхнула, но сдержалась.

— Мне... водки... пять... десять бутылок.

— А, Сонь,— крикнул Слава продавщице,— видишь, кто вам план делает — дачники и интеллигенты, а ты на нас бочку катишь...

Нести было тяжело. Оля не рассчитала. А еще высокие каблукы. Сумочка сползает с плеча. А те двое шли за ней, и Слава чем-то смешил девушку. Сумку, впрочем, девушка тоже несла сама.

— Оля,— ахнул Алексей,— и ты это сама притащила?

— Это мой вклад. Хотя тебе кинуть все это в багажник — пара пустяков...

— Но зачем столько?

— Как зачем, а рабочим? Они что у тебя, ангелы?

— Они не пьют, Оля, ты каких-то не тех книжек читалась.

— Я тебе столько притащила, а ты мне еще выговор устраиваешь... Ты бы видел, с какими людьми я в магазине стояла, какие рожи, девушки тут же кидаются каждому второму на шею, все, ну просто все из мест заключения... И ты мне еще делаешь выговор!

— Ну ладно, ладно... Иди, умойся.

— Я хочу выкупаться. А то сдохну.

Деревенский пруд был как опрокинутая чаша, в которой отражались ивы, летающие

птицы и плыли облака. Было пусто, тихо, тепло. Алексей сразу поплыл, и рябь поколебала и птиц, и облака... Оля осторожно входила, щупая дно и брезгливо морщилась...

— Какое дно? Леша, ты слышишь меня, какое там дно? Боже, какая пакость... ил...

— Ты не смотри на дно, плыви сразу...

Оля присела на секунду, чуть побызгалась и стала вылезать. По дороге упала, измазалась глиной, опять окунулась...

Села на траву злая, не остывшая. Алексей вышел, сел рядом.

— Хорошо, — сказал он.

— Завтра я искупаюсь в море, — сказала Оля.

— В каком?

— У меня путевка в Алупку.

— Какая? У тебя еще вчера не было путевки в Алупку.

— Горящая. Не могу же я со своим здоровьем, со своими зимними бронхитами пропустить лето. Это обречь себя на вечный рецидив.

Алексей стал молча одеваться. Это Оле не понравилось, она поняла, что перебрала.

— Лешенька, ну сядь, ну послушай, — она потянула мужа за руку и он сел. — Родненький, солнышко, давай не ссориться, мы же строим этот дом для счастья, правда же? Но ты же знаешь меня... Мне лучше на этот период вообще куда-нибудь умотать, а потом вернуться — а дом уже готов... А на новоселье мы позовем... — Оля даже зажмурилась.

— Я бы не хотел, — сказал Алексей, — чтобы вообще знали о нашей даче. Я строю ее для работы.

— И для счастья.

— И для счастья.

— И для любви. — Оля обняла мужа, стала ласкаться и мурлыкать. — Ты приедешь ко мне в Алупку, мы будем купаться при луне...

— Как же я брошу стройку?

— Такие серьезные мальчики, даже не пьют. Оставишь им деньги. Людям надо хорошо платить, и они тебе сделают все. Найди в деревне какую-нибудь Матрену...

Оля имела влияние на Алексея. Она, когда хотела, была очень нежной и доброй.

Поставив перед собой поваренную книгу, Оля варила обед. Что-то размешивала, шептала, добавляла, подливала.

...В котловане шла своя работа. Кандидаты сгрудились вокруг своего бригадира. Тот, разложив на «дипломате» учебник по строительству, читал им вслух главу о фундаменте. Ученые слушали вдумчиво, голова работала, как никогда, мысли рождались в изобилии.

...Оля повертела в руках пачку, понюхала.

Половину насыпала в кашу, а остаток в сахарницу. Все было готово. Оля, раздумывая, в сарафане, смущенная; была очень хороша. Технари поливались из ведра и фыркали. Алексей с ощущением радости физического труда подтащил колоду к импровизированному столу под липой и тоже сел обедать.

— Сначала чай, — попросил бригадир, «Бугор», как его ласково звали все. — Мы, знаете, в позапрошлом году работали в Средней Азии, пристратились к чаю.

Первым сунул ложку в сахарницу Никита. Попробовал и проглотил. Подтолкнул Олега, тот Игоря, тот Афанасия. После все серьезно и в высшей степени почтительно наблюдали, как бригадир накладывает сахар.

— Сыпь, Витя, сыпь, что ты ложки считаешь. — И здоровый молодой смех романтиков вознесся к небу.

— Это что, соль? — ахнула Оля. — Какой ужас!

...В дальнем углу сада Оля рыдала. Алексей утешал.

— Ну что переживаешь, ты видишь, им хоть бы что...

Действительно, то и дело доносились взрывы смеха.

— Ты видишь, я ни на что не пригодна, ни на что... я же и в кашу насыпала соль...

— У тебя просто нервы расшатались, ты так много болела зимой...

— Неужели так трудно все бросить и поехать со мной!

— Но мы же...

— Я все знаю, все... ты просто меня не любишь... что-то уже произошло... ты совсем не так на меня смотришь...

— Я просто хотел того ребенка, но что об этом говорить.

— Но вы же сами так решили — с мамой и папой...

— Да, конечно.

— Вы все решили, а теперь ты меня упрекаешь... Как у тебя язык поворачивается! Конечно, я для тебя старуха, некрасивая, глупая. Тебе нужна какая-нибудь местная корова, ты бы ее доил и спал с ней.

И от этой мысли Оля чуть не умерла. Алексею пришлось долго ее успокаивать, обнимать и целовать, слизывать слезинки с ресниц, сморкать носик в лопух и овеять веткой сирени.

Тем временем бригада откушала и взялась за гитару. Пели они слаженно и мужественно. Оля улыбнулась и стала подпевать. Растрепанная, раскрасневшаяся, припухшая, она была очень хороша.

Алексей шел от дома к дому под пронзительный лай шавок. Хозяйки его вы-

слушивали, но вежливо отказывали. У колонки стояла Люся, она набирала воду. Второе ведро, уже полное, стояло на дороге.

— Здравствуйте,— вдруг сказала Люся Алексею и сняла ведро.— Вы меня, конечно, не узнаете, а я вас запомнила. Я просто давно хотела вас поблагодарить за тот вечер, за отца... с ним это не часто бывает. Вы простите его... Я — Гордеева Люся. Я вас часто встречала, но как-то не решалась... А сейчас вижу, вы идете и что-то ищете. Я не могу вам помочь?

— Разрешите,— Алексей взял ведра и неумело, проливая на каждом шагу воду себе в ботинки, пошел к госдому.— Я строю дом,— сказал он лаконично от тяжести.

— Я знаю,— сказала Люся.

— Ищу повараху для бригады. Может, ваша мама... Жена уехала... Я заплачу...

Люся подумала.

— Мама не знаю, — сказала она, — но, может, я... Я вечерница, сдаю сессию. Но у меня один экзамен остался... А с работы я ушла... это долго объяснять.

Алексей поставил ведра и обрадовался.

— Три раза в день... завтрак, обед, ужин, продуктами обеспечим, посуду будем по очереди мыть.

— Посуду помыть не трудно, — сказала Люся и посмотрела Алексею прямо в глаза. У нее вообще была редкая для людей пригорода привычка смотреть в глаза. Люди здесь обычно отводили взгляд при встрече, они как бы стеснялись сами себя или хранили глаза для чего-то другого — может, для телевизора.

— От денег не откажусь, но об этом вы поговорите с мамой.

Усталые дачники-неудачники безнадежно бродили по домам.

— Девушка, не сдаст у вас никто хоть конурушечку...

Толстая женщина не годилась для конурушечки, но ей хотелось казаться меньше и она даже сжалась в комочек, насколько это позволяли телеса.

Люся огляделась.

— Тихоновы уже сдали... Федоркины — у них постоянные... Нет. Я не знаю.

— А вы, молодой человек? — обратилась толстуха к Алексею. — Ой, простите, это ваш муж?

— Да нет, — Люся усмехнулась, потом о чем-то подумала. — У нас, может... Нет, вы не станете у нас жить. У нас ни удобств никаких...

— Зачем удобства, когда такой лес... Уйти с утра с гамаком и прийти вечером, вот все, что надо.

— Идемте...

Алексей и Люся пошли вперед, а толстуха плелась сзади, обмахиваясь и причитая:

— Какая природа, какая зелень! Сил нет дышать бензином... Муж астматик, сама сердечник, дети психопаты, даже собака и та рвется на волю.

— Не уезжай, — вдруг сказал Алексей возле вагона.

Оля стояла на площадке. И проводница с жезлом уже оттесняла ее от дверей.

— Не уезжай! — выкрикнул Алексей, как заклинание.

Оля что-то невнятное говорила. Поезд тронулся.

Сберкасса. Яркая химическая блондинка с фальшивыми бриллиантами всюду, куда их только можно нацепить, протягивает Алексею пачку денег.

— Говорят, дачу строите, Алексей Кириллович.

— Кто сказал? — поразился Алексей.

— Все говорят.

— Старик, где? — тронул Алексея за плечо некто явно творцовского вида. Все в нем было буйно, широко, артистично. Но Алексей не мог припомнить его имени.

— Недалеко. Да, я хотел еще проверить — из Свердловска были поступления?

— Старик, кино — во! Вчера по ящику давали. Ты в порядке.

— Это не мое, Аркашино... Мое еще будет. Может, осенью.

— Пригласите на премьеру? — кокетливо спросила сберкассная дама.

Буйно-артистичный получил две пятерки, вложенные в сберкнижку, и засмутился:

— Немного на мели, но пишу сериал, махина времени, нечто на века.

— Да, Алексей Кириллович, сегодня пришли, разрешите вашу книжку, впишу.

— Есть вот такой сюжет, — сказал буйный. — У него на нее аллергия, понимаешь? У них любовь, но у него на нее аллергия. А любовь страшная. А он умирает, чихает без передышки. Тогда она — подвиг женщины — бредется наголо.

— Боже! — вскрикнула дама в бриллиантах.

— наших актрис не обреешь, — прикинул Алексей.

— Но у него аллергия продолжается. Он чихает как бешеный. Остается одно...

— Не может быть! — даме было плохо слышно и мерещилось черт знает что.

— Они расстаются. Но у них любовь... Великая... Шекспировская. А? Последняя ночь, слезы... мужество... она обрита... Зовут кстати, Рита.

— И что?

— Он перестанет чихать в ту же минуту.

Что скажешь?

- Надо подумать.
- Звякни.
- Звякну.

Москва плавилась в летнем зное. Дополнительно к зною всюду клали асфальт, и дышать было нечем.

Но вот потянулось Подмосковье, березки... У каждого мало-мальски существенного водоема сотни тел. Лето...

У ворот кто-то стоял. Гордеев. Трезвый. Или — почти...

— Здравствуйте, а я вас не узнал. — Алексей стал открывать ворота.

— Люська прислала, извиняться...

— Да что вы, дело прошлое.

— Разрешите взглянуть на стройку века.

— Милости прошу.

Смотреть уже было на что. Дом рос на глазах. Над стенами из белого кирпича и солнечного бруса уже возвышались легкие перекладины стропил. Работа кипела, все стучало, било молотком, топором... пилило... строгаило... Олег и Игорь, оседлав стропила, клали обрешетку.

— Да ты жулик, — почтительно сказал Гордеев. — Крупный, небось.

— Не знаю, что вы имеете в виду. Когда я вас тащил по грязи, вы обращались ко мне иначе.

— Как?

— Вы говорили «друг».

— Барахло... Друзей навалом. Жуликов, таких как ты, крупных, их меньше.

— Меня Алексей зовут.

— Ленья, значит.

— Леша.

— А я Ленья, Леонид. Нет, ты жулик... Уважаю. «У каждого свой шанс» — не твое кино?

— Нет, не мое.

— Обиделся? Напрасно.

— Чего мне обижаться.

— Обиделся. Вот я не люблю ломак, жулик — ты так и скажи: «жулик», я тебя только уважать буду... Мало ли есть кто: химики, физики, а есть жулики. Нет, я тобой восхищаюсь! У меня в твоём возрасте война была... А тебе разрядка досталась. Но вообще они тебя обманывают, они тоже будь здоров, вы одна шарашка... Кто же так паклю кладет? У тебя ж ее птицы выключают, белки растащат. К весне дом как решето будет. А фундамент, ты бы сначала спросил у знающих людей, где у нас плавун, а потом клал бы... Логутков дом на плавуне ставил, на чистом, вот и уплыл его домик. Видел какие были двери да полы? Вот так. Вагонку где крал? Нет, я серьёзно, сейчас нормальный человек ничего достать не может. Может,

скажешь, что у тебя и на песок накладные есть?

— У меня на все есть накладные.

— Врешь, песок государственной продаже не подлежит. Значит, уворовал.

— Мне один ЖЭК продал, они для песочниц заказывали.

— Детишек, значит, обобрал, сидите, городские детишки и делайте куличики из...

— Слушай, надоело, ты кто? ОБХСС? Ревизор?

— Народный контроль.

— Пойдем, — Алексей потянул Гордеева в сторону сарая.

— Куда?

— Идем, идем, я тебе документы покажу. А то ты еще понесешь по поселку, что я жулик.

— Репутацию жалеешь? Ох, какой щепетильный. Ты мне книжки сначала дай почитать.

— Какие?

— Какие, какие — сберегательные...

— Слушай, ты... Ты где работаешь?

— Сторожем я работаю, ночным... А тебе что, все надо знать? А кто у нас депутат, ты знаешь? Я каждого честного человека спрашиваю — ты знаешь, кто твой депутат? Ага, не знаешь, значит, ты жулик. — Неожиданно резко сменил пластинку: — Дай трешку, в долг.

Алексей достал кошелек. Пачка денег, только что снятая с книжки, потрясла Гордеева.

— Банк ограбил? — коротко спросил он. — Нет, я не скажу, я не фраер, просто интересно.

— Алексей Кириллович, — крикнули сверху, — гвозди кончаются, сотка, надо съездить.

— Сейчас.

...В машине Гордеев притих. Что-то обдумывал.

— А дом-то кривой, — сказал он наконец. — У меня глаз — ватерпас. Кривой. А вот в одном доме я видел — ванная в полу, как бассейн, а на дне пингвин выложен синим кафелем. Ну-ка, останови.

Алексей остановил.

— Ты ж к магазину просил.

— Выйди на минутку... Да не бойся, думаешь, стукну я тебя? Видишь?

— Где?

— Дом видишь?

— Ну и что?

— Это профилакторий. За ночь приводят в чувство пятьдесят рабочих душ. Чуешь?

— Нет, я не пью.

— А раньше это была дача, дачурка, так сказать, на три этажа одного завмага. И вот загадочная картинка — где завмаг и где

дача? Все кончается профилакторием. Мораль ясна?

Возле магазина Алексей притормозил.

— Стоят мои ребяташки, — ласково сказал Гордеев. — Нет, ты давай еще немного, за памятник заверни.

Алексей покорно завернул. На путях стоял агитвагон — кинопередвижка. На ней висел плакат с улыбающимся русоволосым парнем, поперек лица которого было написано название: «Рабочий пот».

— Твое?

— Нет, это одного моего знакомого.

— Значит, твое.

В вагон стояла очередь за билетами.

— Двадцать первый век на носу. Пригород столицы. Народ идет в кино. Народ несет свои трудовые сбережения тебе и твоим знакомым — чтобы ты и твои жулики тянули с них эти денежки.

— А что, пить лучше? — заорал Алексей. — Как ты и твои знакомые?

— Наши деньги идут на оборону страны, а не тебе, гад, в карман.

— Что же тебе мешает сесть на поезд и поехать в столицу, в центр мировой культуры, и пойти на концерт? Что? Кто тебя держит за руки?

— Сила!

— Какая сила? Через полчаса — Большой театр, через двадцать километров — Художественный...

— Что ж ты сам смылся от своего Художественного?

— Куда я смылся... У меня квартира осталась, хочешь — приедешь в Москву — заходи, — примирительно сказал Алексей.

Но именно это сообщение больше всего обрадовало Гордеева.

— Во, — счастливо сказал он, — что и требовалось доказать... А почему же у меня нет квартиры? Почему одним все — две машины, две жены, две сберкнижки, а другим кукиш с маслом, и то с подсолнечным.

И неожиданно в зеркальце Алексей поймал совершенно трезвый и полный ненависти взгляд Гордеева. Ему стало страшно, на него никто никогда так не смотрел. Тот засек его реакцию и тут же дернул дверцу:

— Ладно, я пошел. Пойду внесу на твой счет пятьдесят копеек.

В очереди стоял Слава. Он внимательно смотрел на машину Алексея.

Слава перехватил Люсю на улице.

— На работу?

— На работу.

— А мастера им не нужны? Я много чего теперь умею.

— Я спрошу.

Слава протянул билеты.

— Что это?

— Ну как что? В кино. Помнишь — договаривались.

— На когда?

— На сегодня.

— У меня, понимаешь... У меня сегодня занятия. Я не могу...

Слава огорчился.

— А я в очереди стоял, — он порвал билеты в мелкие клочки и даже сморщился. — Да ладно, чего жалеть... Я тебя встречу вечером, хочешь? Ты каким обычно ездешь?

— Ты знаешь, Славик, я сегодня у подружки заночую... А утром...

— Понятно, — тяжело и не по-хорошему сказал Слава. — Пока, значит, не сидел, хорош был, вышел — клеймо.

— Ну что ты говоришь, я же тебе даже писала.

— Я твои письма храню, мне они там вместо библии были. Молился на них.

И все это он говорил нехорошо, изломанно, кривляясь. Вдруг сделал резкое движение и обнял Люсю. Как задушил.

— Людка, ты все, что ли, забыла... Люд...

Люся вырвалась и побежала. Потом остановилась.

— Я... я так даже разговаривать с тобой не хочу...

Алексей пускал пыль в глаза. Они стояли с Люсей в фойе Дома кино, и он шептал ей на ухо:

— Видишь, в сером? Баталов.

— Где?

— А вон там Купченко с Лановым.

— Не вижу...

— Маленькая Ахеджакова, а высокая Терехова...

Совершенно не похожие на этих артистов люди проходили мимо. Алеша просто валял дурака.

— Вон-вон, по лестнице идет — Муравьева...

— Никого не узнаю, — вздохнула Люся, — в жизни они все другие.

...Бульвары задыхались в сирени. Вороватые торговки, прячась от милиционеров, торговали ландышами. Усталые милиционеры притупляли бдительность.

— Я редко в Москве бываю, — говорила Люся. — Учусь в Вострякове, работала в Дачном, мотаюсь туда-сюда, а в Москву не попадаю.

— Где ты работала?

— В овощном. Трудно. Ящики очень тяжелые, а грузчиков нет... Так наломаешься за день... Я взяла и ушла.

— Видишь дом? — показал Алексей на высотное здание. — Здесь, между прочим, моя квартира. Хочешь — зайдём?

— Нет, нет,— вдруг испугалась Люся,— мне завтра на работу...— и фыркнула.— Вот привычка... но ведь мне правда на работу.

— На минутку.

Люся вдруг побежала.

— Куда ты?

— На метро опоздаем.

— Стой... Я же машину оставил у Дома кино...

Люся протянула Алексею руку.

— Спасибо большое, мне очень понравилось, до завтра.

И вскочила в подошедший автобус. Алексей вскочил за ней.

— Ты хоть знаешь, куда этот автобус идет?

— Н-нет...

Люся выскочила и бросилась к метро. Алексей бежал за ней. Бежали по лестницам, по эскалаторам. Эскалатор вдруг остановился. Побежали так...

...Бежали по перрону. Еле вскочили в электричку. Дверь заклопнулась.

Несмотря на ночь, в вагоне были люди. Кто спал, прислонясь к стеклу, кто тарашил глаза в газету, кто играл в карты. По проходу прошли скучные миллиционеры.

— Это мой поезд,— сказала Люся.— Я часто им езжу. Вечером хорошо, пусто. А утром набито.

В постукивающем тамбуре курил парень со шрамом. Глаза шальные, налитые, сигарета в рукаве... Увидев Алексея, странно усмехнулся. Или Алексею показалось. Люся вздрогнула и отвела глаза. Слава.

— Кто это? — спросил Алексей.

— Так,— коротко сказала Люся,— учились когда-то в одной школе.

Чернота мчалась за окном. И их лица мчались в этой черноте.

Бригада праздновала завершение работы. Горел костер, жарились шашлыки, звенела гитара. Бородачи пели:

Сквозь прошлого перипетии,
Сквозь годы войн и нищеты
Я молча узнавал России
Неповторимые черты...

Люся смотрела в костер.

Бугор и Алексей осматривали с фонариком дом.

— Ну, в общем-то,— значительно и важно говорил Бугор,— основные договорные работы выполнены, а за выполнение инженерных работ мы, если помните, не брались.

— Но кое-что и не успели,— ввинтил Алексей.

— Неблагоприятные погодные условия, затяжные дожди, задержки с поставкой материала...

— Вот этого не было...

— А гвозди? Мы полдня были в простое. Коробка в целом стоит и крышей закрыта. На следующее лето все остальное...

— Я мечтал,— сказал Алексей,— сделать сразу все, и осенью уже жить. К зиме.

— Мечтать, конечно, надо мечтать, но и расчет не надо откладывать.

Ребята пели. Люся скучала без Алексея.

При свете фонарика Алексей сдавал позиции.

— В смету входило крыльцо, крыльца нет,— кисло говорил он.

— Это компенсирует дополнительное утепление пола холла.— напористо парировал научный Бугор.

— Обещали окна.

— Окна нельзя прежде пола, при работе побьют стекла, поверьте, мне просто жаль ваших окон.

— Пола тоже нет.

— Пол нельзя класть без керамзита, керамзит не завезен.

— Я просто не успел. Но я искал.

— День поиска керамзита — это день простоя стройки.

— Но вы ездили в баню.

— Баня входила в пункт договора.

— Нет, я готов заплатить...

Люся вдруг вздрогнула... Что-то померещилось ей в костре.

Но Алексей уже шел к ней.

Бригада моментально бросила петь, и все скрылись в сарайчике.

— Куда это они? — спросил Алексей.

— Деньги делят,— прозаично сказала Люся.

— Ты подумай, они мне отдельно вставили в счет, что не пьют и не курят. Я им за это должен был еще заплатить.

— Ты знаешь, они еще и не воруют... Я тебе точно говорю... Ни одного гвоздя не унесли, правда-правда...

Замолчали.

— Алеша,— спросила Люся,— а когда твоя жена возвращается?

Алексей пожал плечами.

— Завтра надо рабочих искать. Ты никого не знаешь?

Люся промолчала.

— Пойдем искупаемся? При луне...

...Пруд казался волшебным. Луна висела, как яркий светильник, чуть сбоку над лесом. А вода черно и бархатисто плескалась в тишине.

— Отвернись,— сказала Люся,— я без купальника.

— Я все равно ничего не вижу,— сказал Алексей и с плеском поплыл.

Посередине пруда они встретились и поцеловались.

Высоко в небе яркой звездочкой проле-

тел самолет. Цивилизация вселенной была бесконечно далеко от этого заросшего ряской деревенского прудика.

Обнявшись, они вышли на дорогу и поразились. При свете луны, заменявшем электрический, было видно, как из домов выходят люди, о чем-то говорят, смеются... Пахнущие духами дачницы выгуливали дачных собак. Даже дети бегали и катались на велосипедах.

— Что случилось? — поразилась Люся. — Скольку народу — прямо демонстрация. Она высвободилась из-под руки Алексея.

— Свет вырубили, — объяснила соседка, та, что возила навоз. — А на улице светлее... — Узнав Алексея, извинилась: — Извините, не признала... Здравствуйте.

— Как раз наши пошли в атаку — и бац... света нет. Как вы думаете, кто выиграет?

— Первый тайм шел в порядке.

— У англичан защита крепкая...

— А вратарь лопух.

— Вратарь лопух.

— Какой футбол? — переспросил Алексей, желая сказать всем что-то приятное. — С англичанами? Пять — три, наши продули... Наступила пауза.

— Кто тебе сказал? — удивилась Люся.

— Я поймал Лондон, а они как раз передавали...

Наступило какое-то особенное, неприязненное молчание.

К Люсе подошла мать — Гордеева.

— Иди-ка ты домой, — сказала она устало. — Что-то совсем дорогу забыла, и днем что-то варишь, а вечером обслуживаешь...

Она сухо кивнула Алексею и увела Люсю.

А тут еще дали свет и стало вовсе скучно. Все поспешили к своим телевизорам, потеряв интерес к общению друг с другом.

Один человек подошел к Алексею — Слава.

— Я слышал, вам нужны рабочие, — сказал он.

— Нужны.

Алексей никак не мог вспомнить, где он видел этого человека. Но Слава был вежлив, корректен и не допускал догадок.

— Есть ребята, хотят заработать. Золотые руки.

— Что за люди?

— Отличные люди. Только им жилье нужно, они не здешние.

— Но я... я бы хотел...

— Все, что вы хотите, — сделаем, завтра я приведу людей, вы и решите.

У ворот Алексея ждала отбывающая бригада. С гигантскими рюкзаками они имели вид покорителей Эльбруса. В руках «дипломаты» с топорами и долбенки для пил.

— Постойте, — сказал Алексей, — я вас подвезу.

Но те почему-то наотрез отказались. Бугор сказал абсолютно холодно:

— Счастливы были познакомиться, желаем творческих успехов.

Алексей усугубил холод фразой:

— Непременно приглашу на премьеру.

И бригада ушла.

Освещенный яркими фонарями, остов нового дома имел вид сказочного летательного аппарата, готового взлететь в высокое небо с этого запутанного в дурацких проблемах и комплексах земного шара.

Наутро Слава привел новую бригаду.

Четыре странных человека стояли перед Алексеем. В руках у них были аккуратные и очень чистые белые узелки. Говорили они между собой пальцами.

— Они что, немые?

— Не совсем, иногда мычат, — успокоил Слава. — Встретил вчера на Киевском вокзале, они приехали какому-то хмырю дом строить, но ему не понравилось, что они немые...

— А как же ты с ними изъяснялся? — поразился Алексей. — И мне как изъясняться?

— Но я же сказал — один мычит. Они из-под Львова, верующие. Посмотрите, как они будут работать. Вам-то что — других нет.

Других и вправду не было. Алексей дал согласие.

Логуткова тянуло к прошлому. Со своим верным Тришкой спозаранку он обошел знакомые грибные места, набрал подосиновиков и, сам себя проклиная, вышел на свою, такую знакомую дорогу.

Соседка опять толкала тачку, на тачке лежали рулоны рубероида.

— О, Павел Ефремович, здравствуйте. Что, все тынет?

— Тынет, Тася, тынет... Сегодня сон видел, будто мы молодые, а Митя маленький, вот такой, и я его по головке глажу... И даже в руке осталось вот это ощущение... такой сон радостный.

— Дурной сон, — покачала головой Тася, — дурной, счастье во сне — к беде. Ой, а у нас дела такие, — затарахтела, почувствовав, что что-то не то сказала, соседка, — у нас такие дела... Рабочие чудные у соседа, новые, они все продают, все вроде лишнее... А так — немые, не поговоришь... Наш там один при них, говорит — правда лишнее... По дешевке... Рубероль вон, такой рубероль разве сейчас достанешь? Как откажешься?

Алексей в сарае, кое-как пристроившись в чудовищной, почти палаточной тесноте рас-

кладушек, огромных, заляпанных глиной бушлатов, инструментов, поставив себе на колени пишущую машинку, пытался работать. Но взгляд его все время упирался в икону, которая криво висела на одном гвозде, и пучок сухой полыни украшал этот гвоздь. Икона его отвлекала. Слава заглянул в дверь.

— Люся говорит — обедать скоро, — сказал он несколько заискивающе. — А вот ребята мычат — рубероида не хватает, надо бы еще рулончиков пять.

Алексей уже не выглядел победительным прорабом, он стал жалким рабом стройки.

Беспомощно глянул он на Славу:

— Но ведь я вчера привез, вы сами сказали — хватит.

— Я сказал, я сказать все могу. А те бессловесные... Поди пойми. Вчера мычали «о'кей», а сегодня мычат «давай еще». Что я им, рожу?

— Я, что ли, рожу?

— Дело хозяйское, надо будет — и родите.

Алексей посмотрел на кривую икону и сказал:

— Хорошо, идите. Я скоро приду.

— Да, а в железе два листа бракованных... пробиты чем-то.

— Они что же, еще и слепые, может?

— Да я сам пропустил, вчера вроде все в порядке... Но в темноте смотрел, а сегодня на свет — все светится. Нет, мы, конечно, можем положить, но смысл — ноль. Вообще, товар стали выпускать — кошмарное дело.

— Ладно, иди.

Слава скрылся. Алексей взглянул опять на икону и вздохнул:

— Иди, иди, мне только дописать.

Логутков подобрался к забору. Выискал хорошую щелку. При ярком солнечном свете перед ним стоял новый дом — лучше, больше, современнее того ветхого, который он строил своими руками в течение всей своей жизни. По новенькому оцинкованному железу стучал молотком парень со шрамом. Через стекла уже вставленных окон, как сквозь очки, дом всматривался в окружающий его мир. Четыре совершенно одинаковых человека чинно сидели у стола под липой. Люся крутилась возле плиты. С момента появления на стройке Славы ей стало очень сложно, а еще эти немтыри.

Старик замер, боясь выдать свое подглядывание. А глупый бесхвостый Тришка миновал калитку и, учуяв запах мясного супа, потрусил к едокам. Дальше произошло что-то, не предвиденное, похоже, никем.

Один из четырех совершенно спокойно вытер о белую тряпочку руки, достал что-то из кармана... Раздался звук выстрела.

Тришка, скуля, пополз по дорожке, во-

лоча свое парализованное в секунду тело куда-то прочь от этой ужасающей боли.

Люся с криком выскочила из-под навеса. Слава замер на крыше.

Обезумевший Логутков бросился к Тришке... к тем четверым... кидался, тащил их куда-то... Те удивленно мычали, отталкивали его руками, сильными от плотничьего дела.

— Вы, вы, вы... — трясся старик, не в состоянии вымолвить ни слова. — Вы...

Все четверо почему-то улыбнулись.

Люся бросилась к Логуткову. Тришка уполз в траву, и след его тяжелого тела исчезал на глазах.

Логутков попытался кинуться к собаке, но в этот момент сам опустился на землю и схватился за сердце.

Алексей недовольно выглянул из сарая.

— Что случилось? — крикнул он. — Люся, кто это?

— Павел Ефремович! Павел Ефремович, — кричала Люся, — что с вами?

— Мне показалось, я слышал выстрел, — сказал Алексей.

— Шина лопнула, — сказал Слава с крыши.

Ему отлично было видно со своей высокой точки, как один из четырех незаметно выбрался из-за стола, настиг за забором уже в траве ползущего умирать Тришку, быстрым решительным ударом обломком кирпича добил собаку, после перемахнул ограду и вместе с трупом скрылся на чужом огороде.

— Это он кричит, это он! — узнал голос умирающего пса Логутков. — Я же слышу, его убили! Но зачем, зачем?.. Кому он мешал?

Слава спрыгнул с крыши.

— Кур режут, вам не видно, а мне видно.

— Кур? — удивился Алексей. — Разве куры так кричат?

— А вы знаете, как кричит курица перед смертью? — насмешливо переспросил Слава.

— Милицию, немедленно милицию! — Логутков поднялся и потянул Алексея. — Идемте, я знаю, у кого есть телефон.

Они ушли. Немые, уже все четверо, спокойно дожевали обед, что-то пошептали беззвучно, вроде как помолились, и полезли на крышу.

Слава пошел к Люсе.

— Ну-ка, дай мне, Люська, супцу, — весело крикнул он.

Люся испуганно налила ему миску.

— Что это, Слава? Кто они такие?

— А я знаю? Я же сказал — встретил их... Ты что, тоже мне не веришь?

— Но это оружие, Слава, откуда? Что ж за богомольцы такие бандитские... «Не убий»... «Не укради»...

— В общем, знаешь что... Ох, не надо

мне этих дел, ох, не надо! — Слава задумался. — Ты молчи, даже не встречай... Твоему, кстати, красавчику тоже ни к чему слухи... Н-да, ну мальчишки...

— Слава, это что, оружие?

— Естественно, что же, по-твоему... Может, они из лиги борьбы с собаками.

— Я боюсь.

— Не бойся, я скажу им сегодня пару ласковых на своем языке.

— Ну, они и тебя...

Алексей вез следователя на своей машине. На заднем сидении полулежал Логутков. У него был инсульт. Рот перекосялся и не закрывался. Но он отказался ехать в больницу.

— Никаких больниц, — страшно шевелил он языком, — сначала в милицию... У них оружие... Они могут и человека...

Следователь уже в машине составлял протокол.

Неожиданно на дороге возник Гордеев.

— Подкинь, — сказал он, — я за Люську боюсь... А-а, здравствуйте, — почему-то обрадовался он следователю. — А что ж вы не в форме?

— Я следователь, — объяснил тот.

— Что, Ефремыч, — сказал Гордеев, — худо? Вот так. А я тебе говорил — нельзя человеку на старости лет место оставлять. Где жил, хоть бы в конуре, там и умереть надо...

— Вы мне мешаете, — прервал его следователь.

Но уже приехали, и следователь вышел из машины.

— Слушай, — вцепился Гордеев в рукав Алексея, — на что он тебе нужен? Ты, что ли, Ефремыч, волну погнал?..

— Да что же они, — сказал Алексей, — среди бела дня — с оружием...

— Жулик, — с жалостью сказал Гордеев, — тебя прирежут... И я за твоё бунгало гроша не дам уже сейчас.

— Ничего, мы с ним, — Алексей кивнул на «бунгало», — каменные. — И помог вылезти Логуткову.

Логутков хрипел. Люся пыталась всунуть ему в рот таблетку валидола, а она вываливалась...

— Скорее, его в больницу надо! — крикнула она Алексею. — Что же вы...

Тот тянул, ждал следователя.

Издалека было видно, как молчали рабочие и трепался Славка. Следователь потрогал карманы у глухих. Те покорно и даже испуганно позволили ему это. Потом он долго читал их паспорта.

В этот момент подъехал «газик». Из него вышли два милиционера с миноискателями.

Они ловко и споро стали прочесывать участок.

— Мину ищут, — объясняли в толпе.

— Не мину, а пулю, вещественное доказательство.

— Без этого никак...

— Вроде не наши люди-то.

— Славка наш... Ну что ты, Славку не узнаешь, мать у него с подстанции, а сам по дурусти отсидел.

— Иди ты? Так вот оно что...

Все трое — милиционеры и следователь — совещались.

— Кто слышал выстрел? — громко спросил толпу следователь.

— А чего им стрелять, какая выгода по собаке-то?..

— Я не спрашиваю, какая выгода, я спрашиваю, кто слышал.

— Да счумнул наш старик, кто это в нашем веке собак убивает. — Слава смотрел на Люсю. Пытался сдержаться. Не сдержал.

— Я, — сказала она. — Я слышала выстрел, я рядом была.

— Ой, дура, — вздохнул Гордеев. — Вся в мамашу.

— Везите деда-то, — закричали в толпе. — Только глупости болтать могут, артистка тоже нашлась, выстрел она слышала. Где ты их слышала, выстрелы-то, в кино небось?..

Алексей сел в машину. Логутков уже лежал на заднем сиденье. Последнее, что видел Алексей, — как Гордеев уводил Люсю, а толпа, перекрикивая друг друга, объясняла что-то милиционерам. Те молчали.

— Ладно, — сказал наконец следователь, — разберемся. Расходитесь, товарищи.

— Мы свободны? — спросил Слава.

— Ох, Чехлатов, — погрозил ему пальцем следователь, — опять влипнешь в дело.

Слава засмеялся.

— Я точно влипну. Дед сам ударил своего пса, и сам на нас орет: вы убили. У меня во такие шары, убили... мы...

— А где собака-то? — спросил кто-то.

— Где, где, тебя как двинь — ты не то что уползешь, ты на тот край земли на ушах убежишь...

Славка смеялся, толпа слушала недоверчиво, но верить хотела.

Три прелестных пушистых котенка копошились в старой шапке-ушанке. Соседка держала шапку на вытянутых руках.

— Ну что, берете? — спросила Тася.

Оля пожала плечами.

— В нашей местности без кошек нельзя. Мыши заедят — полевки. От них ведь никакого спасения, кроме кошки. А смотрите, рыжий какой — тигр, а не кот. А вот серенькая кошечка, кошечки по мышам сильнее, охотнее... Ну, так берете? Я ведь недорого —

пятерка котенок, а то ведь топить жалко.

Оля поспешно вытащила из кошелька пятерку. Взяла рыжего.

Стояла осень, такая же рыжая, как котенок.

Участок был неприбран, но дом уже стоял, жил и грелся.

— Ой, какая дуся! — простонала Олина мать, вальжная разлохмаченная женщина в нейлоновых валенках и нейлоновом ватнике. Гигантская, из трех собак, меховая шапка сползала ей на самый нос. Олимпиада Карповна валялась на диване и страдала головной болью.

— Умираю,— сказала она.— Убери к черту этого кота, мне от него еще хуже.

— Ты же приняла только что, подожди, рассосется.

— Дай мне сумку.

— Мама, ты с ума сошла, ты только что приняла кучу таблеток.— Оля схватила сумку матери, но та с неожиданным проворством выхватила ее у дочери, выгребла из сумки рассыпанные таблетки, прикинула на ладони их вес и целую горсть отправила в рот.

— Я видеть этого не могу, видеть! — заорала дочь.— Ты наркоманка какая-то прямо! Тебе что сказал доктор Бельнский? Что ты угробишь себя лекарствами.

— Это все,— жуя таблетки, сказала мать,— от вашего вонючего свежего воздуха, будь он проклят. Твой тоже на нем изрядно пожелтел — как китаец.

— Он очень изменился,— сказала Оля и налила котенку молока,— злой все время... После той истории с рабочими его вызывали, он рассказывал, потом два раза писал какие-то объяснения...

— А все потому,— сказала Олимпиада,— что надо слушаться родную тещу. При его средствах он мог бы построить дачу в Крыму, и там она обошлась бы ему гораздо дешевле. Нет, у меня больше нет сил, расширь мне немедленно сосуды. Кстати, как у него с картиной, с той, огромной?... Он же должен был сдать.

— Откуда я знаю,— уныло сказала Оля.— Он со мной не делится.

Загудела машина.

— Зятек,— сказала Олимпиада и, превозмогая головную боль, полезла за пудреницей. Это были Алеша и Гордеев.

— Входи,— весело говорил Алеша,— давно не виделись... Знакомься. Жена, теща... А это мой друг.

— Гордеев,— сухо сказал Гордеев и протянул руку, но дамы руки не подали, и Гордеев, постояв немного, убрал руку в карман.

— Оля,— сказал Алексей,— сообрази, я голоден как медведь.

— Смотри, какой у нас котенок, его зовут Тигр... Ну, поцелуй котенка... Ну, поцелуй...

— Любопытно взглянуть на хоромы,— сказал Гордеев.

— Идем.— Алексей повел его по дому.

— Какой кошмар,— сказала Олимпиада.— Это теперь его друзья? Молодой человек,— закричала она тут же Гордееву,— вы бы хоть сапоги-то сняли, все же паркет, а не коврик.

Гордеев снял сапоги. Один носок был с дыркой, это было нехорошо. Он зажал пальцами дыру, и пошел, хромая.

Алексей стоял под черным люком, образующим в потолке четырехугольник.

— Это что у тебя там?

— Второй этаж.

— А лестница?

— Да руки не дошли. Я, понимаешь, с теми немymi тогда расстался. Ну, кое-как крышу доделали, и все, а остальное застряло. Потом, правда, водопроводчик работал, газовщик, паркетчик... черт их знает, кого только не было.

— Сколько ж у тебя там комнат?

— Четыре, нет, пять,— не помню.

— Я вот читал — великие князья имели по несколько дворцов, и в некоторых ни разу даже не ночевали. Как ты думаешь, чем это кончилось?

— Но я же не великий князь. А что дома? Как Люся?

— Болеет. Люся замуж собирается. А что ж, до камина руки тоже не дошли? Или, может, средств не достало? Может, одолжить?

— А за кого замуж?

— А нас не спрашивают. У тебя там дочки нет на втором этаже?

— Леша,— закричала Оля,— а где мои бутылки, ты помнишь, я покупала? Я их спрятала за сараем, в поленнице.

— Нет, ребята, с вами жить можно,— сказал Гордеев.

Люся и Слава сидели в вагончике, на последнем ряду и смотрели кино. Слава поднял руку и положил Люсе на плечи. Она оглянулась — так сидели все в последних рядах, многие целовались.

В сбитой набок шапке раскрасневшаяся Олимпиада и Гордеев смотрели по телевизору Хазанова. Оба были очень довольны.

— Легче? — постукал себя по лбу Гордеев.

— Легче,— просила мать.

— Ну вот так. А ты думаешь, для чего мы пьем? Чтоб было легче.

Оля обнимала Алексея и шептала ему на ухо:

— Знаешь, ты сейчас такой знаменитый, что мне даже странно, что я не взяла раньше твою фамилию.

— Фамилия дурацкая — Рыбкин.

— Самые дурацкие фамилии, когда становятся знаменитыми, как-то расцветают...

Алексей довел Гордеева до господина и немного постоял под дверью. Было тихо, поздно. Дверь вдруг стала отпираться. Алексей шагнул в тень. Вышел Гордеев, поискал глазами, нашел Алексея.

— Да нет ее, нет,— сказал он.— Иди домой, тебя жена ждет, алкоголик несчастный. Алексей покивал и пошел.

По Ташкенту с Алексеем шел режиссер — узбек.

— Теплынь какая,— сказал Алексей.— Ты знаешь, я очень люблю Ташкент, мне всегда в нем было хорошо.

— А сейчас?

— А сейчас мне всюду неважно.

— Подумай еще, Алеша, ничего пока не поздно... Может, придут мысли, и все оживет.

— Я пуст.

— Пустой сосуд в конце концов наполняется.

— Но чем? Я потерял способность видеть людей и записывать их мысли. Что-то плоское и что-то уже виденное витает передо мной, но я все это не могу воплотить, и мне стыдно. Ты мне друг, Давран, и я говорю честно. Я никому не скажу этого там, в Москве, там не поймут.

— Такой замысел... Никто, кроме тебя, не напишет.

— Знаешь, у меня только один замысел — уйти... Куда — не знаю... Зачем — не знаю, но все время хочется уходить... Отовсюду, где я бываю... Я только вхожу в какой-то дом, и уже хочу уйти, я только появляюсь на студии, и сразу же готов бежать...

— От себя не уйти.

— Я эту истину много раз читал глазами, но теперь я ее прожил, и это оказалось совсем-совсем другое.

Фантастической красоты город высился и простирался вокруг. Тонкой древней вязью сплетался и расплетался его орнамент... Редкой красоты женщины свободно и гордо шли по его широкому тротуарам. Это был почти край земли. Куда уж бежать дальше...

К даче съезжались машины, одна за другой мчали они по дороге мимо Люси, с тяжелыми сумками бредущей от станции.

Вечеринка на даче была во вкусе Оли — на широкую ногу, с фейерверком. Ракеты взлетали и рассыпались разноцветными зонтиками над лесом.

— Тебе хорошо? — спросила Оля.

— Очень,— ответил молодой и некра-

сивый мужчина с живыми глазами,— мне с тобой всегда хорошо.

— Ты помнишь Алупку?

— Я помню все.

— Халупка потрясная,— влез гость с роза.— А что Лешки нет?

— Он в Ташкенте.

— Оля, где твой вкус? Я понимаю, что Лешка в искусстве ничего не сечет, но ты! В библиотеке — только дубовые панели! Только, а не эта жалкая береза.

...На рассвете, позднем осеннем рассвете, когда к станции уже тянулся рабочий люд, Алексей подъехал на машине к дому, прошел к крыльцу. Вошел. Под ногами что-то хрустнуло... Следы вчерашнего веселья предстали перед ним при свете электричества...

Оля и тот, молодой, некрасивый,— вместе... Испуганные... Ужасно... Банально... банально...

Он моментально вышел и почти побежал к калитке... Скорее, скорее, долой, прочь... Убежать!

Соседка Тася в черном платке с узелком вышла из калитки.

— Доброе утро,— поздоровалась она.

— Доброе утро.

— Сорок дней сегодня.

— А?

— На кладбище иду... Сорок дней нашему Павлу Ефремовичу. Просил здесь положить, с женой. Не продай дачи, может, еще и жил бы, а?

Алексей что-то пробормотал. Потом сказал:

— Можно с вами?

— Идем. Ботиночки у тебя только хлипкие, вернись, переодень...

— Ничего,— сказал Алексей.

И они ушли по тропинке в лес, сквозной осенний лес, пустой и неприютный, тоскливый, милый одинокому человеческому сердцу.

На кладбище, расположенном на пригорке, Алексей неожиданно увидел всех троих Гордеевых и еще несколько одиноких, но уже ставших привычными женских лиц. С ним здоровались вежливо и немного удивленно.

— Вот так, Леша,— сказал Гордеев.— Вот где наш последний предел. Вот где наш вечный покой...

— Леня, при Алексее Кирилловиче дай мне слово,— вдруг сказала низенькая и расплывшаяся его жена,— дай мне слово, на моих поминках не пить, ни единой капли...

— Зато ты на моих можешь делать все что угодно,— сказал Гордеев.

Люся подошла к Алексею.

— Я вас давно не видела,— сказала она.

— Вот встретились,— сказала он.

Обратно брели вместе, отстав от прочих.

Тася хлопотала. Гости сидели за круглым столом, тесно прижавшись плечами. Алексей и Люся сидели тоже тесно, но боялись смотреть друг на друга.

— Что ж... За Пашу,— сказал Гордеев,— не чокаясь... Спи, Паша, отдыхай... Отвоевался твой сын. Отработалась твоя жена. И ты ушел за ними... И теперь вы вместе. Нам всем когда-нибудь ляжет путь... Будем же к нему готовы...

— Умирать страшно,— сказала Тася,— да что об том думать. На жизнь бы сил хватило, а то еще на смерть...

— Правда что, дядя Леня,— сказала молоденькая девушка,— скажете тоже...

— Я сказал то, что думал.

В доме тепло и уютно. Горит настольная лампа. Люся тюкает на машинке, осваивает расположение букв. Алексей ходит по комнате, что-то мычит, думает... Иногда смотрит на Люсю.

Оба поднимают голову и слушают свист ветра.

— Что это? — говорит Люся.

— Ветер.

— Мне показалось, опять... Вчера... Вечером...

— Что?

— Выстрел.

— Самолет, звуковой барьер.

Они вдвоем, они любят друг друга...

За окном ветер, и лес, и выстрелы...

Они вдвоем, они любят друг друга.

В сберегательной кассе все та же яркая пышная фальшивая блондинка:

— Алексей Кириллович, гигантское вам спасибо, были в Доме кино, все-все, даже Верочка с мужем.

— Что скажете? — вежливо спросил Алексей, заполняя бланк.

— Очень-очень...

— Сколько у меня там? — поинтересовался Алексей.

— Минуточку, Верочка, посмотри для Рыбкина сегодня ничего не было новенького? Смотрю на вас и думаю, Алексей Кириллович, какой вы счастливый.

— Рыбкину ничего нет.

— Постойте,— удивился Алексей,— но я вчера не был, кто это был?

— Ваша супруга, Ольга Ивановна. У нее ведь уверенность.

Алексей про это забыл. Он с недоумением смотрел на небольшую трехзначную цифру и соображал.

— А она часто здесь бывает?

— Ну, конечно, часто... Ведь вы же строитесь, она всегда нам все рассказывала —

то на крышу, то на кирпич... Сколько вам выписать?

— Все.

— Без рубля? Иначе закроется счет.

— Без рубля.

По мокрой черной Москве Алексей шел к высотному дому. Открыла Оля.

— Очень хорошо,— деловито и без удивления сказала она,— Я уже собрала все документы.

— На развод?

— На смену фамилии.

— Что?..

— Но мы же давно договаривались. Там нужна куча документов... но я все собрала, и все ушло в Ярославль.

— Почему в Ярославль?

— Но мы же там расписывались? На твоей родине.

— А когда будет обратно?

— Месяца через три. А что тебя это так волнует?

— Я хотел тебе сказать... Ты берешь мои деньги без спросу... Там больше нет ничего и не будет. Можешь не ездить.

— Ты переменял сберкассу, как это похоже на тебя!

— Можешь считать, что так.

— Мама, мама! — закричала Оля.

Всклоченная, как всегда страдающая головной болью, Олимпиада появилась в дверях со стаканом воды и горстью таблеток, которые она принимала с хорошо размеренными паузами. Алексей невольно стал считать.

— Я все знаю,— страдая, сказала мать.— Полагаю, что самое лучшее будет, если вы на время расстанетесь... Это наша квартира, и Оля останется здесь, а вы можете жить у себя... Вы скажете, я не мудрая женщина? Олюся, не реви. У меня башка лопается. От этого имени Алексей вздрогнул.

Люся что-то пекла и взбивала крем, лазила в духовку и обжигалась. В доме было тихо. Тикали часы, Люся поглядывала на них, ждала Алексея.

Тик-так, тик-так...

И вдруг явственно — шаги... наверху... Люся вздрогнула.

Тишина.

Она прошлась по дому, зажигая свет... Ни звука.

Она подошла к черному люку на второй этаж.

— Кто там? — крикнула она резко, склочно, по-бабьи.— Кто там топает-то? А ну слезай... живо!!!

Тишина.

Повернулась пойти за табуреткой — опять шаги...

— Кто там дурака валяет?..

В ней жила отчаянная душа пригорода. И, сдвинув столы, Люся залезла наверх с ручным фонариком. Страх глушила скандальным голосом:

— Сдурели, что ли! Нашли идиотку! Привидения изображать!.. А ну, выходи к черту! Погань вонючая! Слав, ты, что ли, шутишь?

Никого.

Люся обошла второй этаж и подошла к люку. И вдруг шаги послышались внизу. И она заорала, как орут последние дуры.

Внизу стоял Алексей.

— Ты чего там делаешь? — удивленно спрашивал он. — Я вошел, а ты разговариваешь.

Люся свалилась прямо ему в руки. И захотала.

— С домовым ругалась... По матери... Как отец... А ты слышал?

В подвале московского гастронома Алексей брал заказ. Полки были уставлены банками, яркими кулками. Груды мандаринов, гранатов и яблок украшали убогое помещение. Довольный жизнью бородач брал все ящичками.

— Я слышал, ты дачу построил? — ворковал он. — Я, представь себе, тоже собрался... Место дивное — песок и сосны... подмосковная Прибалтика. А вот слушай, где ты брал всякие материалы, доски?

Алексей замаялся. Он считал деньги и прикидывал, сколько чего брать.

— Удивительное дело, просто военная тайна, никто не выдает. Я всех друзей опросил, все чего-то мямят... Ну, ладно, ладно... Вчера видел твою «Хохотушку». Оборжался. Здоровым, лишненным смысла, радостным смехом. Ты знаешь, я заметил, народу хочется смеха... Все эти проблемы он каждый день имеет, а вот посмеяться... Ты дома часто смеешься?

— Я вообще, знаешь, не очень веселый человек.

— Юморист, Зоценко...

— Алексей Кириллович, — спросила продавщица, — вам, как всегда, по два?

— Пожалуй, по одному.

— Что так? — удивилась продавщица.

— Да что-то затоварился, не успеваю съедать...

— Жуткая история, — сказал бородач. — Мы здесь, непринужденно беседуя, позволяем себе капризничать, выбирая продукты, а там, наверху, в диких схватках с приезжими люди выстаивают за куском обыкновенного сервилата. Вот о чем надо писать... Да ведь не дадут... А ты молодец...

На поезд Алексей опоздал. Пока слюмя голлову мчался по эскалаторам, запикивал вместе с сумками в набитые вагоны метро... Он выбежал на перрон, когда прощальные огоньки ушедшего поезда мигнули перед ним.

Люся до последней минуты ждала его у самых дверей вагона... Потом решила, что он уже сел и пошла вперед. Она пошла весь поезд до самого машиниста, что в часы пик — не так просто.

В одном вагоне пели знакомое:

Сквозь прошлого перипетии,
Сквозь годы войн и нищеты...

Бригада ехала на очередной калым. Радость была огромная.

— Куда?!

— На выходные. Дом культуры обвалился, будем поднимать... С культурой всегда так...

— Идите к нам в бригаду, доходы поровну... А то Игорь в прошлый раз харчо варил...

Кандидаты радостно заржали, вспоминая харчо.

— А что с пальцем? — спросила Люся у бригадира.

— Отрубил.

Бригада грохнула.

— Он сначала его выкинул, а потом подобрал и с ним в травмпункт... Представьте — пришли. Наука умеет много гитик...

Бугор сиял, хвастаясь пальцем.

...Люся вышла на пустую платформу, помахала ребятам. Потом огляделась — никого не было. Она немного постояла возле окошка кассы, как у клочка цивилизации, и решительно спустилась с платформы.

Пошел легкий снег, совсем легкий...

Люся миновала площадь, поминутно оглядываясь, и даже крикнула один раз: Леша! Потом вышла в поле и пошла к лесу.

Сзади кто-то шел.

Люся уговаривала себя не оборачиваться и ускорила ход.

Шаги убыстрились.

Люся побежала.

Побежали шаги...

— Алеша! Алеша!!! — закричала Люся изо всех сил, но в этот момент кто-то схватил ее больно сзади за руки и чей-то голос сказал, фиглярствуя и передразнивая: «Алеша!!! Алешенька!!!»

Алексей спал в электричке. Он научился спать в поездах. Место было роскошное — возле стенки. Народу было много — в проходе стояли.

— Боже, да что же это такое, господи, — вдруг вбежала в вагон женщина и стала протираться к ближайшему окну... — Где они, где?! Обокрали... Держите!!!

— Кто? Что? — оживился сонный вагон,

скачающий без происшествия.

Женщина закрыла лицо руками и зарыдала.

— Беда, беда...

Одета она обычно, как одеваются почти все пригородные. И сливалась с ними.

— Деньги... Деньги... Вся зарплата... Только что, в тамбуре... Один в шляпе, он мне сразу показался... Последние деньги...

Вагон слушал с удовольствием, но недоверчиво.

Алексей проснулся.

— Что случилось? — спросил он своего соседа. Тот даже головы от книжки не оторвал.

— Попрошайка какая-то...

— Все вам попрошайки,— завелась стоящая, и от этого злая, тетка,— она вон в голос рыдает, попрошайка...

— Жестокий народ пошел,— поддержали ее,— иной раз человек с сердцем лежит, а ведь мимо пройдут, никто не подымет. Все думают, пьяный...

— Да у меня так свекор помер на глазах у всех.

— Безжалостные стали... Раньше, бывало, и жили хуже, а все вроде добрее были. А сейчас все тащат себе, себе, никому больше...

Женщина плакала уже тише, но горе звучало тем пронзительней.

— Спросите там ее,— сказала тетка из прохода,— сколько денег-то было.

— Зарплата,— всхлипнула потерпевшая,— аванс... Шестьдесят рублей с копейками.

— Муж, спроси, есть,— крикнула тетка.

— Нету мужа, нету... Одни мы с дочкой.

— Дочке сколько, спроси,— опять крикнула тетка.

— Детсадовская.

— Вот так,— сказала тетка в проходе.— А мужик небось и в ус не дует... Ему что... Попробовал бы он на шестьдесят рублей и себя кормить, и за квартиру платить, и за садик... А потом — раз кто-то в шляпе... Вот так...

Интеллигентного вида человек в шляпе протянул рубль.

— Передайте,— сказал он,— потерпевшей. Давайте кто чем можем...

— Кто же это деньги в карманах держит,— выступала тетка в проходе.— Раньше, бывало, в чулок сунут.

— А ты пойди в колготки засунь... — развеселился мордатый дяденька хамского вида.

— А вы бы, товарищ, не ржали, а помогли,— обрезала его тетка.

Мордатый полез в карман.

Деньги передавали, как в автобусе — цепочкой,— кто сколько. Тетка в проходе

зорко следила, чтоб никто не отлынивал. Сама она, впрочем, ничего не внесла.

— А ты сама-то чего? — крикнул ей мордатый.

— А ты мне сначала место уступи, а потом спрашивай, видишь — рук нет...

Алексей уступил тетке место, та села и полезла в кошелек.

У Алексея совсем почти ничего не было — он и в подвале-то еле вывернулся... собрал серебро и послал.

Пострадавшая испуганно отпихивала деньги.

— Ой, да что вы, да что вы...

Потом вдруг вскрикнула:

— Какая станция?

— Дачное.

И кинулась к дверям. Рядом стоящие женщины наспех запихивали ей в карман деньги.

— Эй, не теряй,— крикнули ей вслед.

— Проехал,— вдруг понял Алексей и, рванув с крючков сумки, бросился к выходу. К счастью, подходил обратный поезд и Алексей успел на него.

Ругая себя шепотом, встал у самых дверей, чтоб не проехать.

И обомлел.

— Боже, да что ж такое, господи,— услышал он знакомый голос.— Обокрали, держи, обокрали...

Та же самая женщина искренне и страшно рыдала, и все повторялось, как в страшном сне... Настоящие слезы текли по ее лицу, оно было одухотворено и трагично...

В вагон вошел милиционер.

— Опять за старое,— скучно сказал он.— Не стыдно, артистка?

— Артистка,— понял Алексей,— талантливая артистка.

Женщина деловито шла за милиционером. Ни слезы, ни обиды. Привычное дело.

— А ну, пусти,— заорала Люся,— пусти... Гад... Это ты, сволочь, по ночам стреляешь... Пусти руки...

Было темно, держали сзади двое.

— Как ее? Люся? — переспросил незнакомый голос.— Люсенюшка... скажи своему ублюдку, чтоб он завтра же убирался из поселка... Иначе мы за его дом не ручаемся. Люся пиналась и кусалась.

— Пусти, сука,— извернулась она и вдруг краем глаза ухватила второго.— Славка, ты? Ну подлец, ну подлец... Где же тебя так обучили?.. На курорте твоём?.. Как шрам, не болит? Завтра, прямо... Спешу и падаю... Ультиматум мне заявили... Скажи своему мерзавцу, чтоб руки отпустил. На кого — на меня, на свою, ну ты подлец... Забыл, наверное, как жить-то положено... Где ж твоя круговая порука? Свой на свою... Я с тобой,

мерзавец, в школу ходила! Я же в кино с тобой, гадом...

Про кино лучше было молчать.

— Да что ты с ней цацкаешься, — разозлился чужой голос.

И Люська свалилась в грязь.

— Пусти ее, — завопил Слава, — не трогай, сказал!

Но в том говорила обида, и он не выдержал...

...Люська барахталась в грязной луже, припорошенной сверху снегом. Падала, опять вставала... Ревела от обиды, унижения, бессилия, ругалась...

Тех и в помине не было.

Белый нежный снег падал на землю — как предвестник нового, чистого, прекрасного...

Тут Алексей ее и нашел.

— Люся, Люська, Люсенька моя, — он сам свалился рядом с ней и стал поднимать. — Больно? Где? Что с тобой?

— Упала, — сквозь рев засмеялась Люська, — понимаешь, ногу, наверное, сломала... Валяюсь тут, и никто не идет... Ну, как дура...

— Я понесу тебя... Люся... Как же ты...

Люся, опираясь на Алексея, встала, и, плача, сказала:

— Я люблю тебя, Лешка, ужасно. Идем, милый.

Снег падал. Снег украшал землю — засыпал следы, заметал обиды, охлаждал разгоряченные щеки.

Поселок готовился к Новому году. Из лесу несли елки, ругались с городскими хапугами, которые безжалостно вырубали молодняк тут же у дороги.

— Как же у тебя совести-то хватает!

— Ничего, дальше вокзала не пустят.

— Пустят — не пустят, а каждый год лес уродуют.

Люся и Алексей буквально плыли по поясу в снегу, выглядывая пушистую и не очень высокую елочку.

Дом было не узнать. В него переселились Гордеевы, и среди намечавшейся уже было роскоши возник фикус в кадке и плюшевый ковер с оленями. Люсины мать жарила что-то на плите, и жир густо капал на недавно еще сверкающие стенки. Она чувствовала себя хозяйкой, прошлась по комнатам, открыла форточку, чтоб выпустить чад... В ванной была засыпана картошка, а в бывшем кабинете висела картина — хорошая картина в золоченом багете: «Весна в Прииртышье», а рядом — настенный календарь за уже почти прошедший 1984 год, с «зимней» фотографией Гур-

ченко и Басилашвили с аккордеоном. Домотканные дорожки легли на паркет.

Ее смущал так и незаделанный люк. Она немного походила вокруг него, потом подтащила стол и стала сооружать опасную для жизни шаткую пирамиду...

Чудом стянула она свое полное тело на второй этаж.

Огляделась. Пусто. Обошла все комнаты, что-то прикинула.

В одной комнате под самым потолком гнездились осиний домик, замерший в зимнем анабиозе. Это встревожило Люсины мать. Она внимательно послушала, нет ли жужжания. Потом даже постучала легонько по домику. После достала из фартука спички и осторожно подохла сухую грушу. Домик горел легко и сгорел в секунду. Ос там не было и в помине. Люсины мать помахала на черный ободок, оставшийся на стене, подула на него.

И полезла вниз, что было даже труднее, чем лезть наверх.

Черный кружок некоторое время оставался черным, а потом неожиданно начал тлеть, медленно охватывая окрестную стенку.

И снова мчался народ — кто с лопатой, кто с топором, вели детишек, то ли с назиданием, то ли деть некуда было. Мчались пожарные машины. Усадив подальше детей, люди самоотверженно бросались на помощь — выносили диваны, лампы, фикус...

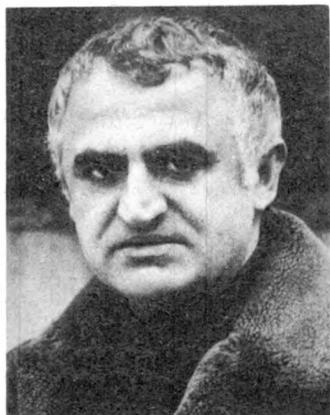
Люсины мать сидела в немоте, глядя, как еще полчаса назад прекрасный дачный дворец на ее глазах и ее усилиями превращается в знакомый до боли силуэт господина.

Люся и Алексей стояли перед домом. Второго деревянного этажа как не было. А кирпичная коробка первого была спасена, там жили, пекли пироги и посверкивала гирляндами елка. Гордеев сладко спал под оленями в бывшем кабинете.

— Это мое детство, — сказал Алексей. — Ты понимаешь, это мое детство.

Пригород жил своей жизнью. В магазине расхватывали вино и молоко. На платформе ждали электричек, приплясывая от мороза. В витрине хозмага стояла искусственная елочка.

Учительница привела к памятнику класс. Малыши шли важно, взявшись за руки. Они положили еловые ветки к подножию и хороводом обошли вокруг. Беленькие мальчишки в детских ушаночках вели за руки высоких девочек с помпончиками на голове. Это было будущее Пригорода, светлое его будущее.



ТЕЙМУРАЗ ГЕЛАЕВИЧ БАБЛУАНИ родился в 1948 году в горах Сванетии, в селе Чолури. Работал санитаром, шофером, слесарем, каменщиком. В 1979 году закончил кинорежиссерский факультет Тбилисского театрального института им. Шота Руставели. Теймураз Бабулани снял по своим сценариям фильмы «Перелет воробьев» и «Брат».

Фильм по литературному сценарию «Солнце неспящих» Теймураз Бабулани снимает на киностудии «Грузия-фильм».

ТЕЙМУРАЗ БАБЛУАНИ СОЛНЦЕ НЕСПЯЩИХ

Автобус, пыхтя, поднялся в гору и выехал на равнину. По обе стороны дороги расстилались вспаханные поля. В автобусе полным полно людей и всякой домашней живности.

Возле дверей сидит небритый мужчина в шляпе лет за пятьдесят. Это Гела. Он увлеченно говорит:

— Человек может прожить тысячу лет. В человеке столько жизненной энергии, что если как следует подумать, то и тысячи мало.

— Написано где-нибудь об этом? — спросил мужчина лет тридцати с рябым лицом.

— Не знаю, я сам так думаю.

— Ученые работают над вопросами продолжения жизни, идут большие исследования, — авторитетно заметил пухлый человек в кепке.

— Я-то все равно не доживу до этих открытий, — улыбнулся старик.

— А почему?

— Эх, мне надо обязательно дожить до следующего года. До пятьдесят девятого, а потом... — старик махнул рукой.

— Трудно придумать что-либо действительно стоящее, — тряхнул головой Гела. — Сколько еще заболеваний, где медицина

бессильна. Как подумаю об этом, прямо зло берет.

— Из-за этого злишься? — удивился молодой человек и с недоверием взглянул на него.

— Только зло не поможет. Вот если есть надежда победить хотя бы одну болезнь, то ради этого стоит прожить жизнь.

— Ты, видимо, собираешься сотворить что-то особенное, — улыбнулся мужчина в кепке.

— Да, уже двадцать восемь лет над этим работаю.

— Какой же болезни собираешься полужить конец?

— Раку.

— Аух!

— Да, конечно!

Столь твердая самоуверенность вызывает на лицах пассажиров удивление и ироничные улыбки.

— Получается что-нибудь? — спросил молодой человек.

— Да, дело продвигается.

— Сколько вас человек в мире, которые работают над этими вопросами?

— Больше миллиона.

— И ты продвигаешься?

— Да, да.

— Столько людей — и ничего не придумали, — упрекнул старик.

— Пока ничего, что могло бы помочь на любой стадии болезни, пока ничего, — ответил Гела и посмотрел в окно.

Вдали по вспаханному полю, подобрав большую заднюю лапу, ковыляла собака.

— Придумать что-нибудь такое, что в голову до тебя никому не приходило, — только этим продвигаешь вперед человечество, — сказал молодой человек.

— Правильно, — согласился Гела и снова посмотрел в окно.

— Эх, таких людей раз-два, и обчелся, — усмехнулся человек в кепке.

— Я правда очень близок к цели, осталось работы всего на десять месяцев, — сказал Гела, продолжая смотреть на хроющую собаку.

— Десять месяцев — суший пустяк, хоть есть они, хоть нет, поздравляю! — не в силах сдержать улыбку сказал молодой человек.

— Спасибо, — произнес Гела, приняв поздравление как должное, и поднялся. — Пошли, Дато, сходим, — обратился он к мальчику лет пятнадцати, который все это время с выражением крайней неприязни слушал взрослых.

— Куда собрался? — удивился мальчик.

— Останови, останови! — крикнул Гела водителю.

Как только автобус притормозил, он выскочил из дверей и помчался по вспаханному полю.

Дато остановился на краю дороги. В руках у него громадный портфель.

Гела нагнал было собаку, протянул руки, но собака увернулась и побежала чуть быстрее Гела — за ней.

Дато присел на большой камень у обочины дороги и закурил, глядя вслед уходящему автобусу.

Наконец запыхавшийся Гела настиг собаку, навалился на нее, быстро снял с себя галстук и замотал собаке пасть. Потом крепко зажал ее между колен и ошупал большую лапу. Устроившись поудобнее, он сильно рванул ее. Собака взвыла и рванулась от него прочь. Он только успел содрать с морды галстук.

Сидя на коленях, Гела напряженно следил за ней. Еще несколько шагов — и собака уже не хромала. Она бежала свободно и легко.

— Хей, хей! — Гела взмахнул рукой и прилег на землю. Его уставшее лицо выражало удовлетворение.

На небольшой площади квартала Мтац-

минда развернулся и остановился грузовик. Гела и Дато спрыгнули с кузова. Они обогнули торговую палатку, винный погреб, поздоровались с сапожником, сидящим в своей мастерской, и свернули на свою улицу.

По улице малыши гоняли вращающиеся волчки, размахивая самодельными кнутами. На узких тротуарах, устланных пестрыми коврами, сушилась шерсть.

Черноволосый подросток лет пятнадцати несет громадный бидон для керосина.

— Эй, Дато! — крикнул он товарищу и вытянул шею. — Завтра нас забирают. У меня уже были.

Во дворе их дома бродячие музыканты пели индийскую песню из кинофильма «Бродяга». Гела и Дато прошли по балкону третьего этажа и вошли в свою квартиру.

— Пришли? — выглянула из кухни двенадцатилетняя девочка, сестра Дато Агниса. — Вас ждут.

В комнате их встретили две женщины: Ламара в милицейской форме и Нино, мать Дато.

— Я уже нервничала, — улыбнулась Ламара.

— Мы же знали, вот и приехали, — сказал Гела.

— Завтра в девять утра он должен быть на Навтлугском вокзале.

— Только знайте... — начал Дато.

— Что еще?

— Пусть придет инспектор Кола и забрет меня. По своей воле я туда не пойду.

— По-твоему, у Кола дел больше нет? — сказала Ламара.

— Тогда не придю — гоняйтесь за мной.

— Дато, что за глупости? — удивился Гела.

— Кто не явится, их дела будут переданы специальной комиссии, — заявила Ламара.

— Знаю эти комиссии.

— А если Кола не до тебя?

— Я свое сказал.

— Ты, парень, смотри, доиграешься и до колонии.

— Вместо того, чтоб гоняться за чужими, лучше бы завела своего, — посоветовал Дато.

— Не твое дело, — парировала Ламара.

— У тебя такие данные, что сразу лейтенанта родишь.

— Бессовестный ты, бессовестный, — у матери от стыда запрыгал подбородок.

— Что я сказал плохого?

— От меня он просто в восторге, — с иронией заметила Ламара.

— Еще в каком! — И Дато вышел в соседнюю комнату.

— Я, конечно, извиняюсь, но может, все-таки оставили бы его лучше тут, уважаемая Ламара, а? — попросила мать.

— Что вы, какое я имею право! Все мои трудновоспитуемые дети завтра утром должны быть на вокзале!

— Вообще-то меня тоже устроило бы, чтоб он остался. Помогает он мне, — задумчиво произнес Гела.

— Я же вам объяснила, что это новое и очень полезное мероприятие. Будут проведены лекции, беседы. Воспитательная работа будет носить наступательный характер. Им покажут фильмы. У ребят будут встречи с поэтами, писателями, художниками. — Ламара встала. — Правда, все это пойдет им на пользу, как мертвому припарка, но что же нам еще делать? Все это необходимо для их духовного формирования, повышения культурного уровня, — скороговоркой произнесла Ламара.

— Когда они вернуться? — появившись в комнате, спросила Агниса.

— К сентябрю. Поздоровевшие ребята пойдут в школу.

Утро. По улице тощая кляча тащит за собой керосиновую цистерну на колесах. Керосинщик кнутом подгоняет ее.

Гела, Дато и инспектор Кола, плотный усатый мужчина, выходят из двора.

— Побеспокоили вас, батоно Кола, — словно бы извиняясь, говорит Гела.

— Ничего, бывает, — невозмутимо отвечает Кола.

— Побеспокоили, а то он симфонию писал, — хмуро бросает Дато.

— Вот оборву тебе уши, это и будет моя симфония.

— Сколько людей, батоно Кола, вы уже задержали? — осторожно спросил Гела.

Кола подозрительно покосился на него.

— Задерживать людей не такое уж веселое дело, чтоб вести этому счет.

...Они прошли на перрон вокзала. Часть платформы была отгорожена, и на ней выстроились подростки. Играл духовой оркестр.

— Всех шалопаев города собрали в одну кучу, — изрек Кола.

Гела потрясенно смотрел на подростков.

— Не бойся, — улыбнулся Дато.

— Будь умницей, — напутствовал отец.

— Я никуда не еду, — еще раз улыбнулся мальчик.

— Как это не едешь?! — схватил его за плечо Кола.

— Вот так, — ответил парень. — Пошли.

У входа стояли здоровые молодые парни.

— Какой район? — спросил один из них у Кола.

— Калининский.

— В самом конце. — Парни пропустили вновь прибывших за перегородку.

— Пойди и разберись, чей наган в чьей кобуре, — пробурчал Кола, уставившись на скопище подростков.

— Держи меня покрепче, — огрызнулся Дато.

— Как покрепче?

— А так! Не о встрече с тобой мечтал я в это раннее утро.

Инспектор цепко схватил Дато за плечо. На фоне толпы подростков видно, как Кола силой ведет мальчика. Дато нахмурил брови и гордо поднял голову.

— Да-а, ты не сын своего отца, — зло сказал инспектор, которому явно был не по душе разыгранный парнем спектакль.

В окружении представительных мужчин стояла Ламара. Она обрадовалась, увидев своего подопечного.

— Вон туда, туда, — показала она им рукой и повернулась к мужчинам: — Мои все на месте.

— Молодец! — похвалил один из них.

Кола подвел Дато к сложенным бревнам, возле которых стояли ребята его района, и подтолкнул в спину.

— А сейчас хоть шею ломай, — пробурчал он и тут же повернул обратно.

— Да здравствует Мтацминда! — взмахнул рукой Дато.

— Пусть здравствует хороший человек! — улыбаясь, ответили ребята. — Хороший мтацминдец!

— Тебя силой привели? — спросил Хорен.

— Нет, — просиял Дато. — Я сам его привел.

Несколько групп направились к вагонам.

— Привет, Дато! — слышалось из вагона, и Дато увидел похожих как две капли воды близнецов. Они махали ему руками.

— Смотри, «французы»! — оживился Хорен.

— И их забрали! — удивился Авто, худощавый жилистый парень.

— Разве их отец не какой-то сверхзнаменитый академик?

К ребятам в сопровождении спортивного вида мужчины подошла Ламара.

— Мои львы, отважные мтацминдцы! — произнесла она патетически. — Вот этот молодой человек, уважаемый Лео, будет вашим воспитателем, он мастер спорта по борьбе и боксу, так что не спустит вам того, что я спускала.

— Здравствуйте! — поздоровался с ребятами Лео. — Знакомиться будем потом. А сейчас строим направляемся к седьмому вагону.

Группа подростков зашевелилась, но четко строя не получилось.

— Желаю успехов! — бросила Ламара.

— Ламара, эй ты, старые панталоны! —

крикнул на прощание Бадур, и в ту же секунду уважаемый Лео дал ему подзатыльник.

— Ну и словечки!

— А ты чего бьешь? — обозлился Дато.

Лео удивленно посмотрел на него и спокойно спросил:

— Тебе что, нравится его поведение?

— Мне и твое не нравится!

— Тебя мне только тут не хватало, козявка!

— Ты мастер спорта, да?! По двум видам, да? Вот и думай что делаешь! — строго предупредил Дато.

Лео оглядел подростка с ног до головы.

— Ладно, после поговорим.

Знакомый нам автобус подъехал к автовокзалу и остановился возле гипсовой скульптуры физкультурницы.

Вместе с другими пассажирами вышел Гела. Он взглянул на отдыхающих в парке людей. За рекламным щитом фотографа стояли запряженные лошадьми повозки. Гела прошел мимо них и приблизился к людям, столпившимся у тележки с газированной водой. Люди окружили худенькую старушку.

— Знаете Наврозашвили? Он инженер, — говорит старушка. Она наивна и беспомощна как ребенок.

— Где он работает? — поинтересовалась девушка.

— Он строит мосты.

— Этот Наврозашвили твой родственник? — спросил седой мужчина.

— Нет, но он знает, где я живу.

— Как же тебя одну из дома выпустили? — удивился человек в очках, сползших на нос.

— Я одна живу.

— Часто с тобой такое случается? — спросила полная женщина.

— Да, часто. Но у меня адрес в сумке, по адресу и доставляют.

— А ну-ка, покажи адрес.

— Дома остался.

— И давно вы на улице? — спросил мужчина в военной форме.

— С утра. А сейчас который час? Гела протиснулся к старушке.

— Неужели не помнишь, какой дом, что расположено рядом, что перед домом, подумай и вспомни!

— Перед домом трамвай ходит.

— Трамвай? — повторил Гела.

— Ты не знаком с Наврозашвили? — спросила его старушка.

— Одного Наврозашвили я знаю, — уверенно сказал Гела.

— Он инженер?

— Да нет, железнодорожник.

— Поведи меня к нему, — попросила старушка.

— Но он же не инженер.

— Как тебя зовут, как твоя фамилия? — обратился к старушке пожилой человек.

— Тамара, а фамилии не помню.

— Проверьте ее сумку, может, в ней есть адрес, а она не находит, — посоветовал высокий человек в кепке, стоящий поодаль от толпы.

Старушка раскрыла сумку.

— Это мои фотографии, — сказала она, доставая старые снимки и показывая их людям. — Я была молодой.

Какая-то женщина взяла у старушки сумку и с серьезным выражением стала изучать ее содержимое.

— Смотрите, — обрадованно воскликнула она, — вот адрес: Клары Цеткин, двадцать. Зураб Накашидзе.

— Так это же мой двоюродный брат! Вы его знаете? — обрадовалась и старушка.

— Отведите ее на Клары Цеткин, — предложил человек в очках.

Старушка повернулась к Геле.

— Поведи меня к Наврозашвили.

— Поведи, поведи, — подал голос высокий человек в кепке.

— Так ведь он же знает другого Наврозашвили, — возразил пожилой мужчина. — Вот у нее адрес. Пусть по адресу и поведет. — Правильно! — женщина вручила Геле бумагу.

На балконе женщина развешивала стиральное белье. Она увидела появившихся во дворе Гелу и старушку.

— Не скажете ли нам, где живет Накашидзе, — обратился к ней Гела.

— В этом дворе таких нет.

— Это ведь двадцатый номер?

— Да, двадцатый.

В окне первого этажа показался лысый человек.

— Вы ищете Накашидзе?

— Да, да.

— Зураба?

— Да, уважаемый, — обрадовался Гела.

— Так Зураб давно уже умер.

— Аух! — с досадой воскликнул Гела.

— Что случилось? — спросила старушка.

— Твой двоюродный брат умер, оказывается.

— Ты только посмотри, как всегда, ни на что не годен, — рассердилась старушка. Гела в растерянности оглянулся.

— Задолжал тебе, наверное? — спросил лысый мужчина.

— Да я и не знал его, я только проводил сюда уважаемую.

— Знакомое лицо, — сказал жилец с первого этажа, оглядев старушку. — Кажется, она сюда раньше наведывалась. — Ну конечно же! — приободрился Гела. — Не знаете ли вы, где она живет?

— Кто?

— Эта женщина.

— А сама она не знает?

— Не помнит.

— Этот дом помнит, пятнадцать лет ее тут не было, а свой забыла?

— Случайно в ее сумке нашли этот адрес...

— Наврозашвили знаете? — перебила Гелу старушка.

— Кто такой Наврозашвили? — удивился лысый мужчина.

— Инженер, — ответил Гела.

— Такого в этом дворе нет, — сухо ответил мужчина и отошел от окна.

Агниса подняла глаза — в комнату вошел Гела, за ним показалась и старушка.

— Прошу вас... Вот тут мы и живем.

— Мама, папа пришел! — крикнула девочка и, посмотрев на старушку, взглянула на отца: кто, мол, это?

Из кухни вышла мама. Увидев в комнате незнакомую старушку, она с любопытством стала ее разглядывать.

— Это моя бабушка, жива, оказывается, — заявил Гела.

Старушка смущенно улыбнулась.

— Здравствуйте. Ну какая я ему бабушка, это он шутит.

— Присаживайтесь, — предложила мама.

— Временно бабушка поживет у нас, — сказал Гела. — Постель-то у нас есть.

— С постелью все устроится, — сказала мама, однако чувствовалось, что появление незнакомой старушки большой радости ей не доставило.

— Ну, как вы тут? — между прочим спросил Гела и направился было в кухню.

— Приходил Кола, — ответила мама.

— Что ему понадобилось?

— Из лагеря передали: вашего ненормального срочно забирайте обратно.

— Как это забирайте обратно?

— Я, говорит, привозить его не буду, сами привозите.

— Чего же, спрашивается, выступали: и то, мол, сделаем, и это, духовное формирование, культурный уровень.

У Гелы испортилось настроение. Он прошел в кухню и положил сетку с картофелем на стол. Следом пошла и жена.

— Кого ты привел?

— Несчастливая женщина, склеротичка.

— Она правда будет жить у нас?

— А что мне с ней делать? Не только

адреса, но и фамилии своей не помнит.

Жена промолчала. Стала переключать картофель в кастрюлю.

— Я только что был в милиции. Оставил наш адрес. Кто-то же у нее есть, обратятся в милицию, а как же иначе.

— Можно?

В галерее показался худощавый человек лет пятидесяти, в руках он держал новые туфли. За ним выползли пятеро детишек.

— А, Валико! Принес? — встретил гостя Гела.

— Примерь-ка.

Гела тут же, в галерее, присел на стул и влез в новые туфли. Обе туфли были на левую ногу. Ступни у Гелы были одинаковы.

— Сидят хорошо, — одобрил Валико.

— Да, шьет неплохо. А подождет?

— До января расплатишься?

— Да, да.

Агниса сидит за столом, рисует.

— Мост нарисовать сможешь? — спрашивает старушка.

— А что особенного?

Через открытые двери видно, как Гела провожает соседа и его ребяташек.

— Нарисуй большой мост, а на мосту нарисуй меня в белом платье.

— Попробую, что получится.

— Попробуй, попробуй.

В комнату вошла мама.

— Я не очень вас беспокою? — спросила старушка.

— Ну что вы, еды у нас много и питья тоже. У нас столько денег, что просто ума не приложим, куда их деть. А скоро мой муж получит Нобелевскую премию.

— Правда? — искренне обрадовалась старушка. — Как хорошо!

— А как же! И сын наш старший, судя по всему, нет даже сомнений, станет министром юстиции.

— Уй, как хорошо! Где же он?

— Скоро приедет, — улыбается мама.

Услышав все, что говорит мама, Гела повернулся к окну. В глазах его заискрились разноцветные лучики, и в воображении возникла не совсем реальная картина: по улице идет бегемот, а на нем сидит Ламара в подвечном платье и улыбается. Это шествие со всех сторон сопровождаются трудновоспитуемые мальчики мтацминдского квартала. Они хлопают в ладоши и бросают цветы.

В просторном дворе за двухэтажными каменными домами видны выстроенные в ряд и выкрашенные в голубой цвет чистенькие постройки барачного типа.

На балконе каменного дома появился

Гела в сопровождении молодого человека с косячьими глазами. Они подошли к невыкрашенной двери, на которой висит огромный замок.

— Вы его заперли? — расстроился Гела.

— Отдыхает, — ответил молодой человек и достал из кармана ключ.

В комнате прямо на полу сидели трое подростков. Они не двинулись, безразлично смотря на вошедших. Дато крепко спал на кровати в углу.

— Разбудите, — приказал молодой человек.

— Сам буди, — последовало в ответ.

Гела подошел к постели и осторожно положил руку на плечо сына. Дато поднял голову.

— Вызвали. Тебя отправляют обратно, — пожал плечами Гела.

— Вставай, собирай свои манатки, — потропил молодой человек.

Дато встал и вынул из-под кровати ранец.

— Уходишь, Дато-джан?

— Все-о, с концами!

— Ну, с богом!

Гела и Дато вышли из комнаты.

— Иди-ка сюда, подпиши мне это, — молодой человек положил на перила бланк и протянул Геле ручку.

Гела расписался и вместе с сыном вышел во двор. Они пересекли волейбольную площадку и направились к калитке. За площадкой на стене двухэтажного строения натягивали экран.

— Какой у вас большой двор, — оглянулся Гела.

— Не у меня.

— Здесь совсем неплохо. Прекрасный воздух. А где ребята?

— Работают.

— Объясни, что с тобой происходит? — тряхнул головой Гела.

— Поговорим о чем-нибудь другом.

— Я тут побывал у самого главного начальника. Он оставляет очень хорошее впечатление. Даже слишком хорошее!

— Наверное, ты расказал, как изобретаешь лекарство от рака, а он слушал.

— Что же, по-твоему, я изобретаю что-то плохое?

Дато ничего не ответил.

— Когда мы жили в Сванетии, я изобрел лекарство от туберкулеза. Пенициллина ведь и в помине не было! Знаешь, сколько я вылечил тогда людей... Спроси маму.

— Знаю, слышал.

— Боже мой, это мое основное занятие, о чем же мне говорить.

Гела замедлил шаг, приложил ладонь к животу и поморщился.

— Что с тобой? — спросил Дато.

— Что-то последнее время аппендицит

беспокоит.

По дороге, поднимая пыль, навстречу им несется «виллис». В кузове лежат какие-то ящики и гипсовый бюст Руставели. За рулем сидит Лео. Поровнявшись с отцом и сыном, он остановил машину. Дато с безразличным видом взглянул на него и продолжил путь. Гела шел следом.

— Эй, стойте! — крикнул Лео.

— С тобой дела я больше не имею! — ответил Дато.

— Зато я имею. — Лео дал задний ход. — Что тебе? — остановился Дато.

— В чем дело? — спросил Гела, предчувствуя что-то неладное.

— Это мой воспитатель. Если я что-нибудь собой представляю, то должен быть благодарен только ему. Макаренко рядом с ним ничто.

— Очень приятно, конечно, — произнес Гела. — Но мальчика уже освободили, я забираю его домой.

— Ты его отец?

— Да.

Лео вышел из машины.

— Тебя-то я и хотел увидеть.

— К вашим услугам.

— Хочу узнать, как тебе удалось вырастить такого ублюдка, — произнес Лео и приблизился к Геле.

— Сам ублюдок! — крикнул Дато.

— Как бы вам сказать, — начал объяснять Гела. — Меня всегда удивляет, когда о сыне говорят плохо. Ничего особенно дурного я за ним не замечаю.

— Не замечаешь, значит? — сказал Лео и неожиданно ударил Гелу по лицу. Тот упал. Этого Дато не ожидал. Разбежавшись, он пнул Лео головой в грудь. Лео опрокинулся к машине. Дато кинулся к нему, но Лео замахнулся, ударил, и Дато, перелетев через дорогу, оказался в канаве. Лео быстро сел за руль и включил мотор. Дорожная пыль и выхлопные газы подхватили шляпу Гелы и подняли ее в воздух.

Дато вскочил и ринулся за уходящей машиной.

— Дато, остановись! Остановись!... — кричал Гела.

Дато бежал без оглядки. Но поняв наконец, что не догонит машину, сел посреди дороги и обхватил голову руками. Запыхавшийся Гела приблизился к нему.

— Если б ты не довел его до бешенства, он не обошелся бы так с нами.

Дато сидел с окаменевшим лицом. Держась за шеку, Гела шагал взад-вперед.

— Пошли, на поезд опаздываем.

«Победа», проехав деревенскую улицу, запруженную буйволами и волами, остано-

лась возле сельской больницы. Двое мужчин в парусиновых кителях вышли из машины. Вслед за ними выпорхнули две девочки лет четырнадцати-пятнадцати, а за ними — мальчик в красной рубашке.

Увидев всю компанию с балкона, фельдшерница помчалась в палату.

— Доктор Гела, начальство приехало! — сообщила она.

Гела, сидевший у постели больного, кивнул, молча встал, спустился по лестнице и открыл дверь амбулатории.

— Здравствуйте! — весело поздоровался он с мужчинами. — Милости просим! — Он пропустил гостей в свой кабинет. — В чем дело? Проверка?

Приезжие присели на стулья. Один был рыжеватым, второй смуглый.

— На тебя поступила жалоба, — сказал рыжий.

— Чем недовольны?

— Того старика все у себя держишь?

— Город под носом, мест свободных много... Если б мы были перегружены, тогда еще понятно.

— Предупреждали тебя или нет? — спокойно и деловито поинтересовался смуглый.

— Жаль мне его, что с ним делать?

— Дом у него есть?

— Есть.

— Он болен?

— Нет.

— Почему же ты его не выписываешь?

— Ему тут лучше, он же совсем одинокий.

— Здоровым тут нечего делать.

— Ну как же я могу его прогнать? — расстроился Гела.

— Позови-ка старшую фельдшерницу, — попросил рыжий.

— Элико! — крикнул Гела в открытую дверь.

Вошла пожилая женщина.

— Он по-прежнему дает больным свои лекарства? — спросил смуглый.

Фельдшерница сделала вид, что ей крайне неприятен этот разговор.

— Ну что мне делать, доктор Гела, я так вас уважаю, но и врать не стану.

— Дает или нет?

— Только в том случае, если аптечные лекарства бессильны, — ответил Гела.

— Который раз делать тебе выговор? — вспыхнул рыжий.

— Во время войны этими лекарствами я спасал людей.

— Так то во время войны. Сейчас не такая уж нужда. Чего знахарничаешь?

— Просто знаю, что лекарство поможет больному. А вот над препаратом от рака уже двадцать восемь лет работаю, но не уверен в нем. Поэтому провожу опыты на крысах.

— Да пойми же, что это государственное учреждение.

— Наверное, пишут и то, что я больничное молоко даю крысам.

— Это правда? — спросил смуглый.

— Отчасти.

— Где ваш снабженец?

— Я здесь, — раздалось тут же за дверью, и в кабинет прошел круглый как мяч мужчина.

— Ты написал эту жалобу? — спросил Гела.

— Не говорить правду?

— За молоко я тебе плачу?

— А за доставку? С чего я даром буду ишачить?

Гела не нашелся, что ответить.

— Ну так что, дает он больничное молоко своим крысам? — обращаясь к снабженцу, повысил голос смуглый начальник.

— Иногда, когда остается. Все равно, говорит, портится.

— Ну это еще ничего, — примирительно произнес рыжий.

Смуглый начальник только сейчас обратил внимание на вспухшую скулу доктора.

— Что это с тобой?

— Он ударил, — улыбнулся Гела, кивнув в сторону снабженца.

— Э-э-э! — разинул рот от удивления снабженец.

— Послушай-ка, — обратился рыжий к врачу, — настроен я к тебе совсем не плохо. Не заставляй меня поступать так, как этого мне не хотелось бы, а тебе было бы обидно.

— Понятно, но старика я все же не отпущу...

— Ладно уж, пусть старик остается, — уступил рыжий. — Но выдавать больным самодельные лекарства я категорически запрещаю. Предупреждаю в последний раз.

Гела промолчал.

— Больных осмотрим? — спросил смуглый начальник.

— Обязательно, — кивнул рыжий.

Дато отложил книгу, встал с постели и подошел к окну. Под окнами высаженные в горшки разной формы и величины росли целебные травы. Во внутреннем дворе стены небольшого строения были сплошь увешаны пучками сушившихся трав.

Дато увидел, как две девочки и мальчик в красной рубашке заглядывают в окошко строения.

— Уй! Сколько их тут!

— А у меня были морские свинки.

— Как ужасно они пахнут! — поморщилась худенькая, обернулась и в окне первого этажа увидела Дато.

Оглянулись и остальные.

— Если б вы знали, как он здорово дерется,— сказал мальчик и пошел к Дато.— Здравствуй.

— А эти голубки откуда? — спросил Дато.

— Это мои родственницы,— ответил мальчик.

— Здравствуйте! — крикнул Дато девочкам.

Девочки кивнули в ответ. Неожиданно во дворе появилась огромная свинья и потрусила по разросшейся траве. Испугавшись, девочки кинулись к мальчикам.

— Осторожно, там яма,— предупредил Дато.

— Ты что здесь делаешь? — спросил мальчик.

— Мой отец тут врачом работает.

— Так он твой отец? — заинтересовалась пухленькая девчушка.

— Да.

— Эти крысы ваши?

— Да, батоно.

— Проводите опыты? — спросила худенькая девочка.

— Должны вывести огромную, как лошадь, крысу.

— Уи! А для чего она вам? — удивилась толстушка.

— Сначала выведем, а об этом потом подумаем.

— А говорят, что он лекарства изобретает.

— Вы отдыхаете в этой деревне? — заинтересовался Дато.

— Нет, мы с дядей приехали,— ответила толстушка.

— Он проверяет эту больницу,— добавила худенькая.

— А! — Известие о том, что больницу кто-то инспектирует, пришлось ему не по душе.— А кто твой дядя?

— Главный врач этого района.

— Вы сестры?

— Да, а разве не похожи? — спросила худенькая.

— Если вам этого хочется от души, то одной нужно будет как следует похудеть или же второй пополнеть.

— И только? — капризно спросила худенькая.

— А на дерево подняться сможешь? — спросила толстушка.

— На какое дерево?

— На это, ореховое. Нарви нам.

— Они еще неспелые, только животы разболятся.

— На это дерево и я поднимусь,— сказал мальчик.

— Ты-то поднимешься? — усомнилась худенькая.

— Тогда чем бы вас уважить? — спросил Дато.

82

— Нам ничего не надо! — покачала головой толстушка.

— Хотите, научу, где туалет?

— Не надо, не хотим,— откасалась толстушка. В голосе ее чувствовалась искренность.— А ты все лето тут будешь? — поинтересовалась она. Ее большие глаза светились наивностью и участием.

— Посмотрим, как пойдут дела, а вообще-то туалет тут же, как только свернете направо.

— Да нет же, нам не нужно.

— Ну, будьте здоровы! — бросил Дато и отошел от окна.

Дети пошли вдоль стены.

— Противный мальчишка,— со злостью заметила худенькая.

— Почему? — удивилась толстушка.

— Он надсмехался над нами, не поняла?

— А чем мы смешны?

— Потому-то и пристал: туалет, туалет.

— Хочу в туалет,— остановилась толстушка.

— Так иди же, вон он,— задрал нос мальчик.

— Подождите, ладно? — сказала толстушка и понеслась по тропинке.

Поздний вечер. Дато вышел из туалета. Несколько больных и две фельдшерицы стоят за калиткой. Молоденькая фельдшерица прикрепила к калитке дощечку с надписью: «Ушли в кино».

В окне небольшого строения во внутреннем дворе больницы горит свет. Дато подошел к окну и облокотился о карниз. Все помещение внутри заполнено всевозможными склянками и клетками с белыми крысами. У стены в ряд стояли три холодильника, на них — керосиновые лампы. В устройстве, похожем на капкан, помещена крыса. Гела делает ей укол. Подняв голову, увидел сына.

— Дато, как ты, парень? — улыбнулся он ему.

— Как идут дела?

— Двигаются к концу.

— Сколько помню себя, они все у тебя к концу двигаются.

— Вот это Гомер,— Гела кивнул на крысу в капкане и отложил шприц.— Болен уже шесть лет. По всем законам он должен был давно сдохнуть. А он — смотри.

— Гела поднял крысу щипцами и понес к клетке.

— Этих-то ты знаешь. Вот Аристотель. Он тоже болен уже шесть лет. Знаешь, как он сейчас? В мозге и легких я полностью ликвидировал метастазы.— Он посадил крысу в клетку.— Вот Платон, вот Кант, Шопенгауэр, Фрейд. Живут! Знаешь, что это значит для человечества? Я побеждаю рак! Вот Пе-

ле,— Гела извлек из клетки большую белую крысу с черными ушками.— Если эти пятнадцать крыс, которые сидят в зеленых клетках, продержатся еще девять месяцев и одну неделю, то это значит, что я полностью погасил болезнь.

Гела вернулся к столу и поместил в капкан очередную крысу.

— Если им всем так хорошо, чего же ты сомневаешься?

— До определенного этапа крысы слабеют, но потом у одних дела идут на поправку, другие дохнут. Этот процесс повторяется циклически. Сейчас я уже понял, в чем причина, и над этим как раз и работаю. Если из этих пятнадцати выживет хоть одна, принцип найден!

— А эту почему назвал Пеле?

— Разве не видишь, у нее черные ушки.

— А все остальные преуспели в философии?

— Это вроде талисмана. Подожди, сынок, сам увидишь, какой хорошей станет твоя жизнь.

— Мне и сейчас неплохо.

Агниса увидела из кухни, как отец и Дато идут по балкону.

Они прошли в галерею, и тут их встретила знакомая нам старушка.

— Вам кого?

— Мы живем тут,— смутился Гела.— Не узнали?

— Ах, да... да, да!

— Как поживаете?— спросил Гела.

— Хорошо. Наврозавили повидали?

— Нет, времени не было.

— А ты найди время.

— Найду.

— Кто этот мальчик?

— Мой сын.

— Была же девочка.

— Нет, девочка младшая. А это мальчик.

Гела прошел в комнату, где за швейной машинкой сидела его жена, улыбнулась мужу.

— Что нового?

— Приходили Николоз Абашмадзе и этот, как его? Я, мол, прокурором был... ну, работает в озеленении.

— Ну и что они?

— Торопят с деньгами.

Гела тяжело вздохнул.

Дато прошел в кухню и поставил на стул сумки с продуктами.

— Кто эта старуха?— спросил он сестру.

— Папа привел. Она не могла найти собственного дома и сейчас спит в твоей комнате.

— Дато, иди-ка сюда, мальчик! — позвала мама.

Дато вышел в галерею.

— Что такого ты натворил? За что тебя выдворили?— не переставая шить, спросила мать.

— Ничего интересного,— бросил Дато и направился к двери.

— Куда же ты?

— Скоро приду.

...Дато шел узенькой улочкой и остановился перед окном у самой земли.

— Анзор! — позвал он.

— Кто это? — послышался хриплый голос.

Дато влез в окно и очутился в комнате.

— Ва, Дато! — воскликнул лежащий на тахте и укрытый пестрым одеялом молодой человек.

— Что с тобой?

— Голова болит.

— Одолжи оружие.

— Бери.

Дато прошел в угол комнаты, поднял половицу и вынул завернутый в тряпки наган.

— Смылся?

— Сами отпустили.

— А остальные?

— Остальные вернутся к началу учебы,— ответил Дато, просовывая наган в ремень.

— Не опрокинь кого-нибудь, не впутайся в бузу!

Поздний вечер. Трамвайный вагон ехал наполовину пустой. Вдруг один из пассажиров — пожилой очкарик — вскочил и закрычал. У его ног прошмыгнула крыса с черными ушками.

— Уй! Крыса! — вскрикнула пожилая дама.

Пассажиры обеспокоенно задвигались, наклоняясь и заглядывая под сиденья. Взволнованный Гела посмотрел в свой портфель — клетка была пуста.

— Пеле! — вскрикнул он и засуетился: — Не трогайте, она решает судьбу миллионов! Пораженные пассажиры уставились на него.

Дато увидел, как крыса пролезла меж женских ног, подбежала к открытым дверям и исчезла.

— Убежала! — крикнул он отцу и соскочил с трамвая.

Пеле бежит между тускло освещенными рельсами. Дато сломя голову несет за ней. Гела тоже соскочил с трамвая.

— Дато, на тебя вся надежда! Дато! — кричит он истошным голосом.

Крыса резко свернула с колеи и побежала вдоль кирпичной стены дома. Дато следом. Расстояние между ними быстро сокращается. Дато увидел в стене дыру. На

ходу сняв с себя туфель. Дато очень точно швырнул его в дыру, и туфель застрял в щели. Крыса пробежала мимо, свернула в один из дворов. Тут же, у мусорного ящика, — спуск в подвал. Дато сделал головокружительный прыжок, пролетев в воздухе метров шесть, и, преградив путь в подвал, поймал беглянку. Лежит на земле с крысой в руках и тяжело дышит.

Гела влетел в подворотню.

— Дато, где ты? Что сделал?

Дато присел.

— Пеле! Жив!

Обрадованный Гела бросил на землю портфель и подбежал к сыну.

— Как она? Все в порядке? Давай-ка, — он взял крысу в руки.

— Пеле, брат, можно ли тебе убежать? Знаешь ли ты, что это предательство? Где бы я тебя искал?!

Пробили часы. Дато, одетый, лежал на кушетке. Облаченный в белый халат Гела сидел за столом у микроскопа и что-то порывисто записывал в тетрадь. Большая лаборатория онкологического института была заставлена медицинской аппаратурой.

— Э, двигаем отсюда! — резко сказал Дато.

— Одну минуту, одну минуту! — ответил Гела, продолжая записывать.

Дато положил в портфель будильник. Потом выбрал одну из клеток, вынул из стеклянного цилиндрического сосуда Пеле, посадил в клетку и закрыл дверцу на крючок.

— Не идешь? Хочешь, чтоб нас застали?

Гела закрыл тетрадь.

— Значит, так! — потер он руки и весело посмотрел на сына. — Дато, как ты, парень?

— Быстро, быстро!

Отец и сын убрали приборы со стола. Дато подобрал с пола журнал и собрался было швырнуть его в мусорную корзину, но Гела поймал его за руку.

— Стой! — он показал на обложку. — Знаешь, кто это? Это аргентинский доктор! Он сам себе сделал операцию аппендицита.

— Выжил?

— Конечно! Стой-ка. — Гела оторвал обложку и снова уставился на портрет. — Похож на меня, а?

— Не думаю.

— Нет, похож! — Он сложил лист и сунул в карман пиджака.

Они осторожно, на цыпочках, миновали коридор, спустились по лестнице и вышли через маленькую железную дверь на задний

двор. Потом перелезли небольшой забор и тут увидели, как во двор института въехал «ЗИМ».

— Смотри, академик, — сказал Гела и остановился.

Издали было видно, как вышедший из «ЗИМа» пожилой человек стал подниматься по лестнице. Гела снял шляпу.

— Приходит раньше всех. Знал бы ты, какая у него энергия.

— Надень шляпу! — гневно бросил Дато.

— Он был моим педагогом.

— Разве не он выставил тебя отсюда пинком?

— Неважно. Он большой ученый.

— Пошел он к чертовой бабушке! — сплюнул на тротуар Дато.

Гела надел шляпу, и они продолжили путь.

Ночь. Дато перелез через забор лагеря трудновоспитуемых и осторожно приблизился к одному из барачков. Он влез в окно и пошел по коридору. На выкрашенной в голубой цвет двери написано: «Воспитатель». Дато вынул наган из кармана и осторожно приоткрыл дверь. На кровати лежал молодой человек и храпел. Это был не Лео. Суровое лицо Дато выразило недоумение. Он приоткрыл дверь и пошел в другую комнату, где спали ребята. Дато присел на кровать Хорена и слегка прикоснулся к нему. Парень тотчас же проснулся.

— Ва, откуда?

— Тихо!

— Что случилось?

— Где Лео?

— Зачем он тебе?

— Он ударил отца.

— Когда?

— Когда мы уходили отсюда, встретил нас на дороге.

— Где же ты был до сих пор?

— Где он?

— Уехал. Два дня, как у нас новый воспитатель.

— Совсем уехал?

— Да. Не то сын его заболел, не то родственник. Точно не знаю.

Дато задумался.

— Увидим, куда не денется, — обнадежил Хорен.

Прожектор электровоза прорезает ночную тьму, высвечивая косые полосы дождя. Он тянет за собой товарняк. Дато влез в вагон и сел на пол. Он промок до нитки. Достал сигарету, закурил. Поезд грохоча несется в ночи.

Из школы выходили ученики. Гела обошел здание и прошел во двор. На площадке мальчики играли в футбол.

Дато получил мяч, и в это время веснушчатый мальчик крикнул ему:

— Дато, твой отец!

Гела подошел к железной сетке, ограждающей спортплощадку. Дато приблизился к нему с другой стороны.

— Что случилось?

— Меня сняли с работы. Надо забрать крыс.

— Дайте сумку! — крикнул Дато мальчикам, сидящим у стены.

— Не играешь? — окликнули его с площадки.

Дато не ответил, пролез через дыру в сетке.

— За что сняли? — спросил он, настроение у него испортилось.

— Привезли умирающего больного, я дал ему свое лекарство, но было уже слишком поздно.

— Умер?

— Да. У меня был такой же случай во время войны. Тогда все кончилось хорошо.

— Тебя обвинили в смерти?

— Да, родственники что-то заподозрили, стали приставать: чем, мол, напоил больного, ну и пожаловались.

— Хм!

— Я-то совсем не при чем. Это подтвердил и эксперт. Но ведь меня уже предупреджали...

Один из мальчиков протянул Дато сумку.

— Пошли! — сказал Дато, и отец с сыном направились к выходу.

— Прямо не знаю, что делать. В этом городе врачей больше, чем больных. Поблизости все вакансии заняты. Где я теперь найду работу?

— Мама знает?

— Да. Очень расстроилась.

— Еще бы!

— Попытаюсь устроиться в первой больнице, я же в ней работал.

— Да, столько же времени, сколько хороший тамада руководит застольем.

— Вай! Как ты хорошо сказал!

— Не бойся, — бросил Дато.

— На что ты надеешься? — спросил отец.

— На Нобелевскую премию.

— А до того что делать?

Полуторатонка остановилась у двора Дато. Из кузова выпрыгнули Дато и его товарищи и быстро опустили борт. Кузов был забит клетками с крысами, ящиками, холодильниками. Из кабины вышел Гела.

— В первую очередь поднимаем животных, — распорядился он.

Солидная дама в окне проводила взглядом ребят с клетками в руках. Позади всех шел Гела.

— Опять, наверное, уволили, — переглянулся с женщиной стоящий на балконе седой мужчина.

Валико со своим выводком вышел на балкон второго этажа и с любопытством поглядывает на клетки с крысами.

— Хо-хо, сколько их у тебя, а! — обращается он к Геле. — Ты и правда чего-нибудь добьешься.

— Да, добьюсь.

Из окна выглянула мать Дато.

— Приехали? — улынулась она.

— Наверху открыто? — спросил Дато.

— Да, да.

Мальчики прошли через балкон к железной лестнице, ведущей на чердак. Мать отошла от окна, и тотчас в окно выглянула Агниса. Взгляд ее, устремленный на отца, выражал столько досады, что Гела, почувствовав страшную неловкость, отвернулся.

— Ну как так можно? У него же больные крысы, — сокрушается женщина в окне второго этажа.

В окне снова появилась мать Дато:

— У нас разрешение санэпидстанции. Мы никогда не нарушаем санитарных норм.

— В доме полным-полно людей! Приятно, думаешь, что над нашими головами разместились гнезда больных животных! — сердится усатый мужчина.

— Опять придется жаловаться, — отозвалась женщина в черном.

— Если так, мы и Вахтанга должны выселить из дома, потому что у него недержание мочи?! — выкрикнул Валико, протирая руку в сторону седого человека.

— Что ты ахиною несешь? — обозлился тот.

— Крыс в доме и без того полно, — защищает Гелу Валико. — У него они по крайней мере в клетках.

— Недержание мочи — болезнь незаразная. А вот рак заразен или нет, никому не известно! — закричала пожилая женщина.

— Если никто ничего не знает, чего же вам бояться? — ораторствует Валико. — Может, это даже полезно. Может, у нас иммунитет вырабатается.

На чердаке мальчики установили клетки с крысами. Из окон видны крыши окрестных домов и большая часть города.

— Эти сюда. Вот так. А эти сложите в самом конце, — распоряжается Гела.

Потом он достает из кармана обложку журнала с изображением аргентинского врача и, приставив к стене, прикидывает, как портрет будет выглядеть в этой комнате.

По Куре плывет плот. Сооружен он совсем нехитро: к надутым камерам грузовой машины веревками привязаны доски. Дато сидит на досках. Он одет. Только туфли снял и держит их в руках. А Толик в одних трусах. Плот быстро плывет по течению. Вдали на отмели показались купающиеся мальчики.

— Эй, французов не видали? — крикнул Дато.

— Вниз поплыли! — ответили несколько голосов.

— Интересно, почему у них татарские имена? — спросил Толик.

— Мать татарка, — ответил Дато.

С Мцхетского моста вниз головой прыгают мальчишки. На дощатом причале сидит еще одна компания.

— Смотрите, Дато! — говорит один из них.

Дато выходит на берег и надевает туфли.

— Здравствуй, Дато! — приветствуют его близнецы.

— Идите сюда, дело у меня.

Дато и близнецы отошли подалее от компании.

— Все тихо-мирно? — спросил Хасан.

— Послушайте меня, как вы с отцом? Ладите?

— Сказать, что мы лишь услаждаем его сердце, то, конечно, нет... — улыбается Ибрагим.

— А для чего он тебе?

— У меня просьба.

— Касается тебя?

— Нет, насчет работы отца.

— Твой отец же врач?

— Да.

— Да, но... Какое отношение имеет к медицине наш отец? Он же физик.

— Знаю. Но знакомые у него есть?

— Знакомые — да!

— Может, он постарается и как-нибудь поможет?

— Может быть, — кивнул Хасан.

— Это срочно? — спросил Ибрагим.

— А как же, человек без работы.

Братья переглянулись.

— А если напустить на него Русудан? — предложил Хасан.

— Гордится, — согласился Ибрагим.

— Кто такая? — спросил Дато.

— Одна шлюха. Наш отец у нее сейчас держит посадку.

Чердачное помещение, куда Гела поместил своих животных, блещет чистотой и порядком. За полками с клетками стоят три холодильника. У окна — два стола, на которых стоят всевозможные аппараты и

приспособления. Шкафы набиты тетрадами и пухлыми папками. Гела в белом халате моет руки и беседует с Валико.

— Знаешь, что обиднее всего? Так мучаюсь, ломаю голову, а это у большинства вместо уважения и сочувствия вызывает насмешки и раздражение.

— Только не у меня, брат, у меня наоборот!

— Обошел все городские больницы и поликлиники, и нигде ничего не получилось. Мне кажется, что у меня плохая репутация.

— Что собираешься делать?

— Прямо не знаю. Я и в министерстве был. Врачи требуются в высокогорных районах, но сейчас уезжать далеко я просто не могу. Еще семь месяцев и двадцать дней, а там уж я знаю, что делать.

— Надеешься, да?

— Знаешь, как хорошо идут дела.

— В моих глазах ты стоишь рядом с великими императорами, — не в силах скрыть восторга Валико.

— Чей же я император? Крыс?

— Нет. Надежд!

Открылась дверь, и вошел Дато.

— Здравствуйте.

— Ходи же в эту проклятую школу, гореть ей синим огнем! — встретил Гела сына упреками. — Опять прискакала Ламара, шумела тут, топала ногами.

Дато вынул из кармана конверт и положил на стол.

— Что это? — посмотрел на конверт Гела.

— Это академик Зедгенидзе просит главного врача новой больницы на Лоткинской горе принять тебя на работу.

— Ва! — удивился Валико.

— Тут это написано? — у Гелы загорелись глаза.

— Да.

— Но откуда этот академик знает меня?

— Какое это имеет значение?

— Мама знает?

— Сначала пусть получится дело.

— Да знаешь, кто такой академик Зедгенидзе! — закричал Валико. — Это дело уже получилось! Как пить дать!

Из дверей большого здания больницы вышел Гела и в задумчивости стал спускаться по ступенькам.

Валико и Дато поджидали его на скамейке в тени деревца. Валико вбивал камнем гвоздь, торчащий в башмаке. Увидев Гелу, он быстро надел туфель. Дато первым приблизился к отцу.

— Откуда-то я его знаю, но только не припомню, откуда, — сказал Гела.

— Как дела? — спросил Валико.

Гела был явно сбит с толку.

— Принял меня хорошо, даже очень хорошо, вежливо.

— Письмо прочел?

— Да, прочел. Очень своеобразный человек.

— Ну и что он тебе сказал?

— Что? Сказал, чтоб духу моего тут не было.

— О чем ты говоришь? — разинул рот Валико.

— Да. Сказал, что хорошо знает, что я за фрукт.

— Может, ты ему передал другое письмо?

— Да нет же! Более того, о чем, говорит, ты думал, когда беспокоил столь уважаемого человека и вводил его в заблуждение.

— Какое еще заблуждение! — удивился Валико.

Дато опустил голову и нахмурился. Валико на мгновение задумался.

— Тут какое-то недоразумение! — решил он. — Это дело так оставлять нельзя! — Он повернулся и решительно устремился к зданию.

...Валико ввалился в кабинет главного врача. Пятеро солидных людей в белых халатах сидели за столом. Валико стремительно приблизился к ним и обратился к тому, кто сидел в центре.

— Получили вы письмо академика Зедгендзе? Получили или нет?

— Получил, а в чем дело? — озадачился тот.

— И что же?! Такой великий ученый для вас ничего не значит! Кто дал вам право делать петрушку из общепризнанного авторитета?! Стоите ли все, вместе взятые, хотя бы ногтя академика Зедгендзе?

— Ни из кого я тут не делал петрушку.

— Почему вы не приняли этого человека?

— Мы сами знаем, кого нам принимать, а кого нет.

— Что вообще вы знаете?! Кто вас знает?! Руку человека, написавшего это письмо, вы должны обцеловать, потому что он вырастил целое ваше поколение! Неблагодарный негодяй — вот вы кто!

— Кто это? — скрежеща зубами, прорычал главный врач.

...Широко распахнулась входная дверь, и два рослых санитара выволокли упирающегося Валико, толкнули и исчезли за дверями. Валико покатылся по лестнице и шлепнулся на тротуар.

— Что случилось? — подбежал к нему Гела.

Валико устремил в сторону Дато взгляд, полный недоумения и испуга.

— Эй, парень, куда ты нас привел?

Дато приблизился к площадке, в центре которой был натянут ринг. На ринге боксировали три пары. На площадке тоже проводился ряд легких спаррингов. В боксе-рах можно узнать ребят из квартала Мтацминда. Площадка окружена детьми. Взрослых немного, и среди них инспектор Кола. За площадкой виднеется футбольное поле.

Увидев Дато, тренер Джумбер развел руками.

— Где ты, парень, уже две недели, как мы начали тренироваться.

— Знаю, сказали.

— А через месяц начнется первенство города.

— Приз какой?

— Сколько ты весишь?

— Шестьдесят четыре.

— В твоем весе — пальто.

— А в прошлом году говорил: серебряный кубок.

— Ну и что?

— Он был из алюминия. Еле продал за двадцать пять рублей.

— В этом году — пальто, точно знаю.

— Знай, не будет пальто, купишь его на свою зарплату.

— Да будет пальто.

— Не знаю.

— Ладно, выиграй первенство, а пальто я куплю.

Мать Дато сидит за швейной машинкой. Входит Дато. В руках он держит связку боксерских перчаток.

— Начал тренироваться?

— Да. Как идут дела?

Мать сокрушенно покачала головой.

— Вот закончу шить этот халат, и все! Все меня сторонятся.

— Почему?

— Говорят, у нас дома живут больные раком крысы, вот и остерегаются.

Дато ничего не ответил. Вошел в комнату. За столом сидела Агниса и что-то писала. С тахты поднялась старушка.

— Знаешь, здесь недавно был инженер Наврозашвили. Так он изменился, что я с трудом его узнала.

— Кто был? — спросил Дато и посмотрел на сестру.

Агниса приставила к виску указательный палец и покрутила им.

— О-о, как он жалел. Плакала и я. Стойте, когда же это было? Откуда я это помню?

— Во сне вы это видели, вы же мне рассказали, — напомнила Агниса.

— Да, да... это был сон, — у старушки зажглись глаза. — Отпустил бороду-бланже. Как она ему подошла. Его тут не было?

Это правда был сон?

— Сон, конечно.

— Не хочу я тут жить. Ничего мне ни от кого не надо. Все меня тут обманывают: покажем его, покажем, и ни у кого не находится времени. Все такие заняты! — рассердилась старушка.

Дато повесил перчатки на гвоздь и вошел в кухню. Тут он стал открывать крышки кастрюлек. Все кастрюли были пусты.

— Мне ничего не оставили? Ну как так можно, голоден я!

— Сейчас! Агнис, пожарь ему картошку! — крикнула мать.

Дато вынул из ганджины хлеб. В кухню вошла старушка.

— Пойди и принеси воды, — сказала она строго.

— Питьевой воды нет? — спросил Дато и, сняв крышку, заглянул в чайник. — Вот, есть.

— Этого мне не хватит, я должна согреть.

— Хорошо, принесу, — бросил Дато.

— Сейчас же иди, когда тебе говорят, — настаивала старушка.

Дато со злостью схватил ведра и вышел в галерею.

— Откуда она на нашу голову! — ругнулся он.

— Агнис, говорю же тебе, пожарь картошку! — крикнула мать.

— Сейчас, сейчас, — отозвалась дочка и закрыла тетрадь.

В комнату вошла старушка.

— Ты смотри, какой упрямый, не хотел за водой идти!

— Как вас нарисовать сегодня вечером? — спросила Агниса.

— Знаешь, как? — старушка задумалась. — Будто я сижу на улице вон на том стуле. Ноги мои в тазу. А вокруг проходят люди. Вода теплая, от нее поднимается пар... Мне холодно, знаешь.

Дато с ведрами вышел на улицу. К нему подошел худенький веснушчатый мальчик.

— А, это ты!

— Узнал! — сказал мальчик.

— Пошли.

Они вместе пошли по улице.

— У министра не то что нашего возраста, а вообще нет сыновей. У него только дочь взрослая, замужем.

— Это меня меньше всего интересует, — находил Дато.

— У одного из заместителей два сына, но они меньше нас, — мальчик очень серьезно вводил Дато в курс дела. — А второй замминистра так и стареет холостяком.

— А третий?

— У третьего сын на год старше нас.

— С этого бы и начал.

— Хочу, чтоб знал! — ответил мальчик и, вынув из кармана конверт, протянул его Дато. — Тут написан адрес. А это его снимок.

— Чей?

— Того мальчика. Его зовут Ника.

— Откуда это у тебя?

— Их шофер дал. Говорит, что настоящий ублюдок.

Дато рассматривает снимок.

— Как он пошел на такую жертву, отдал фото?

— Говорит, что носил в кармане под сердцем, а он стал кусаться прямо с фото. Вот и отдал его мне.

На небольшой площади в каменную стену вделан кран, и из него льет вода. Во всю длину площади выстроилась очередь: кто с ведрами, кто с кувшинами и бидонами. Сейчас люди задрали вверх головы. Дато поставил ведра на землю и тоже посмотрел наверх.

На балконе второго этажа сидят три пожилые женщины в национальных головных уборах-чихтикопи. В руках они держат чонгури, играют на них и поют сладкую ментрельскую песню.

Дверь открыла женщина лет сорока пяти с приятным лицом.

— Здравствуй! Ника дома? — спросил Дато.

— Заходите! — женщина ввела Дато в просторную комнату и окликнула сына: — Ника, к тебе пришли.

В полуоткрытых дверях показался худенький красивый мальчик и с любопытством посмотрел на Дато.

— Ты ко мне?

— Да, у меня к тебе дело.

— Что хочешь?

— Сейчас скажу.

— Разве ты не этот — бух-бух? — спросил Ника, становясь в боксерскую стойку. — Пошли. — И он направился в соседнюю комнату.

Женщина вошла в смежную. Тут в кресле сидел мужчина.

— Какой-то мальчик пришел к Нике, — сказала женщина.

— Ну и что?

— Не знаю, что-то мне не понравилось. Ника толком и не знает его.

Мужчина отдернул портьеру на стеклянной двери и увидел, как сын его Ника сел на стол.

— Я тебя видел возле нашей школы, — сказал Ника. — Этот Эмзар, рыжик, и Таризл Мачавариани — твои дружки?

Дато кивнул.

— Они меня побили, но папа устроил так, что сейчас они даже близко ко мне не подходят! — с победоносным видом сказал мальчик.

— Знаю я эту историю.

— А эти еще — сыновья афериста-академика, французы, которые ходят вот так, — Ника напустил на себя грозный вид. — Дегенераты! Ты тоже «блатной», да?

— Я хороший парень, — спокойно ответил Дато.

— Возможно. Не знаю. А ко мне для чего пришел?

— Вот твой снимок, но мне хотелось бы иметь и автограф.

Ника взял фотографию и посмотрел на нее.

— Ва! Откуда?

— Дороже у меня нет ничего.

— Серьезно? — усмехнулся Ника.

— Абсолютно.

— Правда, для чего ты пришел?

— Если бы у меня был другой выход, то я бы и не стал тебя беспокоить. Но и я когда-нибудь в чем-нибудь тебе пригожусь.

— Да говори же.

— У меня дело к твоему отцу.

Этого Ника не ожидал.

— К отцу? Какое дело у тебя к моему отцу?

— Надо устроить на работу одного человека.

— А! — догадался Ника и напустил на себя серьезность. — Кто он?

— Один порядочный человек.

— Кто он тебе?

— Отец.

— А-а! Так твой отец врач?

— Да.

Отец и мать Ники, слегка отдернув портьеру, наблюдали за этой сценой, прислушивались.

Ника с солидным видом расхаживал по комнате.

— Если ты мне поможешь, то я в долгу не останусь. Если ты на кого-нибудь имеешь зло, то я устрою так, что злость твоя будет удовлетворена и никто тебя пальцем не тронет.

Ника внимательно посмотрел на Дато и снова заходил взад-вперед.

— Это дело не получится, нет, — сказал он, и тут же серьезность его улетучилась.

— Почему?

— Не получится, уважаемый, нет.

— Он не возьмется за это дело?

— Он-то, может, и возьмется, но чего ради я стану его об этом просить! Таких, как ты, я не уважаю. Надеяться на тебя — это значит наполовину жить твоим умом.

Почему? Меня это не устраивает!

— Я очень прошу тебя, помоги, — еще раз попросил Дато.

— С отцом я не разговариваю. Если я сейчас о чем-нибудь его попрошу, это будет для меня унижением. У-ни-же-ни-ем!

— А ты, конечно, самолюбив.

— У каждого своя жизнь. — Он посмотрел Дато прямо в зрачки и добавил: — Не каждый умеет просить.

— Ну хорошо, помочь ты мне отказываешься, зачем же меня унижать?

— Можно подумать, что я тебя сюда приглашал. Толком и не знаю, кто ты.

— Знаешь, кто я?

— Интересно.

— Я тот, что тебя украдет, а потом потеряет, как журавлиный помет...

— Ты что лезешь напролом? К чему ты меня обязываешь? Тоже мне...

— Всего хорошего! — бросил Дато и направился к двери.

— Стой-ка! — Ника вооружился ручкой. — Что в моих силах, я для тебя исполню. Вот тебе мой автограф, — и он протянул Дато снимок.

Дато некоторое время смотрел на него.

— Не хочу.

— Почему?

— Я сделаю так, что отольют твой бюст.

— Бюст. Как хорошо!

— И его поставят на Вакийском кладбище.

— Помогите! — закричал Ника, повалился спиной на стол и начал дрыгать ногами. — Помогите, убивают! Ха-ха-ха!

Дато вышел в большую комнату.

Появилась мать Ники.

— Ника, негодник, как ты себя ведешь?

— А! Подслушивали! Ну конечно же! Нет, бежать отсюда, бежать!

Он подскокил к двери своей комнаты и сильно захлопнул.

Дато обошел женщину и направился к выходу.

— Постойте, — окликнула она его. — Если можно, на одну минуту.

Дато взглянул на нее.

— Прошу вас сюда, отец Ники вас ждет.

— Что ему надо?

— Заходите, заходите, поговорите с ним, — натянута улыбнулась женщина.

Дато подозрительно покосился на нее.

— Он вам поможет, — понизив голос, сказала она.

Агниса — вся внимание. Она приникла к невысокому каменному забору, за которым скопились машины «скорой помощи». В здание и обратно вбегают и выбегают люди в белых халатах. Вовсю хрипит репро-

дуктор: «Бригада Абагерадзе, на вызов! Шестая машина! Бригада врача Абагерадзе на вызове!»

Из здания энергично выходит Гела. На нем белый халат. Следом идут медсестра и санитарка. Все садятся в машину, и она трогается с места.

Счастливая Агниса, пританцовывая, понеслась по аллее.

Зура уверенно прошел по длинному коридору, остановился возле стеклянной, расписанной цветочками двери в квартиру и громко постучал. Вдали, у выхода из подъезда, стоят, прислонившись к стене, Дато, Хорен и Толик. Подальше — Джемал и Сурик.

На стук никто не ответил. Тогда Зура, прислонившись лбом к окну, заглянул в комнату. В комнате никого не было. На стене висел портрет Лео в боксерской стойке. Он улыбается со снимка.

Из соседней двери вышла пожилая женщина.

— Нет их, сынок!

— А! Здравствуйте! Как же, вы говорили, что они приедут к концу месяца.

— Лео был, сынок, всего на два дня приехал и снова уехал.

— Который раз сюда прихожу, и все напрасно.

— Ребенок у него болен, детка.

— Сколько же можно болеть? Неужели до сих пор не поправился?

— В Одессе ничем помочь не смогли, и сейчас они собираются в Ленинград.

— А-а! — Зура кивнул.

Дато отделился от стены и направился к выходу. За ним — остальные. Ребята спускаются по лестнице.

— Появится, никуда не денется, — говорит Зура.

К двери квартиры Дато подошли три женщины. Две совсем молодые, третья пожилая. Они очень взволнованы.

Дато открыл дверь.

— Это квартира Гелы Абагерадзе?

— Да!

— Здравствуйте! У вас ли пребывает Тамара Клдиашвили? Старушка, у нее ослабленная память.

— Одна старушка у нас имеется. Посмотрите!

Женщины прошли в галерею. Мать Дато выглянула из кухни.

— Бабушка! — закричала одна из девушек и бросилась старушке на шею.

Кинулись и остальные. Окружили, целуют. Старушка растерялась.

— Да кто вы?

— Тамуна я, беби, не узнаешь?

— Я Нинико!

— Мамочка, счастье мое! — прослезилась пожилая женщина.

— Ах, это вы? Из школы пришли?

— Сколько времени мы тебя ищем, если б ты только знала!

— Можете себе представить, что с нами было, — приехали и не застали ее дома, — повернулась женщина в Геле. — Соседи говорят, что уже четыре месяца, как ее не видно.

— Это моя дочка, — сказала старушка.

— Оказывается, вы написали заявление в милицию. Там дали ваш адрес.

— Присядьте, — предложил Гела.

— Нет, нет, мы уходим, мы и так вас слишком побеспокоили.

— Большое вам спасибо, — сказала и девушка. — Прямо не знаем, как вас отблагодарить!

— Живем мы в Сухуми. Приезжать сюда часто не всегда удается, сами понимаете, и прямо не знаем, как быть, — думаем, переживаем, — сказала пожилая гостья, пряча платок в сумку.

Стоя у письменного стола, Дато внимательно смотрел на женщин.

— Ну и забрали бы ее к себе, как можно ее одну оставлять.

— Это плохой мальчик, не слушайте его, — сказала старушка.

— Ни за что не соглашается жить в другом месте, — повернулась женщина к матери Дато.

— Можно подумать, что она различит, где находится, — в Тбилиси или Сухуми.

— Дато, не распускай язык, — осекла его мать.

— А вот представьте, что различает. Сколько раз мы ее к себе забирали, ни за что не оставалась, — оправдывалась женщина.

— Должны меня забрать? — спросила старушка.

— Да, бабушка.

— В Сухуми? Я не поеду.

— Нет, бабушка, не в Сухуми, сюда, в твой дом.

— Мне и тут хорошо. К тому же они обещали мне, что найдут Наврозашвили.

— Сейчас пойдем, а потом мы тебя обратно приведем.

— А приведете?

— Да, да.

— Дашь свои рисунки? — обратилась старушка к Агнисе.

— Да, а как же!

Рисунки девочки были развешаны на стенах.

— Я хочу вон те две картинки.

Вечер. Дато и его сестренка нагнали на лестнице нескольких девочек. У двери в квартиру они встретили еще группу ребят. Гия, пятнадцатилетний парень, широко улыбался.

— Идите, идите! — И он пропустил в квартиру вновь прибывших.

Комната была набита людьми.

— Стульев не хватает, вот, берем у соседей, — говорит Гия и обращается к Дато: — Вон туда садитесь.

— Как хорошо! — радуется Агниса. Она села и жадно уставилась в телевизор. — Это и есть телевизор?

В комнату вошел седой человек.

— Ну, включаем! Сегодня концерт и кинофильм.

На экране показалась таблица.

— Это и есть? Началось? — волнуется Агниса.

— По этой сетке настраивают, — обернулась к Агнисе девочка. — Потом появится женщина и начнет с нами разговаривать. Такая хорошая, такая красивая, обязательно понравится.

Неожиданно раздался ворчливый голос:

— А этот тут что делает? — Полная пожилая женщина с очками на носу уставилась на Дато. — А ты откуда взялся, шалопай? Сейчас же проваливай отсюда!

— Бабушка, я его пригласил, — забеспокоился Гия.

— Какие у тебя могут быть с ним дела? Я-то знаю, кто он такой.

Дато тяжело поднялся. Агниса съежилась.

— Как ты ведешь себя, женщина! Садись, мальчик, садись, дорогой! — вмешался седой человек.

— Нечего делать ему в моем доме! Пусть немедленно убирается отсюда, пока я не вызвала милицию!

— Вот и ее он привел, — вскочила девочка с зеленым бантом и пальцем указала на Агнису. — Она его сестра.

— Да, я его сестра. Мой брат чемпион города, не то что твой, дохлый, как сом, — громко произнесла Агниса, встала и, гордо подняв голову, устремилась за братом, пробирающимся между стульями. Перед тем, как покинуть комнату, она обернулась и заявила: — У нас скоро будет и телевизор, мы и машину купим! Не то, что вы!

— Тебя я увижу, — бросил Дато Гии.

— Мамочка! Что значит увижу?! — разоралась женщина в очках. — Попробуй только заговорить с ним.

— Что же делать, не тебя же, старуху, бить — одной ногой в могиле стоишь. — на прощание изрек Дато.

Опустив голову, Дато идет по улице. Рядом шагает сестра.

— Это все его вина, его! — говорит Агниса. — Ох, этот эгоист!

— О ком ты? — не понял Дато.

— Этот бессовестный человек! — девочка пылала негодованием. — Знать ничего не хочет, кроме своих крыс! Все над нами смеются, все! Вместо того, чтобы позаботиться о семье, на что он тратит деньги!

— Что с тобой происходит?

— Ты что, веришь в то, что он правда изобретает лекарство от рака? Веришь? Я тебя спрашиваю!

— Какое имеет значение, верю я или нет.

— Глупость все это, глупость, а мы рзинули рты, молчим!

— Такой уж он, что же ему делать.

— А мы чем виноваты?

— Какая-то вонючая старуха, чтоб ей пусто было, не дала нам посмотреть телевизор, чего ты на отца прыгаешь?

— Вот увидишь, его выгонят с новой работы!

— Не бойся.

— Вот увидишь!

«Французы» стремглав пробежали по залитому дождем двору и, войдя в помещение, оказались в битком набитом молодежью партере. На сцене натянут ринг. В углу ринга, на стульчике, тяжело дыша, сидит разгоряченный Дато.

— Не входи в ближний, неужели трудно понять, — хрипит ему в ухо Джумбер. Анзор полотенцем вытирает вспотевшее лицо. — Работай левой. Не лови его на удар, не поймаешь. И не дави его, пусть танцует. Он техничнее тебя, неужели не понятно?

В противоположном углу ринга над мускулистым курчавым парнем склонились его тренеры.

Близнецы устраиваются в центре группы мтацминдцев.

— Ну как там? — спрашивает Хасан.

— Остался один раунд, — отвечает Толик.

Ибрагим уставился на соперника Дато.

— Это не Нугзар с Кукии? — спрашивает он. — Этот грязный ишачий сын!

— Крепко лупцует! — говорит Нодар.

Слышен удар гонга. Зрители сразу зашумели, засвистели, заерзали.

— Давай, Дато, давай! — кричит инспектор Кола.

— Давай, Нугзар, это липа, а не боксер!

Бой проходит в быстром темпе. Боксеры выкладываются до конца. Неожиданно Дато пропускает боковой удар и опускается на колено.

— Нет! Нет! — Авто в ужасе хватается за голову.

Зал кипит страстями. Дато быстро поднимается и продолжает бой.

— Дато, не бойся, Дато!

— Дато, снизу, сам знаешь!

— Дато, апперкотом его! Апперкотом!

На ринге тоже бушуют страсти. Никто не хочет уступать. Дато снова нарывается на удар соперника и падает на брезент.

Восторженные болельщики Нугзара подкидывают в воздух шапки и пиджаки.

— Дато, посажу тебя, так и знай, ничего тебе не поможет! — вполне серьезно кричит инспектор Кола.

Бой разгорается с новой силой.

— Не входи в ближний, говорю же! — чуть ли не в истерике кричит тренер Джумбер. Он патетично скидывает руки: что, мол, я могу поделаться и поворачивается к рингу спиной.

И именно в это мгновение Дато наконец-то поймал соперника на удар. Удар оказался таким сокрушающим, что Нугзар вылетел через канаты ринга. Зрители повскакали с мест.

Джумбер повернулся к рингу, и глаза его расширились от удивления.

— Что? Как он его? — спрашивает он у сияющего Анзора.

Тренеры Нугзара, поднявшись со своих стульчиков, повернулись к столу главного судьи и скрестили руки.

Дато вышел из раздевалки. В руках у него маленький чемодан и три грамоты. Он прошел коридором и открыл обитую дерматином дверь. Тут его встретили трое мужчин.

— А! Это ты? — оторвался от бумаг один из них. — Молодец! В кулаках у тебя динамиты. Растешь новым Рокки Марчиано.

— А пальто?

— Какое пальто?

— Главный приз!

— Ну что тебе еще, брат, все призы забрал, вот и кубок бери, — сказал один из спортивных деятелей, кивнув на стол, где валялись вымпелы и стояли разных размеров кубки.

— Объявили — пальто. Гоните! — не отступал от своего Дато.

— Знаешь что, — вступил в разговор полноватый мужчина, — с пальто, брат, напутали, принесли такое огромное, что в него тебя укутать можно.

— А на тебя хорошо? — спросил Дато.

— Для чего мне пальто, у меня свое есть.

— А у меня нет. Давайте!

— Решим так, — снова встрял в разговор сухощавый деятель. — Это пальто мы пока еще и не оформили. Приходи завтра.

— В прошлом году зажали серебряный кубок, хватит с вас.

В комнату вошел Джумбер. Он в отличном настроении.

— Ну как, разодрали мы их на части, а?!

— У меня к тебе дело, — повернулся к нему Дато. — Или давай деньги, или же пошли — купишь мне пальто, как было условлено.

— Что? Не дают? — возмутился Джумбер и повернулся к столу: — Кукур, ты не перестанешь мозги варить, не перестанешь?

— Для чего ему такое огромное пальто? Отдам его плотнику, весь зал разнесли в пух и прах, а чинить кому?

— Не своди меня с ума! — закричал Джумбер и так сильно ударил кулаком по столу, что опрокинулись кубки.

— Денег не хватает, — не желает уступить Кукури.

— Сию минуту, сию минуту, — произнес человек, который все это время, покуривая, с недовольным лицом стоял у окна. Он вынул из шкафа перевязанное веревками пальто и протянул Дато. — Кукур, чтоб ты знал, совесть тоже хорошее дело, — вразумительно заметил он.

— Нажрался, согрелся, а сейчас о совести заговорил? — поинтересовался Кукури.

Дато, хлопнув дверьми, вышел в коридор, остановился на лестничной площадке. Двор был запружен знакомыми и незнакомыми парнями. Дато повернул обратно, нашел открытое окно, выпрыгнул в сквер и пошел вдоль ветвистых платанов.

Неподалеку от дома, на подъеме, он нагнал Валико. Сосед, изнывая от усталости, катил тележку. На тележке лежал огромный мраморный камень.

— А! Дато, помоги-ка.

Дато положил пальто и чемодан на камень и взялся за тележку.

— Что это?

— Могильный камень.

— Зачем он тебе?

— Десять лет не платил мне один должник денег, а сегодня дал это.

Дато и Валико вкатили тележку во двор. Из окна выглянули ребятишки Валико.

— Папа, что принес? — кричит старший.

Дома — полная идиллия. Гела наигрывает на гитаре. Агниса сидит за пианино. Отец, мать и дочка поют. Вошел Дато, положил пальто и чемоданчик на тахту и присел. Агниса спросила:

— Как дела?

— Выиграл.

— Опять ты чемпион?

— Так получается.
— А что принес? — спросила мать.
— Пальто.
— Кто дал?
— Это главный приз.
— Выходит, что бокс не такое уж пустое дело,— говорит Гела.

— Какое мягкое! — в восторге восклицает Агниса.

— Да, материал хороший, но оно слишком большое,— заметила мать.

— Это тебе дали? — подозрительно смотрит на сына отец.

— Ну да, перепутали размеры. А ну-ка, примерь.

— Надень,— сказала мать.

— Мне не надо, перешей его для Дато.

— Вставай же, примерь,— настаивает Дато.

Мать и Агниса помогли Геле надеть пальто.

— А подходит! — радуется мать.

В комнату без стука влетел Валико.

— Абашмадзе! — крикнул он.

Гела насторожился и, как был в новом пальто, юркнул в соседнюю комнату.

Дато вышел на балкон. К их двери приближался мужчина с хмурым недовольным лицом.

— Вы к отцу? — спросил Дато.— А его нет дома.

— Не крысы ли его съели? — спросил Абашмадзе.

— Нет, он пошел доставать ружье.

— Да? А долг возвращать не собирается?

— Конечно...Он так это переживает...

Мужчина с обидой посмотрел на Дато.

— Передай отцу, что всякому терпению есть предел. И пусть лучше не прячется от меня.

— Передам,— грустно ответил Дато.

Абашмадзе повернулся и зашагал к лестнице.

На опушке леса Гела собирает лекарственные травы. Нагнувшись над кустом, он искусно орудует острой железкой, вытаскивая желтую траву прямо с корнем.

— Посмотри, — подходит к нему Дато, держа на ладонях корешки.

— Эти два выбрось, — говорит отец.

— Разве это не одно и то же?

— Нет.

— Как ты различаешь? — удивляется Дато.

— Кому же знать, если не мне, — отвечает Гела, не переставая орудовать железкой. — Вот эти растения, собрал бы я их через неделю или неделей раньше, они были бы уже негодны. Как только стебель усохнет

до этого утолщения, тогда и время.

— Собрать?

— Не сумеешь. Иногда стебли обманывают. Я ее только и узнаю, что по корням. Видишь, как они гнутся, когда я их вырываю?

— Ну и что же?

— Через неделю они будут гнуться совсем иначе.

Отец и сын заворачивают собранные травы в папиросную бумагу и складывают в рюкзаки.

На склоне горы видна маленькая деревушка: всего пять домов. Отец и сын идут по дороге.

— Тут родник, напьемся?

— Напьемся.

Они перешли поляну, подошли к роднику и сейчас, припав к крохотному озерцу, пьют воду.

Гела, подняв голову и увидев у своих ног знакомую траву, погладил ее.

— Это гвиа! Ее отвар хорошее средство от колита, но собирать ее надо только весной. Потом добавляется сок старого корня, две чайные ложки на пол-литра. Очень хорошее средство.

— Пошли, — бросил Дато, вставая.

— Не думаю, чтобы кто-нибудь знал народную медицину лучше меня. Она мне очень помогла в создании новых лекарств. Знал бы ты, какие эффективные лекарства я изобрел.

— Знаю. Разве не из-за них ты так часто сидишь без работы?

— Я борюсь за жизнь, но интересно бы знать, что такое жизнь сама по себе. — Гела остановился, продолжая философствовать: — Ведь дело не только в том, что организм постепенно стареет и разрушается. Хотел бы я узнать, в чем принцип жизни.

— Не идешь ты? — оглянулся Дато.

— Послушай-ка. — Гела догнал его. — Во вселенной все так точно рассчитано — быть того не может, чтоб все это не имело какого-то особенного и главного назначения. Какая роль в этом строгом порядке возложена на жизнь? Какую функцию она выполняет? Узнать бы это, и все встанет на свои места!

Автобус развернулся на площади и остановился. Дато тянет отца за локоть.

— Приехали, проснись!

— погоди-ка, погоди, — отвечает отец, не открывая глаз.

— Чего еще ждать? Вставай!

— Не сплю я, не сплю.

— Что же тогда с тобой?

— Знаешь, о каких хороших вещах я думал?

Он открыл глаза и стал доставать из кармана деньги.

— С тебя я не возьму, — сказал ему шофер.

— Почему?

— Мамиду мою ты лечил. Нину не помнишь из Ходашени?

— Правда? Как она сейчас?

— Хорошо.

— О! Что ж, большое спасибо.

— Будь здоров.

Отец и сын направились к дому.

— Самой полноценной жизнью человек живет в минуты радости, — разглагольствует повеселевший Гела.

Неожиданно он остановился и снял шляпу.

Из переулка показалась похоронная процессия. За гробом шли всего три человека. Гела расстроился.

— Пойдем с ними, — кивнул он на процессию.

— Знакомый?

— Нет, но разве не видишь — почти никто его не провожает. Жалко, все же сын человеческий.

— Ради бога, пошли домой, — взмолился сын.

— Неудобно как-то.

— Разве ты не устал?

— Иди ты, если хочешь. — И отец присоединился к маленькой процессии. — Разделяю вашу скорбь, — обратился он к мужчинам.

— Какая там скорбь, соседом был он нашим, так и уходит, не оставив на свете никого, — ответил блондин и внимательно оглядел Гелу.

— Досадно, очень досадно, — покачал головой Гела.

— Вообще-то ему перевалило за девяносто, — сказал второй, тучный и краснощекий мужчина.

Дато нажал отца и с недовольным видом зашагал с ним рядом.

— Вы кем будете? — поинтересовался блондин.

— Так, по-человечески хотел уважить покойного.

— А-а! Да, да.

Блондин достал из кармана гребешок и причесал волосы.

— Как его фамилия? — спросил Гела.

— Наврозашвили, — ответил усач, не произнесший до этого ни слова.

— Наврозашвили? Не инженер ли? — спросил Гела.

— Да, инженер. Константин Наврозашвили.

— Он строил мосты? — насторожился Дато.

— Да, да, именно мосты, — кивнул блондин. — Вы знали его?

— Странное совпадение, — удивился Гела. — Нет, лично я его не знал, но кое-что о нем слышал.

Гроб несли четверо.

— Они что, не сменяют нас? — злобно спросил один из них. Устал и второй.

— Подарили нам его, что ли?

Третий оглянулся.

— Заснули? Не видите, что нам трудно? Дато и Гела подались вперед и сменили несущих гроб.

Машина «скорой помощи» поднимается в гору.

— Самый глухой в Тбилиси район, — говорит шофер.

Гела взглянул на часы, и в этот момент мотор заглох.

Шофер вышел из машины и поднял капот.

— Гела батоно, на починку самое малое уйдет час.

— Аух! — ужаснулся Гела. — Это далеко отсюда?

— Не очень. Плохо то, что сплошной подъем.

Гела открыл заднюю дверцу и вынул медицинский саквояж.

— Как поднимешься до конца, так иди направо через кладбище. А там уже недалеко, — объяснил шофер.

В это время их обогнал «ЗИМ».

— Ау! Останови! Останови! — закричали все и замахали руками.

Машина остановилась.

— Дай бог тебе радости, — произнес Гела, приближаясь к машине.

— Что нужно? — спросил высокомерным тоном сидящий за рулем здоровяк в кепке.

— Будь человеком, довези его до Ширского спуска, — взмолился шофер.

— Нет времени.

Мужчина тронул машину.

— Куда же ты? У человека сердечный приступ. Нужна помощь! Стой! — закричал Гела.

Машина прибавила скорость. На ее заднем стекле нарисованы синие крылатые кони.

Гела, не теряя времени, двинулся в путь. Дорога поднималась в гору. Возле двухэтажного дома он заметил «ЗИМ» с крылатыми синими конями. Водрузив на плечо медицинский саквояж, Гела ускорил шаг. Он быстро пересек кладбище и выбрался на узенькую завешенную белым улочку.

— Где Ширский спуск, второй переулок? — спросил он женщину.

— Прямо, потом направо. Выйдете к мосту, а там покажут.

— Спасибо.

Он так запыхался, что еле дышит. И все

же бежит. Пот заливает лицо.

На маленькой пустынной площади у прибитого к дереву телефона стоит молодая женщина и громко кричит в трубку:

— Где же она, если вышла, эта ваша «скорая помощь»?!

— Уважаемая! — окликнул ее Гела. — Я тут.

Женщина оглянулась и увидела запыхавшегося и взмокнувшего от пота человека в белом халате. Она жестом пригласила идти за ней. И побежала. Гела понесся следом.

На тахте лежал мужчина. Глаза его были закрыты. Гела взглянул на больного, и усталое лицо его выразило тревогу. Он раздвинул веки и заглянул в глаза. Проверил пульс. Потом открыл саквояж и, с удивительной быстротой наполнив шприц лекарством, сделал больному укол. И тут же, разорвав на нем рубаху, обеими руками надавил на грудь. Затем стал массировать сердце.

Машина «скорой помощи», натужно урча, лезет в гору. Навстречу ей прямо посреди улицы плетется Гела. Он поднял глаза, полные страдания и тоски.

Фельдшерница высунулась в окно.

— Что случилось, доктор Гела?

— Опоздал на пять минут. Всего на пять. Я уже не смог ему помочь! — не своим голосом ответил Гела.

Фельдшерница прикусила губу.

— Эх! — тяжело вздохнул шофер. — Всем не поможешь. Ты же врач, не бог. Гела влез в кабину. Машина объехала кладбище и покатила вниз по спуску. У «ЗИМа» с нарисованными конями стоял владелец машины и беседовал с женщиной.

— Останови, — распорядился Гела.

Он выпрыгнул из машины, кинулся к человеку в кепке и схватил его за ворот.

— Ты знаешь, кем был Рамхакришна?! Знаешь или нет?! Когда он видел, как кого-нибудь бьют, то и на его теле появлялись такие же раны, как у избитого! Он был человеком, а ты кто?! — кричал он.

— Чего тебе от меня? — растерялся мужчина в кепке.

— Кто ты? Где ты вырос? Были ли у тебя родители или получили тебя путем химической реакции?

— Отпусти! Кто ты такой? — мужчина в кепке попытался высвободиться. Он попятился и вырвался из рук врача.

— Тьфу! — Гела плонул ему в лицо и со всего маха дал затрещину.

Мужчина отскочил в сторону и вдруг полетел с обрыва в чей-то двор.

— Ой! Григорич! Люди, помогите! — закричала женщина.

Такого исхода Гела не ожидал. Он помчался к спуску.

— Что вы наделали, доктор Гела! — крикнул шофер и побежал следом.

Стонущий Григорич, увидев несущегося к нему человека в белом халате, чуть было не лишился сознания.

— А-а-а! — предостерегающе закричал он. — Не смей ко мне прикасаться! Не подходи близко!

Гела опустилсь возле него на колени. Едва он прикоснулся к правой ноге, Григорич взвыл от боли. Гела взглянул на шофера.

— Он сломал ногу. Несите носилки!

Вечер. Агниса прошла по дорожке, посыпанной толченым кирпичом, и вышла к летнему кинотеатру.

— Эй, вы! — крикнула она сидящим на дереве мальчишкам. — Дато в кино?

— Да, внизу сидит! — отозвался мальчик со слезами на глазах.

— А ты что плачешь?

— Агнис, знаешь, какое кино!

— Вызови его, пусть выйдет!

Мальчик перегнулся на ветке и свистнул. Из зала раздался ответный свист.

— Дато зовут! — крикнул мальчик.

— Кто зовет? — обернулся Дато.

— Твоя сестра.

Агниса пошла вдоль деревянной стены к выходу.

— Дато, Дато! — взволнованная Агниса кинулась к брату. — Папу вызывают в прокуратуру. Пришла повестка.

Гела осторожно приоткрыл дверь.

— Заходи, заходи. — Человек в очках сунул ручку в чернильницу и снял очки. — Ну что мне с тобой делать, брат, жалуется этот тип. Да ты садись. Я и так и этак — ничего не выходит.

— А вы что собираетесь делать?

— Я решил передать это дело к тебе на работу. Пусть там обсудят и объявят тебе выговор или еще что придумают.

— А если снимут?

— Что же делать — посадить тебя? Этот человек не успокоится, пока тебя не накажут.

— Может, придумаем что-нибудь другое, а? — озабоченно спросил Гела.

— Факт есть факт. По твоей вине человек сломал ногу.

Гела тяжело вздохнул.

— Согласен, негодяй достоин общественного порицания — говори, как хочешь, но юридически он прав.

— А я?

— А ты нет. Если всю эту историю считать от эмоций, что же останется? Человечку сломали ногу!

— Конечно, я погорячился, да и тот бедняга долго не протянул бы, но в тот день, подоспей я вовремя, он был бы спасен. Жизнь, пусть она длится хоть минуту, все же жизнь.

— Подпиши-ка мне тут.

— Что это?

— Что я с тобой имел беседу и ты в курсе дела.

Дато прилип к двери. Вышел Гела. И тут же в конце плохо освещенного коридора показались три силуэта.

— Дело рассмотрят на работе, — сказал Гела.

— Знаю, слышал, — ответил Дато.

— Что они решат?

— Скажи спасибо, что от этих отделался.

— Аух! — поморщился Гела, узнав приближающегося Григорича.

Григорич шел на костылях. Правая нога его была в гипсе. Его сопровождали двое полноватых молодых мужчин, очень на него похожих.

Увидев Гелу, Григорич злобно нахмурился.

— Это и есть тот самый господин, — сказал он сопровождающим.

Нахмурились и они.

— Увидишь еще, что я с тобой сделаю, — пригрозил Григорич. — За это дело, — вытянул он за гипсованную ногу, — ответишь перед законом! Да еще как ответишь!

— Боли есть?

— Вот когда ты свое получишь, пройдут.

— А может, оставишь меня в покое?

— Сейчас опомнился? — вмешался в разговор один из молодых людей. — Что ты наделал? Был бы я там в это время.

Дато улыбнулся.

— Сейчас-то ты тут. Давай, на что ты способен!

— Ты-то кто? Что тебе нужно? — огрызнулся молодой человек.

Второй оказался посмелее.

— Смотри на этого сопляка! Знаешь, что я с тобой сделаю?

— Сделает он! Заткнись, мочевой пузырь, пока я не покалечил всех троих! — обозлился Дато.

— Это им и нужно! — забеспокоился Григорич. — Тут же побегут жаловаться. Не трагайте их! — Он повернулся к Геле: — Этот номер у вас не пройдет!

Молодые, насмешливо улыбаясь, отошли в сторону.

— Пойдем, сынок, — печально произнес Гела и двинулся по коридору.

На нем — подаренное сыном пальто, под мышкой — папка. Некоторое время он стоял в оцепенении, но видно, что он сильно взволнован. Потом, решительно обойдя несколько машин «скорой помощи», обогнул здание, подобрал по пути еловую шишку.

— Эй вы там, дармоеды! — крикнул он, швырнув шишку в окно второго этажа.

Сидящие за столом мужчины повернулись к окну.

— Разжиревшие купцы, врачи-недоучки! Кого вы сняли?! Придет время, и вы пожалеете об этом! — бушевал Гела.

Один из мужчин выглянул в окно.

— Гела Абагерадзе, — произнес он.

А Гела задрал голову и кричит:

— Пусть выглянет этот... который у вас сидит начальником! Это я опасен для общества?! Нашли террориста, да?! Семь раз меня сняли, да?! Можно и восьмой! Традиция есть традиция! Надо ее беречь! Bravo! Пусть выглянет этот... этот... которого природа сотворила для больших дел, не сделавший за всю жизнь ни одного укола, не выписавший ни одного рецепта! Выгляни в окно, дармоед!

Председательствующий, седой представительный человек, подошел к другому окну и открыл его.

— Чего там разорался? Хочешь еще раз доказать, что мы поступили правильно? Нет надобности!

— Дал бы предупреждение или, наконец, выговор! Разве ты человек!

— Что у тебя под мышкой?

— Личное дело!

— В нем уже есть двадцать пять предупреждений и двадцать выговоров! Места не хватило, куда вписывать!

— Ты пожалеешь об этом!

— Иди-ка домой, пока я не принял меры! — И мужчина закрыл окно.

— Пойду, а что скажу? У меня же семья. У меня жена и дети! Ты еще пожалеешь! Ты захочешь ко мне подойти, захочешь и не решишься! Все вы увидите! Скоро вы узнаете, с кем поступили несправедливо! Плевал я на всех вас!

Председательствующий с непроницаемым лицом вернулся на место.

— Не проявили ли мы излишней жестокости? — подал слабый голос старик в пенсне.

— Я с самого начала не хотел его принимать. Сами видите, как он себя ведет. Можно ли такому человеку доверить судьбы людей? — произнес председательствующий и постучал по столу: — А ну-ка, продолжим, продолжим.

Гела сбежал по лестнице и вышел во двор.

К своему двору на Мтацминде Гела приб-

лижался, уже улыбаясь. В глазах его вновь вспыхнули знакомые нам огоньки. Он увидел, что двор его заполнен людьми. Толпа образовала проход. Он устал ковровой дорожкой. И по этой дорожке под гром оваций шагает он сам. На нем фрак, в петличке белая роза. У лестницы стоят выряженные во фраки мужчины. Они тоже хлопают в ладоши и надевают Геле на голову лавровый венок. Полный достоинства, Гела приближается к лестнице. Поднимается. Взойдя на третий этаж, ее посмотрел на запруженный людьми двор и кивнул. Потом поднял вверх обе руки и широко улыбнулся.

Во двор вошла женщина лет сорока. Модно, но криливо одетая. На руках у нее завернутый в одеяло ребенок. За ней, нагруженные коробками и чемоданами, идут два носильщика. Увидев стоящего на балконе Гелу с улыбкой на лице и высоко поднятыми руками, женщина решила, что он приветствует ее. И помахала в ответ.

— Как поживаешь, Гела?

Старший сын Валико сломя голову влетел в сарай. Велико обтесывал рубанком доску.

— Папа, кажется, мама пришла.

Велико отложил доску, снял фартук.

В окно первого этажа выглянула пожилая женщина.

— Фауна, как поживаешь, милая? — улыбнулась она расфуфыренной даме.

— Живу понемногу, — ответила та, вскинув руку.

Валико бежит по двору, отряхивая широкие, как мешок, брюки. Он бесконечно счастлив. Дама повисла в его объятиях.

— Как ты тут? Ой, как же ты постарел!

Валико смутился.

— А ты как? Где столько времени пропадала?

Женщина устремила взор на остановившегося в сторонке мальчика.

— Боже мой, неужели это Залико? Подержи-ка, — она передала Валико младенца и направилась к мальчику. — Иди ко мне, родименький, — обняла она его. — Мой мальчик. Мой красивый мальчик!

Расплакался ребенок, и Валико стал его качать на руках.

— Чей это? — неуверенно спросил он.

— Мой, — ответила женщина.

Залепленная грязью старая «Волга» свернула с дороги и остановилась на берегу небольшой речушки. Еще четыре машины стоят в воде.

Закатав штанины, ребята мыли машины. Чуть поодаль на пригорке вывешено белье и идет стирка. Возле огромных котлов, подвешенных над котрами, суятся прачки. Дато и десятилетний мтацминдский мальчик Ачи наводят блеск на серой «Побед».

— Достаточно, достаточно! — кричит с берега толстяк и протягивает Дато пятидесятирублевую бумажку.

Потом по брошенной в воду доске он подходит к машине и садится за руль. Место «Победы» занимает «Волга». Ачи подгоняет к ее дверям доску. Седой мужчина выходит на берег.

— А вы не выйдете? — обращается он к мальчику и двум девочкам, сидящим в машине.

— Мы останемся тут.

Дато отодвинул доску, прихлопнул дверцу, заглянул внутрь. Это были они — две девочки и мальчик, с которыми он виделся в деревне во время проверки больницы.

Ачи опрокинул полное ведро воды на капот, и ребята приступили к мойке.

— Это же тот мальчик? — спросила толстушка.

— Да, тот, — ответил мальчик.

— Будто он нас не узнал? — поинтересовалась худенькая.

— Подвисься. Хочу с ним поздороваться, — сказала толстушка.

— Оставь его в покое или не помнишь, как он с нами обошелся? — говорит худенькая.

— Пусть здороваается, тебе-то что, — сказал мальчик.

Толстушка опустила стекло.

— Эй, здравствуй, как поживаешь?

— Закрой окно! — деловито бросил Дато, продолжая мыть машину.

Толстушка не отступилась.

— Ты правда нас не узнал? Не вспомнил?

Дато даже не взглянул на нее.

— Как мы были в деревне, как увидели крыс...

Седой человек, покуривая, разгуливал по берегу.

— Оставь его в покое, разве не видишь — ему на нас наплевать, — раздражается худенькая девочка.

— Кажется, его отца сняли с работы, вот он и дуется, — вспомнил мальчик.

Толстушка подняла стекло и с обиженным лицом откинулась на сиденье.

— Так тебе и надо, — заметила худенькая. — Выскочка. — И передразнила: — «Здравствуйте! Как поживаете? Не узнаете?»

Толстушка отвернулась и посмотрела в сторону пригорка.

На пригорке на старой крышке сидел худенький длинноносый подросток. В руках он держал тетрадь в зеленой обложке. Лицо у парня было серьезным, деловым.

— Готово! — сказал Дато и бросил тряпку в ведро.

Ачи пододвинул доску к открытой двери. Мужчина протянул Дато пятидесятирублевку.

— Не надо, — покачал головой Дато. — Мы ваших девочек уважили.

— Нет, так не выйдет. Тогда я из уважения к моим девочкам заплачу вам вдвойне!

— Вот если бы вы из уважения к своим девочкам дали бы нам тысячу рублей, тогда еще да, может, мы и взяли бы.

Мужчина растерялся.

— За одну мойку дать вам тысячу рублей?

— Тогда вообще не хотим! Можете отправляться.

Мужчина был явно сбит с толку.

— Папа, дай ему тысячу рублей! — зло крикнула худенькая.

— За что тысячу рублей? — рассердился мужчина.

— Отдай, папа, прошу, умоляю.

Мужчина нахохлился.

— Откуда вы его знаете?

— Не знаю и знать не хочу. Если меня любишь, если меня уважаешь, отдай ему деньги!

Мужчина поморщился, еще раз взглянул на умоляющее лицо дочери, вынул из бумажника деньги и, заставив себя улыбнуться, протянул их Дато.

— На! Пусть так и будет. Тысяча рублей. Дато засмеялся.

— Нет, нет, с вас я не возьму!

— Бери, бери.

— Сказал, и точка! Будьте здоровы! — Дато подмигнул толстушке, повернулся и махнул рукой приближившемуся к речке «газику».

— Хорошо, будем помнить! — крикнул мужчина, сел в машину и, включая мотор, сказал: — Чуть не остались без копейки.

— Это из уважения ко мне он не взял денег, поняли? — похвасталась толстушка.

Длинноносый парень с тетрадью в руке приблизился к Дато.

— Почему ты не взял с них денег? — спросил он официальным тоном.

Дато полоскал в воде тряпки.

— Знай, ту «Волгу» я вам засчитаю.

— Кто ты, объясни толком?

— А ты не знаешь? Или напрасно я сижу здесь целый день?

— Очень мне нужно знать, для чего ты сидишь.

— Я пишу, кто сколько вымыл машин. С трех машин — одна наша. Машина — пятьдесят рублей, что, не знаешь?

— Чья ваша?

Длинноносый протянул руку в сторону возвышающихся за пригорком домов.

— Это квартал Мечты, брат, наш квартал!

— Ну и пусть будет вашим. — Дато протянул Ачи отжатые тряпки.

— Я говорю от имени Чароза, слышал Чароза?

— Никому платить я не собираюсь. Вали отсюда!

— В нашем квартале делаете деньги — и нам ничего? Как это? — не теряя спокойст-

вия, настаивал длинноносый.

— Это окраина города, она общая. Ваш квартал наверху.

— А твой квартал ближе, что ли? Смотри, я вижу, ты и завтра собираешься сюда прийти.

— Вали отсюда! — отмахнулся Дато.

Вечер. Дато и Ачи сидят в кузове. Преодолев подъем, грузовик свернул на узкую грязную улочку. У поворота их уже ждали семеро парней.

— Стой! Стой! — замахали они руками.

Как только грузовик остановился, парни открыли дверцу кабины. Двое подсаели к шоферу, остальные забрались в кузов и дерзко уставились на Ачи и Дато.

— Что происходит, а, Дато? — струсил Ачи.

Машина свернула с дороги и, запрыгав по ухабам, подъехала к старой церквушке и остановилась на маленькой площадке перед развалинами трехэтажного дома. Тут собралось около двадцати мальчишек разного возраста. Дато спрыгнул на землю. За ним — Ачи.

В центре компании сидит на камне крепко сбитый парень лет двадцати двух. Рядом с ним стоит длинноносый и чему-то печально улыбается. Он похож на монаха.

Дато с независимым видом стал отряхивать брюки.

— Меня отпустите! — закричал шофер.

— Чароз, отпустить? — спросил один из ребят.

Парень, сидящий на камне, махнул рукой. Машина тронулась.

— Чароз, сука, сколько же ты собрал народа, митинг хочешь провести? — Дато, глядя прямо в глаза, плюнул ему под ноги.

— Нас всегда много! — крикнул один из мальчишек.

Чароз, прищурившись, не спеша оглядел Дато и наконец спросил:

— Мы знаем друг друга?

— Я-то знаю, кто ты.

— А если так, почему нарушаешь наше спокойствие?

— Я шалун, — ответил Дато.

— Почему же тебе захотелось шалить в нашем квартале?

— Все бывает, переживи как-нибудь!

— Ты из какого квартала?

— Из Мтацминда.

— А-а! — губы Чароза дрогнули в усмешке. — Страна аристократов. Бандитизм, воровство, насилие. Портится жизнь. Мтацминдец — и весь день моешь грязные машины.

— Давай так: я для себя, ты для себя. Так будет лучше.

— Для кого?

— Сегодня для меня, потом для тебя.

— Так, да? Тогда знаешь что: достань все деньги, разложи у моих ног! — приказал Чароз.

— Дело не только в деньгах. Я плевал на пуганого, кто бы он ни был, — Дато еще раз сплюнул.

— Чароз, этот парень не то, что ты думаешь, знаю я, — нагнувшись к Чарозу, шепнул ему на ухо мальчишка в коричневом пиджаке.

— Значит, выходит, ты — все. А мы тут не люди. Клади деньги!

— Нет!

— Вижу, человек ты неплохой. Оставь себе свое, наше отдай и уходи.

— Ничего вам не полагается!

— По своей воле не даешь? — напрягся Чароз.

— Мы работали, трудились, тебе за что давать? Кто ты такой? — закричал Ачи.

— Сейчас увидите!

Не успел Чароз подняться на ноги, как Дато два раза ударил его в лицо. В ту же секунду на него навалилась вся орава.

Из клубка дерущихся выбрался перепуганный Ачи и стремительно промчался мимо церкви. Никто не обратил на него внимания.

На балкон вошел пузатый мужчина и позвал:

— Гела!

За ним показались четыре здоровенных носильщика.

Гела открыл дверь.

— Вот, пришел забирать, — сказал толстяк.

— Да, пожалуйте.

Все прошли в комнату.

— Вот эти шкафы, тот стол, — указал толстяк носильщикам, присел на стул, снял шляпу.

— Да, хозяин, спустим аккуратно, красивенько.

— Будь добр, дай стакан воды, — обратился толстяк к Геле.

— Сейчас.

В кухне отца встретил Дато. Поднеся к краю рта стакан, он пьет воду.

— Ва, ты дома? Как это случилось? — спросил отец, наливая воду. — Пришел, забирают, слава богу. — И посмотрел на сына: — Что с тобой?

— Ничего.

Дато, пошатываясь, пошел в свою комнату. Прилег на тахту и укрылся одеялом. Гела вошел вслед за ним.

— Кто это тебя так?

Дато взглянул на отца и не ответил. Гела стащил с сына одеяло.

— Тут болит?

— Нет.

— Тут?

— Нет.

— Смотри, не обманывай.

— Нет.

— Ничего, потерпишь, — сказал Гела и укрыл сына одеялом.

Через приоткрытую дверь видно, как носильщики обвязывают шкафы ремнями.

— Хозяин! Куда ты пропал, кацо? — В дверях появился толстяк.

— Вот, сын заболел. Прошу вас, — Гела подал ему стакан.

Дато видит, как толстяк пьет воду, и поворачивается к стене.

А тот уже приглядывается к тахте, на которой лежит Дато.

— О, это тоже орех?

— Да, орех.

— Забираю и эту тахту, и стулья, что в той комнате, если не против.

— Да, батано.

— За все дам тебе шесть тысяч рублей, думаю, что деньги хорошие.

— Очень хорошие, но на чем мы будем сидеть?

— Это уже не мое дело, — развел руками толстяк и двинулся к двери.

Дато перенес тюфяк и одеяло на пол, постелил у стены и лег.

С криками: «Идут! Идут!» возле церкви появляются ребята. В развалинах дома собралось чуть ли не все мальчишки района. В центре, сдвинув брови, стоит Чароз. В зубах зажата папироса. Расхлябанная полуторатонка въехала на площадь и остановилась.

— Теперь все, теперь пешком! — сказал Вова и выключил мотор.

Ребята квартала Мечты зашевелились, подтянулись, встали один к одному. Мтацминдцы прыгнули с кузова, собрались в один кулак и двинулись к развалинам.

— Говорил же тебе, Чароз, что это не простой парень, не стоило его переезжать, — сказал мальчишка в коричневом пиджаке.

Чароз выплюнул папиросу.

— Я мойщиков и уборщиков не боюсь! — громко крикнул он. — Где веник? Дайте веник! Ему протянули веник. Он схватил его как саблю и встал во главе своих ребят.

— Вымету этих ублюдков!

— Что это у него? — удивились мтацминдцы. — Что он собирается делать?

— Волшебный веник, — засмеялся Хорен.

Когда обе группы приблизились, Чароз вытянул веник в направлении Дато.

— Вас никто не боится, но знайте: этот человек не прав. Если я попаду в ваш квартал, я уважу ваши законы и порядки.

— У вас нет таких гнилых законов и порядков! — крикнул Нодар.

Раздался клич:

— Да здравствует Мтацминда!

И в ту же секунду «французы» сорвались с места и первыми врзались в ряды противника. Дато и Нукри столкнулись с Чарозом.

... В речушке стоят четыре машины. Еще три дожидаются очереди. Мойщики и водители с удивлением наблюдают, как с пригорка Дато и пятеро ребят вниз головой ташут Чароза, а Нукри лупит его уже растерзанным веником.

— Не прощу, поплачете вы у меня, погодите, поймаю я еще вас! — разрывается Чароз.

Ребята втащили его в речку и окунули вниз головой. Вынули и снова окунули.

— Помогите! Задыхаюсь!

Владельцы машин возмущились:

— Что вы делаете? Сейчас же прекратите!

— Заслужил! — подняв руку, сжатую в кулаке, сказал мойщик.

— Откуда ты знаешь? — удивился один из владельцев.

— Знаю.

А по берегу взад-вперед мечется длинноносый парень. В одной руке он держит тетрадку, а другой бьет себя по голове.

— Ой! Чароз, что происходит?! Ой, Чароз!

Ночь. Гела и Дато идут по улице. На отце старый синий плащ. На небольшой площади установлен огромный глобус, вокруг которого одна за другой зажигаются лампочки, символизируя искусственный спутник. На стене дома крупно выведено: «Добро пожаловать, 1959 год!»

— Говорил же тебе, не прячься от него, поговори с ним, — упрекает отца сын.

Гела очень взволнован, не отвечает. Они поднялись по лестнице жилого дома и остановились возле выкрашенной в красный цвет двери. Гела позвонил.

— Кто там? — послышался за дверью мужской голос.

— Это я, Гела Абагерадзе.

Дверь открыл Николоз Абашмадзе. Голова у него замотана полотенцем. Гела развел руками и закричал:

— Нет у меня денег, ну что мне делать!

— Чего орешь? — оторопел Николоз Абашмадзе.

— Ну нет их у меня, нету, скажи, что мне делать! Как мне быть! Я в таком положении, вот и пальто продал, не могу больше, просто задыхаюсь от злости!

— Задыхаешься?

— Ну да. Меня так мучает совесть! Потому я и прятался от тебя.

— Обещал же: верну через год?

— Обещал.

— А сколько прошло?

— Мои дела идут сейчас очень хорошо. Не

помешай мне. Еще четыре месяца, и я верну долг и еще столько же подарю.

— Верни мне мое, а подарков не надо.

— Конечно, верну, а как же!

— Когда придумаешь лекарство?

— Возьми из суда жалобу, а я, в конце концов, если дело не оправдается, продам квартиру и верну деньги через четыре месяца.

— Какую квартиру продашь?

— Мою квартиру, в которой живу. Ведь у нас частный дом.

Мужчина испытующе посмотрел на него.

— Эта квартира не твоя, узнал я.

— Чья же?

— Она принадлежит твоей жене. Оказывается, весь дом принадлежал ей. А ты дал его на съедение крысам!

— Ну и что же?

— Последнюю квартиру она продавать не будет.

— А что же нам остается? У меня ведь долг не только тебе. Моя жена меня в тюрьму не посадит.

— Где же вы будете жить?

— Поеду работать в район. И семью с собой заберу.

Николоз задумался.

— Поверь мне еще раз.

— Но потом уже не прощу, так и знай.

— Считаю, что деньги уже у тебя в кармане.

— Итак, еще четыре месяца?

— Да, да.

— А то засажу, хоть этим себя утешу.

— Ты настоящий человек, я должен тебя поцеловать! — расчувствовался Гела.

— Да брось ты, ради бога, — отстранился мужчина.

— А у вас нет крыс? — неожиданно спросил Дато.

— Есть. Но они сами себя содержат, — ответил Абашмадзе и прикрыл дверь.

Гела взглянул на Дато и облегченно выдохнул:

— Аух!

Они спускаются по лестнице.

— Значит, ты будешь работать где-нибудь в районе и нас забереешь с собой? — спросил Дато.

— Не бойся, до этого дело не дойдет, — обнадежил его Гела.

— Ну а если тебя и оттуда выгонят, что делать?

— Я знаю, что говорю. Протянуть бы как-нибудь эти четыре месяца! — Гела уверен в успехе.

Дато его не слушает. Он прикусил губу и какой-то жалкий задумчиво смотрит перед собой.

Санитар открыл дверь в лабораторию онкологического института и замер на пороге.

Положив голову на стол рядом с микроскопом, спит Гела. Дато лежит на кушетке.

— Что тут происходит? Кто вы такие? — гаркнул санитар.

Дато тут же вскочил и, скрежеща зубами, волком уставился на вошедшего. Напуганный санитар выскочил за дверь. Гела открыл глаза.

— Быстро, быстро, часы остановились.

Они мгновенно убрали все со стола и, выйдя в коридор, поспешили к выходу. Услышав топот ног, Дато выглянул из-за угла — санитар вел за собой мужчину и женщину в белых халатах.

— Сюда! — шепнул Гела, открыл дверь и вместе с сыном очутился в большой затемненной палате.

Большинство больных спали. Дато приткнулся к двери и прислушался. Шаги и голоса постепенно удалились. Дато оглянулся. Гела стоит неподвижно, и взгляд его скользит по кроватям.

— Что с тобой?

Гела повернулся и заглянул сыну в глаза.

— Знаешь, все, кто лежит здесь, не имеют шансов выжить. Я спасу их! Знаешь, сколько таких! Миллионы! Скоро увидишь их радость! Они вышли в коридор, спустились по лестнице и вскоре были уже на улице.

— Раньше, чем через неделю, сюда приходить не стоит, — сказал Дато.

— Целую неделю, — огорчился Гела.

Едва они вошли в свой двор, как с чердака раздался взволнованный голос матери:

— Дато, поднимись, поднимись! Тут я, наверху!

— Что случилось? — Дато поднял голову.

— А то, что нам не дают спать, — высунулся из окна растрепанный мужчина.

— Доброе утро, батона Вахтанг! — поздоровался Гела.

— Какое еще доброе?! Ни днем, ни ночью нет от вас покоя! Дайте же нам жить!

— Простите, батона! — снял шляпу Гела.

— Свою кровать занеси в комнату — что, у тебя мало места! — огрызнулся Дато.

— Где мне спать, позволю уж решать мне самому.

— Дато, поднимись, быстро! — зовет мама.

— Ты спишь день и ночь — и что же, во дворе и рта не открывать?!

Дато взбежал по лестнице.

Фауна вышла из туалета и, увидев Гелу, подождала его у перил.

— Как поживаешь, Фауна?

— Может, обследуешь, а?

— Что тебя беспокоит?

— Головокружение, дышать трудно.

— А ну-ка, покажи пульс.

Дато прошел на чердак. Встревоженная мама встретила его у двери.

— Дато, если б ты знал, что случилось, Дато!

Дато вошел в комнату и остановился как вкопанный.

Открытые клетки были кучей свалены на полу. Из пятисот крыс не было видно ни одной. В воздухе кружилась сажа: все тетради и папки с бумагами, куда столько лет Гела записывал результаты своих исследований, были сожжены. Печки забиты недогоревшей бумагой и тлеющими лекарственными травами. Перед открытыми холодильниками в луже вылитых лекарств — куча битого стекла.

— Боже мой, я в отчаянии! Не вынесет он этого, у него разорвется сердце! — мечется мама.

— Что за несчастье, не знаю, что подумать! — еле выговорил Дато.

— Что же делать?! Уж я-то знаю, этого он не перенесет. С ним случится что-то ужасное! — не может успокоиться мама.

Дато подошел к двери.

— Открывали ключами, видишь!

— Не знаю, Дато, не знаю, когда я пришла, двери были открыты.

Послышались шаги.

— Я не могу, боже мой! Он идет!

Дато обозлился.

— «Боже мой! Боже мой!» — передразнил он маму. — Придет и увидит, что же делать, выхода нет!

— Вы тут?

Гела прошел в помещение. Он сделал два шага, и лицо его изменилось. В оцепенении окинул он сваленные клетки, перевел взгляд на сожженные бумаги у печей, на пустые полки и, совершенно беспомощный, с выражением полной безнадежности, посмотрел сначала на жену, потом на сына.

— Ничего! — выкрикнул Дато, так и не поборов волнения.

Гелу бросило в дрожь, портфель выпал из рук, и, чтоб не упасть, он облокотился о стол. Мама заплакала.

С сумкой под мышкой Дато возвращается из школы. Рядом с ним идут Ачи и второй маленький мальчик.

— Да что ты, Дато! — говорит Ачи. — Кого я только ни спрашивал, никто ничего не знает. Хожу, прислушиваюсь, может, кто-нибудь проговорится.

Второй мальчик перебивает его:

— Наоборот, некоторые во всем обвиняют твоего отца. Говорят, что он немного странный и сам, наверное, выпустил.

— Вот смотри, — Ачи ткнул пальцем на кучу мусора, где валялись дохлые белые крысы.

Там же стоит дворник с метлой в руке. Увидев Дато, раскричался:

— Что вы наделали, кацо? Вот увидишь, если я твоего отца не заставлю за это ответить!

Дато молча прошел мимо. На балкон вышла женщина и щипцами швырнула дохлую крысу прямо на середину улицы. Дато остановился и печально произнес:

— Бонапарт!

— Эту, видно, убили капканом,— предположил второй мальчик.— А остальные сами сдохли или от той болезни, которой заражены.

Кто-то стучит в дверь. Агниса посмотрела в щель.

— А, это ты!

Открылась дверь, и вошел Дато.

— Почему заперлась?

— Мама сказала, что всюду валяются наши дохлые крысы и могут прийти с санэпидстанции, так что не открывай.

— А где она сама?

— Понесла платье клиентке.

Они прошли в большую комнату.

— Где ты был столько времени? —упрекнула сестра.

— А тебе-то что?

— Одной страшно. Он лежит и молчит. К тому же, должны прийти.

Дато заглянул в спальню родителей. Гела лежал на кровати, отвернувшись к стене.

— Он что-нибудь ел? — повернулся Дато к Агнисе.

— Нет, Дато, нет. Мама сказала, что не ел ничего. И воды не пил.

— Что у нас покушать?

— Хочешь?

— Мне тоже голодать?

Агниса в кухне поставила кастрюлю на керосинку и вернулась. Дато в раздумьях шагал по комнате.

— Дато, что делать, а?

Дато посмотрел на сестру и не ответил.

— Он все время молчит. Видел что-нибудь подобное? Лежит пять дней — и ни слова.— На глаза девочки навернулись слезы.— Я боюсь. Что это такое?

— Только твоих истерик мне не хватает.

— Ой, Дато, может, с ним что-нибудь случилось? Вызовем хотя бы врача!

— Врач поможет его горю?

— Дато, чтоб потом не было поздно.

— Чтоб голоса твоего не слышал!

В это время скрипнула дверь. Из спальни вышел Гела. Он в просторной, не по размеру, нижней рубашке и кальсонах. Оброс щетиной. Похудел. В глазах его засела такая тоска, что, глядя на него, замирает сердце. Опустив голову, он обошел детей и направился к туалету. Агниса проводила его взглядом, скривила ротик.

— Вот!

Дато прошел на кухню, снял кастрюлю с керосинки, переложил еду в тарелку. Гела вышел из туалета.

— Папа! — Агниса пошла следом.— Папа, кушать не хочешь?

Гела молча прошел в спальню и лег в постель. Агниса остановилась в дверях.

— Папа, что с тобой, папа? Папа, поговори с нами, не будь таким, прошу! — В глазах у нее стояли слезы.

Гела накрыл голову одеялом.

— Нас обвиняешь в чем-нибудь, папа? Папа, ну ответь!

Гела неподвижен.

Заплаканная Агниса выходит в галерею. Дато взглянул на нее, бросил вилку на стол, отодвинул тарелку, встал и твердым шагом направился к родительской комнате.

— Объясни, кто ты? — громко спросил он, едва приоткрыв дверь.— Кто ты, я тебя спрашиваю! На кого ты стал похож! Выпустили крыс, ну и выпустили! Я плевал на этих крыс и весь их род! Но ты-то есть! Ты-то остался! Повернись ко мне!

Гела по-прежнему лежал неподвижно. Дато подошел к нему и встал над головой.

— Не все же полетело к чертям собачьим! Знания твои при тебе! Что, нельзя продолжить?! всю жизнь смотреть на твои переживания? Рвешь всем нам нервы! Что ты, задохнулся? Повернись ко мне, не слышишь?!

Гела стащил с головы одеяло и уставыми, измученными глазами посмотрел на сына. Некоторое время они молча смотрели друг на друга.

— Неужели нет выхода? Или ты на все махнул рукой? — спросил наконец Дато.

— Я был так близок к цели, так близок! Чтоб прийти к этому снова, потребуются годы.

— Пусть потребуются!

— Разве я успею?

— Почему ты не успеешь?

— У меня появился страх смерти.— Он говорил медленно, с остановками.

— Брось ты это!

— Эх, Дато!

— А мы при чем? На нас чего дуешься?

— Подожди, Дато, не мешай.

— Я мешаю?

— Я думаю. Хочу восстановить все в памяти и записать.

Идет снег. Дато подходит к небольшому серому зданию, поднимается по лестнице и открывает дверь. В комнате за столом сидит Ламара и вяжет. Посмотрела на Дато и улынулась.

— Холодно. Что, дрова кончились?

— Надо наколоть.

— Что ты все тут сидишь? — спрашивает Дато.

— Пришел, чтобы это узнать?

— Перехожу в вечернюю школу. Мне нужна характеристика.

— Что в ней написать?

— Напиши, что второго такого паиньки в квартале нету.

— Узнал, кто выпустил ваших крыс?

— Не смог, — мотнул головой Дато. — Может, ты что-нибудь знаешь?

— Если б знала, сказала бы?

— Давай-ка напиши.

— Напишу. — Ламара не торопится. — Почему переходишь в вечернюю?

— Начинаю работать.

— Да? Где?

— В слесарном...

— А сколько сейчас тебе лет?

— Скоро шестнадцать.

— Вот и конец. Выйдешь из-под моей опеки.

Женщина отложила вязанье и вынула лист бумаги.

— Пока напишешь, я дров наколю.

— Только немного. Скоро я уйду.

Дато снял в коридоре с пожарной доски топор, спустился во двор и направился к сараю.

Академик во дворе своей дачи проводит канаву. Он тепло одет и для своего почтенного возраста довольно-таки резво орудует лопатой. И вдруг он видит, как кто-то лезет через забор.

— Здравствуйте. — Гела прыгнул на землю и остановился в нескольких шагах от академика.

— Что тебе нужно?

— Лабораторию.

Академик неопределенно улыбнулся.

— Ты опять гнешь свое?

— У меня случилось несчастье. Уничтожены труды многих лет. Но я уверен, что нашел способ избавить людей от страданий рака. Мои соображения, мои теории — все тут записано, — показал он папку.

— У тебя теории были и десять лет назад.

— Эти десять лет очень многое для меня прояснили.

— Сколько раз я тебя выслушивал?

— Да, но вы со мной не соглашались. Тогда, возможно, отчасти вы были и справедливы, но сейчас...

— Ты на меня жаловался во все инстанции, в какие только было возможно.

— Вы были со мной не правы.

— Я прав перед своими убеждениями.

— Тогда не изменяйте своим убеждениям в отношении человечности, выслушайте меня.

— Где находятся безнадежные больные, которых ты вылечил? Почему они не стучат кулаками по нашим столам? — печально улыбнулся академик.

— Я же вам сказал, что со мной случилось... Мне неизвестен результат последних моих опытов.

— Воду бессмертия ты не принес. Опять явился с теориями.

— На сегодняшний день это почти одно и то же. Вы не имеете права не выслушать меня.

— Очень прошу, оставь меня.

— Нет, умоляю, на колени встану перед вами! Вы должны меня выслушать!

— Сегодня воскресенье. Имею я право на отдых?

— Я утопаю в долгах. Бросить это дело я не смогу, но на какие средства его продолжить, у меня ни копейки. Ведь это все я хочу для человечества, для измученных людей.

— Это все ты хочешь для себя. Ты хочешь славы, хочешь имени. Ты суперзвезда честолюбия в медицине!

У Гелы сперло дыхание.

— Если кто-нибудь другой совершит открытие, как вы думаете, я не обрадуюсь?

— Не знаю.

— За эти годы я сделал больше, чем весь ваш институт.

— Это авантюра. Невозможно, чтоб на сегодня во всем мире кто-нибудь был бы близок к цели.

— Если не выслушаете, задушу! — побледнел Гела.

— Что-о? А ну-ка, убирайся отсюда! Убирайся, говорю! — академик задрожал от злости.

— Нет! Я сразу же начинаю читать. Сразу же! Я поздравляю вас с тем, что вы сейчас услышите! — Гела открыл папку.

Академик ошеломленно смотрит на него. Потом поворачивается и быстрым шагом направляется к дому. Гела устремляется следом.

— Здоровых клеток я не касаюсь. Препарат действует только на больные. Он будет продаваться в каждой аптеке.

Академик уже бежит по тропинке.

— Зайдем в дом? Согласен, батону.

Академик взбежал по лестнице, влетел в комнату и захлопнул дверь перед носом Гелы. И тут же запер на ключ.

— Сейчас же откройте! Я обращаюсь к вам от имени миллионов измученных больных! — барабанит Гела в дверь.

Академик стал быстро переодеваться.

— Откройте! Если б вы знали, что делаете сейчас, вы бы вскрыли себе вены!

— Нахал, — пробормотал академик. — Убирайся отсюда!

Гела разбежался и толкнул дверь плечом. Дверь не поддавалась.

— Я не дам вам права совершить самую большую ошибку в своей жизни.— Он засучил рукава и с силой затряс дверь.— Не открываете, да? Не открываете? Хорошо, я прочту отсюда. Начинаю! — Гела нацепляет очки, открывает папку и приступает к чтению.

Академик надел шапку, открыл маленькую дверцу и по приставленной лестнице спустился на задний двор.

Стоящий на балконе Гела читает во весь голос. Чуть ли не кричит. Он слишком увлечен. Входит в азарт.

Академик перелез через забор и, прежде чем свернуть на аллею, оглянулся. Гела стоял на балконе и громко читал. Голос его был слышен и здесь.

— Тьфу, к черту! — воскликнул академик и заторопился по аллее.

Гела вошел в большой кабинет министерства здравоохранения.

— Здравствуйте! — поздоровался он с сидящим за столом человеком его же лет.

— Здравствуйте, присаживайтесь.

— Как мои дела? — Гела присел на стул.

— Заявление ваше мы обсудили, но сказать что-либо определенное пока не могу.

— Что, нет в Сванетии места врача?

— Наоборот, в горных районах врачей у нас не хватает, но, видите ли, у вас несколько сложная служебная биография.

— При чем это? Я хороший врач,— расстроился Гела.

— Ваш вопрос разберет аттестационная комиссия. Если все пройдет благополучно, тогда пожалуйста. Будем даже рады,— с преувеличенной любезностью говорит мужчина.

— Это неправильное решение.

— Вот послушайте! — Мужчина вынул из папки лист.— Вы имеете двадцать пять выговоров, двенадцать предупреждений. Восемь раз вас снимали с работы.

— Вы человек тут новый и меня плохо знаете. У меня есть и благодарность. В пятьдесят первом году обо мне было написано в газете как о самоотверженном враче.

— Вот и хорошо! Я спросил о вас, и многие вас очень хорошо характеризовали. По-моему, вам нечего тревожиться.

Гела задумался.

— На какой день назначена комиссия?

— Мы сообщим.

— Не боюсь я вашей комиссии! — сказал Гела улыбаясь, и глаза его заблестели.

Дато вошел в прокуренную закусочную.

Гела сидит у окна и посасывает пиво из кружки. В глазах его переливаются цветные лучики. Он видит: у проезжающих мимо машин один за другим открываются багажники, оттуда стаями вылетают белые голуби и взмывают в небо. Их много, очень много — тысяча.

Дато подсел к Геле.

— Папа! — он тронул отца за локоть.

— А, Дато, как живешь, парень? — очнулся Гела.

— Что нового?

— Пришло извещение из министерства. Комиссия назначена на двадцатое.— Гела поставил на стол пустую кружку.

— Выпьешь еще? Деньги у меня есть.

— Нет, не хочу. Откуда ты идешь?

— С работы.

— Эх, мне бы еще три месяца, а?

— С весны приступишь?

— А с долгами что делать? Начнутся жалобы! — печалится Гела.

— У нас же твои комнаты. Продадим одну,— говорит Дато.

— Думаешь, этого будет достаточно, чтобы расплатиться с долгами?

— Тогда продадим и вторую, будем жить в одной комнате. Но продавать всю квартиру я тебе не позволю, так и знай!

Гела в задумчивости покачал головой.

— К тому же я работаю, мама шьет, ты тоже начнешь работать. Если и этого не хватит, расплатимся по частям.

— Да, так и сделаем,— соглашается Гела.

— Все устроится, не расстраивайся.

— Наоборот. Хочу сообщить тебе одну приятную новость,— сказал Гела, и глаза его засверкали.

— Что за новость? — обрадовался Дато.

— Аппендицит опять беспокоит... Хочу сделать операцию.

— Это твоя приятная новость?

— Я сам ее должен сделать, своими руками. Чем мы, грузины, хуже каких-то аргентинцев?

Дато показало, что кто-то схватил его за горло.

— Эта мысль, знаешь, как давно не дает покоя. Сейчас у меня есть время, почему бы не попробовать?

— Что ты должен попробовать, кацо?

— Нет, Дато, это решенное дело! — В голосе Гелы слышится убежденность.

— Рехнулся, что ли?

— Мне это нужно, потому что я чувствую, как опускаюсь духовно. А впереди непочатый край работы. И вот у меня стали появляться всякие подозрения, каких раньше не было. Боюсь, что вдруг махну на все рукой. Для чего же я жил столько времени?

— Да перестань ты!

— Как только я принял это решение, у

меня прояснился разум. Сейчас только в этом мое спасение.

— А если не получится?

— Получится! Я уверен! Если я такие операции делал другим, то почему не сделать себе самому. Что, не имею права?

— Он имеет право... Хм!

— Если что не так, позвонишь в «скорую помощь» и меня перевезут в больницу. Убивать себя я не собираюсь.

— Не нравится мне это!

— Все будет хорошо!

В голосе Гелы, в его несокрушимом оптимизме столько силы и очарования, что Дато, заразившись его настроением, уже не мог ему не верить и улыбнулся.

За окном на улице показалась похоронная процессия.

— Аух! Умер этот несчастный! — произнес кто-то надгробно.

Процессия неожиданно свернула и направилась к входу в закусочную. Покойника занесли внутрь.

— Эй, что делаете? — прихрамывая, выскочил ошалелый буфетчик. — Куда впускаешь?! — накинулся он на уборщицу.

Уборщица вооружилась веником.

— Сейчас же уберите его отсюда!

— Отойдите прочь! — огрызнулись идущие за гробом.

— Этот живой не давал мне покоя, сейчас мертвого принесли! — возмущается буфетчик.

Никто не обращает на него внимания. Мужчины сдвинули столы и поставили гроб.

— Просим у вас прощения, прославленные мтацминдцы! — обратился к посетителям седой мужчина. — Это было последним желанием дорогого нам человека. Вынесите меня, говорит, из закусочной Чутика, и мы не могли поступить иначе. Это и тебе делает честь, мой Чутик Каразанишвили! — оратор простер руку в сторону обозленного буфетчика.

Играет патефон. Положив руку на плечо воображаемого партнера, Фауна танцует вальс и напевает. Дети удивленно уставились на нее.

— Эх, дети, дети! Жизнь проходит, а! Пай, пай, пай, пай! Весной наполнится людьми Ялта, Сочи! Эх, Гагра, Гагра! Пай, пай, пай, пай!

Валико взял под мышку зеркальную дверцу от шкафа, покосился на жену и вышел на балкон.

Через минуту он был уже на чердаке. Отец и сын оборудуют комнату под операционную. Гела побередит двадцать лампочек в стеклянный цилиндр. Под этим своеобразным проектором стоит совсем новый стол. У окна

на маленьком столике разложены зеркала разного размера и увеличительные стекла.

— Вот принес, но если не скажете, что собираетесь делать, отнесу обратно. — Валико приставил зеркало к стене.

— Ты что во все суешь нос — сказано, секрет, — ответил нахмуренный Дато.

— Не огрызайся, сколько раз тебе говорят, — рассердился Гела.

— Глупости все это! — Дато со злостью обвел рукой комнату.

— Что глупость? — Валико сгорает от любопытства.

— Ладно, Валико, подожди и узнаешь, — говорит Гела.

— Вам виднее! — произнес Валико и вышел.

— Дато, помоги мне. — Гела нагнулся над зеркалом.

Они подвешивают зеркало к потолку.

— Кто не перешагнул границу страха смерти, тот ничего не добился. Кто перешагнул, тот родился заново. Все большие дела лежат за этой границей.

— Ух, какие великие мысли приходят тебе в голову.

— У кого нет на это сил и энергии, не пригодится никому и ни в чем.

— У тебя-то они есть?

— Думаю, что да! Я должен стереть эту границу и заставить смерть отступить назад. — Гела в веселом приподнятом настроении.

— Мама интересуется, что это ты суешься.

— Что ты ей сказал?

— Что я должен был сказать? Сказал, что ты и мне ничего не говоришь.

Гела забрался на стол и лег лицом вверх.

— Хорошо. Здесь укрепил второе зеркало. Вот так! — Он вытянул руку. — Отсюда увеличительные. Лампочки опустим ниже.

— Отец, не надо, а? — снова расстроился Дато.

— Будь спокоен. Больше, чем полтора часа, у меня на операцию не уйдет. Потом позвонишь в «скорую помощь», и мы поставим медицину перед фактом.

Возле больницы остановился ЗИМ. Сначала выскочили «французы», потом вышел пожилой профессор. Сторож у дверей посторонился, и они прошли в здание. В коридоре их ждали два врача.

— Я к этому... как его фамилия?

— Абагерадзе, — подсказал Хасан.

Хорен, Джемал и Валико стоят у окна. По коридору движется процессия. Впереди шествует высокий врач. Близнецы подошли к ребятам. Высокий врач приблизился к палате и открыл дверь.

Мама и Агнуса одновременно поднялись

со стульев. У обеих напряженные, измученные лица.

Гела лежит в кровати. Лицо его покрыто испариной. Дато подвинул профессору стул.

— Какая температура? — спросил тот и нащупал пульс больного.

— Тридцать девять и шесть, — ответил Дато.

— Здравствуйте, уважаемый профессор, как поживаете? — поздоровался Гела.

Тот кивнул.

— Я был вашим студентом, уважаемый профессор.

— Очень приятно, помолчи-ка минутку. — Он слушал пульс. Потом откинул одеяло. — Крепитесь, — сказал он.

Гела улыбнулся.

— У меня острый перитонит и...

— Кишечная система работает?

— Паралич кишечника начался три дня назад. Напрасно вас побеспокоили, — ответил Гела.

Профессор накрыл его одеялом, на минуту задумался, потом посмотрел в глаза.

— Как вы на такое решились?

— А почему бы и нет. Не я первый, не я последний. К тому же я ваш ученик, — улыбнулся Гела.

— Шов мы заново вскрыли, — говорит высокий врач. — Должен заметить, что операция, с точки зрения чистой хирургии, проведена безупречно.

— Если так, то не кажется ли вам подозрительной причина инфекции?

— Нет. Причина инфекции — нестерильные инструменты.

— Ножницы для тампонов упали на пол, батоно профессор. Я думал прокипятить заново, но они каким-то образом оказались с другими инструментами. Меня не помните, уважаемый профессор, на курсе я был самым высоким?

— Когда вы закончили?

— В тридцать первом.

— Куда там! Столько лет прошло.

— Да, прошло очень много времени, — задумчиво произнес Гела.

— Что ж, будем надеяться.

Поздняя ночь. Дато дремлет на кушетке. Гела не спит. Он пытается отодрать пластырь, фиксирующий иглу капельницы.

— Ты что? — вскочил Дато и отвел руку отца.

— Не имеет смысла, Дато.

— Что с тобой, ради бога?

— Измучил я вас, всю жизнь вам перепутал.

— Успокойся, может, уснешь.

— Я сейчас так крепко усну, пусть никто не похваляется... Очень крепко.

— Не говори так!

— Маму твою мне жалко. Ох, ох, как она верила в меня столько лет! Не оправдал.

— Еще оправдаешь.

— Плохи дела, сынок. Я-то понимаю.

— Главное, преодолеть кризис. У нас есть сильные лекарства.

— Послушай, ты же знаешь, что свой труд я отпечатал и сдал в онкологический институт.

— Знаю.

— К весне, наверное, будет ответ Ученого совета. Не поленись, походи и узнай.

— Сам пойдешь!

— Ты же знаешь, сейчас станет ясно, что ты за мужчина. Что случилось? Отец и у меня умер.

— У меня есть надежда, почему я должен от нее отказаться?

— Послушай!

— Слушаю.

— Скорее всего, будет отрицательный ответ. Но труд все же заведи и храни у себя. Кто знает, кем ты станешь, может, он тебе пригодится.

— Отец, не бойся.

— Нет, я не боюсь. Всю жизнь я хотел познать, что такое смерть. Сейчас наконец-то узнаю.

Дато не нашелся, что ответить.

— Ничего я тебе не оставляю на этом свете, кроме отчества в паспорте, но у меня к тебе просьба и, если ты ее исполнишь, то знай, что свой долг я заплатил сполна.

— Какая просьба?

— Только чтобы ты ее исполнил, не такая уж она простая!

— Я слушаю, отец.

— Никогда ничего не воруй. Если даже будешь умирать с голода.

Дато не спускает с отца глаз.

— Никогда никому не завидуй. В каждом человеке, сынок, есть что-то такое, ради чего его можно любить или хотя бы жалеть. Не будь беспощадным. Понимаешь?

— Понимаю. Разве сейчас ты чувствуешь себя не лучше?

— Да, лучше.

— Ты лучше выглядишь, чем вчера в это же время.

— И еще одно. Мы никогда не пели вместе.

— Не умею я петь.

— Как получится.

— Ну хорошо, отец, до песни мне?

— Давай, подхватывай!

Гела начинает петь. Дато тяжело вздыхает.

— Смелее, Дато.

Дато заставляет себя запеть. Не так-то плохо у них получается. Гела улыбается. Глаза его загораются, и в них начинают играть и переливаться знакомые нам лучики.

На тележке лежит могильный камень, который принес Валико. По извилистым тропинкам кладбища тележку катят пятеро подростков. Валико и Дато идут позади них. На висках Дато появилась седина. Он задумчиво смотрит вперед.

— Знаешь, это долг,— говорит Валико, показывая на камень.— Я вам его не дарю. Когда я умру, ты должен достать камень и вместо этого положить на мою могилу.

Дато не отвечает.

— Ты понял?

— Дастану.

Тележку подкатали к могиле. Ребята лопатами выровняли место у изголовья и водрузили камень.

— Дато, ты, может, достанешь какой-нибудь саженец и посадишь здесь,— посоветовал Авто.

— Хорошо бы елку! Все время зеленая — и зимой, и летом,— сказал Хорен.

Инспектор Кола стоит на крыше дома и смотрит сверху во двор. Внизу носильщики выгружают с машины мебель. Кола заглянул в чердачное окно. В комнате на кровати сложено чистое постельное белье. На столе — книги. На гвоздях, вбитых в стену, развешена одежда Дато.

Мимо стоящей на балконе Агнисы пробежал веснушчатый мальчик ее же возраста и подмигнул ей. Агниса презрительно усмехнулась.

Двери их квартиры открыты. Входят и выходят незнакомые мужчины и женщины. По лестнице поднимают мебель.

Кола с шумом спустился по железной лестнице. Обливающиеся потом носильщики покосились на него и приставили шкаф к стене.

— Что происходит? — удивился Кола.

— Новые соседи переезжают,— без особой радости сообщила Агниса.

— В вашу квартиру?

— Да, видишь же!

— А вы?

— Мы оставили себе одну комнату.

В это время из квартиры выскочил веснушчатый мальчик, снова подмигнул Агнисе и пошел по балкону.

— Фу! Дегенерат! — поморщилась Агниса.

— Где Дато?

— На работе, где ему быть?

— Где он работает?

— Какая-то слесарная мастерская на бальнеологическом курорте.

— Сейчас он там?

— Провинился он в чем-нибудь? — насторожилась Агниса.

— Нет, у меня другое дело.

— Какое, скажи, прошу.

— Сказал, нет! Что ты за ребенок такой,— рассердился Кола и пошел к лестнице.

Из окна цеха Дато увидел вошедшего во двор инспектора.

— Э, Кола!

— Ты здесь? Иди сюда, у меня дело,— обрадовался Кола.

— Куда идешь? — спросил мастер.

— Приду,— ответил Дато.

— Закончил?

— Приду и закончу.— Дато вышел во двор.

— Ой, Дато, если б ты знал, в какой я попал переплет! Кто-то украл у меня оружие.

— Какое оружие?

— Те-те, записанное за мной государственное оружие.— Кола показал пустую кобуру.

Дато присвистнул.

— Снимут меня, парень, арестуют. Кто мне это простит?

— Ну ты даешь!

— Ты же знаешь, как я уважал твоего отца.

— Для чего этот разговор?

— Пусть только вернут, и к чертям! Пропадаю, парень! Заставь их вернуть.

— Откуда мне знать, кто взял?

— В моих же руках, черти, выросли, что вы со мной делаете?

Мастер подошел к окну.

— Сейчас приду! — крикнул ему Дато. И снова повернулся к Кола: — На кого-нибудь есть подозрения?

— Было бы подозрение — хорошо. А сейчас кого схватить за шкирку?

Дато нажал кнопку звонка. Дверь открыл Николоз Абашмадзе.

— Здравствуйте! — поздоровался Дато.— Я сын Гелы Абагерадзе.

— Чем еще могу служить?

— Я принес долг.— Дато вынул из кармана пиджака пачку денег.— Посчитайте. Удивленный Николоз раскрыл рот.

— Заходи, дорогой, милости просим.— Он взял деньги и пошел в комнату, на ходу с удивительной быстротой пересчитывая купюры.

— Правильно,— с удовлетворением подтвердил он.

— Верните расписку отца.

— Конечно, батону.— Николоз выдвинул ящик письменного стола, нашел пожелтевший листок.— Если б вы не посоветились, я ничего с вами не смог бы поделывать!

— Вы, наверное, плохо знали моего отца.

— Как не знал, но на вас надежды, что правда, то правда, у меня не было.

— Да, но наша семья ведь его семья!

...Пожилая женщина в очках открыла старую дубовую дверь.

— Здравствуйте, тут ли живет семья Капитона Доборджгинидзе?

— Капитон умер два года назад.

— Знаю. Вы кем будете?

— Я его жена.

— Мой отец был должен вашему мужу.

— Должен?

— Может, вы знали Гелу Абагерадзе. Он был врачом...

— Нет, нет.

— В вещах вашего мужа должна быть расписка.

— Нет, не было никакой расписки.

Дато вынул из кармана блокнот.

— «Капитон Доборджгинидзе»,— прочитал он и посмотрел на женщину.— Кем был ваш муж по профессии?

— Биолог.

— Правильно. Вот, написано, прочтите! Указаны и сумма, и ваш адрес.— Дато передал женщине блокнот.— Он одолжил ему деньги девять лет назад.

— Боже мой, не знаю, что сказать,— разволновалась женщина.

Дато достал деньги.

— Вот, пожалуйста...Отец очень огорчался, что так задержал...

— Не знаю, не знаю...Большое спасибо! — Женщина взяла деньги.

— Всего хорошего! — Дато поскакал вниз по лестнице.

...— А! Загорелось! Да? — кричит из окна пожилой человек.— Подожди-ка, я сейчас!

Через застекленную дверь видно, как мужчина спускается с лестницы. С ним рядом толстая женщина.

— Пока я не пожаловался в суд, он и не шевелился, да? — сказал он и открыл дверь.

— Пожаловался? — не понравилось Дато.

— А ты кто?

— Сын я.

— А где он сам? — спросила женщина.

Дато на секунду оцепенел.

— Это не ваше дело.

— А ну-ка, что ты принес? — мужчина протянул руку.

Дато отдал деньги.

— На, посчитай,— мужчина передал их женщине.

— Откуда ты знаешь моего отца? — спросил Дато.

— О, это такой молодец! То, мол, сделаю, это сделаю, лекарство от рака придумаю, обо мне, говорит, через пять лет узнает весь мир! Ну как, придумал?

— Тебе оно нужно?

— Нет, кацо, подальше его!

— Все правильно! — сказала женщина, закончив считать деньги.

— Верните расписку.

— Брошу сверху! — Мужчина закрыл дверь.

Тяжелый предмет разбил стекло, и разбуженный Кола вскочил с постели. Зажег свет. На полу, завернутый в лоскут мешковины, лежит его пистолет.

— Ага! — он засиял, схватил пистолет, кинулся к окну и увидел в конце ночной улицы убегающие худенькие тени.— Я вас! Распустились, да? Я вам покажу, негодяи! Совсем отбились от рук, да? Сейчас-то я знаю, что делать! Кожу сдеру! Кожу! Вы не знаете, кто такой Кола Баидаури!

Пришла весна. С ветки цветущего миндаля взлетела птичка и села на чердачное окошко. Дато увидел ее и улыбнулся. Он надел рубаху и пиджак и через минуту был уже на улице.

Раннее утро. Дато видит, что впереди него идет Фауна с огромным чемоданом в руке.

— Э, Фауна, куда?

Фауна обернулась.

— Ушла, ушла,— сказала она нервно и прибавила шаг.

— Ты что, удираешь? — догадался Дато.

— Не могу больше, задыхаюсь.

— Хорошо, но куда, к черту, идешь?

— Не знаю. Если не убегу, то сойду с ума.

Они вышли на перекресток. С горы на них скачут всадники. Цокают копыта. Всадники вожсю размахивают хлыстами. Лошадный водопад врзался в узенькую улочку.

— Бог мой, как хорошо! — воскликнула Фауна.

Пронеслась мимо последняя лошадь. Фауна не прошла и двух шагов, как вдруг у нее на правой туфле сломался каблук.

— Ну и везет же мне! — Она сняла туфель и показала Дато.

— Починится. Это ничего.

Фауна открыла чемодан и стала искать в нем другую пару обуви.

Дато идет вниз по улице. И вдруг у него от удивления расширяются глаза. Он видит, как в пыли, которую подняли лошади, пробегается крыса. У нее черные ушки.

— Пеле! — крикнул Дато.

— Что, Дато? — вскочила испуганная Фауна.

— Пеле! — снова закричал Дато.— Он жив! Жив! — Дато сорвался с места и понесся за крысой.— Пеле! Пеле!

— Что случилось, Дато?! — кричит Фауна.

— Мы победили! Мы были правы!

Ошеломленная Фауна видит, как Дато перебежал улицу и несется в пыли зигзагами.

— Что случилось, парень, что с тобой?!

Дато прыгнул, растянулся всем телом, упал на асфальт и возле грязного подвального окна схватил руками воздух. Крыса юркнула в окно. Дато вскочил, оглянулся.

— Видела?! Ты видела?! — крикнул он Фауне.

— Что, Дато, что такое? — окончательно растерялась Фауна.

— Вот тут, перед тобой пробежал. Это был Пеле, подопытная крыса отца. Боже ты мой! — Дато сорвался с места и понесся домой.

— Какая крыса?! — крикнула вслед удивленная Фауна.

— Мама! Агнис! Пеле! Я видел Пеле! Он жив! — влетел в комнату Дато.

Мама в ночной рубаше сидела на кровати. Агниса спала. На крик она открыла глаза.

— Ой, что случилось, Дато?

— Я видел Пеле! Ведь он по всем законам должен быть мертвым!

— Боже мой, о чем ты? — мама прикусила губу.

— Что Пеле? — спросонья не разобралась Агниса.

— Бог ты мой, значит он жив? — разволновалась мама.

— Видите! Он был прав! Точно вlepил в цель или нет? — размахивает кулаком Дато.

— Тогда оставалось три месяца, верно? — спрашивает мама.

— После того и три прошло, и пять!

— Боже мой! Боже мой! — радуется мама.

— Значит, к тому моменту Пеле был полностью излечен!

— К какому моменту, Дато? — спрашивает Агниса.

— Когда крыс кто-то выпустил.

— Бог ты мой, о чем ты говоришь? — ломает руки мама.

— Если спасется хоть одна, принцип найден — он же так говорил! — Дато не в силах скрыть восторга.

— Он много чего говорил, Дато, — замечает Агниса.

— Если Пеле не был бы излечен, жил бы он до сих пор?

— Кто знает.

— Сколько времени? Нет, это победа! О чем он мечтал, то и получилось!

У мамы на глазах выступили слезы.

— Боже, какое счастье! Дожил бы он до этого!

— Агниса, Агниса, выглянь-ка! — послышалось со двора.

Валико стоит у лестницы и смотрит наверх. Голые ребятишки сгрудились на балконе перед дверьми.

— Фауна не у вас? — Валико очень взволнован.

Дато сбежал по лестнице.

— Фауна ушла.

— Куда ушла?

— Не знаю. Куда она обычно уходит. Валико сник, обмяк, стал жалким.

— Она была у вас и сказала, что уходит?

— Нет, я догнал ее на улице. Знаешь, кого я увидел? Помнишь, у отца была крыса, на ней он проводил главный опыт...

— До крыс ли мне сейчас! — тряхнул головой Валико.

— Послушай, выходит отец был у цели!

— Да, да... был, да...

— Ты представляешь?!

Ученики вечерней школы вылезают из-за парт. Дато уложил книги в сумку, спустился по лестнице и вышел во двор. Тут он увидел Агнису.

— Случилось что?

— Ничего. — Агниса ответила так, что Дато ей не поверил.

— Я как раз шел домой.

— Мне плохо, Дато.

— Плохо? Что с тобой?

— Ой, Дато, что я натворила!

Агниса прислонилась к стене и заплакала во весь голос. Дато некоторое время молча смотрел на нее.

— Что случилось?

— Крыс выпустила я, Дато.

— Ты? — еле выговорил Дато.

— И те склянки с лекарствами я разбила и сожгла все я.

Лицо Дато стало неподвижным как камень.

— Больше я не могу, Дато, задыхаюсь.

Помоги, Дато.

Дато смотрит на сестру так, как будто впервые видит.

— Как ты думаешь, Дато, это моя вина, что все так случилось? Я виновата в его смерти? А, Дато?

— При чем тут ты?

— Тогда бы он не сделал операцию. Что мне делать, Дато, разве это не так? А?

— Когда он что-нибудь решал, то от своего уже не отступал, — глухо сказал Дато.

— Да, но если б я так не поступила, у него на операцию не осталось бы времени. А потом, может, и вообще передумал бы.

— Ты знаешь, никакого Пеле я не видел.

— Как не видел?

— Мне показалось. Но это я понял уже потом, когда прошло время и я успокоился.

— Обманываешь?

— Нет.

— Поклянись отцом.

— Клянусь, до сих пор не могу понять, что за чертовщина со мной случилась.

— Ой, Дато, о чем ты? Маме этого не говори!

— Мне самому очень обидно. Ты не при чем.

— Да, но если так, в другой раз могло быть почти благополучно?

— Это и сводит меня с ума. Что понадобилось грязным ножницам в инструментах? Ведь я был рядом!

— Эх, Дато, Дато!

— Какая кошка нам дорогу перебежала? — со злой досадой произнес Дато.

— Ведь я хотела совсем другого. Кто ожидал такое? В доме все распродали, все над нами смеялись... Отойдет, думаю, а потом, может быть, начнет рассуждать иначе.

— Ну что тебе сказать сейчас? — вздохнул Дато.

— Ой, Дато, какую я сделала глупость! Как я не угадала, кто он... — Она уже не плакала, а как-то жалко съежилась и короткими нервными шагами ходила туда-обратно.

— Он был очень хорошим человеком, — задумчиво сказал Дато.

— Это ты мне говоришь? Может, думаешь, что ты больше его любил, чем я?

— Нет, этого я не думаю.

— Ну пойдем.

— Не хочу я жить в этом доме!

— Ну, это ты брось, не перегибай.

— Но это правда так!

Они пошли вдоль дома. И вдруг услышали музыку.

Во двор строевым шагом заходит духовой оркестр. Музыканты — все до единого — старики. Но возглавляет их молодой человек.

Дато прошел чистым коридором и остановился возле окошечка, за которым сидит молодая женщина.

— Меня интересует ответ. Медицинский совет должен был обсудить труд Гелы Абагерадзе.

— А вы кем будете?

— Сын я.

— Абагерадзе, — повторила женщина, выдвинула ящик с картотекой. — Вы знаете, не обсудили.

— Почему?

Женщина взглянула на парня и неловко улыбнулась.

— Предварительная комиссия ознакомилась с материалом и сочла нецелесообразным.

Дато вроде бы и готов был к такому ответу, но все равно ему стало обидно.

— Их мнение окончательное? Может, они ошибаются?

— Они не согласны с приведенными в труде идеями, не считают их предметом широкого обсуждения.

— Другого шанса нет?

— Не думаю. Вот если принесет что-нибудь новое, может, тогда...

Дато задумался.

— Верните труд.

Дато шел по коридору обратно. По дороге ему попался очень важный, напыщенный толстяк. Дато схватил толстяка за руку.

— Вот это, — он поднес папку к его глазам, — гениальный труд!

— Да что ты говоришь! — улыбнулся тот.

— Придет время, и я это докажу, — пообещал Дато.

— Валяй! — засмеялся толстяк.

Дато вышел на улицу и влез в кабину полуторатонки. За рулем сидел Вова.

Машина преодолела мтацминдский подъем и притормозила возле ребят, стоявших около каменной лестницы.

— Дато, тебя ищет Хорен, — сказал Авто.

— Что ему нужно?

— Джумбера назначили тренером сборной города.

— Не до них мне!

Он вышел из кабины и направился к дому. Не успел пройти нескольких шагов, как из-за поворота вырвался забывшийся Зура. Увидев Дато, он вскинул руки и закричал:

— Дато, я тебя ищу! Лео!

— Что Лео?

— Который был воспитателем в лагере.

— Где он? — Дато сунул папку за пояс.

— Внизу, возле детской больницы.

Дато сорвался с места. За ним помчались ребята. На следующей улице их увидели подростки, торчащие у магазина.

— Эй! Дато дерется!

— Что случилось, кто они? — Ребята помчались следом.

— Что случилось, за кем гонимся? — спрашивали они друг у друга.

Бежит Дато, а за ним около десяти мтацминдских ребят.

— Дато, я тут! — закричал Хорен и прямо с балкона прыгнул на крышу сарая, а оттуда на улицу. Через мгновение он был уже рядом с Дато.

Прохожие останавливались.

— Батюшки! Батюшки! — покачала головой женщина в черном.

Курчавый парень обогнал остальных и сунул в руку Дато мотоциклетную цепь. Дато бежит не оглядываясь. А за ним несутся уже около тридцати мтацминдцев. Как только свернули на широкую улицу, увидели Лео. Он держал на руках маленькую девочку. Рядом с ним стояли мужчина и женщина.

Узнав Дато, Лео испугался. Лицо его вытянулось от страха, и он кинулся прочь. Женщина и мужчина растерялись. Мгновение —

и ватага ребят оставила их позади. Лео задыхается. Он чувствует, что его нагоняют. Он обернулся и попытался.

— Не надо, Дато, не надо! Я был не прав! Будь мужчиной! Если я о чем-нибудь сожалею, то только об этом! Не надо!

Побледневший Дато приблизился к нему и цепью ударил его по плечу.

— Не надо, не делай!— Лео пошатнулся, споткнулся об обочину тротуара и присел.— Только не сейчас, Дато. Ты не знаешь, какой я несчастный человек.

Дато замахнулся еще раз, и в это время ребенок на руках Лео повернул голову. Девочка была слепа. Глазницы ее были сплошь черными.

— Что случилось, папочка, опять тебя сердят?—спросила она удивительно спокойным и печальным голосом.

Дато молчит. Молчат и парни, обступившие Лео.

— Твой ребенок?— спросил Джемал.

— Да, мой ребенок.

Ребята стоят растерянные, ошеломленные.

— Кто они, папочка, что им нужно?— все тем же удивительно спокойным и печальным голосом спросила девочка.

Дато отступил назад.

— Что это? Ничего не понимаю! Что происходит на этом свете?— сказал он, разводя руками, отбросил мотоциклетную цепь и обернулся.

Ребята раздвинулись, пропуская его.

— Дато, подожди, Дато!— позвал Лео и стал подниматься.— Я знаю, что у тебя скончался отец. Я хотел тебя увидеть. Подожди, Дато.

Дато быстро, не оглядываясь, шагает по улице. Лео пошел было за ним. Он вот-вот расплачется.

— Какой бес вселился в меня, чего я к вам придрался? Прости, Дато, прости, Дато.

Плотно сжав губы и высоко подняв голову, Дато бежит. Улица за улицей остаются позади. Что-то сдавило ему горло, мешает дышать. Больше терпеть он не мог — вошел в подъезд, облокотился о стену, и из груди его вырвался плач.

— Дато, как ты, парень?— слышался голос Гелы.

Дато вздрогнул.

— А?! Отец, отец! — произнес он и растерянно оглянулся.

В подъезде никого не было. Через разноцветные стекла проникали лучи заходящего солнца и освещали угол.

Дато посмотрел в сторону улицы и через резную раму дверей увидел знакомую старушку. Около нее останавливались прохожие.

— Не знаете ли вы Наврозашвили?— спрашивала она.— Он инженер, строит мосты.

— Да, но где он живет?

— Не знаю, знала бы, сама нашла бы.

— Сколько ему лет?

— Он старше меня на десять лет.

— Аух!

— Прямо удивительно, одно время его знал весь город! Куда подевались те люди?

Дато вышел из подъезда.

— Я знаю Наврозашвили,— сказал он старушке.

— Правда?— обрадовалась она.— Не обманываешь?

— Нет.

— Покажешь?

— Покажу.

— Ты правду говоришь, парень?— подозрительно спросил человек в шляпе.

— Я его знаю.

— Боже мой, идем же!

— Идем.

— Ну, до свидания, всего хорошего,— попрощалась старушка с прохожими и вместе с Дато пошла по улице.

— Далеко он живет?

— Не очень. Но будет ли он дома?

— Я его дождусь.

— Конечно, а как же!

— Почему ты плакал?

— Обрадовался, что тебя увидел.

— Правда? Да что ты говоришь! Погоди-ка, я тебя знаю.

— Неужели?

— Да, знаю. Разве ты не сын Гелы?!

Дато засмеялся.

— Да, я сын Гелы. К нам не пойдете?

— Сейчас?

— А что такого?

— Да, но Наврозашвили?

Они пошли в гору к дому Дато.

— Успеешь и его повидать.

— Ты меня не обманываешь?

— Боже упаси!— улыбается Дато.

И как это случилось с Гелой, у него заблестели глаза, в них зажглись знакомые нам лучики. Он смотрит перед собой, и вдруг все осветилось голубым и красным. Все прохожие закружились в каком-то диковинном танце. Все целуют и обнимают друг друга. С неба сыплется дождь из тысячи букетов. В небо взлетают тысячи голубей. Над каждым домом — свое солнце. На балконах тоже играют и танцуют.

Идет Дато, слышит знакомую мелодию, которую пел Гела в последнюю свою ночь. Он ведет старушку, смотрит вперед и видит — бушует праздник на Мтацминде.



ЛЕОНИД СОФРОНОВИЧ КОРНИЛОВ (родился в 1952 году) работал кочегаром, слесарем, матросом на рыбопромысловых судах Мурманского тралового флота, журналистом. Принимал участие в поэтических сборниках. В 1986 году окончил сценарный факультет ВГИКа.

Л. КОРНИЛОВ ГЛОТОК ЧИСТОЙ ВОДЫ

По разбитой шоссейке катит скотовозка. Мотается за высоким щелястым бортом конь. Копытом бьет. Вот коротко и тревожно ржанул.

Вскинул голову одинокий велосипедист, пропуская вперед скотовозку. И как раз бы лицо его увидеть, да тут обдало паренька грязью из-под колеса автомашины. Он в кувет кувырком.

А шоферу потеха — скалится в зеркальце заднего вида.

Парень кепчонкой наскоро утерся. Коня разглядел: белый, породистый, морду опустил, ржанул снова — простонал будто. Свистнул велосипедист — отозвался белый.

А скотовозка, переваливаясь с боку на бок, свернула на ухабистой развилке под указатель «Заготскот».

И тогда парень прыгнул в седло своего гоночного, понесся лесной тропинкой.

Конь борт лягнул — щепка полетела. Скакнул, вздыбился было, да решетка наверху не дала.

Поперек узенького моста велосипед валяется. Авоська с заляпанными грязью учебниками на руле.

Скрипят надсадно тормоза. Водитель, молодой крепыш, гаркает недовольно:

— Э-э!

Никого.

Нехотя вылезает из машины. Оглядывается. С перил свесился. Журчит на камнях речонка. Скошенные гнилью сваи старого моста торчат из воды. Заросший проселок обрывается склоном берега. И там, куда тянется брошенная дорога, меченная рослым бурьяном да ивняком, крыша дома в лесу виднеется.

Вдруг к машине по насыпи взбегают велосипедист. Сбивает засов и дверь деревянной клетки распаивает. А конь ни с места: на глазах круглые черные шоры.

Услышал водитель, как загрохали в кузове кованые копыта, кинулся к заднему борту. Да поздно — вырвавшийся на свободу скакун уже кроет наметом речной берег.

А парень прокрался к велосипеду. Удирает. — У-у! — выдыхает угрозу шофер, рвет на себя дверцу кабины.

МАЗ, нахраписто урча, быстро настиг беглеца. Деваться парню некуда — съехал с дороги, упал в траву.

Колеса грузовика — юзом. Водитель с бовым кличем выбросился из кабины. Хрясь кулаком — мимо. Оказались лицом к лицу. Оторопел шофер:

— Илоха?
— Ванька?

Взглядами друг друга буравят, в себя приходя. Ивану года двадцать два. Илюшке семнадцать, но на вид он еще зеленее.

— Конокрад,— цедит Иван.

— Ты ж на бойню его,— огрызается Илья.

— Я на работе. Мне сказали, вези — уль...— Иван замахнулся и зло сплюнул.— Дикий он, глаза не зашорь — кузов разнес бы. Не дается никому — вот и в расход...

— Такого?! — восхищенно произносит Илюшка, любясь вольным бегом иноходца. Иван морщится:

— Да не таких еще выбраковывают: грудь чуть поуже, копыто пошире — под нож! Породу блюдут, а не природу. Понял ты, сопляк?

— Живодер. Ну... встретились,— распалывается Илья.

— А я век бы тебя не видал, земля. Лови давай.

— Сам лови.— Илюшка поднимается с земли, хватая велосипед.

— Мне же нагорит! С работы пнут!— Иван нервно ударяет кулаком в ладонь и хватается Илью за ворот рубахи.— Знаю, ты упрямый, бить бесполезно... Я лучше тебя об одном деле попрошу — и квиты.

Иван все еще держит Илью. Тот попробовал вырваться — не смог. Сцепились взглядами. А с другого берега несется свободное ржание коня.

— Ты к бабке, наверно,— криво усмехается Иван и мнетяся, не решаясь заговорить о главном.— Книжонки... вижу, в институт метишь? Ну-ну... А я — под хомутом. Половина у меня, ух, крутая.— Он отпускает Илюшку.— В городе квартиру второй год снимаем. В деревню не хочет. Да и я... Давно не бывал: как мать схоронили... Там сейчас никого. Все слиняли. Вон дорога — и та заросла.

Илюшка, погрустнев, смотрит на брошенный проселок и не замечает хитрого прищура Ивана.

— Ты это... слышь, как друга тебя...— начинает тот нерешительно.

Илья опрокидывает велосипед в траву, видя, что разговор затягивается.

— Прописка у меня деревенская,— нелепо разводит руками Иван,— из-за этого очередником на городскую квартиру не ставят. А жена ребенка ждет. Гнездо вить надо? — Говорит он быстро, слатывая слог; знает за собой этот недостаток, и потому руки всегда в ходу — ими договаривает.

Илья в ответ неопределенно мотает головой.

— Мне изба моя — вот где,— сечет

себя ребром ладони по горлу Иван. На шепот переходит:— Продать под дачу не разрешают, сбавить некуда... Не стало бы ее... а? Подпали, Илюха!— он резко умолкает и вонзается взглядом в Илью.

Тот растерян. А Иван опомниться не дает:

— Ты же ловкий мужик, чего там,— он в порыве скороспелой благодарности хлопает парня по плечу. И все говорит, говорит, будто заговаривает сам себя: — Под угол чего-нибудь и — спичку. Уль! А огонь никого не заденет, не боись: мы же на отшибе...

— А Серега как?

— Братуха-то? Так он третий год в интернате для слепых, как у Христа за пазухой.

Выдвинулся из леса на опушку обнесенный пряслом двор. Посередке — почерневший от времени пятистенок. Крыша под толем. Наличники в ярком сине-белом окрасе. К стене накренившегося сарая полусгнившие дровенки привалены. Телега рядом. Трава сквозь нее проросла. И амбар еще стоит, возносясь над землей на толстенных столбах. За покатым крышей погреба банька видна. Березовая поленица завершает подворье, млеющее в птичьем гомоне и жужжании пчел.

Три лайки со злобным рыком шарами катятся под велосипедные колеса.

— А-а, я вас!— осаживает собак густой бабий голос.

Илья идет мимо раскрытых окон избы. Заглянул в одно. Висит на простенке длинноствольное ружье в обрамлении глухариных крыльев. У притолки ветвятся лосиные рога, патронташ на них.

Прямо перед избой кусты смородины, крыжовника с наливающимися ягодами. Зреют плоды на ветках старых яблонь. А за садом — запруда. На бережку лосенок с козой пасутся. И тут же на невысоких козлах — свежеструганная лодка-долбленка. И костерок под ней нежаркий — во всю длину лодки тянется. В нем головешки переворачивает палкой дородная баба с седыми скрученными на затылке в тонкую косицу волосами. В рубахе мужицкой навпущу. Штаны в сапоги заправлены. Ведро с огонька она легко снимает и в лодку выливает парящую воду. Поддела лопатой раскаленный камень и туда же — в долбленку.

Лицо у бабы широкое, в глубоких прорезях морщин. Глазами под тяжелым надбровьем блеснула — прожгла словно. Не желает замечать гостя. Рубит еловые распорки. Взяла одну и вставляет ее согнутой в лодку. Прут зацепился за борт, не слушается.

Подошел Илюшка. Рискуя обжечься и ошпариться, надавил на прут. Тот встал на место. И еще три прута втиснули враспор.

Погромыхивает ведром неприветливая хозяйка. Зачерпнула в запруде. Повесила над огнем. Пламя в одном месте поднялось, днище лижет. Уняла его.

— Марфа Саввишна, вы не узнаете меня?

Взглядом просквозила, ничего не сказала.

— Крайнов я, из Макушки, внук Ольги Ефимовны.

— Олюшку как не знать, — помягчала хозяйка. — Ну говори, чево тебе... Нынче все шукуру медвежью спрашивают. Слизняки тонконогие из города наезжают, червонцами перед носом трясут. Капкан на них ставить, что ли? — серьезно так произносит.

Илюшка принужденно смеется.

— А помните, вы меня из капкана вынимали? Еще ногу мне барсучьим жиром мазали.

— А-а, так ты вон кто будешь, макушенок сопленосый. Ну сказывай, зачем пришел, а то работа стоит.

— Да конек там, Марфа Саввишна, за речкой бегают...

— Ну а мне какое дело? — исподлобья взглядывает хозяйка.

— На хлеб подойдет, — трудно проговаривает парень и отступает на пару шагов.

— Чево ты его мне сватаешь-то? Чей он? Пожимает плечами Илюшка.

— На живодерню везли, поди? — угадала она.

— Ага. Вырвался он. Кому помирать-то охота?

— Ну-ну, знаю, как вырвался. Мало вас пороли, варнаков, — незлобливо ворчит Саввишна. — Бегают, говоришь, за речкой? Пускай бегают... Пригляжу. А потом куда?

— Я его объезжу и обратно на конезавод верну. Посмотрят, каких коней на колбасу переводят.

— Объезжу, — передразнила хозяйка и впервые взглянула на парня приветливо. — Заступников-то нынче мало.

— Знаю.

— А раз знаешь, так бери вон бутылку и покорми мальчика, — подвела черту хозяйка, снова взявшись за лодку. — И когда я это браконьерское отродье изведу? — сурово выговаривалась она редкому слушателю. — С машин по ночам бьют. И это люди?

Илюшка гладил льнувшего к соске лосенка.

Отражаясь в речке, тянет воду белый конь. Жадно пьет, долго. Мокнут, свисая с недоуздка, отстегнутые черные шоры. Кружатся бабочки над сочными травами. Тонкий сте-

бель цветка под шмелем гнется. Вспорхнула с ветки птица. Донесся шум двигателя. Переезжает мост «зилок» с надстроенными бортами. Помыкивают в кузове коровки. Вскинул голову конь, всхрапнул испуганно и понесся прочь, копыта песок. Мчит к лесу, куда солнце клонится.

Изба на отшибе. Сирая. За иссохшими ставнями — три окна на зарю. На среднем окошке покалечена створка ставня — свесилась, как крыло подранка.

С треском сорвал ее мужик в мятой спецовке с застрявшими на взлохмаченном затылке сенинами.

По улочке, бухая сапогами, прошагали к озеру сонные работяги. Один привалил к крашеному палисаднику лысую автопокрышку от «уазика».

Петух прокричал одиноко.

Долго под скрип вбóрта поднимается в колодезном срубе плещущееся ведро.

Солнце коснулось ветхого резного наличника.

Треснула створка ставня под ударом топора. Вспыхнули на мазутном огне две дощочки. И сплошной аlostью зашласть от утреннего луча открытая половина окошка в избе на отшибе.

Пламя костра лижет закопченное дно котелка.

Мужик в спецовке рвет на себя ремень стартера. Рывкает дизель бульдозера. И вся деревенька, что вознеслась на взгорке, вздрагивает от тракторного гула. В заросшем саду роняет росу одичавшая яблоня.

Дед в полинялой безрукавке воду из ведерка плеснул на траву и присаживается на скамейке у колодца обветшалого. Достает из кармана кисет, из кисета — трубку. Ручищи у него тяжелые, костяные, в оплетке синих прожилин, ладонь — с фунтового караса. О деревянную ногу трубку выбивает. Натрамбовывает в нее негнушимся узловатым пальцем табак и кривит рот.

Внизу, у озера, под кроной могучего дуба, визжат бензопилы. И видно со взгорка, что змеиное тело дренажной канавы уперлось в самое дерево.

— Мелираторы, растуды их в хомут, — поругивается одноногий, в бессилье потрясает кулаком и нетерпеливо затягивается.

А вдоль улицы деревенской, к озеру сбегающей, только к трем изобкам тропки торные. К остальным — десятка два их — подходы заросли.

Резиновый наконечник протеза вязнет во влажной траве. Похромал дед с пустым ведром в проулок. Мимо распахнутых настежь ворот прошел. Со вздохом на двор, крапивою да лебедой запруженный, глянул.

Прикрыл скрипучие ворота, палку к ним приставил. Дальше ковыляет. Глаза бы его не смотрели на забытые сорняком огороды, на заборы поваленные. Открыл замшелую крышку другого колодца. Принюхался. Ведро к ржавой цепи привязал.

Визжат пилы. И вдруг как ухнет. У деда аж трубка изо рта вон.

Лошадка на луговине вскинулась.

Еще покачиваются ветви поверженного дуба.

— Ой, чево там, Левонтий Проньч?— приложила ладошку к сморщенным губам вывернувшая из леска баба Оля с корзиной.

— Лесину шуранули, окаянные... помешала, ишь,— зло буркнул дед, накручивая колодезный ворот.— Выходит, по-ихнему, не на своем месте вековал дуб-то. Может, и мы, и Макушка наша не на своем, а, Ефимовна?

Махнула рукой расстроенная старушка и ходко пошла проулком.

Дед подхватил ведро, загляделся на воду...— отмяк, улыбается, как блаженный.

А баба Оля, оглянувшись, увидела перемену в настроении старика и сочувственно головой покачала. Видно, не впервой ей такое за дедом замечать.

Проньч ведро выплеснул. Проулком назад к главной улице ковыляет.

За крестовиной рамы в окне избенки изможденное лицо поворачивается следом за стариком.

Яркий сноп света бьет на Илюшкину постель. Он просыпается и садится, не в силах разлепить веки. Солнечный зайчик не отстает, в глаза лезет: это отражение от оконца стоящей на отшибе избы.

— Баоль, Горюны, что ли, приехали?

— Горюны? Да кому быть-то? Старики в земле, царство им небесное. Сережка, божья душа, по тернатам мается. Ванька в городе промышляет.— Гремит Ефимовна посудой, на стол собирает.

— Видел я его,— потянулся спросонья Илюшка.

— Ну, я и говорю, в городе он, а изба на ладан дышит, нижний-то венец совсем в землю врос. А,— отмахнулась она от неприятного разговора,— иди-ко мойся, внучек, потчевать буду.

А Илюшку занимает солнечный зайчик. Парень шуритесь, заслоняется руками. Наконец спрыгивает с железной кровати.

— Баоль, а раньше такого не было.

— А?

— Да солнечный зайчик, говорю, изба горюновская к нам пустила. Посмотри.

Ефимовна вошла в горенку.

— Светопреставление, батюшки,— без ин-

тереса, как маленькому, подыграла она внуку.— На-ко лучку гусяного, только что с лужка.

Илюшка хрумкает, а сам в окно на дом поглядывает.

— Отчего бы это?

— Дом-горюн,— вздыхает бабушка.— Не стоитя ему одному, мается. Ишь, скосбочился весь. И окошки вертятся, подставляются, чтобы хоть кто заглянул в них.

Хмыкнул внук недоверчиво, выбежал на двор. Крутанул на турнике. Огородом, мезгой, по картофельной ботве, через прясло — по склону к озеру, бухнулся с моста в воду.

Зарябило, заплескалось отражение в окошке, будто следил дом-горюн за парнем.

Накупался Илюшка. Босиком вверх по тропке припустил.

Дед Левонтий ворот у другого уж колодца крутит. Грудь широко развернул — крепко старик, даром, что без ноги. И кричит, не разберешь что, в сторону ревущего бульдозера.

— Левонтию Проньчу!— приветствует парень.

— Здорово, душа!— сменил гнев на милость дед.— С возвращением, Илюха, на родину тебя!— старик охлопывает парня, мнет в руках.— Ты это... дедом меня зови,— улыбается старик, а тон просительный.— В Проньчах я, даст бог, еще наспотыкаюсь, а дедом, срамно сказать, никто покамест не кликал.

Передал он ворот Илюшке, а сам трубку посасывает. Выдернул парень ведро и припал к чистой водице. Дед рад-радешенек. Выдохнул благостно Илюшка и принялся было отвязывать ведро. Но дед остановил:

— Стой, душа, ты выплесни да еще разок набери.

Илюшка угодил старику, а тому любо.

— Тебя, Илюха, дай-ка вспомню, когда увезли?

— После четвертого класса, дед Левонтий.

— Во-во. Так... А она тянет, Макушка-то, тянет. А как же...— видно, что дед испытывает удовольствие от этого следствия.

— Дед Левонтий, а зачем ты так далеко за водой ходишь? У тебя же возле дома колодец.

Илюшка снова добыл ведро и отвязывать начал. А дед-хитрец лукаво поглядывает:

— Бабка твоя хвалится, будто медаль у тебя за школу-то.

— Да, золотая.

— Вона как! А не смыслишь. Ты, душа, и это ведро опрокинь. Да еще разок набери. Застоялся колодец-то, понимать надо.

Уже с легким недоверием начинает по-

глядывать на старика парень: не разыгрывает ли? А тот знай себе светится доброй улыбочкой, и вроде все ладом, честь по чести.

Баба Оля из ворот вышла и силится перекричать бульдозер.

— Пирога-то, чую, не отвелал еще,— говорит Пронич поднявшему очередное ведро парню и косит взглядом в сторону бабули.— Ладом, беги.

Илюшка хмурится. Идет, загадку Левонтиеву разгадывает. На крыльчке обернулся: дед как раз ведерко на траву опростал. В раздумчивости вошел Илья в избу.

— Почет и место,— разглаживает бабушка перед внуком белейшую скатерку, так долго без дела лежавшую, что складки на ней не враз прижмешь.

Чего только на столе нет! Огурчики с лучком. Грибочки тут же соленые. Студенек дрожит, просвечивает. Варенья разные в розеточках вокруг пирога брусничного. И самовар над всем попыхивает, медью начищенной отливает.

— Холодца с рыжиком отведай,— подкладывает бабушка.

А сама в рот ничего не берет, только глаза жмурит.

— Мамка-то как с отчимом?

— Так..

Полоса яркого солнечного света наползла на самовар, и он вмиг зажегся.

— Баоль, смотри, сюда перебрался. Во дает.

— И впрямь диво.

Илюшка глянул на улицу. Стояла напротив горюновская изба с зашоренными крайними окнами, с бликующей створкой посередке.

— Баоль, а конь, которому глаза завязывают, что за конь такой?

— Это вон кого спросить надо,— кивнула старушка в сторону фотографии на стене,— дед твой, сам знаешь, всю жизнь конюшил. А как извели коней-то, и он скорехонько помер, царство ему небесное... А с завязанными-то глазами на смерть водят.

Внук из-за стола выскочил.

— А вареньица-то, вареньица?

— Сейчас, ставни только распахну у горюновской избы, пусть глядит,— доносится уже из сенок.

Старушка пригрозила пальцем дому-горюну и самовар оцупала: не остыл ли?

Ставень крайнего левого окна парню не подался. И крайнее справа окно тоже не открылось. Вот-те на.

И уже несмело как-то подходит Илья к среднему окошку, в обнаженной половине которого стоят озеро и лес. Потянул оставшийся целым второй ставень. Тот подался сразу. Смотрит из своей избы ба-

ба Оля на все это тревожно и печально. Чуть отошла створка окна, и в ней четко проступила завывающая в поле дорога. Илюшка потянул на себя другую створку — с озером. Картинка поплыла, сменилась луговиной и лошадкой на ней. А дальше дед Левонтий — и он в памяти избы,— плеснувший в верхнем конце улицы из ведра. Прикрыл Илюшка створки, и в окне устоялось изображение озера, леса и неба, распятое крестовиной рамы.

Тут с надрывом рокотнул бульдозер — задрожали оконные стекла. Сошло изображение. И за окном густо и непроницаемо встала запавшая в нежилую избу чернота. Жутко глянуло окно — как темные очки слепого.

Попятился Илюшка. Отходит. И видит: внизу, под деревней, раскачивает бульдозер пень. Или это сам пень налег на стального супротивника?

Лениво и безучастно разлеглись поодаль мелиораторы.

А Илюшка смотрит то на беснующийся трактор, то на деревню, и кажется ему, что в такт захлебывающемуся двигателю раскачивается сама Макушка. Будто это на нее напирает бульдозерный нож, будто ее корни подрывает.

И с протяжным стоном сама собой распахнулась воротина дома-горюна. Ударилась о черный растрескавшийся запиленок избы в прожилинах годовых колец. Еще раз качнулась на намазанных петлях воротина.

Свежий поперечный срез ствола векового дуба помяло гусеницей. Сморщилась, задвигалась земля у пня, обнажая живое с шоколадным отливом корневище.

Белый конь, игриво вскидывая голову, носится перед усадьбой Марфы Саввишны. Она вынесла ведро с пойлом и ставит неподалеку от ворот. Конек сторожко прядает ушами, вожделенно раздувает ноздри.

— Пей, блудило, пей, гордишься больно,— говорит Саввишна и отходит.

Иноходик сунулся в пойло, присосался. И вот уже языком по сухому дну ведра швыряет и вскидывает вопрошающе голову.

— Айда, айда, вертлявый,— манит его баба краюхой калача.

И потянулся конек, пошел. Расходился по двору белый, хвостом помахивает. С подворьем знакомится. Телегу обнюхал. К пыльному хомуту под навесом потянулся, фыркнул. И вздрогнул, скосив глаз на свисающий с гвоздя позеленевший от времени кнут. Молчком вскинулся белый на дыбы. Облетел вокруг сарая. Мимо запруды с почкачивающей над ней лодкой. В ворота маханул.

Илюшка с заведенными за спину руками приближается к деду Левонтию. Тот, на скамеечке сидя, покряхтывает, засовывает в покрывку от «уазика» закупоренную бутылку с жидкостью кровавого цвета.

— Здравия желаю, деда!— громко, чтобы перекрыть бульдозерный рев, приветствует Илья.

— Здорово, душа!— отвечает дедок, закладывая бутылку тряпьем.

— А что это?

Ухмыляется старик.

— Как невмоготу слышать, так я ее применяю.

Приноровясь, старый катнул «заряженную» покрывку через дорогу под гору. И там, внизу, разом все стихло.

Тут же издал победный клич петух.

Благодарно взмолилась в избе старушка.

А Илюшке смешно.

— Прощай, остатняя наливочка...— бормотнул старик. И воодушевленно закончил:

— Три дня пень качают, а он им — кукиш!

Мелиораторы расположились кружком, разливают.

— Дед Левонтий, а давай гнедую подкуем,— предложил парень.

— Я тебе вдругорядь сказываю: нечем ковать.

— А вот и есть,— показывает четыре подковы — не новые, правда, но еще годные.

— Где взял-то?— подивился Проньч.— Где, говорю, добыл?— Тянется к железкам.

— Где, где? Тоже мне проблема. В каждой избе подковы прибиты. Что тут голову ломать?

Деда словно кто по руке хряснул — разом обвисла. Он поперхнулся, выхрипел натужно:

— Так ить то на счастье повешено, шельма ты, зубило тупое! А ну!— Дедуля хватанул у забора голой рукой пучок крапивы.— Чего удумал, варначина!

Илюшка глазами хлопает, отступает от разошедшегося старикана.

— Ведь не живут же.

— Лешаки, порушители!— клеймит вкруговую дед, грозя уж не одному Илюшке, а еще кому-то.— Не живут! Я вам дам, не живут. Живу-у-ут!

Кашель подорвал старца. Опустился он на скамейку. Крапиву отшвырнул.

А Илюшка плетется с подковами мимо брошенных домов, голову повесил. Навстречу ему — человек с изможденным лицом, топор на плече. Глаза — впадины. Илюшка невольно сжался. Кинул железки и побежал проулком. Бровью не повел изможденный, прошагал своей дорогой.

Но, зрячая в одно окно, в упор глянула

на парня понурая горюновская изба. И он, запыхавшись, припал к пряслу и увидел, как заходит над ней черная грозовая туча. Вдали погромыхивало. Темнела озерная вода.

Зажегся в горенке свет. Илюшка рывком раскрыл по закладке книгу.

— «Прошлое, как бесконечный канат. Сегодняшнее сплетено из вчерашнего...» А, Баоль?

— Канат не канат,— нахмурилась старушка,— а уж ежели по земле ходишь, то обычаев держися.

Илюшка поднимает задумчивые глаза и смотрит на улицу. В окошке дома-горюна отраженно вспыхивает дальняя молния. Прогрехотало, словно пустую бочку катнули под гору. Вышел парень в сени, потрогал вороное полукружье подковы.

— Дед бы зря не прибил, верно, Баоль?

Она лишь головой качнула, тихо вздохнув.

В загустевшем сумраке идет к коню Саввишна. Тянет руку к нему с калачом. И белый к ней подался. Ткнулся мордой в ладони. За недоуздок взяла — стерпел. Послушно идет в поводу, только глазом крутит, слыша дальние раскаты. Гулко выстукивают копыта по деревянному полу конюшни.

Илюшка с двумя старенькими подковками и молотком прошел утром по заросшему дворику. Вбежал в сенки. И там, где виднелся след от подковы над дверью, прибил. Еще одна осталась. С ней он задами прокрался к дому-горюну. Порог переступил.

В среднее окошко свет проникает, и смутно видится в нежилой сумеречности крытый белой кружевной скатертью круглый стол. Четыре венских стула вокруг него: отставлены, будто сидели на них только что. Зыбкие очертания фотографий на стене. И среди них выхваченный шальным световым лучом снимок парня, смахивающего на Ивана Горюнова.

Притворив дверь, Илья поспешно, на один гвоздь, прилепнул подкову и выскочил на улицу. Столкнулся с дедом Левонтием.

— С хорошей погодой, душа,— хитро улыбнулся старик.

В чердачное окно влетела ласточка, и под крышей тоненько запищали птенцы.

— Видал? А ты говорил, не живут.

Илюшка выхватил у деда ведро и побежал к колодцу.

— Ты, душа, из всех пяти — по веде-

рочку, — наставлял вослед старичок, — а после на кузню забеги: дело есть.

Выпорхнула с чердачка ласточка и полетела над малой родиной. Над берегом с рассохшимися перевернутыми лодками. Над сахарно блестящими по опухкам росистыми травами. Над речкой-бегучкой с кладями. Колочая стайка пескарей вполводы кинулась от пташей тени. Дальше проселок серым ремнем врзался в покатое плечо взгорка. Избы по склону-берегу. И околицы на две стороны: там мрачно-еловая, тут светло-березовая. И радостный приветственный шум стоял в кронах.

Илюшка выплеснул воду из ведра и зазмурился счастливо...

Орава ребятишек, распугивая гусей и кур, гонит по пыльной улочке «попа». Игра такая: чурочку стоймя ставят и палками ее поддают. Визжит разгоряченная орава, несется по улице, поднимая из грязных луж свиной. Кончилась улица, кончилась игра. Прилепилась потная пацанва к колодцу. Галдит. На всех ведра едва хватило, и кто-то, подняв его над головой, ловит разинутым ртом последние капли...

Выплескивает Илья на траву полное ведро и бежит к следующему колодцу.

Иван заметался во сне и сел на диване, лупая глазами.

Над его головой жена Лидочка крутит механическую кофемолку.

Волосы у Лидочки гладкие. Личико волевое, не лишено приятности. А заметный живот придает трогательность всему облику женщины.

— А мне снится, задний мост полетел, — бормочет Иван.

— Ты мне зубы не заговаривай, — требует жена.

Иван ближнего боя не выдерживает. Глаза — в пол. Лепетнул:

— Попросил там одного друга детства. Подождет...

Она безнадежно покачала головой.

— Сил моих дамских больше нет чужие углы обживать. И с работы тебя выгнали.

— Пойду в такси — кооператив сварганим.

— Все журавлями кормишь!..

— А синица в руке щиплетя и в клетке не живет.

Лидочка прикрыла живот ладошками и закричала:

— Или ты спалишь свою чертову избу и встанешь на очередь или...

В этот момент Иван сунул ей под нос флакончик духов.

— А-ах! «Частная коллекция»! Боже мой! — задохнулась от восторга Лидочка. К трюмо подседа, пробует открыть флакончик.

Муж, довольный собой, ушел в ванную. Бреется. И вздрагивает от визга.

Вбегаем в комнату. А там жена, распахнув дверцу шкафа, сдергивает с вешалок свои вещи и поочередно обмакивает их в лужицу на тумбочке.

— Не могу, — кричит, — не могу больше! Я сюда ребенка не повезу!

А лицом в тряпки тычется и жадно вдыхает изысканный аромат.

Не по себе Ивану.

Невыключенная электробритва гулко молотит в раковине.

Илюшка поддел клещами дымящуюся подкову и тащит ее из кузни к станку дляковки лошадей. Стоит в нем Гнедка. А подле нее на чурбачке дед Левонтий примостился. Заднюю правую укрепил копытом кверху, полукруглой стамеской сострругивает лишнюю белую мякоть с копыта.

— Не пережег? — для порядка спрашивает он раскрасневшегося паренька.

Тот в большом, не по размеру, кожаном фартуке — как суденышко при опавшем парусе.

— Не-а, — отвечает бодрячком.

— Ладом, — одобряет дед и на лошадику тпрукает-нукает.

Затем прикладывает подкову к копыту. И слышится легкое шипение, и дымок из-за железа струится. А лошадка дремлет — привычная.

Илья подает молоток. И старик по кромочке копыта с ловкостью вбивает четырехгранные гвозди, загибает и утапливает их в подковных бороздках.

— Дед Левонтий, а ты кузнец от бога?

— Был, душа, был, — припечалился старик, призадумался.

Забавлялся молодой кузнец Левонтий звонким ручником меж тяжкими ударами молотобойца. Жарко дышали за лоснящейся от пота спиной кожаные мехи. На глазах теряющая румяность подкова летела в колоду с водой. А в огнедышащем горне уже дозревала, добела раскалаься, новая. У могучего чурбана, под наковальной, широко и твердо расставлены ноги кузнеца Левонтия.

Вышел он из кузни в лето, в поле золотистое.

А вошел по белому снегу в черном бушлате. На костылях. И тянулся по насту след единственной ноги — уцелевшей. И красный снегирь багряным сгустком скакал вдоль него. И на костылях же стоял у наковальной могучий Левонтий в тельняшке — про-

тез ковал. И желваки ходуном ходили. И тяжело вздыхали за спиной мехи...

Илюшка подъезжал на разгоряченной Гнедке к усадьбе Саввишны, когда слышал призывное ржание белого. Конь выбежал к ним навстречу и потянулся мордой к неказистой незнакомке. Лосенок прискакал за ним следом.

— Здравствуйте, Марфа Саввишна. А я уж думал на Гнедке ловить его. Спасибо.

На радостный голос парня хозяйка, доившая под навесом козу, отозвалась недовольно:

— Ладно слова-то говорить. Пакостник он, конь-то твой. Вчерась морковку немытую со скамейки стащил, в землю втоптал. Ведра с водой опрокидывает. Все насолить норовит.

Иноходец, кося глазом, общипывал на яблоне зеленые плоды.

Илья, спрыгнув с лошадки, шумнул срывающимся баском. Отбежал конь, хвостом обмахивается как ни в чем не бывало.

— Пошли, молока отведаешь.

— Некогда мне... я... объезжать буду,— напрягся парень.

— Убьешься ведь,— обеспокоилась не на шутку Саввишна.

— Я?!— вскричал Илья.— Еще чего!

Забегал, засуетился. Сдернул со стены узду, отстегнул карабины поводьев.

— Дай сюда! Кипяток! В кладовке седло, армяк.

Ворчит баба, а дело делает. Подкормила белого калачом, поводья к недоуздку пристегнула. Видно, что сердце у нее не на месте.

Подпоясав армяк, Илюшка вышел с седлом и притороченной к нему нагайкой на крыльцо. Глянул внушительно, дескать, слабонервных просим удалиться.

Под седло иноходец не встает. Крутится, натягивает повод. Вот-вот на дыбы взвьется. Притянула его баба к прясline потуже.

— Н-но-о, игровый.

Илюшка с подругой возится. Стремя примеряет — руки дрожат.

— Стремена укороти: мой-то под потолок был, не тебе чета,— басит Саввишна.

Зыкнул на нее юноша, справился со стремянами.

А конь беснуется, к пряслу его жмет.

— Дался тебе этот черт,— не выдерживает, однако, Марфа.

— Так что, под нож, да?— огрызнулся Илья в запале и ловко прыгнул в седло.

Белый сразу вздыбился, закрутился на месте, очерился. И Илюшка закипел: справиться не может. Да тут еще Саввишна заоха-

ла. Сгоряча перетянул парень норовистого коня нагайкой. И оба махнули через прясло.

— Держи, сынок, держи!— кричит баба.

А конь мечется по луговине, взбрыкивает. Илюшка на нем — мячиком, однако держится. И вот понесся иноходец обратно. В ворота метит. Седок голову не успел пригнуть.

Саввишна испуганно вскрикивает.

В глазах падающего Илюшки перевернулся лес — трезубец елей наколол облако.

А белый победно ударил задними в стену сарая и — к пряслу. Да зацепился болтавшимся поводом за жердину.

Марфа к парню бросилась, а он очухался. На лбу ссадина, вид диковатый. Кидается к иноходцу с нагайкой, которую так и не выпустил из рук.

— Я из тебя дурь вышибу,— на мужицкий манер хрипит он.

Саввишна повисла у парня на руке.

— Да ученой уж он, вон бока-то все изрублены.

Хлестнул Илюшка по земле — душу отвел.

А баба быстро к коню подошла и опустила ему на глаза черные колпаки.

— Так-то не шибко разбежишься.

Напрягся белый, задрожал весь и загнанно ржанул. Жутко было видеть его безглазым.

— Нет. Не надо,— тяжело выдохнул Илюшка.

И когда Саввишна отстегнула наглазник, снова прыгнул в седло, нервно дернул повод.

— Не психуй, силу покажи,— подзадорила Марфа.— Мой-то...

— Да твой-то, твой-то,— сорвался Илюшка.

И конь снова понес его. Махом — через прясло. Лесом помчал и срезал на первом суке.

Отлежался Илья в траве. Поташился назад. Ломился сквозь заросли. Спотыкался. Падал. Вышел к усадьбе. Саввишна всплеснула руками, но жалость свою тут же подальше упрятала. Окликнула сурово, будто пароль спросила:

— Живой?

Он молча рвал с плеча армяк, глаз не поднимал. Вскарabкался на гнедую.

— Живой, спрашиваю?— схватила гнедую под уздцы разгневанная бабища и в сердцах перетянула Илью брошенной им нагайкой.

От боли, от сумятицы чувств он взвизгнул: — Живой!

И погнал лошадь, унося на спине длинную красную метину. На скаку лихо, от буйства сил, свесился с седла, подхватил ведро с водой и хряснул оземь.

— То-то,— удовлетворенно сказала Саввишна.

Человек поднимается взгорком. Издали он мал. Он рассечен истонченной закатной полоской. Темен взгорок. Пронеслась над озером стайка уток.

На луговине переступила стреноженными ногами гнедая.

В деревне ни огонька. Спят.

Медленнее шаги, все медленнее. Нерешительнее. Придержал раскачивающуюся воротину у дома-горюна. На крыльце замер.

Шумит ветер в кронах деревьев, крепчают порывы. Гроза накатывает. Первые капли ударили по крыше, сверкнула молния, треснул гром.

Мужчина вбежал в сенки, выхватил из сумки газеты, сунул под дверь. Щелкает зажигалка. Огонек на мгновение выхватывает из темноты напряженное потное лицо Ивана и гаснет. Снова щелкает зажигалка. Щелк. Щелк. Тщетно. Бросает ее Иван с силой, словно не терпит к нему от нее избавиться. Распахивает дверь в избу, освещенную в этот миг молниевой вспышкой. С новым раскатом грома падает что-то со стены и со звоном разбивается об пол. Вздрыгнул Иван, к печи подался. Протянул руку, взял с вьюшки коробок спичек. Чиркнул. В колеблющемся свете лежит на полу деревянная рамка с двумя фотопортретами. Хрустит под ногами битое стекло.

Склонился Иван над рамкой. И глянули на него со снимков двое приветливых старцев. Отец и мать.

И размылось изображение залитого дождем стекла.

Тенькнула синица, завела осеннюю припевку: пи-пи... пи-пи... Заиндевшая рама вплыла в черную вязь опавшего сада. Только одна ветка еще трепещет на ветру желтыми листьями. Порхнула стайка синичек. Мелькнули в воздухе последние сорванные листья. Сели на голую ветку синицы. Пи-пи... пи-пи. Словно распустилась веточка зеленью. Пацан лет шести тычет пальцем в окошко, показывает старшему братишке, и оба замирают в восторге. Качается зеленая веточка...

Дымится круп коня, вбивающего клубы пара в накатанный санный путь. Мужик и подросток бегут рядом с возом сена, вязнут в снегу. Величава на сугробном взгорке горюновская изба. Дым из трубы — свечкой.

Из распахнутых ворот навстречу коняшке выскакивает рыжий пес, запряженный в салазки. В них мальчишка сидит — рот до ушей — в темных очках...

На белянкой стенке русской печки греются две пары детских ладошек. Те, что поменьше, слепо шарят в поисках теплое кирпича. Нашли, подсунувшись под те, что побольше. Ярко пылают дрова в сводчатой печи...

Догорела спичка. Огонь тронул пальцы.

Иван тряхнул рукой. Бережно поднял рамку с отбитым стеклом и повесил на место.

Разгулялась гроза.

Поутру грохочет неезженным проселком грузовичок с полеводами. Бабы с визгом увертываются от брызжущих дождем ветвей. Вольный голос частушку строит:

Говорил мне городской,
Какая ты баская.
Как же мне не быть баской —
Я ж не городская.

Певица в пестром платке застучала по кабине. Шофер резко тормозит. И она через борт с оханьем перелезает.

— А я, Сима, не пойду, — говорит ей подруга. — Как увижу дом, так глаза на мокром месте.

— Оюшки, — встал на подножку шофер, — а за квартирой в центральной усадьбе вприпрыжку бежала.

— А ты бы попробовал — ни магазина, ни дороги тебе. Деткам в школу пять верст по хляби. В каком веке живем? Ты вон сам по лесу без трактора пролезть не смог.

С колес машины стекает грязь.

Сима едва пробилась заросшим огородом к своему дому, стоящему рядом с Левонтьевой избой. Подперла дверь сараюшки жердочкой. Ставни на боковом окошке раскрыла. Заглянула внутрь, пригорюнилась. Увидала сквозь изгородь деда Левонтия, завопившего кобылу в тележные оглобли.

— Здравствуйте, Левонтий Проныч!

— Кто-о? А, Серафима. Здорово, душа. Избу проведать?

— Почтальонша письма вам просила передать, — она просунула конверты сквозь часток.

Дед Левонтий, поднявший было оглоблю к хомуту, разом бросил ее и поспешил взять письма. В радости и поблагодарить забыл. То отстранит конверты, то приблизит: не разберет почерка. А улыбка с лица не сходит. Бормочет про себя старый:

— А-а, сыны мои беглые... Вот оно как. Изба — завсегда дом отчий, а фатера, она и есть фатера.

Серафима взяла с подоконника горшок с засохшим цветком, назад поставила. Прикрыла створки окна, за ними — ставни и побежала на нетерпеливое библиканье.

Дедок вдогон крикнул:

— Пришли кого-никого, пускай шиферину у трубы залатают, сгноите матицу-то.

— Да ладно, — отмахнулась расстроенная баба, — без тебя тошно.

Снова резанул по округе дизель. Но дед

даже ухом не повел — он все мусолил в руках письма.

— Оба сына враз отписали, слышь, Матренушка?

— Да бегу, бегу, крылья у меня ли че ли?

— А эта откуда депеша?— недоумевает дед.

— Дай-ка. Ага, шуршит. Сережка Горюн прошлым летом тако же присылал. Он и есть. Со штемпелем,— разобралась Матрена, вымучивая свои подслеповатые глаза.

Дед ковыляет на улицу. Покрышку у палисада заприметил. Сунул в нее каменюгу и вниз катнул. Затишье. Короткое. И тут же злобно рявкнул бульдозер. Дрогнул пень дуба. И гусеницы зарылись в землю.

В окошко Левонтиевой избы видно Илюшку, читающего за столом письмо. Что говорит, не слышно: трактор глушит. Старички близко к нему придвинулись — улыбаются, кивают, переглядываются. И метровой левша, из металла выкованный, в красном углу под образами голову над наковальной склонил — тоже, вроде, заслушался.

Притворяет Илья окно и берется за письмо со штемпелем. Вынимает оттуда магнитофонную ленту.

— Магнитофона-то нет.

— Как нет?

Дед, крихтя, выдвинул из-под лавки старенький «Днепр». Сдул пыль с облупившегося футляра.

— Вот, бросили эмигранты.

— Кто-кто?— не понял Илья.

— А всякого, кто с земли стронулся, я так обзываю. Душа-то у него не на месте, тоскует, кочевная. Он, хитрован, в город подался, думает: ага, современна жисть. И за грудки ее! А она — отмахну. И у самого морда бита получается. А нет, чтоб дедовское обхождение с жистью соблюдать... вернее, чем насकोком-то, вышло бы... Эх-хе-хе... Много нынче душ меж городом и деревней мотається-мається. Эмигранты и есть,— ворчал дед, заправляя непослушную ленту.

Потрещал «Днепр», поскрипел и заговорил голосом юноши:

— «Здравствуйте, дедушка Левонтий и бабушка Матрена. Пишет вам Горюнов Сергей Матвеевич, воспитанник интерната для слепых...— Илюшка взволнованно переглянулся со стариками, те закивали довольнешеньки: дескать, вот, не забыл.— Я часто Макушку вижу и всех вас, и озеро вижу, и кузню, и лес, и колодцы, и дуб-могуч. Как гонят коров на поскотину. Как рыбаки сети тянут... Все, на что наглядеться успел...— Тут носом шмыгнул автор записи, но совладал с собой и продолжал:— И пишу

я письмо, дедушка Левонтий, чтобы, хоть на коленях, хоть как попросить вас: приезжайте ко мне, заберите меня отсюда... такое дело... Я пройдуся по деревне и — назад. А то перевезут наш интернат скоро в другое место. Далеко. И сильно хочу я проститься с домом...»— Автор снова мучительно прервался.

Белобрыйый пацан — Илюшка — в развевающейся рубашонке бежит против ветра по взгорку. В его руке раскручивается катушка ниток. Взмывает вверх бумажный змей, трепещит и хлопая на ветру. Над запрокинутой головой — слепящая синева неба. А поодаль, на бревнышке у горюновской избы, сидит мальчик в темных очках. Белобрыйый подбегает к слепому и вкладывает в его ручонку катушку. Оживает мгновенной радостью застывшее лицо мальчика. Он поднимается, напрягшись, жадно вслушивается в яростное хлопанье змея. Пальцами свободной руки касается гудящей нитки, ощущая упругость полета. Но вдруг споткнулся слепой, упал, отпустил катушку. Закувыркался змей. Падает, путаясь в мочальном хвосте. Долго падает...

— «...И боюсь я прощания этого, а без него не могу. Надеюсь на скорую встречу». Падаст змей.

— «А пока загадаю вам загадку,— взбодрился голосом,— почему синицы зеленые? Вот поедете за мной и по дороге отгадывать будете. Всегда вас помнящий воспитанник интерната Сергей Горюнов».

Все падает змей, не достигая земли...

Дед Левонтий крикнул, прогоняя стариковскую слезу:

— Не разомай, Матрена... Понимать надо: че до само годков видел, то и представляет?!. Дружок твой был, Илюха. Счас бы в школу вместе отходили, кабы не покалечился самопалом-то. Ну ладно, дело решенное: сухостоя на три дома навозим, а там и за Сергеем можно. Только дадут ли? Кто я ему?

— Бумагу в сельсовете справишь: так, мол, и так — сирота,— нашлась старушка.

— А забрать его к себе вовсе,— запалился дед.

— Помрем, так куды он?— озадачила его бабка и сама пригорюнилась.

Илюшка сидит за столом, уставясь на него вращающиеся кассеты. Поднялся в раздумчивости, пошел к двери. Проводили его старики печальными глазами. Переглянулись. Шмякнул на стол Левонтий Проныч письма сыновей:

— А этим хоть бы хны!

Идет Илюшка по улице, взглядывает исподлобья на дом-горюн. И тот в одно ок-

но глядит ответно, а два других за темными щитами ставней непроницаемы. Ворота, сколько ни прикрывай их, опять нараспашку, словно ждут кого.

Сворачивает Илья в свой двор, толкает дверь в сарай. С топором выходит оттуда и — к горюновской избе. Приближается к наглухо закрытым окнам. Подцепил острием ставень на крайнем правом — поддался.

Как откроется — мы увидим Илюшку из избы. Испуганное лицо и топор у груди — как для обороны. А потом глазами его заглянем в чернь окна с выбитыми стеклами. И третье окошко тоже отшатнет парня своей зияющей пустотой. Лишь в среднем останутся непоколебимы лес да озеро.

Подъедет дед Левонтий на скрипучей телеге. Посидит, поглядит и проронит:

— Изба-то с выбитыми стеклами, что лицо человеке с выплаканными глазами... — Достанет табачок. — И замечай, Илюха, чаще в три окна на улицу изба русская. Потому как ране под единой крышей полное семейство жило: старики, дети их, внуки... Вот и у меня в три окна, — тоскливо деду. — И скажу тебе, бывает, приснится или привидится, будто в одном оконце мы с Матренушкой, в середке — сыны наши, а в третьем, что под березой, — внучатки. Эх!... Ладом, да не ладом... Садися.

— Трилогия, что ли? О прошлом, настоящим и будущем, — озадачивает парень деда неожиданным умозаключением. Бросает топор на телегу, сам запрыгивает.

— Н-но, облизывайся! — прикрикнул старик на гнедую, кнутом помаячил. — Горюнам стекла вставим... не думай. Я Сережкину душу понял. Вон Макушин Лексан Силыч... Дохтора ему всего-ничего отвоевали, по слухам... А он — на свиданку с отечеством... Тянет!

Улыбнулся паренек, запрокинул голову к кронам. Дорога лесом пошла. Ветви над самой лошадкой смыкаются. Колеса мягко катятся по засыпанному хвоей да шишками колеям.

— Дед Левонтий, а есть кони, которых не объездить?

— Не скажу, не видал таких. А рассудить, так конь сильнее человека, и если он это поймет, коняга-то, его уж силком не взять. Да-а.

Покосился парень на деда.

— Кнут-то для этого, ну, чтоб не понял? Старик чуть не выронил кнутовище из рук и растерянно посмотрел на Илюшку.

Человек с изможденным лицом, Лексан Силыч, ударом молотка тяжело вгонял в бревно долото. Похоже, лодку вырубал. И толь-

ко когда Силыч, отбросив инструмент, лег в углубление и руки на животе сложил, стало ясно: домовину себе готовит.

И летел стук молотка за озеро — до леса. А там красноголовый дятел жизнеутверждающе колотил в ствол, будто перестукивался с человеком.

Дед с Илюшкой, обливаясь потом, вкатывают на телегу по лагам опиленную сухостоину. Резиновая пятка протеза глубоко вонзается в мох и вырывается из него с причмоком. Проныч едва дух переводит, а спуска не дает.

— Вяжи! — кричит, перебрасывает Илюхе конец веревки через бревна и жерди, уложенные друг на дружку. — Ладом, парень.

Затянули лесины веревкой, топоры повтыкали.

— Н-но!

Дед — за вожжи, Илюшка — за уздечку. Стронулась гнедая. Дорога — по-над речкой в гору. Парень сбежал к воде. И загляделся. Плывет по речной глади отражение соснового бора.

Тонко поскрипывают спицы в тележных колесах. Ку-ку — доносится с того берега.

Могучие деревья кренятся над обрывом.

Илюшка воды ладонью зачерпнул. Пьет и видит перед собой обнаженные узловатые корни, вцепившиеся в береговую кручу. Капли сочатся сквозь пальцы.

Осыпается в корнях песок.

Прирос Илья взглядом к обнаженным корневищам.

Горюновская изба во все три окна застекленных глядела на плывущего по озеру в резиновой надувной лодке мужчину. Из окна-прошлого врывало его отражение в окно-настоящее. Вплыло... и пристало к берегу. Вышел на песок бородач. Осмотрелся, будто припоминая что-то.

Белый конь бьет копытом на привязи. В мокрых перепачканных рубаше и джинсах сидит на завалинке Илюшка. Волосы на голове спутались, лицо напряженное. Саввишна смотрит на него испытующе — кажется, вот-вот спросит опять: «Живой?» Но парень встает. И она принимается чистить картошку.

— А я тебе еще раз говорю, не зря его ослепляли: смысленный больно, черт. Накинь шоры-то — ослепенится.

— Не люблю, когда под руку, — бросает парень.

Белый прядает ушами. Юноша запускает дрожщую пятерню в спутанную гриву.

И конь чувствует неуверенность человека, прижимает уши, артачится.

Искоса поглядывает на Илью Саввишна. Тот прыгает в седло, и стихший было иноходец дичает разом. Носится по двору, бьет в прыжке задними. Собаки из-под развешанной для просушки рыболовной сети бросаются на него: не выдерживают. И конь выносит пригнувшегося седока в ворота. По луговине мчит. Он, кажется, уже терпеливей к всаднику, но повода по-прежнему не слушается. Кидается в стороны. Удила закусил и — к реке. Рвет Илюшка узду на себя, но все без толку. На самом берегу встает конь, и седок через его голову летит в воду. Молча барахтается. Выкарабкивается на берег. А белый стоит, поджидает: мол, если хочешь, продолжим. Исступленно смотрит на него пошатывающийся Илюшка. Бредет мимо, прихрамывает. А конь повернулся и — следом.

Съехавшая с траков лопнувшая гусеница. Выкорчеванный наполовину пень. И рядом — холмик. Над ним сдоборывдый, тот, что приплыл на лодке, устанавливает звезду на металлическом треножнике.

Чесанул бородач назад серебряные вихри, сел на чемодан у звезды и сидит в скорбной раздумчивости. Сумерки сгущаются.

А наутро, чуть свет, стукнул в дверцу сеновала дед Левонтий.

— Илюха, душа, подымайся, ограду пойдем ковать.

Парню спросонок невдомек, что за ограда. Однако слезает. И — к кузне за дедом. Горн разожгли первым делом. Пока прутья калили, баба Оля принесла в узелке завтрак. Илюшка на ходу пожевал — работа разобрала. И полетел над деревушкой, над лесом, над озером, над полем звонкий перестук.

...И не в лад с ним встрял молоток Силыча. Точеное жало долота тяжело скалывало древесную плоть. Вот-вот готова будет домовина. Да вошла во двор Силыча баба Оля.

— Лексан Силыч, а, Лексан Силыч, гляди, вызрел избавитель твой, — как бы не замечая занятости изможденного запела старушка. — Ежели его в эту пору до рассвету сорвать, силу он даст крепкую. Попей отвару-то, попей, сердечный.

Сказала так, положила пучок зверобоя на дуб да и ушла, как пришла. А долото с переборами застучало. Стихло совсем...

Но весело вызванивала в утреннем прозрачном затишье музика.

На верстаке — колотки, зубила, бродни.

Кувалда стоит стоймя. Воробьи чумазные чирякают под крышей.

Илюшка, обливаясь потом, грохает молотом по раскаленному пруту. А дед удерживает заготовку в клещах, обстучивает ручником. Отливает красной медью в свете бущущего горна жилистое тело парня. В жару на угольях лежат в ряд железные прутья белого каления. Поодаль от наковальни привалены к столбу готовые решетки металлической ограды.

В небе над полем жаворонок заливается, и отрешенно широко шумит лес.

Седой незнакомец по деревне ходит. Встанет на одном месте — стоит. У трех домов — по возу дров. И больше никаких признаков жизни. Безлюдна улочка. Невесело гостю.

К колодцу порушенному вышел. Крутанул ворот. Лязнул тот обрывком ржавой цепи над черным зевом обвалившегося сруба. И показалась седому, что из черной глубины поднимается плещущее ведро под пулевой свист и вой снарядов. Отшатнулся бородач. Изображение размылось.

Дыма нанесло, и в нем качнулась над полусгоревшей Макушкой сигнальная ракета, с шипением упала в сталистое озеро. Зацокали по земле пули. Грянули взрывы. Мина свистит.

И доносятся со дна окопа хриплое, горячее:

— *Пить! Пить!..*

Очередь стукнула.

Тяжесть мертвеющего тела докручивает красноармеец ручку колодезного ворота и, перегнувшись, повисает на ней недвижно.

Веером брызжут прозрачные струи из блотающегося над колодезем расстрелянного ведра...

Трое — Илюшка, дед Левонтий и гость — постояли у железной ограды и пошли к Макушке.

Дед спросил:

— Звезду-то кому?

Гость развел руками:

— Я тут покоиться должен согласно похоронке, а вот... стою. — Он протянул Илюшке желтую бумажку.

Парень прочел вслух:

— «...Ваш сын, гвардии сержант Кряж Петр Николаевич, пал смертью храбрых у деревни Макушка и захоронен...»

Илюшка невольно перешел на шепот, потом совсем стих и только шевелил губами.

— Не во мне дело, мужики, — сказал Кряж. — За деревню эту жизни положены, а какой-то гад хозяйственник асфальта на

пять верст пожалел,— мотнул головой ветеран и отвел глаза к озеру, лежащему в штилевой дреме.— А колодец подыму! Пусть вместо памятника... Он нас от жажды спасал на этой высоте — оборону, выходит, с нами держал. Метил в него фашист. А он стоял как заколдованный. И стоять будет!— рубанул воздух ладонью Кряж.

На дальнем берегу грохнул выстрел и оттуда донесся залистый лай.

— Кто палит-то?— возмутился старик.— Счас егериха душу из него вынет.

Марфа Саввишна в охотничьем костюме продирается сквозь чащу. За ней идет Степенный, заметно оплывший мужчина в замшевой куртке, с небрежно перекинутым через плечо богатым ружьем. Последним тащится Подобострастный. Уши рвет обложной лай.

На берегу озера егериха подает знак остановиться. Затаились в кустах.

Отражается в озере вознесенная взгорком деревня. Крыши изб — вровень с подступившими к ней макушками елей и сосен. Зеленый склон угора расклевенно сбегает к воде.

— Редкой красоты место,— восхищается Степенный.

— Позвольте вам заметить, что именно его облюбовал Владлен Казимирович под дачу,— улыбнулся Подобострастный.

— Вот как. В таком случае создайте условия коренным жителям.

— Давно создали: пятый год задерживаем строительство дороги, торговую точку сняли и...

— Я имею в виду квартиры. Квартиры предлагайте в рабочем поселке,— перебил его Степенный, беспокойно глянув на Марфу Саввишну.

Он снова поднял бинокль. В окулярах Петр Кряж крутил ручку ворота над обвалившимся колодцем. Добыл связку созревших бревнышек. Оттащил в сторону. Бросил.

В этот момент Саввишна выстрелила в воздух. Несшийся вдоль берега прямо на охотников сохатый круто повернул к лесу.

— Что вы делаете? У нас же лицензии!— вскричал Подобострастный.

Марфа направила ствол вверх и пальнула еще раз — для верности. Сохатого след простыл. Слышно было лишь, как стрекотали ветки по мочугим рогам.

Охотники оторопело глядели на вздорную бабу. Она невозмутимо закинула ружье за спину, свистнула вылетевших на берег собак и пошла назад широким неуступчивым шагом.

Илюшка тяжело накручивал ворот. Подхватил бадью, полную грязи, и потащил к бывшему колодезному срубу. Теперь на месте старого колодца выглядывали три свежеструганных венца.

Баба Оля толкнула створку, высунулась в окошко:

— Внучок, шли бы уж, похлебка стынет. Парень крикнул вниз:

— Дядя Петро, бабушка обедать зовет.

— Тут всего-ничего осталось, добьем,— донесся из глубины голос Кряжа.— Вира!

Илья приналег на ворот. Освободил бадью, подцепил на крюк. И снова пустая бадья идет вниз, стучается о скобы.

— Полегче, сынок, не спеши,— тревожно и глухо всплыло со дна колодца.

— А что, дядя Петро?

— Ничего, сынок, ничего, полегче только,— странным успокоительным тоном заговорил Кряж.— Ты иди. Я счас. Не жди меня.

— Дядя Петро!

— Уходи, говорю! — строго приказал Кряж.

— Не уйду,— отрезал Илья и перегнулся через край колодца.

— Но хоть от края отойди.

Голова парня исчезла. Только синее небо глядело теперь в колодец.

Вскоре на верхнем бревне сруба появилась рука Кряжа — черные земляные пальцы. Потом седая взлохмаченная голова.

— Дождалась она меня.

— Кто?

— Мина.— Кряж странно ухмыльнулся меловым лицом.— Ты иди теперь, сынок, иди.

— Я с вами,— набычился Илья.

Кряж погладил его по голове и подтолкнул.

У своего дома стоял Лексан Силыч в неизменном потертом костюме и неотрывно смотрел в их сторону.

Илюшка нехотя отошел под окна горюновской избы.

Кряж осторожно крутил подвывавший ворот. Тросик ровными рядами ложился на валок — словно петли затягивались. Бадья при подъеме раскачивалась, и слабый огонек свечи в ней колебался. Бывший фронтовик переживал, пока уймется чертова раскачка. И снова крутил, напряженно глядя вниз. И вот бадья вышла наверх. Свободной рукой Кряж подтянул к себе лопату и попытался ею застопорить ворот. Ненадежно. Отбросил.

Тут из-за спины Кряжа вышел Силыч. Лицо, обтянутое серой безжизненной кожей с недвижной полоской бескровных губ, жило одними глазами. В них глубоко запавшую предрешенность перекрывала мучительная мольба. И Петр ни словом, ни жестом не воспротивился.

Костяные пальцы дрожа опустились в зем-

ляную подстилку. Ржавая мина шевельнулась, приросла к ним. Прижав ее к животу, к чистой, белой, надетой по случаю рубаше, Силыч пошел от изб. Скванно, тяжело пошел.

Наипоследние жители деревни скорбно смотрели ему вслед. Старушки промокали глаза кончиками платков. Только жаворонок, как всегда беспечно, воспевал жизнь над пшеничным полем.

За горизонтом взгорок скрылся человек. Грохот взрыва пронесся над деревней. Шарахнулась на луговине гнедая.

Звякнули над Илюшкиной головой стекла дома-горюна.

Во дворе Силыча сорвалась с козел законченная домовина, покатила вниз по склону, подмяв ветхую изгородь. Она гулко скакала под угор и, расщепленная, со всего маху бухнулась в озеро.

Над оврагом клубился дым, и в нем, на краю обрыва, стоял человек в развевающейся белой рубаше.

Илюшка первым подбежал к нему и первым увидел, как проступает возвращенная радость жизни на измученном лице.

Илюшка лежит на сеновале в надутой резиновой лодке, подсунув руки под голову.

Горит под стропилой переноска. В углу — неразвязанная авоська с забытыми учебниками. Звездное небо заглядывает в слуховое оконце.

Вдруг тревожный звон ботала спугивает задумчивость парня. И вроде донеслось откуда-то невнятное бормотание. Илюшка соскальзывает по лестнице в темноту. И видит смутно: за огородами взбрыкнула спутанная лошадка, не подпускает к себе человека. Ругнулся тот и направляется к горюновской избе. В руке что-то темное, булькает. Скрылся во дворе дома-горюна. Илюшка последовал за незнакомцем и увидел, как тот плещет из канистры на стены.

— Ванька? — резко поворачивает его к себе Илья.

Пьяный Иван криво усмехается:

— Тс-с-с...

— Опомнись! — трясет его за плечи Илья.

— Отвали. Я на тебя... надеялся. Теперь — уль! Понял?

Хмельной Иван достает из кармана коробок спичек и пытается непослушными пальцами захватить спичку.

Илья встает между Горюновым и домом.

— Семья рушится, — мямлит поджигатель и чиркает спичкой.

Илюшка выбивает у него из рук коробок. Затмение ярости накатывает на Ивана. Он бьет парня в лицо кулаком. Тот отлетает к

стене. Придя в себя, видит ползającego на коленях Ивана, который шарит по траве — ищет коробок. Илюшка наваливается на него, и они катятся по земле, сбивают канистру. На них выплескивается остаток горючего.

Вот Иван, тяжело дыша, придавил Илью и тут увидел коробок. Вскakiвает. Мелькнул в руке огонек. Он ринулся к избе. Илюшка в последний момент хватает его за ноги. Падает Иван, неловко подвернув под себя руку с горячей спичкой. Вспыхнула куртка, вымокшая в бензине. Иван, растерявшись, не может расстегнуть заклинившую молнию. Заметался, тараша на Илюшку глаза.

— В озеро! — крикнул тот и принялся затапывать крадущийся к избе огонь.

Иван факелом промчался вниз по склону и под набат лошадиного ботала кинулся в озеро.

Илья, пошатываясь, приблизился к белештому новым срубом колодцу со звездой на островежной конусообразной крыше. Опрокинул на себя ведро воды.

Отфыркиваясь и хрипя, карабкался на берег поджигатель.

Илья, опершись на ворот, ждал его. Вырвал из кучи хлама обломок доски, пошел навстречу.

— Ладно, — беззлобно вымолвил Горюнов, скинул прогоревшую куртку под ноги и твердым шагом пошел прочь.

— Брата привези, — сказал ему вслед Илья. — Письмо он деду Левонтию прислал, с домом повидаться хочет.

Вернулся Илюшка к дому-горюну, тяжело опустился на завалинку.

И безмятежно спала деревня, доверившись своему заступнику. И отраженные озером звезды качались в сумеречном окне над взлохмаченной головой.

Егериха, стоя на заросшем проселке, говорит что-то высунувшемуся из кабины «Беларуси» трактористу.

Тот кивает и, опустив нож, таранит бурьян на старой дороге. До самой реки. Чуть с обрыва не сорвался.

— Ты меня, старая дура, под суд отдать решила? — кричит он, вернувшись, Саввишне. — Там же обрыв.

Она протянула ему пятерку и, ни слова не сказав, пошла.

— Далась ей эта дорога. Каждое лето чудит, — буркнул тракторист и поддал газку.

Белый с Илюшкой в седле выскочил из конюшни и — к пряслу. Вздумал его осадить всадник, рванул поводья, словно силой с ко-

нем меряется. И тот вызов принял — удила закусил, мстительно прыгнул в сторону. Удержался парень, припал к луке седла. И вовремя: разъярившийся конь едва не подставил его на скаку под край навеса. Илюшка тянул на себя узду, а иноходец гнул свое. Перемахнул через изгородь, вломился в лес и понесся зарослями. Ветки в кровь били парня по лицу. А он упрямо рвал на себя узду, не оставляя коню надежды выиграть поединок. И только успевал увертываться от сучьев. Один все-таки угодил Илье в плечо. Удар был сильным, опрокинул парня на спину, но в седле он каким-то чудом удержался.

На поляне белый поддал задом — всадник завалился, свесился, но снова усидел, словно прирос к седлу. И не переставал тянуть узду. Ссадины на лице, на плече темнел кровоподтек. Седок качался, как куль, оставляя на сучках клочья одежды. И когда в чистом поле сдерживаемый уздой взвился конь на дыбы, стало видно, что парень прижат в коленях ремнями к подруге. Очумевший скакун снова понес его.

Отчетливо пролегал рядом с шоссе старый проселок, круто обрываясь в реку.

Тихо шла по нему Саввишна в длинном сарафане и черном платке. Встала над обрывом, над водой, шумно обтекавшей замшелые сваи умершего моста. Оборвалась дороженька, будто в сердце бабьем оборвалось что-то.

А рядом шумит-живет современная трасса. Две дороги... По одной тихо ходит память. По другой мчат, как угорелые.

Иван увидел Саввишну из такси и сказал слепому брату, сидевшему на заднем сиденье:

— Серега, у егерихи расстанемся. Она тебя на лодке свезет, а то лесом мне с тобой еще часа два тащиться... План горит, понял?

Такси встает у тропинки к дому Марфы. Иван помогает выйти брату. Тот в неказистом костюмчике и неприметной рубашке с растегнутым воротом. А лицо радостное.

Рядом в кустах синица запела.

— Вань, синица! Помнишь?

— К холоду, наверно, — торопливо и невпопад буркнул озабоченный Иван.

Вышли на тропку, и Сергей сказал:

— Не надо, дальше я сам знаю.

— Ну, топай, — Иван выломал ему палку, подал. — Саввишна там у речки, придет — поможет. Послезавтра заберу тебя. Давай.

Он торопливо обнял брата и побежал к машине.

Зажатый с боков густым кустарником конь врезался в неглубокий ручей и бежал по воде.

Измученный всадник отпустил наконец повод, и белый встал. Илюшка уже был не в силах понять, почему вдруг остановился разгоряченный скакун. Отстегнув на коленях ремни, парень свалился в ручей. Жадно пил из пригоршней. Иноходец рядом тянул воду.

Солнце стояло высоко. Лучи сочились сквозь кроны в журчащий ручей.

Илюшка поднялся, его качало. Он побрел по ручью прочь от коня, то и дело падал. Белый двинулся за ним. Обернулся Илюшка, плеснул в следователя водой и бесильно выкрикнул:

— Пошел!

Конь не отставал. Камнем в него бросил Илье.

— Все! Все! Не могу я больше. Пошел! Стерпел иноходец.

— Уйди с глаз моих. Все... все... Не могу... — гнал его парень, чуть не плача. Сломал ветку, хлестнул. И это конь стерпел.

Тогда, не осознавая до конца, что делает, Илюшка протянул руку к морде белого и защелкнул наглазники. Дрогнув иноходец, протяжно, с пристонаем, заржал.

Илюшка полез в кустарник. Карабкался по заросшему склону. Сорвался. Все-таки выбрался из ручья на прогал в чащобе. И уходил, бормоча мучительно:

— Не могу. Прости. Не могу...

Призывное ржание коня резало уши. И стихло.

Сергей медленно шел проселком, соскальзывая в глубокую колею, оставленную грузовиком. Брюки его и пиджак были в грязи. Но юноша улыбался, вслушиваясь в долетавший временами звон лошадиного ботала. А когда услышал дальнего петуха, то едва не побежал на радостях.

Вышел из леса к подножию взгорка. И встала перед ним Макушка, какой он ее помнил: с пасущимся на склонах скотом, с рыбаками на озере, с сетями и лодками по берегу, с садами цветущими, с людьми в огородах, на улицах, с гомоном деревенского полдня...

Постукивает палкой слепой — отзывается родная земля.

Идет он мимо сколоченного из досок щита, на котором подкова пригвождена. Мимо оградки и холмика с красной звездочкой. Мимо поваленного дуба и бульдозера под осьминожьим корневищем. По улочке пустынной поднимается.

— Серега, ты ли че ли? — выхромал навстречу дед Левонтий.

— Я, дедушка, — обнял Сергей расчувствовавшегося старика.

— А мы с бабкой все думали... а ты и сам объявился, ладом.

Бабушка Матрена утирается платком, стоя в воротах, никак себя не наладит для встречи — текут слезы, хоть ты что с ними делай.

— Здравствуйте, бабушка Матрена, — опередил ее Сергей.

— Горемышной ты наш, — тоненько зачала старушка.

— Ну-ко у меня, — осек ее дед. — Ты не слухай ее, Серега, от радости она...

Сергей идет прямо к бабушке Матрене и обнимает ее за плечи.

— Ишь, заприметил меня, — успокаивается у него на груди старушка.

— Так я здесь все примечаю, бабушка, — смеется Сергей. — Вон кузня, там вон ель набатная, — точно показывает он на остов засохшего дерева с подвешенным к нижнему суку ржавым рельсом. — А там вон дуб-могуч.

Молчит старик, не проговаривается: не в радость будет гостю узнать, что случилось с его родной деревней.

Слепой идет вверх по улочке и кланяется на стороны, избам кланяется. И идет за ним воображаемый уличный шум.

Вот остановился Сергей напротив Илюшкиного дома и огорошил затаившуюся в грустном созерцании старушку:

— Здравствуйте, баба Оля! Что-то тихо. На покосах, видать, люди — страдают.

— Сerezушка, — молвила она и — платок к глазам, — зашел бы, наварено у меня, напечено.

Илюшка очнулся в траве. Мотнул головой. Приподнялся. Тихо кругом. Вскочил.

— Белый! — заорал он истошно и кинулся назад.

В ручье коня не было.

— Белый!

Хрустнуло в чаще и стихло.

В зарослях зиял пролом. Илюшка побежал по нему. И увидел коня, засевшего в развилке двух мощных стволов. Сзади его подпирала рухнувшая сухостоина. Он загнанно поводит боками.

— Белый, прости, — шептал парень, выводя стихшего иноходца из капкана. Сорвал наглазники и выбросил вон.

Какие большие глаза у лошадей. Большие и добрые.

И сочная зелень луга брызнула в просветы. И конь рванулся к солнцу, к траве, припал к луговине.

Скакун пасся. И его шершавые губы, казалось, нежно целовали землю.

Илюшка тыкался мокрым лицом в стриженую гриву коня.

— Я не трушу, Белый, ты не думай... я могу...

Скривившись от боли в плече, он забрался в седло и крепко обхватил шею напрягшегося

иноходца, приготовившись к изнурительной скачке. Но конь спокойно пошел по лугу.

Чем ближе к дому-горюну слепой, тем медленнее его шаги. Словно оглядывает его весь зоркой своей памятью. И смотрит окнами дом на него. И отраженно проходит в окнах Сергей. А в безжизненно-темных очках ответно изба отражается. Вот припал к рубленному в чашу углу: трепетно ощупывают пальцы растрескавшиеся запыленки. Стену оглаживает. К окнам подходит. Взгляд в каждое из них — взгляд слепого в свою цепкую зрительную память детства.

Тронули пальцы оконную раму — выглянул к слепому отец его, из другого окна — мать, а в третьем — братишка Ванька в вышитой косоворотке. Из подворотни рыжий пес выкатился с радостным визгом, лизнул в щеку. Во дворе всполошился гусиный выводок, и теленочек вприпрыжку из хлева выбежал...

По ступенькам крыльца взойдет Сергей — не спотыкнется.

Влетит в чердачное окно ласточка. Запищат под крышей птенцы. Улыбнется слепой, обрадуется братьям меньшим — одного они с ним гнезда.

И почудится Сергею на радостях, что за дверью с подковой наяривает гармошка развеселую барабушку и гремит безудержный русский пляс. Распахнет Сергей дверь — полыхнет в избе краткий миг воображаемого праздника и стихнет, рассеется.

В полной тишине пройдет слепой в избе к стене с фотографиями. И от прикосновения его рук будут кратко оживать и меркнуть снимки. На одном — маленькие братья играют с котом. На другом — плещутся в озере. На третьем — скатываются по стогу сена. Дальше — летят в березовых санках под угор. А вот — в проруби коней поят, сидя верхом на заиндевших крупах. Вспыхивает и гаснет радость деревенского детства.

Грустный снимок: младшему брату лет семь, старшему двенадцать — сидят на завалинке в обнимку, не радостен Ваня, и Сережа печален — он в черных очках. Не оживает снимок, сколько ни касаются его пальцы слепого. И в каком-то беглом нервном порыве вдруг перелетели чуткие руки к родительской фотографии и отпрыгнули, уколотившись о разбитое стекло в деревянной рамке.

Поздно вечером Иван забежал на городскую квартиру. Дверь открыла улыбающаяся Лидочка, обняла за шею, не торопится отпустить.

— Я за талонами на бензин, — осторожно

отстранил он ее.— Братана прокатил — бак пустой.

Он достал скомканые талончики из кармана пиджака, поцеловал жену и торопливо пошел к двери.

— А где он?

— Кто? — уже в дверях спросил Иван.

— Сергей.

— А-а, в Макушке, дома захотел побыть, — проговорил он, шагнув за порог.

Жена вскрикнула, налетела на закрывающуюся дверь.

— Лидок, тебе плохо?

Молчала.

— Открой!

Нашарил в кармане ключи, открыл.

Она стояла перед ним бледная, испуганная.

— Я попросила одного... Заплатила, конечно...

— О чем?

— Ну, ты ведь не смог... сам, и я попросила... поджечь.

— Что? Где он?! — вскричал Иван.

— Поехал туда.

— Инквизиторы, — прорычал Иван и кинулся вниз по лестнице.

Рыдающая Лидочка видела в окно, как рванулась с места «Волга» и понеслась под горящим клином уличных фонарей.

Мчится на Белом в сумерках Илюшка, никак с конем не расстанется. Лесом скачет. Полянами мчит... Припал к луке седла. В одной руке свободно опущенная узда, другой гривастую шею охлопывает. Слились конь и всадник в одно целое. Бросается скакун в реку. Вброд. Вплавь. Берег копытит. Вспархивают очумелые птицы. Гулко дробят подковы в лесной тиши.

— Э-эй! — кричит Илюшка, и эхо возвращает ему его радость.

Дед Левонтий треножит на луговине гnedую мягкими веревочными путами. Тряхнула головой кобылка — грянуло ботало.

И тут налетел набатный звон. Обернулся старик порывисто — стоит деревня. А набат летит над запертыми воротами, над мертвыми щеколдами, бьется в ставни... Над кладбищем, над озером летит.

Стоят запыхавшиеся старухи да Силыч перед слепым звонарем, бьющим тяжелым прутом в ржавый рельс под иссохшим деревом. Дед Левонтий приковывлял, встал со всеми. Молчат.

А слепой бьет и бьет в рельс. И темные очки смотрят в упор. И видится ему, как щеколды звякают в торопливых руках, окошки растворяются, двери и ворота — нараспашку. Бегут на зов жители Макушки —

много их: мужики, бабы, пацанва. Народ. Вот она какая, Макушка!

И такой быть должна...

И повернулся к «народу» слепой и крикнул в полный голос:

— Люди!

И эхо катнуло по-над озером трижды: «Люди! Люди! Люди!»

— Эх, проститься хочу... Тихо-то как...

Люди? — И уже испуганно позвал слепой: — Люди?

Дед Левонтий смекнул отозваться:

— Душа, не сердчай... все мы тута. — И чтоб сбить парня на другое, спросил с тягостной улыбкой: — Ты вот, Серега, сказать обещался, пошто синицы-то зеленые?

Не расслышал, видно, слепой, не ответил. В сумерках брел он к избе отчей, красно горевшей окнами на зарю.

Илюшка, опустив поводья, едет в темноте. Конь, кося глазом, перемахивает через кювет. Цокают копыта по асфальту. Под лунной отсвечивают на обочине «Жигули». Шарается в сторону Белый, пересекает дорогу и легким наметом подлетает к распахнутым воротам егерского дома.

Бабки сбрехнули и смолкли.

В окошках свет. В одно Савишну видно. В черном платке сидит она против фотографии на столе, убранной полевыми цветами. Заслыша цокот копыт, встала. На крыльцо вышла.

— Я уж думала, беда приключилась. День такой... В эту же пору своего проводила. Да... Ну, вижу, одолел коня-то.

— Завтра верну его на конный завод...

— Тем, кто его предал? — внезапно спросила Марфа.

Илья растерялся, невольно дернул повод, и конь пустился вскачь.

И понесся лунной лесной дорогой.

Конь и всадник разрывали смыкающиеся низовые ветви, пронзали мрак. И лишь когда скакун увяз в грязи, юноша пришел в себя. И тут заметил отсветы, мерцавшие над лесом.

Над макушками деревьев, со взгорка — там, где стояла деревня, возносились к небу красные сполохи. Илюшка снова погнал коня. Вырвавшись из леса, он ужаснулся: горел дом-горюн.

Испуганный пожаром жеребец тянул в сторону, но Илюшка направил его к горюновской избе, обогнав трусивших с ведрами стариков.

Белый промчался мимо окон, закусив удила.

Илья, откинувшись назад всем телом, тянул на себя повод, но конь уносил его. И увидел Илюшка, что изба вся светится изнутри, а посерединке горницы, растопырив руки, стоит его слепой друг.

— А-а-а! — страшно закричал всадник за околицей.

И крик его утонул в треске и гуле бушующего огня.

Тяжело бежал по лесу человек. Дико озираясь на зарево. У дома егерихи его перехватили собаки и гнали до самой дороги. Он спотыкался, падал, испуганно вскрикивал, полз на четвереньках. Наконец забился в «Жигули». Салонная лампочка выхватила из мрака перекошенное тупое лицо.

Машина судорожно взяла с места...

...На мосту, в снопах ослепляющего встречного света, сшиблись такси с «Жигулями» и, проломив перила, рухнули в воду.

Когда Белый снова вынес Илюшку к дому-горюну, все три окна уже были охвачены подсветкой пожара...

— Серега та-а-ам! — крикнул ему дед Левонтий, добывавший из колодца воду и крывающий старух, которые падали под тяжестью ведер и только голосили.

Всадник сдержал скакуна, выметнулся из седла и покатылся к занявшимся огнем воротам. Силыч едва успел окатить его из ведра, и тот ворвался в дымные сени. Открыл дверь в избу — дохнуло пламенем.

— Серега! — заорал Илья срывающимся от страха голосом.

Наверху затрещало.

За белой русской печью, прижавшись спиной к ней, стоял слепой.

— Се-ре-га-а!

Он услышал и замотал головой.

Плясало в багровых очках пламя, отрывалось и листьями, мертвыми листьями летело с гнушейся на ветру ветви. И на место упорхнувшей стайки листьев садилась стайка синиц и качалась на ветке и тенькала, тенькала перед крашеным резным наличником... Изба, целая и невредима, стояла в незрячих глазах, как в веках...

— Се-ре-га-а!

Предсмертная судорога качнула дом-горюн.

На мгновение высветило горестные стариковские лица.

Рухнула крыша. Вынесло крестом раму из окна.

И издали с нарастанием пошел — рефреном — набатный звон. И прорвалось сквозь него уже нездешнее Сережино:

— Лю-ю-ди-и!..

В ответах пожараща вздыбился красный конь.

Илюшка ткнулся лицом в грудь закаменевшего деда Левонтия. И полное ведро вырвалось из рук старика. И стремительно закрутилась в обратную сторону ручка ворота.

Стояла в огне лицевая стена дома-горюна. И вторило затяжное эхо отчаянному зову:

— Лю-ю-ди-и?!

С БОЛЬЮ И НАДЕЖДОЙ

Бывает, свернешь с асфальта на кривой проселок, протрясешься километров десять и наткнешься на дряхлые избы с дырявыми крышами, на заваленный прогнившим срубом колодец, на порушенный плетень и дикие заросли крапивы. Туда уже не подают электричества, не возят почты. И все же кое-где из труб поднимается соломенный дымок. Некоторые из упрямец не сдаются, доживают свой век на родине несмотря ни на что.

Молодой сценарист Леонид Корнилов показал именно такую современную обезлюдившую деревню. Ему, родившемуся в дальней уральской деревушке, горько видеть, как исчезает очередная живая точка на географической карте. Но во много крат горше волнует его судьба коренных жителей деревни Макушка, опытных мастеров-хлеборобов, покидающих один за другим родную, воспитанную ими землю и проторенные пращурами проселки и тропы.

Умирающая деревня так же, как высыхающие реки или опаленные химическими дождями леса, — один из сигналов, поданных беспечному человечеству о приближении глобальной экологической трагедии. Автор не говорит этого вслух и не позволяет разглагольствовать своим героям. Ему не нужен хитроумный кинематографический сюжет. Противоположность происходящих в Макушке бытовых ситуаций и без того держит читателя в напряжении. Выписанные с плакатным лаконизмом, простенькие с виду бытовые эпизоды таят в себе глубокий символический подтекст, и в качестве равноправных действующих лиц наряду с людьми выступают в сценарии и кони, и горюновская изба, и изнывающие от сытного травяного сока никому не нужные заливные луга.

Стоит ли упрекать молодого сценариста за формальные недочеты, которые он не сумел преодолеть в своей первой кинематографической работе? Думаю, что не стоит. Главного он добился: подал сигнал тревоги, выставил на всеобщее обозрение горячую социальную проблему и показал здоровые силы, способные защитить родное гнездо от бездушных.

Сергей Антонов



ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ПРИЕМЫХОВ (родился в 1943 году), актер и кинодраматург, окончил сценарный факультет ВГИКа. Лауреат Государственной премии СССР. По его сценариям поставлены художественные фильмы «Никудашная», «Дикий Гаврила», «Магия черная и белая», «Мой дорогой, любимый, единственный...» и ряд короткометражных лент.

Фильм по сценарию Валерия Приемыхова «Взломщик» поставил на киностудии «Ленфильм» режиссер Валерий Огородников.

ВАЛЕРИЙ ПРИЕМЫХОВ ВЗЛОМЩИК

Зал Дома культуры был полон. Зритель подобрался «свой», молодой, нетерпеливый, раскованный.

— В отборочном конкурсе могут участвовать и участвуют самые разнообразные коллективы — студенческие, заводские... Любых организаций...

Зритель хотел слушать музыку, поэтому в зале неожиданно загремели аплодисменты, дающие понять ведущему, что пора заканчивать.

— Спокойно! — сказал ведущий. — У нас отборочный тур. Уважаемое жюри определит участников финала. Вот там мы и услышим имена победителей...

— Лаушкин! — не раздумывая, определил зал будущего победителя, зазвучали аплодисменты. — Лаушкина давай!

— Ритмическое разнообразие, изящность инструментовки — вот что определит...

Ребята готовились к выступлению в большой музыкальной комнате.

— Что-то платье жмет, — пожаловалась

Ангелина — рослая, ухоженная девушка с неуловимо женственными движениями.

— Начинаем агрессивно, не размазывая, — сказал Костя Лаушкин.

— Ата! — в комнату заглянул Максим.

— Уже? — спросил Костя.

— Не, идите сюда, че покажу.

Он подвел их к комнате, на двери которой было написано: «Хоровая». На самом деле это был склад инструментов и аппаратуры для оркестра.

— Чья это? — у Кости загорелись глаза. — У них же нет своего коллектива.

— Был, — сказал Максим, — разогнали... Нам бы хоть на один концерт такую аппаратуру, да?

— Кто такие? В чем дело? — В комнате появился директор Дома культуры.

— Мы из судостроительного техникума, — сказал Костя.

— Вот и идите на сцену. Нечего здесь...

— Что ж у вас такая аппаратура валяется? Она денег стоит, — сказал Костя.

— Валяется, значит надо! — отрезал директор.

Появился замначальника по административно-хозяйственной части, и директор напустился на него:

— Откуда здесь посторонние?! Почему помещение не закрываете?!

— Ансамбль судостроителей «Скифы»!
— А-а-а-а! — отозвался зал, заплодировал.

— Руководитель — Константин Лаушкин!

— А-а-а-а!

Максим ударил в барабан, погас свет, вступил оркестр.

В зале среди восторженных зрителей — трое парнишек из интерната. В центре группы сидел довольный Семен Лаушкин, а его приятель Демьяненко, по прозвищу Демьян, вертелся в кресле, говорил, указывая на Семена:

— Он брат Кости Лаушкина! Скажи, Семен... Честно — родной брат! Не верят, понял? Брат!

В спальней комнате интерната, коек на десять, спали мальчики. Солнце только показалось, до подъема оставалось еще часа полтора — сон самый сладкий. Спали в разных, иногда странных позах: кому-то было жарко, кто-то, наоборот, укрылся с головой, один шевелил во сне губами, другой блаженно открыл рот. Семен Лаушкин улыбался, даже хохотнул, вот-вот проснется, но нет...

Старшеклассник Бойко — рослый парень с первыми в жизни усами, с повязкой дежурного на рукаве — вошел в палату, отыскал по списку дежурного. Подошел к кровати какого-то подростка. Тот вскочил, автоматически открыл тумбочку, достал зубную пасту, щетку... но тут проснулся наконец, помотал головой и уставился на спящих товарищей.

— Ты чего? — накинулся он на Бойко.

— Лаушкин? — спросил тот.

Подросток без слов нырнул в постель и укрылся с головой.

Бойко потрогал за плечо его соседа.

— Иди отсюда! — закричал очередной не-лаушкин.

Семен уже лежал с открытыми глазами.

— Ты че к ним пристаешь? Я — Лаушкин.

— Ты дежурный, — сказал Бойко. — Помнишь?

Семен, собрав всю свою волю в кулак, отбросил одеяло и вскочил с постели. Шатаясь со сна, собрал все для утреннего туалета, поплелся из палаты. По пути остановился у окна. День обещал быть солнечным, жарким. Море — ровное, чистое и блестящее, без единой морщинки — расстилось до горизонта.

В столовой дежурные расставляли посуду. Семен раскладывал хлеб по тарелкам, ста-

вил в окошко. Ребята подходили, уносили на столы.

Бойко доедал вторую порцию манной каши. Остановил парнишку, ровесника Семена:

— Повторить, гарсон!

Тот пришел с тарелкой к Семену.

— Третью просит, — сказал он. — Может, лопнет?

Семен взял тарелку, подошел к бачку с кашей, отодвинул крышку, черпаком набрал порцию. Принес к окошку, взял солонку и щедро посыпал кашу.

Бойко взял ложку и стал есть, не морщась. Семен и парнишка задумчиво наблюдали за ним.

— Скотина, — обронил паренек.

— Знаешь что, — сказал Семен, — подойди и скажи, что я ему в кашу наплевал.

Тот чинно подошел к Бойко и сказал:

— Товарищ командир дежурного отряда!

— Ну?

— Лаушкин наплевал вам в кашу.

Бойко поперхнулся, отбросил ложку, вскочил, бросился к Семену. Через окошко перескочил в кухню, гонялся за ним между котлами и печью, потом по коридору, потом между столиками в столовой. Когда Бойко загнал его в угол, Семен опрокинул на него стол.

В радиорубке воспитатель Игорь Власович поставил диск на проигрыватель. По всему интернату негромко зазвучал духовой оркестр. Дверь отворилась, Бойко втолкнул в рубку взъерошенного Семена.

— Лаушкин побил посуду на кухне, — доложил Бойко.

— Это он за мной гнался, — сказал Семен.

— Почему ты за ним гнался? — обратился Игорь Власович к Бойко.

— Он наплевал мне в кашу.

Игорь Власович вздохнул:

— Иди, я с ним разберусь.

— Только вы его накажите.

— Я не плевал, — сказал Семен, когда Бойко ушел, — я пошутил...

— Шуточки у вас, боцман, — пробормотал Игорь Власович. — Лишаю тебя очередной игры, понял?

— А кто на флейте будет? — резонно спросил Семен.

— Морозов.

— Он болеет.

— Выздоровеет, лишу тебя игры...

Семен кивнул.

Назавтра день выдался молодой, майский. Небольшая площадь была заполнена родителями и дошколятами — детские сады, сразу три или четыре, выезжали на дачи.

В центре площади, среди прощающихся родителей и отбывающих детей, выстроился серьезный духовой оркестр интерната. Его руководитель Игорь Власович уловил поданный ему знак, сказал деловито:

— Номер четыре.

Интернатовцы зашелестели нотами, кто попытнее — сразу подняли инструменты, тромбонист толково поплевал на кулису инструмента.

— По автобусам!

Оркестр грянул «Прощание славянки». Начались проводы, как на войну. Сначала заплакали мамы, потом девчонки, следом уже и пацанята. Взмокшие воспитательницы, серьезные общественники, хмурые папы пытались навести какой-то порядок; если нет, то хотя бы не тянуть проводы. Кого-то на руках втаскивали в автобус, а он отбивался. Наиболее мужественная группа уже рядками сидела в автобусе и пела задорную песню, а мамы за окнами плакали и кричали что-то напутственное.

Главный руководитель всего этого дела говорил в мегафон:

— Спокойно, граждане! Садимся по порядку в автобусы!

Для общей неразберихи взывала сирена машины сопровождения ГАИ. Голос оттуда мрачно отчеканил:

— Движение колонной с включенными фарами! Замыкающего колонну ко мне!

Сине-желтая машина милиции помчалась во главу колонны.

Оркестр садился в неказистый автобус «Кубань», над передним стеклом которого гордо было написано: «Интернат № 4».

Колонна тронулась: машина ГАИ, автобусы с детьми, замыкающая ГАИ и интернатская «Кубань». Проехали немного, и «Кубань», отделившись от колонны, свернула.

Тут шел свой разговор, далекий от проводов.

— Ты, Лаушкин, дважды налажал,— сказал Игорь Власович.

— Где?! — возмутился Семен.

— А вот, второе колено: «Ис-с-стал Исс-та!» Такт надо было пропустить. Ты в трио врзался.

— Это труба! Я за трубой пошел!

— При чем здесь труба? — возмутился Демьян.— Сам налажал!

— Тихо, тихо! — сказал Игорь Власович.— Сегодня вечером, после ужина, играем шефам торжественную часть. Там недолго. Из окон автобуса был виден город — южный, роскошный, большой. Кафе на открытом воздухе, нарядная публика, фонтаны, белые корпуса гостиниц...

— Когда я плавал, самое трудное для молодого моряка был не шторм,— сказал ребятам Игорь Власович.— А что?

— Отдых в порту! — дружно ответили ребята.

— Вот! Эти граждане на улицах — отдыхают. Весь год они работают, иные под землей или на дальнем Севере. Поэтому денег не берегут, гуляют, веселятся один месяц в году. Пусть вам не покажется, что жизнь — сплошная гулянка!..

Семен не успел дойти до своей палаты. Здоровые руки сгребли его, развернули к себе.

— За что? — закричал Бойко ему в лицо, затряс.— За что, я спрашиваю! Я тебя задавлю сейчас!

— Отстань! — заверещал Семен, когда прошла оторопь.

— Я тебя хоть пальцем тронул? — кричал Бойко.

— А я что? — не понимал его Семен. Бойко отшвырнул Семена, запал его пошел на убыль.

— Ну, обижен, подойди, потолкуем... Мы ведь из одного интерната!

— Че ты пристал-то? — сказал Семен.— Нервный — иди лечись!

— Певец этот — Костя Лаушкин — твой брат?

— Ну?

— Подваливают на танцах, отвели в сторону: «Это тебе за Семена!». И вот,— Бойко показал на синяк.— Я справку взял, что у меня травма, понял?

— Я нечаянно,— сказал Семен,— я просто так... И Костя тут не при чем...

— Милиция разберется, кто при чем! Я уже поговорил кое с кем. Так и передай...

Семен прошел по сверкающему паркетом коридору, постучал в дверь с табличкой: «Воспитатель».

— Игорь Власович, я сегодня не могу играть,— с порога сообщил он.

Игорь Власович посмотрел на него вопросительно.

— Мне в город надо,— пояснил Семен.

— Зачем?

— По семейным делам.

Игорь Власович не очень поверил.

— К брату,— поправился Семен.

— По улицам поболтаться, на отдыхающих посмотреть?

Семен покачал головой.

— Или послушать, как твой братец беснуется со своими дружками?..

— Мой брат настоящий музыкант.

— Где он учился музыке? Что кончил?

— «Битлз» тоже ничего не кончали,— упрямо сказал Семен.

Игорь Власович вздохнул:



— Ты сейчас увлекся инструментом, играешь в оркестре. Хочешь научиться играть по-настоящему, профессионально?

— Нет,— сказал Семен определенно.

Этого Игорь Власович не ожидал совсем. Огорчился, обиженно помолчал.

— Зачем ходишь? Можешь не ходить, я никого не принуждаю...

— У меня брат музыкант,— сказал Семен.— Я из-за этого хожу...

— Опять брат! — не сдержался Игорь Власович.— Ты сам-то кто? Сам по себе кто ты — Семен Лаушкин?

— Не знаю,— честно сказал Семен.

— Есть у тебя своя мечта? Своя, не братова, не дядина, своя?

— Я еще не думал,— еле слышно сказал Семен.

Игорь Власович развел руками.

— А у вас какая мечта? — неожиданно спросил Семен.

— Сделать из вас настоящих людей.

— Ну уж из всех! — усомнился Семен.

— Лучше иметь трудновыполнимую мечту, чем жить как некоторые — куда понесет. Так живут мещане — куда ветер, туда дым. Иди, отпускаю тебя. Иди и подумай: ты — человек без мечты...

И Семен ушел.

Разговор с воспитателем не прошел для Семена бесследно. Он остановил в коридоре своего приятеля Демьяна и спросил:

— У тебя мечта есть?

— Магнитофон, — не раздумывая сказал Демьян.

— А что бы ты воспитателю сказал?

— Мечтаю быть космонавтом,— четко сказал Демьян.

— Врун!

— Человек без мечты — что птица без крыльев,— назидательно сказал Демьян.

Семен смешался с городской толпой. Как во всяком приморском городе толпа на улице четко разделялась на тех, кто отдыхает здесь, и тех, кто живет, работает. Отдыхающие шли медленно, обязательно чем-то восхищались или что-то ели. Местные, наоборот, шли быстро, не глядя по сторонам, не обращая внимания ни на море, ни на привычные красоты юга.

Семен своим ключом открыл дверь квартиры, прошел в отцовскую комнату. Не сказать, чтоб комната была не прибрана — ее убрали, но не из любви к порядку и чистоте, а по надоевшей обязанности. Оттого казалась она временным пристанищем непостоянных людей.

В роли Семена Лаушкина — Олег Елыкомов

— Не отпущу, сбежишь?

Семен кивнул.

— Сядь, пожалуйста,— сказал Игорь Власович.

Игорь Власович искренне хотел добра своему воспитаннику. Семен искренне не хотел обижать своего воспитателя. Но так получилось, что они, будто назло, говорили друг другу неприятное.

— Сеня,— начал Игорь Власович,— пойми меня правильно... Ты из неблагополучной семьи, верно? Тебе здесь созданы все условия: какой у нас спортзал, какие классы, чистота. Живи, учись. Почему вас, чертей, на улицу тянет, скажи, пожалуйста?

Семен по школьной привычке посмотрел в потолок. Игорь Власович решил подойти с другой стороны.

— Я понимаю, возраст — хочется побаловаться, похулиганить, а тут режим, занятия, я привязываюсь со своими нравовыми — надоедает...

Семен вздохнул, неопределенно пожал плечами.

На столе не прибрали после завтрака. Семен обратил внимание, что завтракали двое — две тарелки, две вилки. Семен убрал хлеб, собрал посуду. На кухне он включил воду, закатал рукава.

— Сеня! — вошла соседка. — А я думала, кран потек...

— Костя ночует? — спросил Семен.

— Был. Но не ночевать, ругаться приходил. Твой отец невесту привел, слышал?

— Хорошая?

— Таких хороших до Москвы не переставишь...

— Работает?

— Не напрягается, видать, — сказала соседка. — Ты отца ждать будешь?

— Не знаю...

— Кран не забудь закрыть, — сказала соседка и ушла.

Семен начал мыть посуду.

На судоремонтном заводе несколько небольших судов стояло на плаву, одно в доке. Работал кран, настырно молотила пневматика на клепке. Несколько человек в масках варили уголки на земле.

— Максим! — крикнул Семен.

Один из сварщиков разогнулся, снял маску и оказался уже знакомым нам ударником из ансамбля «Скифы».

— А я вас в техникуме искал, — сказал Семен.

— У нас практика, — пояснил Максим.

— Костя у тебя ночует?

— Угу.

— Где он сейчас?

— Так у отца зарплата сегодня.

— Ах-ха! — хлопнул себя по лбу Семен. — Как я забыть мог!

У конторы СМУ кучковались мужики. Опытный взгляд сразу бы подметил, что они собрались здесь за получкой.

Семен обернулся на знакомый свист, увидел Костю на бетонных плитах перекрытия.

— Братан! — обнял его Костя. — Я по тебе соскучился. С занятий сбежал?

— Отпросился. Костя, зачем вы Бойко побили?

— Так ты же сам...

— Я просто так сказал...

— Пусть знает.

— Он на тебя в милицию заявил.

— Враки! Побойтся...

— У него справка.

— Псих ненормальный, — ласково сказал Костя. — Ты из-за этой чепухи пришел?

— Да. Не ходи пока в ДзКа.

— Не пойду.

— Я так и знал, что ты здесь.

— Естественно. У папы зарплата сегодня. Боюсь, до дому не донесет.

— А где он?

Костя хихикнул.

— Чует, что я его тут караулю!... «Фросю» себе завел, понял? Я уж ее выгнал один раз...

— А он что?

— Подрались.

— Ты у Максима ночуешь?

— Ну да... Гля, гля! — оживился Костя. Василий Лаушкин, отец, неторопливо, с осанкой запорожца после удачного набега, показался в дверях конторы.

— Ох-ох! — развеселился Костя. — Командир!

Спрыгнул с плит, заорал так, что ближние оглянулись:

— Папочка! Отец! Папаня! Мы тут!

Лаушкин запоздало сунул деньги в карман.

— Папаня! — говорил Костя. — Сыночек не узнаешь?

Смуценно поглядывая по сторонам, отец сказал:

— Что тебе тут — представление? — Обнял Семена, ткнул щекой куда-то в ухо.

— А меня? — не отвязывался Костя.

— Облезешь! Вы чего не на занятиях?

— Сколько получил? — деловито спросил Костя.

— Девяносто.

— А премия?

— Не было.

— Лапшу-то на уши не вешай.

Отец вздохнул, глянул на небо:

— Сколько тебе?

— Пятьдесят, — не думая, брякнул Костя.

Старший Лаушкин сунул руку в карман, стал там отсчитывать деньги. Это было неудобно — возиться в кармане такими чужными пальцами.

— Вынь, вынь, — посоветовал Костя. — Не отберем.

— И в кого ты такой? — тоскливо сказал отец. Вытащил несколько бумажек, дал Косте.

— Тут тридцаты! — возмутился Костя, хотя надеялся только на четвертной.

— Стипендию получаешь, — сказал отец.

— Семену червонец, — приказал Костя.

Отец опять полез в карман.

— Все нормально у вас? — спросил потом.

— Нормально, — сказал Костя.

— Домой не придешь? — с надеждой, что не придет, спросил отец.

— Только ты не вздумай, — сурово сказал Костя, — прописать эту «фросю» в нашу комнату, понял?

— Не твое дело.

— Я в охрану детства пойду, понял?

Честно, пойду и скажу, что нас выгнали из дому.

— Вы ж сами не хотите!

— Наше дело, а прописывать не вздумай.

— Сами не хотят...— бормотал отец.

— Чтоб на тебя пьяного глядеть? — сказал Костя.— Много радости.

Семен любовался братом. Старший был ладен, весел, открыт, отчаян. Они шли по улице. Костя напевал какую-то тему, прищелкивал пальцем, изображая то саксофон, то тромбон. Прохожие косились, девчата улыбались.

Костя подмигнул брату:

— Хорошие вести, братан. Мы прошли отборочный конкурс. Играем целое отделение.

— Все знают, что вы самые лучшие,— не удивился Семен.

— Ясное дело. Но я все жду, когда нас понимающие люди заметят. Признают, аппаратуру дадут... Сразу техникум брошу.

Костя то и дело встречал знакомых ребят его возраста, постарше. Компании были чем-то неумовимо похожи. Костю здесь знали, уважали. Вот он достал десятку, вернул кому-то долг.

Вот увидел еще знакомых. Подошли к Семеном.

— Деньги есть? — спросили его после рукопожатий.

— Есть.

— В «железку»?

— Давай!

Игра в «железку» проста. Берется купюра, смотрится ее номер, называется комбинация из двух, к примеру, последних цифр. У кого больше — тот забирает деньги.

— Первая и третья,— заказал Костя.

— Пятнадцать,— ответил парень и выиграл у Кости десятку.

— Пойдем, Костя,— потянул его Семен.

— Давай еще! — потребовал Костя.

— Нам хватит,— сказал противник,— а то вдруг отыграешь.

На лице у Кости появилось то хищное выражение, которого Семен не любил и боялся. Обаятельная улыбка исчезла, а в руке оказалась отвертка — обычная рабочая отвертка.

— Две первых,— сказал побледневший противник.

Костя проиграл последнюю десятку.

— Говорили же! — сказали парни.

Братья пошли дальше.

— Забери,— Семен протянул Косте свои деньги.

— Спасибо, братан,— опять обаятельно и ласково сказал Костя, но деньги не взял.

— Денег не жалко? — спросил Семен.

— Жалко. Мне на концерт новая рубашка нужна,— сказал Костя.

— Зачем у тебя отвертка?

Костя уже забыл неприятное, удивленно посмотрел на брата.

— А! Это с практики захватил, случайно...

— Ты бы его ударил?

— Не знаю,— искренне сказал Костя.

Они добрались до школы, где учились раньше. Знакомыми коридорами прошли в конец этажа, остановились у дверей десятого класса. Костя приоткрыл, заглянул — шел классный час. Костя широко распахнул дверь.

— Здравствуйте, Геннадий Кузьмич!

Класс радостно загудел, увидев признанного певца Костю Лаушкина, даже аплодисменты раздались. Геннадий Кузьмич прищурился, не узнавая бывшего ученика.

— Это Костя Лаушкин! — наперебой галдели десятиклассники.— Привет, Костя! Он в школьном ансамбле играл, Геннадий Кузьмич!

— Зайди,— сказал Геннадий Кузьмич.— Тихо!

Костя прошел к доске, приветливо помахал классу рукой.

— Когда же ты кончил? — все еще не узнавал Геннадий Кузьмич.

— Два года назад. Помните, я на выпускной вечер негра с греческого парохода привел, он ритуальный танец плясал.

— А-а-а! — вспомнил Геннадий Кузьмич.— Как же, как же! Соскучился по школе?

— Нет, Геннадий Кузьмич, я ребят пришел на свой концерт пригласить.

Ребята обрадовались.

— Тихо! — сказал Геннадий Кузьмич.— В каком ты теперь качестве?

— Студент второго курса судостроительного,— сказал Костя.

— Молодец,— похвалил Геннадий Кузьмич.— Значит, все-таки взялся за ум. Объясни этим переросткам, что если они сдадут плохо на аттестат, то института им не видать.

— А они и не собираются,— сказал Костя.

— Кто хочет попасть в институт? — спросил Геннадий Кузьмич.

Класс дружно поднял руки.

— Врут, Геннадий Кузьмич,— убежденно сказал Костя.— Хотят хорошие оценки в аттестат, чтоб родители не ругались, а так пойдут в пэтэу или работать. Сегодня такая мода.

— Значит, по-твоему, все скопом помчатся в пэтэу?

— Лучше помчатся. Вот Селищев...

Все оглянулись на толстого Селищева.

— Его родители заставят поступить в институт.

Класс дружно рассмеялся.

— Тебя тоже заставили? — спросил классный.

— Не. Просто там раньше оркестр был хороший. Помните «Стандарт», пацаны?

— Помним! — зашумел класс.

— Не понимаю вашего легкомысленного настроения.

— Жизнь прекрасна, Геннадий Кузьмич! — сказал Костя.

Он посмотрел пристально на красивую Ангелину за вторым столом. Она опустила чуть подкрашенные ресницы.

Геннадий Кузьмич оглядел смеющийся класс, взрослых уже людей с несерьезным настроением, жаждой движения, перемен — чего угодно, только не рассудительности.

— Возможно, возможно, — сказал старый классный и пошел к выходу.

Класс стоя проводил педагога.

Костя вскочил на переднюю парту, с каким-то веревочным умением свободно подчиняться строгости ритма закачался, закрыл глаза, резко выбросил вперед руку, щелкнул пальцами:

— Раз! — Закачался, убыстряя ритм, потом подряд, как барабан, задавая ритм оркестру: — Раз — два — три — четыре!

Запел неожиданно тонким пронзительным голосом:

— Па-а-а-аследний день!

— Последний день! — подхватил класс в стиле «рок». — Последний день!..

— Мы просим вас, учителей!

— Уа-уа-уа-уа! — отозвался класс.

— Не мучить маленьких детей!..

— Уа-уа-уа-уа! — отвечал класс, упоенно танцуя.

Расходились на улице.

— Всех приглашаю, всех! — крикнул Костя.

Сам пустился догонять девчонок, хотя интересовала его только одна Ангелина. Семен — за ним.

— Ангелина! — крикнул Костя.

Она подошла. Подружки ждали, переხихивались.

— Сегодня приходи обязательно! — сказал Костя. — Репетируем!

— Какой большой стал, — сказала Ангелина Семену. — Наверно, уже девушка есть?

— Нету, — буркнул Семен.

— Хочешь, с подружкой познакомлю! — засмеялась Ангелина.

— Так придешь? — нетерпеливо спросил Костя.

— Не знаю, — сказала Ангелина.

— А что тут знать! — заволновался Костя. — Нам же играть!

— Туда же? — спросила она намеренно незаинтересованно.

— Ну да, к Максиму.

— Пошла я, — сказала она, то ли соглашаясь прийти, то ли отпрашиваясь, то ли сообщая.

Ушла, покачивая бедрами.

— Придет, куда денется, — сказал Костя.

— Все любишь? — спросил Семен.

— Люблю, гадство! Аж неудобно!

Квартира у Максима была просторная. Мебель в большой комнате сдвинули, частью вынесли, чтоб высвободить место для ударной установки, пианолы, контрабаса.

Когда Костя с Семеном пришли, там уже играли. Максим стучал на барабане, какой-то парень подыгрывал на электрогитаре. Басист подтягивал струны. Две девушки сидели на диване, смеялись.

Костя с Семеном принесли много мороженого в стаканчиках, одарили всех.

— Привет, привет! — раздалось. — Ну, как дела? Покажем? Ангелина придет?

— Позже, — сказал Костя и взял гитару. — «Скифы!» Покажем всем!

— Да! — закричали все. — Да!

— Раз — два — три — четыре!

И они заиграли для разминки.

С фотографии на стене смотрели на них родители Максима, отец и мать, оба в форме торгового морского флота. Семен вздохнул, отводя взгляд от фотографии.

— Твои скоро вернуться? — наклонился он к Максиму.

Максим, продолжая стучать в барабан, замотал головой: «не скоро».

Семен еще посидел немного, потом помахал брату рукой. Тот наклонил голову, отпуская и прощаясь.

Лаушкин-старший, склонив голову к старенькой гармошке-тулке, наигрывал попури из песен своей молодости. Лицо его грустнело, становилось торжественнее или веселее в зависимости от мелодии.

Женщина сидела напротив, слушала, уютно подперев рукой подбородок.

Лаушкин сидел спиной к двери и не слышал, как вошел сын. Зато женщина поднялась торопливо, испуганно.

Отец обернулся, отставил гармонь.

— Сенька! Сынка, иди обнимемся!

— Ладно тебе...

— Как я по тебе соскучился. Твой папка по тебе скучает, милый мой!

Отец делал вид, что они вдвоем, будто в комнате нет никакой женщины. Она не знала куда деваться. Стала нелепо смахивать несуществующие крошки на столе. Семен обра-



В роли отца Лаушкина — артист Юрий Цапник

тил внимание, что стол накрыт чистой скатертью, а посуда блестит.

— Редко ты вспоминаешь своего папку,— говорил Лаушкин.— А ведь он помнит, переживает! Даже за этого чертова сына Костю и то!

Отец пяткой старался затолкать подальше под стол начатую бутылку вина.

Женщина неслышно покинула комнату.

— Сеня, милый мой!— у отца круто переменялось настроение.— Умерла наша мама, один ты у меня остался, одна надежда... Костя,— у него в этот момент высохли слезы,— это не Лаушкин, этот подлец в материну родню, в Ратниковых! Зарежет — не поморщится — родного папку. Ты у меня одна надежда. Я так всем и говорю...

— Ладно тебе...

Семен собрал посуду и понес на кухню. На кухне женщины не было. Он посмотрел в ванной, в туалете...

Она стояла на лестничной площадке.

— Че вы ушли? Сидели бы...

— Ладно,— согласилась она.

Заняв положение более сильного в таких обстоятельствах, Семен потерялся, молчал мучительно. Она смотрела на него, вроде ждала приказа кинуться в огонь, куда угодно.

— Как вас зовут?

— Катя... Екатерина Сергеевна...

Они опять помолчали.

— У вас давно?— выдавил Семен.

Она кивнула.

— У вас серьезно... или так?

Она замотала головой — «не так, не так».

— Так вы бы... официально...

По смущению он не мог выговорить «поженились». Она поняла.

— Сеня...— благодарно-робко сказала женщина.

Хотела погладить его. Он резко отвел голову. Она, будто обжегшись, отдернула руку.

— Только ведь надо как-то, чтоб...

— Я все готова делать,— всхлипнула женщина.— Только ведь они не выпускают из комнаты, соседи ваши. Ни посуду, ни пол помыть... Ругаются. Вы, Семен, не подумайте...

— А вы можете повлиять, чтоб отец не пил?

— Он обещает... Я уж как его просила!..

...Семен зашел в комнату к соседям. Они рядком сидели у телевизора.

— Садись,— сказал дядя Саша.— Видел эту?..

— Вот уж нашел,— сказала соседка.— Зато она, наверно, выпить может много...

— Теть Мань,— сказал Семен,— непьющая она, а вы ей проходу не даете...

— А ты как хотел? Захожу как-то на кухню, а она в Наденькином фартуке — матери твоей, в ее фартуке какую-то дрянь варит...

— Пусть носит,— сказал Семен.— Че же вещам пропадать теперь... Может, у них что-нибудь выйдет.

— Что у твоего папаши может выйти. Лаптежник!— сказал дядя Саша.

— Он, кстати, на одном месте двадцать лет работает, и на работе его хвалят...

— Такие же, наверно, и хвалят,— сказал дядя Саша.— Вон давай я у пивной кому-нибудь бутылку поставлю, он меня знаешь как хвалить будет!

— Он вас из дому выгнал,— сказала тетя Маня.

— Это наше дело, поняли?!— закричал Семен.— Наше личное дело, и не суйтесь. Можете помочь — помогите.

— Бог подаст,— хладнокровно сказал дядя Саша.

Семен высочил из комнаты. В темном коридоре приложил голову к холодной стене, чтоб успокоиться, долго стоял так.

Молодой народ осаждал Дом культуры. На входе стояли обычные билетерши, но рядом — ребята с красными повязками на рукавах. Семен, Демьян и несколько ребят из интерната с трудом пробирались через толпу. Тетка рукой перегородила вход.

— Я — брат Кости Лаушкина,— солидно сказал Семен.

— Мало ли что!— затрепыхалась тетка.

— Пропустите, пропустите!— сказал парень с повязкой.— Привет, Семен. Сколько с тобой?

— Шесть.

Парень вручил билетерше шесть контрамарок. Тетка пересчитала их, пропуская Семена и компанию.

Парень с повязкой говорил с Семеном уважительно, как с человеком посвященным:

— Костя не говорил, что там за «Черные воротники»? Савченко?

— Плевать!— сказал Семен.

— Нет, Костя его положит, естественно... Но разговор! Говорят, тяжелый рок...

— А ты слышал новую Костину?— спросил Семен и напел:— Ла-ла-ла-лала!

— Конечно, Костю не перешибешь,— сказал парень.

Молодые шли и шли, заполняя до отказа сначала фойе, потом зал.

Мода и кумиры меняются быстро. Первым выступал ансамбль еще вчера модного «бардового» направления. Меланхолично, романтично пели на сцене о далях, загадочных любимых, о зове сердца... Зал реаги-

ровал вяло, изредка раздавались свистки, аплодисменты посреди песни, возгласы: «Лаушкина!»

Аплодисменты. Оркестр на сцене держался до последнего.

— Кончай!— кричал кто-то.

Зал хохотал. Каменные билетерши стояли у дверей. Улыбался молодой милиционер. Представительный директор Дома культуры строго смотрел на особо активную группу зрителей:

— Имейте совесть!— сказал он громко, на весь зал.— Они же для вас играют!

Взъерошенный, уставший от переживаний Семен сидел за фонарем в осветительской ложе рядом с верным Демьяном.

Барды отмучились, получили жалкие аплодисменты, ушли.

В маленьком перерыве на сцене выстраивали аппаратуру для следующего оркестра.

— Ух ты!— сказал Демьян потрясенно.— Смотри, какая у них аппаратура.

В осветительскую ложу вошел парень в черном бушлате с какой-то насадкой на фонарь, фильтрами.

— Кто пустил?— спросил у ребят, жуя резинку.

— Я — брат Лаушкина, — сказал Семен.

Парень посмотрел на него выразительно:

— Хе-хе-хе...

В зале погас свет. Причудливые тени поползли по сцене, было видно, как там передвигались какие-то темные фигуры. Резкая дробь барабана стегнула по залу. Зажегся свет. Ведущий в бабочке резко вскинул руку вверх, кинул:

— «Черные воротники!»

В жюри кто-то спросил:

— Чей коллектив?

— Завод «Электрон».

— Лаушкина давай!

Но зал не поддержал крикуна. Первое, чем заворожил его новый оркестр, — на всех одинаковые черные бушлаты.

— Савченко!— коротко бросил ведущий.

Из-за кулис, в таком же черном бушлате, быстро вышел Савченко, и грянул оркестр. В общем, зал был «куплен» новенькими. Качался в такт музыке, хлопал на удачное соло, отбивал такт...

— Здорово!— обернулся Демьян к Семену и осекся.

Семен выбрался из зала.

... В музыкантской разыгрывались «Скифы». Костя, Максим, Ангелина, еще два паренька — бас-гитара и труба. Ребята полуодетые, Костя еще голый по пояс. Одна Ангелина с иглопочки, готовая хоть сейчас на сцену.

— Ну что там?— спросил Костя у Семена.

— Лабухи!— небрежно сказал Семен.— На публику работают... Аппаратура — ничего.

Заглянул парень, ведущий концерт:

— Готовьтесь!

— Дайте им!— сказал Семен.

— Иди, иди,— сказала Ангелина,— дадим...
...«Черные воротники» под овации покидали сцену. Их вызывали снова и снова. Ведущий успокаивал разошедшуюся публику.

— А теперь,— с ухваткой спортивного комментатора заговорил он, набрал воздуха и выкрикнул:— «Скифы»!

— Савченко! Сав-чен-ко! — проскандировал кто-то, и многие подхватили.

Ангелина, садясь за фортепьяно, удивленно посмотрела в зал. Сухо постучали палочки Максима, задающего ритм, зажглись разноцветные огни. К микрофону с гитарой вышел Костя, приветственно поднял руку. Его поклонники,— увы!— теперь уже несколько охладевшие, захлопали.

Костя неузнаваемо изменился на сцене. Из сутуловатого паренька довольно шпанистого вида он превратился в красавца, изысканно, изящно одетого в рубашу с широкими рукавами, большим отложным воротником, в узких брюках, легких сапожках. Он начал петь, и в зале наступила тишина. Казалось, он переломит зал, вернет его симпатии, но «Черные воротники» только что показали, что такое звук в этом большом зале. «Скифы» рядом с ними казались провинциалами. И к середине песни зал все громче и громче «задышал», зрители задвигались, переговариваясь потихоньку.

Костя кончил песню. Раздались аплодисменты, но поклонники новеньких закричали:

— «Воротники»! Савченко!

Лицо Кости исказилось гримасой — неприятной, жалкой, злой... Он обернулся, коротко что-то приказал Максиму, тот ударил в барабан. Началась следующая песня, но зал шумел, уловив неуверенность исполнителя...

Неожиданно Костя прекратил песню, вставил микрофон в стойку и быстро ушел со сцены. Оставшись без руководителя, растерянные «Скифы» по инерции продолжали тему, потом неуверенно смолкли...

Поднялся шум, и на весь зал раздалась убийственная реплика директора Дома культуры:

— Имейте совесть, они же для вас стараются!..

Семен закрыл глаза ладонью, сжался.

Раздавленные неудачей «Скифы» сидели в квартире Максима. Семен забился в темный угол, Костя ходил по комнате. Крутолобый Максим упорно чертил что-то на листе ватмана.

— Что я с вами связалась?— сказала Ангелина.— Меня «Крылья» приглашали...

— Что они умеют, «Крылья»?— сказал «труба».

— Мы много умеем!

— Все дело в аппаратуре,— сказал Костя.

— Да,— сказал «бас»,— на приличный зал мы работать не можем, аппаратура не тянет...

— И свет нужен,— подал голос Семен.

— Все это разговоры для бедных,— сказала Ангелина.— Распадаемся?

— Ни в коем случае!— быстро сказал Костя.

Но слово было сказано, и все задумались.

— Как этот директор сказал?— недобро усмехнулась Ангелина.— «Стыдно, они же для вас стараются»... Я думала рухну, умру — не встану... «Стараются»!

— Жлоб,— коротко сказал «труба». — Кто он такой?

Все помолчали.

— «Битлы» тоже вначале... — Семен решил подбодрить ребят.— Их тоже не признавали.

— Заткнись!— закричал Костя.

— Ой, не могу!— захохотала Ангелина.— Ой, держите меня — «битлы»!

Максим отодвинул лист бумаги к середине низкого столика, отбросил карандаш.

— Все свои?

«Свои» вопросительно уставились на него.

— Нужна аппаратура, согласны?

— Что ты тянешь?— не выдержал Костя.

— Дальше?— начиная понимать, потребовала Ангелина.

— Так вот, смотрите,— Максим показал на свой чертеж.— Помните? Это черный ход, это окна первого этажа, вахтер здесь...

— Не понял...— всполошился «бас» и беспомощно оглянулся на товарищей.

— Ее и не хватятся год-два,— сказал Максим.

— Ангелину исключаем,— сразу со всем согласившись, сказал Костя.

— Ну уж наверное,— сказала Ангелина.— Я думаю, тут настоящие мужчины.

«Бас» поправил очки, запинаясь, спросил:

— Это же воровство. Вы хотите украсть?..

— Дедушка совсем плох,— сказал Костя.— Ничего не понимает...

— Нет, ребята, я извиняюсь,— «бас» встал.

— Топай, топай!— сказал Костя.

Все молча ждали, пока он не ушел.

— Кто не рискует, тот не пьет шампанского,— заметил «труба».

— Он прав,— неожиданно сказал Семен из своего угла.— Пусть Ангелина ворует, если ей так нравится...

— Я первая сказала — давайте распадемся. Меня «Крылья» приглашают.

— Помолчи,— сказал Костя Семену,— не твое дело.

— Умная очень, чужими руками,— упрямо сказал Семен.

— Я тебе сказал, заткнись!— закричал Костя.

— Он в меня просто влюблен,— лениво сказала Ангелина.— Это бывает в их возрасте...

— Дура!— сказал Семен.

— Я, кажется, ушла,— встала Ангелина.

— Сиди!— бешено сказал Костя.

— Пусть уходит!— сказал Семен.

Костя схватил его за руку, потащил из комнаты. Открыл входную дверь, вывел Семена.

— Не мешайся под ногами, брат,— сказал он.

— Ты не пойдешь туда,— сказал Семен.— Они хитрые, они дураков ищут...— Он загордил брату дорогу.

— Пусти,— сухо сказал Костя.

Семен помотал головой.

— Пусти!— закричал Костя.

Семен по-прежнему загораживал дорогу. Костя, выждав мгновение, резко ударил его по лицу. Семен остался стоять, смотрел на брата. Костя хотел ударить его еще раз, неожиданно отвернулся и заплакал.

Семен, уже раздетый, лежал под одеялом. Костя, в трусах, с сигаретой, сидел рядом, перебирал струны: то ли вспомнил какую-то тему, то ли придумывал новую. Начиная напевать, подыгрывал, останавливался... В темноте, без света, было удобно говорить по душам.

— У тебя мечта — стать великим музыкантом?— спросил Семен.

— У меня мечта-а-а,— напел Костя под свою тему, прижал струны, сказал:— У меня мечта доказать им всем! Понимаешь, братаня, все детство я ждал, когда у меня начнется настоящее детство, как в кино, в книжках. Потом говорят: юность. Лады, жду юность — опять все не как по телевизору, и класс не тот, и квартира не та, и родители об умном не говорят... Вот сейчас у меня — студенчество. И опять не то! Я хочу, чтоб у меня красиво было — вот только тогда я начну жить. А сейчас так, подготовка. У нас, братан, будет место под солнцем!

Он опять начал подбирать свою тему, напевая: «Ме-е-е-сто под солнцем, место под солнцем... Тесно под солнцем, тесно под солнцем»...

— Тебе не нравится, как жили наши родители?

— Что ж хорошего! Все серо, неинтересно. Ругались. И пели некрасиво. Папа со своей гармошкой.

— Пусть играет,— тихо и твердо сказал Семен.— Тебе-то что?

— Алкаш!

— У него жена умерла... А мы разбежались...

— Никаких интересов, вот и выпивает! Хочешь таким, как он быть?

— Он мне — родня,— сказал Семен.— Я за него болею.

— Я тебе родня, понял — нет! Хватит об этом.

Семен не стал больше спорить.

— А мама?— тихо спросил он.— Я ведь ее хорошо помню, не думай.

— Ха-ха!— сказал Костя.— Ты маленький был.

— Что ты хочешь сказать?— Семен сел в постели.

Костя понял свою оплошку:

— Ну-ну! Мама у нас действительно была — клад...

Семен лег на подушку, слушал, как самую сладкую музыку.

— А ругались, так что ж... Милые бранятся — тешатся...

Семен хотел слышать именно это, верил всему свято, сразу.

— «Вот если б солнце всходило ночью»...— уцепился за приглянувшиеся слова Костя, и быстро-быстро стал подбирать мелодию.— «Если днем я хожу сонный... Мое солнце всходит, когда уснул последний сторож... Луна — мое солнце, луна — цыганское солнышко... Ночи, колдующей ночи, синие сумерки пали, в маленьких кузнях цыгане солнце и стрелы ковали... Луна — цыганское солнышко!»

Костя запел получившийся куплет. Баюкающая, прохладная получилась тема. Семен слушал. Костя отставил гитару, подошел к окну. Там, как в его песне, светила луна над большим черным морем. Костя вздохнул полной грудью.

— Хорошо!

— Жить?— спросил Семен.

— Нет!— рассмеялся Костя.— Думать о жизни!...

Днем Дом культуры был пуст, темен. Семен прошел по коридору до двери с надписью: «Хоровая». Подергал ее — замок был стар, разбит, открыть дверь не стоило никакого труда. Он нашел черный ход и два окошка первого этажа. Потрогал фрамуги, выглянул в окно — оно было совсем низко от земли...

...«Зам. по АХЧ»— было написано на двери. Семен вошел. Молодой плотный парень поднял на него глаза.

— Вас еще не обворовали?— спросил Семен с порога.

— Что такое?

— Я говорю, если кто захочет, то в любое время. У вас даже сигнализации нет...

— Иди, иди отсюда. Быстро! Ишь ты!

Семен толкнул другую дверь, где сидел директор Дома культуры. Здесь все было обставлено уютно. Звучала музыка из хорошего приемника. На стенах висели почетные грамоты, диаграммы роста чего-то по сравнению с чем-то.

— Вас обворовать очень легко,— сообщил Семен.

Директор прикрутил звук на приемнике, спросил с любопытством:

— Хочешь обворовать?

— Нет.

— А кто хочет, знаешь?

Семен испугался.

— Н-нет. Могут найтись.

— Поступай к нам сторожем.

— Я учусь.

— Вот! Попробуй сейчас хоть завалиющего вахтера найти.— Он набрал телефон и сказал сухоовато-ласково:— Кто на вахте? Славина? Славина, почему пропускаете посторонних? Работнички!

Маялся Семен. Пришел домой, посидел в отцовской комнате. Пусто. Скучно. Пошел на кухню, поздоровался с соседкой тетей Маней. Та не ответила.

— Вы что, тетя Маня?— упрямо спросил он.

— У тебя теперь другие знакомые! Эх ты! Мать предал...

Маялся Семен. Плелся по коридору с классными комнатами по обе стороны. Зауц попался навстречу.

— Почему не на занятиях?

Семен сонно посмотрел на него, соврал лениво:

— За мелом послали...

Потопал дальше.

...Вышел из школьного корпуса. Облокотился руками на школьную ограду, смотрел вниз — туда, где праздничная толпа гуляла по набережной, а дальше громоздилось, выпирало из берегов соленое море. Сегодня почти не купались — беспокойно было море: белые свитки пены появлялись и исчезали на гребнях коротких волн.

— «Ночь — цыганское солнышко»,— напел Семен вполголоса.

Зазвенел звонок. Двор заполнился ребятами. Подошел Демьян, по-дружески положил ему на плечо руку.

— Тебя Игорь Власович искал. Знает, что не ночевал...

Не Демьян был виноват — настроение, но Семен не мог с собой справиться, хоть и понимал свою неправоту.

— Че у тебя морда такая противная? А, Демьян?— спросил Семен.

— Ты?— опешил Демьян.

— Отвратительная, мерзкая рожа!— продолжал Семен.— Жирняк!

— Семен неожиданно ударил рослого Демьяна. Через мгновение они катались по земле, поднимая пыль, молотили кулаками. Прибежали старшеклассники и растащили их.

Демьяна и уговаривать не надо было, он стоял ошарашенный, смотрел, как извивался в руках старшеклассников его приятель, как вырвал руку и успел достать здорового парня по лицу, как его скрутили окончательно, и он от бессилия плюнул в кого-то...

...Потом, в разорванной рубашке, Семен стоял перед Игорем Власовичем в его кабинете, а тот говорил гневно:

— Ударить человека в лицо, друга своего! За что? Отвечай, когда тебя спрашивают!

Семен молчал.

— Почему не предупредил, что ночевать не будешь?! Чего ты добиваешься?

— Я хочу,— неожиданно сказал Семен,— чтоб отец жил счастливо, а Костя стал большим человеком...

— Так не пляши под их дудку, заставляй их краснеть, пусть хоть раз им станет стыдно!

— Я их люблю.

— Это слепая любовь, фанатизм!

— Они мне родня.

— Что ж, из-за этого ты должен бить своих товарищей, подводить коллектив... Ты о себе должен думать, о себе!

В просторном кабинете доктор — грузный, старый, добрый человек — осматривал Семена. Он провел молоточком по животу мальчика, тот хихикнул.

— Щекотно,— сказал доктор.— Встань вон туда...

Семен встал, куда ему сказали,— худенький, сутуловатый, в трусиках.

— Вытяни руки, указательным пальцем правой руки достань кончик носа. Так. Теперь указательным левой.

Семен сделал, как велели, не выдержал, усмехнулся.

— Что смешного?

— Не знаю,— честно сказал Семен.— Смешно, и все.

— Бывает. Спишь хорошо?

— Вставать трудно.

— Пройдет,— вздохнул доктор.— Мне засыпать не хочется. Это хуже.

— Почему?— с любопытством спросил Семен.

— Сны дурацкие, кошмар!

— А мне мама снится.

— Всегда?

— Что-то еще, но помню только маму.
— Это же хорошо?

— Не знаю. Только иногда плакать хочется,— и, чтобы доктор чего не подумал, торопливо добавил:— Во сне, конечно!

— А наяву?

— Стыдно.

— Ты спрячься да потихонечку поплачь,— посоветовал доктор.

— Вы тоже так делаете?

— Мне уже плакать не о чем, братец ты мой,— вздохнул доктор.— Одевайся.

Доктор стал что-то писать. Думал, что Семен уже ушел, а тот стоял.

— Что?— спросил доктор.

— Только вы никому не говорите, что я сейчас спрошу. И не пишите. Ладно?

— Как скажешь,— согласно кивнул доктор.

— Я — здоровый?

— Вполне.

— А почему Игорь Власович привел меня сюда?

— Тревожится за тебя.

— Мне иногда говорят: псих ненормальный.

Доктор посмотрел внимательно.

— Тебя это очень волнует? Ты часто об этом думаешь? Переживаешь?

— Нет. Я другое переживаю.

— Скажи.

Семен поколебался мгновение, даже на дверь оглянулся.

— Мне кажется, что люди вокруг очень уж спокойные. По пустыкам нервы себе портят, а по главному — абсолютно спокойные.

— А что их должно тревожить по главному?

Семен опять подумал секунду, сказал определенно, как давно обдуманное:

— Например, война начнется, атомная... Представляете?

Доктор снял очки, потер переносицу.

— Или, например, рядом близкие тебе люди идут не по той дорожке и могут плохо кончить... А все кругом спокойны. Вы меня понимаете?

Доктор согласно кивнул.

— Медицина тут не при чем,— раздумчиво сказал он.— Хотя, знаешь, попробуй, когда уж совсем...— Он отодвинулся со стулом, сцепил руки у себя на затылке, сжался.— И' полное расслабление...

Он расслабился, комично склонив большую голову на плечо, выдохнул воздух толстыми щеками, поднял глаза к потолку. Семен не выдержал и расхохотался; спохватился, закрыл рот ладонью. Но доктор не обиделся, рассмеялся тоже.

Смех услышал из-за дверей Игорь Власович. Он сидел рядом с кабинетом. Встал,

прислушался, хотел было войти в кабинет, но дверь отворилась, и вышел Семен.

— Подожди меня здесь,— сказал Игорь Власович и скрылся за дверью.

Но Семен не стал ждать. Он пошел по коридору, сначала будто прогуливаясь, а потом все быстрее и быстрее...

...Игорь Власович объяснял доктору:

— Дома у него никаких перемен. У нас в коллективе тоже. Никакого повода для волнений. Его просто не узнать. Должны же быть какие-то объективные причины?

— Они есть. Очень бурное созревание организма. Щитовидка и прочее...

— Переходный возраст?

— Да, можно и так...— Доктор хмыкнул.— Вы знаете,— неожиданно задушевно сказал он,— ни один самый умный прибор не регистрирует начало землетрясения. А наше тело чувствует. В это время очень много приступов у сердечников. Или, к примеру, ноги ломит перед грозой. Есть предположение, что раньше, давно, люди могли предсказать катастрофу, но потом разучились. Взрослые люди разучились, а дети еще чувствуют, предугадывают. Мы спокойны, а они тревожатся...

Семен сидел в автобусе, все дальше и дальше увозившем его от города. Народ в автобусе был пригородный — бойкие тетки с рынка, дачники, загорелые отдыхающие, говорливые студенты.

Семен задремал, а когда проснулся, понял, что подъезжает. Публика была другая. Загорелые дочерна мужики, усталые бабы с ребятишками, бабушки с белыми платочками на головах.

Он сошел вместе со всеми в центре села. Ориентировался, пошел по пыльной дороге. Вскоре село кончилось и началась степь...

...Кладбище было большое, старое. Семен поплутал немного, нашел успешную осесть могилу. На ней стоял покосившийся столбик с прибитой к нему жестянкой, на которой от руки белой краской было написано: «Наденька». Рядом на родительских плитах: «Ратников Семен Петрович»... «Ратникова Вера Лукинична»...

Семен поковырял носком ботинка землю у трещины в земле, туда посыпался песок...

Он медленно шел вдоль могил Ратниковых — Николаев, Иванов, Марий, Василиев, Вер, Люб... Были тут звезды, кресты, плиты, металлические пирамиды, просто холмы без ничего... Он дошел до черного дубового креста, на нём было написано что-то славянской вязью, он не разобрал. Дальше шли могилы чьих-то Васисовых. Семену попала ржавая лопата, он поднял ее.

Вернулся к материнной могиле, расшатал и вытащил столбик. Долго копался — выдер-



Кадр из фильма

гивал траву, перекапывал землю, придавая холмику прямоугольную форму. Поставил обратно жестяную дощечку с надписью «Наденька».

Посидел. Сказал:

— Мам...

Не позвал, а вроде только начал что-то говорить и остановился. Оборвал себя и сидел еще долго. Закатилось солнце. Он встал и быстро, не оглядываясь пошел к деревне...

...С конца дня пришли сумерки. Оседала дневная пыль, с ней мешался теплый, вечерний туман. Народ садился ужинать. Семену никто не встречался на пути, но люди жили здесь, совсем неподалеку. Совершенно явственно слышалось — не определить, с какой стороны, — то скрип колодца, то крик скотины, то человеческие неразборчивые голоса.

Неожиданно сзади, совсем рядом, послышался плач. Семен обернулся, увидел позади белое пятно. Его догоняла девчушка, то ли в рубашке, то ли в платьишке не по росту.

— Что? — спросил Семен.

Она обошла его, продолжая реветь, потопала дальше — босая — по теплой пыли.

— Подожди! — хотел остановить ее Семен.

— Уйди, дурак! — сказала она.

Поотстав, он шел за ней. Она то терялась в темноте, то опять оказывалась неподалеку впереди.

— Верка! — услышал он женский голос. Девочка заревела пуще. — Марионетка чертова! Вот я тебе!

Заскрипела калитка. Что-то говорил ворч-

ливый женский голос, потом в темном дворе засветились окна дома.

Он приехал в город очень поздно. Добрался до Дома культуры, обошел освещенный вход, нашел нужное окно на темной стороне. Постоял, обдумывая свои действия.

Потом делал все уже неторопливо и уверенно. Подтянулся на руках, приоткрыл фрамугу, ящеркой юркнул в темноту здания. Подождал, пока глаза привыкли к темноте, отыскал «Хоровую», вытащил перочинный ножик, долго возился с замком, открыл. В комнате навалом лежали инструменты. Он опытным взглядом отыскал чемодан с синтезатором, проверил его, оттащил к выходу, потом постарался, чтоб его визит был замечен. Разбросал инструменты, сдернул штору с окна.

Он оставил чемодан под деревом за воротами, тревожно оглянулся на него, заторопился к интернату. В нижнем холле горел свет. Неожиданно сквозь ветер донеслись торопливые шаги. Семен заметался, соображая, куда спрятаться.

По дорожке от ворот шел взрослый в плаще. Семен присел за скамейкой. Когда человек проходил мимо, узнал его — Игорь Власович. Он позвонил в дверь. Ему отворили.

— Не пришел!— услышал Семен слова дежурной воспитательницы.

Игорь Власович прошел в здание, продолжая о чем-то говорить с дежурной.

Семен бросился к воротам. Светало.

Синтезатор тяжелел с каждым метром пути. Семен передыхал часто. Ему было жарко, хотя шторм разыгрался всюю. Вдобавок пошел дождь, дул сильный ветер. Первые прохожие пошли по улицам, первые машины.

Он затащил синтезатор на этаж выше, спустился к дверям своей квартиры, прислушался, достал ключ, потом вдруг птицей взлетел по ступенькам вверх.

Открылась дверь, он услышал голос отца:

— Не волнуйтесь, парнишка сурьезный. Сейчас в институт пойду, найду Костю. У брата он, точно. Работайте спокойно, он сурьезный...

Из окна Семен видел, как из подъезда вышли отец и Игорь Власович. Семен потихоньку открыл дверь. Соседей не было слышно. Он втащил синтезатор в свою комнату, приткнул его за шкаф, с ненавистью пнул.

Отыскал в шкафу свою старую куртку, надел ее.

Шел по набережной. Идти было страшно и не хотелось. Он шел то быстро и решительно, то, наоборот, будто гулял, то останавливался и смотрел на море. Шторм тяжело рушил волны на берег, поднимая песок, водоросли, ракушки... Неприветливое было море, чужое, некрасивое...

За кулисами в Доме культуры атмосфера была построже, поделовее, чем вчера. Начальник по АХЧ с рабочими устанавливали решетку в окне, с остервенением вгонял штырь в неподатливую кладку.

Дверь «Хоровой» была распахнута, оттуда доносился голос ласкового начальника:

— Это саксофон, Люба, неужели не ясно? Саксофоны в наличии.

Появился сам директор ДК в рубашке с закатанными рукавами. В руках у него был музыкальный инструмент неизвестного ему назначения.

— Павел Григорьевич,— перекрикивая стук молотка, обратился директор к начальнику АХЧ,— это кларнет?

Семен выступил вперед и сказал:

— Это флейта...

На него все обернулись.

— Не беспокойтесь,— сказал Семен.— Я взял только синтезатор.

Начальник АХЧ шумно спрыгнул с подоконника.

— А где он?— спросил директор.

— Дома,— сказал Семен.— Тяжелый очень...

— Мы тебе поможем,— сказал начальник АХЧ.

Лаушкин-старший обернулся на звук открываемой двери и застыл: в комнату вошел Семен, за ним два милиционера.

Дальше все было, как в худом сне. Семен открыл шкаф, вытащил оттуда синтезатор, поставил его посреди комнаты.

— Открой,— попросил старший из милиционеров.

Семен открыл.

— Вы кто?— спросил милиционер Лаушкина-старшего.

— Отец вроде,— пересохшим ртом сказал Лаушкин.

— Вроде,— повторил милиционер. Присел за стол, вытащил лист бумаги, сказал другому милиционеру:— Понятых найди.

— А в чем, собственно, дело?— спросил Лаушкин-старший.

Милиционер молча писал протокол. Пришли соседи. Посреди комнаты с опущенной головой стоял Семен. Тягостная тишина стояла в комнате.

— Сирота он,— жалобно сказала тетя Маня.

Никто ей не ответил.

Костя Лаушкин сидел за одним столом с Максимом в классе судовых двигателей. Детали машин стояли на стендах; на стенах — чертежи, плакаты.

— «Топливное обеспечение»,— назвал педагог тему.— Судовой двигатель мощностью...

Дверь класса открылась, заглянул Лаушкин-старший. Класс уставился на него.

— Я дико извиняюсь,— хрипло сказал Лаушкин.

— Тушите лампу,— в тишине обескураженно сказал Костя.— Это мой родной папа...

Класс захохотал.

...Костя никогда не видел отца таким.

— Ты что, а? Лаушкин, ты что?

Отец подтолкнул его в спину.

— Только не надо! — теряя обычную самоуверенность, сказал Костя.

Отец толкнул его в пустой класс.

— Ты что, выпил? — возмутился Костя.

— Где брат твой? — спросил отец.

От здоровенной оплеухи Костя отлетел к стенке. Зубы его сжались.

— Ну-ка, еще попробуй! Ну-ка! — прошипел Костя.

— Это ты Сеньку втянул... Он сам не мог...— просипел Лаушкин-старший и заплакал.— Ты, скотина, барчук!



Кадр из фильма

Директор Дома культуры сидел перед инспектором милиции.

— Идеалист! — сказал он и натужно рассмеялся. — Вы всерьез верите, что этот малолетний взломщик борется за сохранность социалистического имущества? Как бы не так! Уж я их у себя в клубе насмотрелся. Побывали бы вы на их концертах или танцуйках. Ужас!

— В вашем Доме культуры? — спросил милиционер.

— Приказы вышестоящих организаций. Комсомол, профсоюз. А будь моя воля... К примеру, до меня тоже существовала группа этих хипов, тоже барабанили во всю ивановскую. Я прекратил.

— Инструменты под замок?

— Именно. Вот эти самые инструменты и синтезатор ихний, и все. Нет, говорю, товарищи, зал давать будем, а сами эту чертовщину поощрять — ни в коем случае. Мальца они и наострили: они знали, где, что и почем. Иди, мол, вытащи, а мы тебе на конфеты дадим... Точно, точно! Вы отца его видели? Совершенный алкаш! Не хотел вам говорить, он мне сейчас вот прямо у милиции взятку предлагал. Сто рублей, одной бумажкой.

— За что взятку?

— А чтоб я не писал на мальца еще чего-нибудь, кроме усилителя. «Не знаю, говорю, дорогой. Лишнего не напишу, но если что пропало — извини». Трясется весь... Алкоголик типичный.

— Если мальчонку будут судить, вас тоже, — тяжело сказал инспектор.

— А можно узнать?..

— Можно. Статья сто семнадцатая — халатность... От года до трех, как минимум — увольнение с работы.

В сквере напротив милиции, чтоб видеть вход, сидели посеревшие от переживаний «Скифы».

— Горела огнем моя консерватория! — сказала Ангелина. — Действительно, придется в пэтэу.

— Он заложит, — сказал «труба». — Я еще тогда по его лицу видел...

— Если б не он, — сказал Костя, — может, мы бы сейчас все там были.

Максим с преувеличенным удивлением посмотрел на Костю:

— Что это вдруг? Я, например, думал — это все так, шутка!

Костя не понял.

— Конечно,— сказала Ангелина.— Ведь если честно, то «Воротники» нас просто переиграли... Нашли стиль, а мы нет.

— Аппаратура, конечно, важна,— заметил «труба»,— но стиль — это...

Костя вскочил, схватил Максима за ворот, затряс:

— Значит, я дурак?! Вы шутили, а я дурак?!

— Костик! — спохватилась Ангелина.— Костик, миленький! Я тебя люблю!

— Значит, мы просто плохо играем? А я — дурак?!

Костя рванул побледневшего Максима со скамейки.

— Да не ты, твой брат! — попытался исправить положение «труба». — Брат дурачок, шутки не понял!

— Что ты сказал?! — Костя оттолкнул Максима и рванул к «трубе».

Ангелина встала у него на пути.

— Костя! Костик, хороший!.. Вон уже милиционеры внимание обращают!

— Запомните — вы мизинца не стоите моего брата!

Костя сплюнул и решительно пошел через двор. Милиционер около патрульной машины проводил его внимательным взглядом. У входа Костя столкнулся с дядей Сашей, тот выходил из милиции.

— Ух, вы! — с ненавистью сказал он Косте.— Лимитчики чертovsky!

— Ты-то,— сказал Костя.— Человек в футляре.

Не стал связываться, вошел в милицию.

...В коридоре, у кабинета следователя, сидели Лаушкины. Семен свел руки на затылке, сжался, как учил старый доктор, потом расслабился, поднял усталые после бессонной ночи глаза в потолок.

— Ты что? Что с тобой? — перепугался отец.

— Братан! Братан! — затряс его Костя.

— Страшно,— сознался Семен.

Отец схватился за голову.

— Только бы директор лишнего не написал. Свою недостачу на тебя! Как доказать?!

— Ты бы ему сунул! — хмуро сказал Костя.

— Умник! — простонал отец.— Не берет он! Списать на Семена больше думает!

Костя встал и пошел в кабинет.

— Ты куда? — отец загородил ему дорогу.

— Пойду и все расскажу, как было по правде.

Отец оттолкнул его:

— Я тебе расскажу, рассказчик!

— А ты откуда знаешь, что я сказать хочу?

— И знать не хочу! Сиди, не рыпайся! —

Он погладил Семена по плечу:— Сына, потер-

пи, детка. Ну что, посадят этого болвана? А так в армии вдруг человеком станет. Не выдавай подлеца. Тебя, малолетку, пожалеют, а по этому и так тюрьма плачет!.. У, враг! — замахнулся он на Костю.

Скрипнула дверь, все подобралось. Выглянул инспектор.

— Зайди, Семен. Остальные больше не нужны, свободны...

— Ничего, посидим,— покашлял отец.

Инспектор показал Семену на стул. Тот сел, нахохлившись.

— Знаешь этого дядю? Узнаете? — спросил инспектор у директора.

— Узнаю.

Инспектор взял в руки протокол допроса.

— Гражданин утверждает, что ты говорил о предстоящей краже как бы в шутку...

— Пусть говорит.

— Понимаешь, Семен, если это так, то получается кража с особой дерзостью — это нехорошо.

— Почему кража? Если им говоришь, а они человеческого языка не понимают. Если б это их инструменты были, вот тогда!..

Почувствовал нештучную правду в словах мальчика, заволновался директор:

— Кто их научил демагогию разводить?! Такой маленький, а уж разводит демагогию!

— До свидания,— сказал инспектор.

Директор поднялся и вышел из кабинета.

В коридоре увидел Лаушкиных, отвернулся и пошел быстро на выход. Костя заспешил за ним. Догнал его уже на улице.

— Юрий Петрович!

Директор остановился.

— Я тебя не знаю,— буркнул сухо.— Что надо?

— Я — брат,— коротко сообщил Костя.

Он достал спички из кармана, чиркнул одной, сунул ее в полный коробок, коробок вспыхнул. Костя зажал его в ладони, пламя с шипением рвалось сквозь пальцы. Директору чуть плохо не стало. Он схватился за Костину руку, обжегся сам.

— Брось сейчас же, идиот!

Спички погасли, повалил приторный дым. Костя разжал почерневшую ладонь.

— Если с братом что-нибудь... — бесстрастно сказал он.

— Псих! — закричал директор.

От милиции кричал, махал рукой Семен: — Костя! Костя!

Костя сунул обожженную руку в карман, пошел.

— Ну как? — спросил он.

— Ревизию будут делать в клубе,— ответил отец.



Кадр из фильма

— Ты этому директору ничего не сказал? — спросил Семен. — Ты с ним не связывайся, Костя. Прошу тебя.

Они пошли по улице. Семен был в возбужденном, восторженном состоянии, говорил без умолку:

— Здорово, мы все втроем опять вместе, одна семья, да? Лаушкины — Василий, Константин — Семен! Ужас, как приятно, даже не верится!

Отец и брат покивали согласно.

— Честно, — доверительно сказал Семен, — я уже начал думать, что мы хуже всех на свете. Виду не показывал, но так думал, честное слово, извините меня, конечно! Вроде мы какие-то неудавшиеся. А мы еще ничего, да? Мы — Лаушкины, так ты говоришь, пап? Мы им всем покажем, да, Костя? Так ты говоришь, да?

Семен от полноты чувств обнял их обоих. Со стороны они производили впечатление светлое, трогательное.

По той стороне улицы, параллельно Лаушкиным, чуть поотстав, шли «Скифы». Костя давно заметил их, нервничал. Посмотрел на

них мельком, они жестами показали: «там, за перекрестком!». Костя закивал.

— А что, — разошелся Лаушкин-старший, — может, домой пойдём. Вон у меня денег!

Вытащил из кармана и показал сто рублей одной купюрой.

— Я вам на гармошке сыграну! Вы ведь в меня, музыканты.

— Не позорься только, — посоветовал Костя. — И так тебя лимитчиком зовут.

— А ты не лимитчик?

— Я — нет. Я здесь родился.

— Кто меня зовет? Сосед, и только.

— Почему они нас не любят? — спросил Семен.

— У них детей нет. Вот и злые.

— Ага, — поддержал Костя. — Им жить тошно, а у нас веселей: то папа накричится, то помрет кто-нибудь, то мы свое отмочим... — Костя остановился. — Ну ладно. Мне тут надо...

Он нежно обнял Семена, похлопал по спине. Отстранился, сказал отцу:

— Будь здоров, Лаушкин.
Пошел через дорогу, догоняя своих приятелей.

— Завтра к военкому пойду, чтоб в армию забрали. Может, там из него человека сделают,— вздохнул Лаушкин.

— Он талантливый,— вступился за брата Семен.

— Эх, ты! — расчувствовался Лаушкин.— Светлая душа. Я тебя не подведу, сынка, честное слово. Может, мне пойти сейчас заявление подать с этой моей Катей? Как ты считаешь?

— Молодец! — искренне сказал Семен.

— Все! — решил Лаушкин.— Сейчас пойду и подам. Там до шести принимают.

— Только не раздумай. И это...— Семен показал на горло: мол, «не пей».

— Я тебя не подведу, сын,— торжествен-

но сказал отец.— Я тебя больше не подведу.
И они расстались.

Просторная привокзальная площадь была заполнена приезжающими и отъезжающими, бабками с цветами, таксистами. Официально, отдельно от всех, стояли люди с табличками: «Санаторий «Ласточкино гнездо», «Д/о «Отрада», «Пансионат Тракторного завода». Чуть в стороне, у своей «Кубани» выстраивался оркестр интерната № 4.

Игорь Власович уже поднял руку — «внимание». Семен бежал через площадь, на ходу собирая флейту из двух половинок.

Игорь Власович «отмахнул» вступление, оркестр грянул. Толпы отдыхающих — новый заезд на месяц — запрудили площадь.

Семен Лаушкин остервенело дул в свою флейту.



ЭДУАРД ТИГРАНОВИЧ АКОПОВ (родился в 1945 году) окончил Институт нефти и химии в Баку, работал на заводах. В 1973 году закончил Высшие сценарные курсы Госкино СССР. Автор сценариев художественных фильмов: «Человек из «Олимпа», «Солдат и слон», «Будьте моим мужем», «Шелковица», «Сдается квартира с ребенком», «Бабушкин внук», «Бунт невесток», «Человек с бульвара Капуцинов» и др. Э. Акопов автор пьес «Новенький», «Остров», «Почти рождественский рассказ», широко идущих в театрах страны.

Фильм по литературному сценарию «Друг» ставит на киностудии «Мосфильм» режиссер Леонид Квинихидзе.

ЭДУАРД АКОПОВ ДРУГ

Лето, суббота, на Птичьем рынке толчея. Для многих москвичей этот закуток между домами давно стал чем-то вроде зоопарка. Только более демократичным. Никаких решеток, бетонированных рвов — протяни руку и погладь. А понравится — купи. И это будет тем единственным исключением из общего правила, когда за деньги удастся приобрести искреннюю дружбу, бескорыстную любовь и преданность до гробовой доски.

Трудно сказать, что искал на Птичьем рынке высокий мужчина лет сорока, с лицом, которое можно было бы назвать и испитым, если б не бросающиеся в глаза благородство черт, горделивая осанка, безукоризненно сидящий костюм с галстуком-«бабочкой». Возможно, именно такой дружбы и любви. Но то, что он искал что-то, было несомненно.

В ряду, где торговали хомячками и морскими свинками, он остановился. Девчушка лет шести с весьма скромно одетой мамой выбрали хомячка.

— Катюша, но этот же лучше, — уговаривала мать. — Ты погляди.

— Этот лучше, а тот жальче, — стояла на своем девочка.

— Простите, что вмешиваюсь, — возник рядом мужчина с «бабочкой», — но девочка, по-моему, права. Тот симпатичнее.

Девчушка расплылась в благодарной улыбке.

— Мы уже полчаса выбираем, — пожаловалась женщина. — Продешевить боязно. Все же дорогие они. — Польщенная вниманием элегантного незнакомца, она слегка кокетничала.

— Доверьтесь вкусу своего ребенка. Тем более, что он у нее есть, — доверительно шепнул незнакомец. — Кстати, я здесь по аналогичному поводу. Дочка, представьте, заболела, ровесница вашей, ну, естественно, капризничает. Подавай ей хомячка, и все...

— Ма, ну скорее, ма... — заторопила девочка.

Женщина расплатилась с продавцом, и девочка бережно приняла хомячка в приготовленный платок. Мужчина тем временем озабоченно рылся в карманах.

— Какая чепуха! Одна мелочь. Представляете, забыл деньги в другом костюме... Досадно. Расстроится дочка.

— Ма, — дернула ее за руку девочка.

— А много у вас не хватает? — спросила женщина.

— Рубля. Всего лишь.

Женщина достала из авоськи кошелек, раскрыла.

— Нет, нет, что вы, — запротестовал мужчина. — Ну разве что только в долг, непременно отдам. — Он двумя пальцами вытащил из кошелька рубль. — Так... — мельком посмотрел на хомяков, — симпатичных здесь уже не осталось. Поищу в другом месте. До свиданья. — И быстро пошел прочь.

Женщина ошарашенно смотрела ему вслед. Удивление ее возросло, когда в поле зрения попал весь костюм незнакомца. Брюки едва доходили до голых лодыжек, а пониже были старые грязные кеды. Незнакомца заслонил мужчина с огромным ньюфаундлендом.

Вновь появился незнакомец, кстати, пора уже назвать его — Колюн, — у забора, где народу было поменьше. Загородившись собственной спиной от людей, считал деньги. Вдруг Колюн ощутил на себе чей-то взгляд. Неподалеку стоял мужчина с огромным ньюфаундлендом. Колюн быстро рассовал деньги по карманам и направился к месту, где продавались собаки. Ньюфаундленд потащил хозяина в ту же сторону.

В корзине, попискивая, ползали штук пять слепых щенят. С вождением глядя на них и подпрыгивая на месте от избытка чувств, малыш лет семи безнадежно молил мать:

— Купи, ма, купи, ма, купи...

— Вы напрасно сомневаетесь, — авторитетно говорил Колюн женщине. — Собака в доме действует благотворно на детей... Кстати, я здесь по аналогичному поводу. Сын, представьте, заболел, ровесник вашего, ну, естественно, капризничает. Подай ему щенка, и все... — тут он умолк, почуствовал на плече чью-то руку. Обернулся. Позади стоял мужчина с огромным ньюфаундлендом.

— Собачками интересуетесь? — улыбнулся хозяин пса.

— Я?! Что вы! Я просто так, — почему-то вдруг испугался Колюн.

— Отойдем, — предложил хозяин.

— А в чем, собственно, дело? По какому праву?! Я не понимаю... — стал громко возмущаться Колюн.

— На опохмел сшибаешь? — спросил хозяин.

— Абсурд! — выпятил грудь Колюн. — Ошиблись адресом, уважаемый. В моем положении...

Хозяин молча окинул его взглядом с головы до ног и задержался на кедах. И чем дольше он смотрел на них, тем менее уверенным становился Колюн.

— На лекарство... дочка больная, — забормотал он. — Рубля не хватило.

— Я дам тебе, — перебил его хозяин. — Червонец.

Глаза Колюна вспыхнули неподдельным интересом.

— Что нужно сделать? — спросил он с готовностью.

— Возьмешь его с собой, — кивнул хозяин на ньюфаундленда.

— Понял. А потом?

— Потом ничего. Будет жить у тебя.

— Кто?! Она?!

— Это он. Кобель... Два червонца.

Колюн часто заморгал. Потом догадливо улыбнулся и повел носом, принюхиваясь.

— В завязке. Уже год, — успокоил его хозяин. — Четвертак.

— Да что я буду с ним делать?!

— Тридцать. — Хозяин был немногословен.

— Краденый, что ли?

— Краденое продают, а я тебе сам деньги даю. Сорок.

— Бешеный! — убежденно сказал Колюн.

— Друг, сидеть!.. Лежать!.. Голос!.. Лапу!.. К ногам!.. Умри!..

Пес послушно и с видимой охотой выполнял приказание хозяина. Вокруг стали собираться люди. Вперед вышел горбоносый мужчина.

— Беру. Сто пятьдесят!

— За него?! — охнул Колюн.

Горбоносый неправильно понял его удивление.

— Двести! Заверните! В машине моей будет сидеть. Сиденье черный, и он черный. Только у меня в городе такое будет!

— Все! Все! Не продается! — крикнул Колюн и оттащил хозяина пса в сторону. — Ладно. Беру. Гони сороковку. Только это... — потер он руки, — добавить бы надо.

— На белое, красное? — деловито спросил хозяин.

— Чего не жалко.

— Ради него, — кивнул хозяин на пса, — мне ничего не жалко. — И полез в карман.

— Слушай, а за него в самом деле две сотни могут дать? — спросил Колюн, глядя на собаку.

— Двести много, сто пятьдесят в самый раз. Клубная цена, — спокойно сказал хозяин и вручил Колюну деньги. — А теперь отвернись.

— Как? — не понял Колюн.

— Отвернись, говорю. Попрощаться хочу.

Хозяин опустил на колени прямо на грязную заоптанную землю рынка, обнял пса и горестно прижался лицом к его морде. Пес печально косил глаза и тихонько поскуливал.

— Прощай, Друг. Спасибо за все. До смерти буду тебя помнить, — шептал хозяин сквозь слезы.

Затем резко встал и, не отряхивая с брюк прилипшего окурка, почти побежал к выходу. Сел в новенькие, блестящие лаком «Жигули» и рванул с места.

— Псих,— убежденно сказал Колюн.

Пес подошел и носом ткнул нового хозяина в ногу.

Стегляшка «Химчистки». Обойдя ее, Колюн подошел к служебному входу.

— Посиди тут.

Привязал пса к перилам крылечка и, крадучись, вошел.

Проскользнул узким коридором и нырнул в какую-то дверь. Через секунду вышел, разительно переменявшись. Вместо прежнего изысканного костюма на Колюне была мягкая рубашка не первой свежести, вздувшиеся на коленях брюки. Но перемена коснулась не только одежды. Изменились осанка, походка стала шаркающей, и лицо уже с уверенностью можно было бы назвать испитым. Колюн толкал тележку с грудой одежды, предназначенной для чистки. Сверху лежали костюм с «бабочкой», позаимствованные Колюном из сданной одежды.

— Колюн, черт окаанный, ты где пропадаешь?! — вылетела ему навстречу пожилая женщина в синем халате.— Час целый барабаны вхолостую молотят.

— Чего теперь за газеткой сбегать нельзя?! — огрызнулся Колюн и сделал вид, будто покати́л тележку быстрее.

Он свернул за угол и попал в большое, до потолка отделанное кафелем помещение. Здесь было душно, несмотря на открытые окна; нагретый воздух дрожал над барабанами для чистки одежды. Несколько женщин в халатах, надетых прямо на голое тело, суетились возле них.

Навстречу Колюну выполз с тележкой «химии» — жидкости для чистки одежды — тщедушный лысый старичок в огромных резиновых сапогах, галифе и подростковой маечке с волком из «Ну, погоди». Плелся старичок едва-едва и с таким видом, словно нес на себе всю мировую скорбь. Заметив Колюна, он несколько оживился и с надеждой спросил:

— Ну?

— Порядок,— шепнул ему Колюн.— Расскажу — не поверишь.— И сунул старику свернутую трубочкой трещку.

Мгновенно посветлев лицом, старик бросил тележку посреди цеха и, выскочив из сапог, лихо понесся босиком к выходу.

— Митька!.. Куда?!.. Химия кончается! — закричали женщины, но старичок уже сгинул.

— Вот паразитов набрали на нашу голову. Трутни! — зло бросила одна из женщин, с

натугой доставая из тележки здоровенную бутылку с ядовито-зеленой жидкостью.

— А, может, он газ забыл дома выключить. Или утюг,— примирительно сказал Колюн, открыв дверцу барабана и перегружая туда из своей тележки одежду.

— Вот этим утюгом да вам бы по темечку, алкашня несчастливая... Сдать бы вас куда следует... Выпить вы забыли, а не газ... — зашумели женщины.

— Да кто пьет-то, кто пьет?! — заорал вдруг Колюн.— Вы видели? Тут, понимаешь, с утра страдаешь, а они... Куры! — Зашвырнув в барабан оставшуюся одежду, он покати́л тележку обратно.

В полутемном закутке, где помещался склад «химии», Колюн «накрывал стол». Перевернутую картонную коробку застелил газеткой, поставил уведенную, видно, из ближайшей столовки солонку, два граненых стакана и горбушку хлеба. Потирая руки, посмотрел с вожделием на стол, порывлся в карманах, выудил редиску и добавил к натюрморту.

Запаленно дыша, вбежал Митька. Глаза его горели предвкушением.

— Ну? — выдохнул Колюн.

— Урвал,— сказал Митька.— Чуть не побили.

— Давай скорее,— попросил Колюн.— Не тяни.

— Да погоди. Филин здесь где-то ходит...— Старик поднял с пола два пустых пакета из-под молока, дунул в них, расправляя.— Стань к двери.

Колюн встал дозором на пороге, а Митька, вытащив из кармана галифе бутылку, пошел с пакетами в угол. Что-то забулькало.

— Готово,— Митька поставил отяжелевшие пакеты на стол.— Маскировка,— пояснил он в ответ на вопросительный взгляд Колюна.— Указ знаешь? Статья третья и четвертая: «Распитие спиртных напитков на производстве».

— Поровну? — спросил Колюн, с недоверием глядя на пакеты.

— Мы же друзья, Колюн! Сколько вместе выпили,— обиделся Митька. «Чокнулся» своим пакетом об пакет Колюна.— Ну, будем. Поехали.— И жадно припал губами к отверстию.

В развешиваемся халате влетела завхимчисткой, крепко сбита женщина лет пятидесяти.

— А-а, нашлись, ханурики,— зловеще улыбнулась она.— Сидите?!

— Сидим,— миролюбиво признал Колюн, с сожалением отставляя пакет в сторону. Он так и не успел ответить из него.

— Молочко пьете?

— Молочко,— снова согласился Колюн и вдруг протянул свой пакет заведующей — он любил иногда поиграть с огнем.— Хотите?

Митька, который все это время не отрывался от пакета, поперхнулся, закашлялся.

— Вот так каждый раз с ним,— сказал Колюн.— Как увидит вас, Элеонора Францевна, все, готов.

— Это почему же? — подозрительно спросила заведующая.

Колюн тяжело вздохнул.

— Митька, извини, ты мне друг, но истина дороже... Любит он вас, Элеонора Францевна.

У Митьки, вновь присосавшегося к пакету, глаза полезли на лоб, а заведующая зашла от возмущения.

— Еще шутки шутишь?! Ну, ты у меня сейчас пожалеешь,— заметалась она по закутку, ища чего-то.— Ты у меня сейчас по-другому запоешь! Дурочку, понимаешь, нашел...— разбрасывала она коробки, ворочала ящики.— Где она?! — сорвалась на крик.

— Соперницу ищите, Элеонора Францевна? — невозмутимо поинтересовался Колюн.— Нехорошо. Ревность не украшает человека.

— Бутылка где?! Он же за нею бегал! — ткнула заведующая пальцем в Митьку, который как раз в это время покончил с пакетом, смял его и вышвырнул в окно.

— Какая бутылка, Элеонора Францевна? На производстве?! О чем вы говорите?! — возмутился Колюн и добавил с осуждением: — И это в тот момент, когда вся страна...

— А стаканы зачем стоят?

— Стаканы, вы хотите сказать,— поправил Колюн.— Для молока, для чего же еще.

— Для молока?! — заведующую вдруг осенило.— Ну-ка, дай сюда,— протянула она руку к пакету.

— Нет,— поспешно отодвинул его Колюн.

— Почему? Ты ж сам мне только что предлагал,— ехидно спросила заведующая.

— А теперь передумал,— хмуро буркнул Колюн.

Митька еле помаргивал враз ослобевшими глазами. Его неудержимо тянуло ко сну.

— С чего это вдруг? Неужто пожалел? — усмехнулась заведующая.

— Пожалел. Вас. Прокисло оно,— сказал Колюн с тоской.

— Ну, хватит. Давай сюда,— решительно двинулась вперед заведующая.

Колюн рванул было с пакетом к двери, но заведующая перехватила и, легко преодолев сопротивление, отняла.

— Вот так вот. Погорел ты теперь, Никитин. И полетишь ты отсюда не по собственному желанию. Я тебя под указ подведу. И еще в элтэп оформлю.

— Не получится,— злобно огрызнулся Колюн.— Свидетелей у вас нету.

Заведующая повернулась к Митьке. Тот уже сладко похрапывал.

— Будут тебе свидетели,— пообещала она Колюну и крикнула в коридор: — Нина!.. Зойка!.. Все, Никитин. Хватит с меня. Намайлась с тобой. Пусть теперь другие маятятся.

— И правильно! Так мне и надо! Гад я последний! — закручинился Колюн.— Хорошего отношения не понимаю. Сколько вы меня предупреждали.. Простите, Элеонора Францевна. В последний раз. Слово даю. Не для себя прошу, для семьи... дочка у меня больная, вы же знаете. Полумертвой родилась... из-за пьянства моего,— чуть не плача, униженно молил Колюн, постепенно приближаясь к заведующей, и вдруг... прыгнул вперед, норовя выхватить пакет.

Но реакция алкоголика подвела. Заведующая успела увернуться, Колюн упал на пол.

— Грязь же ты человек, Никитин,— сказала заведующая.— А я ведь почти поверила тебе. Вот так и пользуетесь нашей жалостью.

Вошли Нина и Зойка.

— Его знаете? — кивнула заведующая на Колюна.

— Колюна-то? — удивились женщины.

— Никитина,— строго поправила их заведующая.— Берите стаканы.

Недоумевающие женщины подчинились.

— Это я у него отобрала, во время рабочего дня,— показала заведующая пакет.— Сейчас попробуете и скажете, что это такое.

Она наклонила пакет над стаканом. Полилась тоненькая белая струйка. Женщины удивленно смотрели на нее. У Колюна отвисла челюсть. Заведующей стало немного не по себе, но духом она не пала.

— Пробуйте, пробуйте,— сказала она женщинам.— Они ее молоком замаскировали. Женщины отпили по глоточку и задумались.

— Молоко вроде,— сказала одна из них.

— Точно, молоко. Только скисшее малость,— добавила вторая.

Заведующая схватила пакет, отпила, гневно повернулась к Колюну и... испугалась. Лицо его исказила злобная гримаса, уголки рта мелко вздрагивали.

— Кто?! — заревел Колюн.— Заразы!.. Кто подменил?!— Он выхватил пакет, разорвав и облившись молоком, припал к нему губами, затем отшвырнул и двинулся на заведующую: — Филин! Это ты! Твои штучки!

— Ты что, ты что... Никитин,— пяtilась заведующая в ужасе от происшедшей у нее на глазах метаморфозы.

В самом деле, Колюна было не узнать. Вместо безвольного истощенного алкоголем человека сейчас перед заведующей стояло

существо, у которого отняли самое дорогое в жизни и которое готово было бороться за это любой ценой.

— Отдай, подлюга!.. Хуже будет, отдай, — тянул Колюн руки к горлу заведующей. — Я с ночи ее жду... Подыхаю... Дура, ты ж не понимаешь... Отдай!

— Да не брала я ничего!.. Не брала, Никитин! — отчаянно крикнула заведующая. — Зойка, Нина, ну скажите вы ему! Чего молчите, убьет!..

— Колюня, это не она... Не она, Колюня, — робко подали голос женщины.

Колюн резко обернулся к ним.

— И не мы, — в один голос пискнули женщины, прячась друг за дружку.

Колюн вдруг уставился на улыбающегося во сне Митьку.

— Он!.. Убью! — Колюн бросился на него, сшиб со стула. — Падла! Один выпил... Без меня... Один!.. Не оставил, скотина!.. — визжал он, раздирая на Митьке майку, царапал его, кусал и бил.

Женщины с трудом оттащили Колюня. Митька, недвижимый, лежал на полу, раскинув руки.

— Убил! — охнул кто-то.

Пришедшая в себя заведующая растолкала женщин, склонилась над стариком, припала ухом к его груди. Митька вдруг широко раскрыл глаза, бессмысленно осклабился, икнул, вновь закрыл глаза и тоненько захрапел. Заведующая поднялась с колен.

— Уйдешь по собственному! — едва сдерживаясь, сказала она Колюну. — Или я не я, если не укуе тебя. Вот перед всеми клянись, детьми своими!..

— Пусть сначала трешку вернет, — хмуро кивнул Колюн на Митьку. — Мы скидывались.

— Я... Я дам за него, — предложили сразу несколько женщин.

Пес лежал на крыльчке, высунув язык и тяжело дыша. Солнце палило. Под носом, назойливо жужжа, вилась муха. Пес кланцнул зубами — жужжание оборвалось.

На крыльцо вышел Колюн. В руках у него были деньги, полученные, видно, в окончательный расчет. Добавив к ним деньги, приобретенные на Птичьем рынке, Колюн пересчитал их, затем быстро, в порядке, одному ему известном, рассовал по укромным местам — среди них оказалось и местечко под стелькой кед.

— Живем! — сказал сам себе Колюн и, скользнув равнодушным взглядом по собаке — память алкоголика коротка, — стал спускаться по лестнице.

— Гав! — подал голос пес. — Гав-гав.

Колюн обернулся. Пес встал и завилял

хвостом. Колюн долго смотрел на собаку, мучительно припоминая.

— Где-то я тебя видел, — пробормотал он и вдруг кинулся к псу, стал отвязывать его. — Как же я мог забыть... Сто пятьдесят целковых... Дурак последний!.. Сейчас, сейчас, собаченька моя... Как же звать тебя, из головы вылетело... Каштаночка моя, Муму!..

Дрожащие пальцы наконец справились с узлом. Крепко намотав поводок на руку, Колюн двинулся с псом по улице.

— Слушай, а может, ты жрать хочешь? — заботливо поинтересовался Колюн. — А то вдруг еще околеешь у меня. Такие деньги пропадут.

Пес просительно завилял хвостом.

— Куплю, — пообещал Колюн. — Обязательно куплю, сберкнижечка ты моя, — ласково потрепал он пса. — Только зарядимся сначала. Плохо мне. Знобит... А Митька гад, да? Кого обманул?! Я ему на двадцать третье февраля четвертинку, собственными руками... Не прощу!.. Все обманывают. Все. Каждый норовит. Ну и хрен с вами. Без вас обойдусь, один...

Со стороны, наверное, было странно смотреть на эту пару. Огромный флегматичный пес и весь как будто на шарнирах, дергающийся хозяин, разговаривающий то ли с собакой, то ли с самим собой.

Остановившись неподалеку, Колюн смотрел на длинную извивающуюся очередь у входа в магазин, состоящую в большинстве из мужчин.

— Не пропустят ведь, — задумчиво сказал Колюн. — А? — он посмотрел на пса и подмигнул. — Ладно, попробуем. — Привязал его к дереву, заботливо предупредил: — Смотри, чтоб не увели тебя. Чуть что — сразу голос. Голос, понимаешь?

Пес гавкнул.

— Во, во, — удовлетворенно сказал Колюн. — Так и действуй.

Он направился к штабелям пустых ящиков у входа, снял несколько штук сверху и понес перед собой, покрикивая:

— Расступись. Расступись, мужики... Веселее, веселее, не тещу хороните...

Очередь нехотя раздалась. Колюн проник в магазин. Не выпуская из рук ящиков, стал пробиваться к прилавку.

— Зин, куда тару ставить? — громко крикнул он, пряча лицо за ящиками.

Запаренная субботней торговлей продавщица даже не повернулась:

— Неси сюда.

Тесня ящиками людей, Колюн прошел за прилавок и с грохотом опустил свою ношу у ног продавщицы.

— А, это ты, артист, — негромко сказала она.

— Ягодка, пять штукеч. Деньги в авось-

ке,— показал Колюн глазами на верхний ящик.— Сдача пополам.

— Накостыляют тебе когда-нибудь за твои номера,— шепнула продавщица, и нагнувшись под прилавок, стала набивать авоську бутылками портвейна...

Радостно возбужденный, возвращался Колюн к псу, бережно неся авоську с бутылками.

— Вот так вот,— сказал он, отвязывая собаку.— Теперь мы в полном порядке. Хомо сапиенс — тебе не что-нибудь. Человек — это звучит гордо.

Они проходили мимо толстенной продавщицы, торгующей с лотка пирожками. Пес остановился и подал голос.

— Молодец,— одобрил его Колюн.— О закуске думаешь...

Один пирожок Колюн отдал псу, второй сунул в авоську.

— А это мне. На обед с ужином.

Пес проглотил пирожок и просительно завилал хвостом.

— Хватит с тебя,— сказал Колюн строго.— Последнее это дело — деньги на еду переводить.

Проходившая мимо элегантная, как с обложки журнала мод, женщина чуть задела авоську. Бутылки звякнули. Колюн замер, словно молнией пораженный. По-своему истолковав его состояние, прохожая снисходительно улынулась. Какой женщине не приятно восхищение мужчины, пусть даже такого заваливающего, как этот алкаш.

— Корова!.. Куда прешь?!— заорал Колюн.— С испугом глянул на авоську, вздохнул с облегчением.— Целы... Чуть сердце не зашлось,— поделился с псом.— Ходят тут, виляют... чем попало.

Они вышли к большому дому. Благородство пропорций, скромная, но со вкусом кладка красного кирпича, дубовые двери подъездов с начищенными до блеска медными ручками. Подойдя к среднему подъезду, Колюн привычно набрал на кодовом пульте несколько цифр. Раздался щелчок, дверь открылась.

Они оказались в холле с лифтами. Мягкие кресла, цветы, зеркала. Воровато оглянувшись на стол с двумя телефонами, за которым сейчас никого не было, Колюн быстро пересек холл и, миновав лифты, вышел в неприметную дверь слева.

Он очутился в своем дворе, перекопанном канавами. Здесь к этому дому примыкали пятиэтажки, в которых, как всегда, шел ремонт. На ступеньках фургончика строителей, приподняв защитную маску, женщина-сварщик покуривала, двое слесарей неторопливо нарезали резьбу на трубе.

Колюн осторожно ступил на узкую доску, перекинутую через канаву; пес перепрыгнул сразу. Сварщица и слесари, прервав свои занятия, как по команде, повернулись к Колюну.

А тот, едва удерживая равновесие — авоська с бутылками здорово мешала, — мелкими шажками шел по доске. Ремонтники сосредоточенно следили за ним. Наконец Колюн преодолел препятствие — потеряв всякий интерес, ремонтники тут же вернулись к своим делам. Колюн обогнул фургон и зашел за угол дома. Это был привычный путь Колюна — так он сокращал дорогу к своему дому...

На лавочке у старой пятиэтажной постройки сидели три бабули. Вдали показался Колюн.

— Явился, — неодобрительно сказала первая бабуля.

— С женщиной, что ли? — подслеповато прищурилась вторая.

— Да зачем такому женщина?! Собаку ведет, — сказала первая.

— Господи, дожили, — вздохнула третья бабуля. — Собаки уже пить стали.

— Привет, девчата, — бодро поздоровался Колюн, приблизившись.

Оскорбленно поджав губы, бабули отвернулись. Колюн подошел к «Запорожцу», из-под которого торчали ноги.

— Андрейч, — постучал Колюн по капоту.

Ноги испуганно втянулись под днище.

— Ты где там, Андрейч? — нагнулся Колюн.

С противоположной стороны «Запорожца» показался мужчина в очках и спрятался за открытым багажником.

— Опять в прятки играешь? — осуждающе сказал Колюн.

— А, здравствуйте, простите, не заметил.

Мужчина все время старался двигаться так, чтобы между ним и Колюном была машина. Улучив момент, мужчина вскочил в кабину, заблокировал дверь и, лихорадочно поднимая стекло, включил мотор. Тот оглушительно затарахтел.

— Открой. Дело есть, — застучал Колюн в стекло, но мужчина мотал головой и, извинительно улыбаясь, показывал на уши, мол, ничего не слышит.

Мотор вдруг зачихал и умолк. Мужчина обреченно опустил стекло.

— Ты чего испугался? — укоризненно сказал Колюн. — Думал, опять в долг возьму? Мужчина тоскливо улынулся.

— А вот и наоборот. Держи свою трешку, — протянул Колюн бумажку.

— Да зачем? Я уже и забыл про нее, — удивился Андрейч.

— Ты мог забыть. А мне нельзя. Без

доверия нет кредита, — наставительно сказал Колюн.

— Вообще-то если говорить о кредите, — робко заметил Андреич, — он был, по-моему, гораздо больше.

— Верну! — моментально согласился Колюн. — С премии в конце квартала. Текущего. Честное слово. А пока на тебе, — достал он бутылку из авоськи.

— Нет! Что вы! — сморщился, как от зубной боли, Андреич. — Мне нельзя.

— Да бери. От души же, — всунул Колюн бутылку в окно.

Колюн поднялся к себе на этаж, бережно опустил авоську на пол и стал отпирать дверь. Пес мирно стоял рядом. Вдруг он неловко переставил лапы, задел авоську, и та покатила по ступенькам. Оцепенев, Колюн смотрел ей вслед. Бросился вниз, поднял авоську. Звякнули осколки, ядовито-красные струи хлынули на пол. Колюн припал было ртом к ним, но они иссякли.

— Да что ж это такое! — чуть не зарыдал Колюн, глядя на лужу у ног. — Столько добра загубить.

Он оглянулся, не поднимается ли кто-нибудь по лестнице, присел на корточки и попытался зачерпнуть ладонью. Не получилось. Колюн тогда приспособил вторую ладонь. Так вроде набралось побольше. Вдруг сверху в лужу ударила тугая струя. Колюн поднял голову. Пес стоял рядом, задрал заднюю ногу.

— Ах, ты!.. — взревел Колюн. — Мало тебе... Так ты еще... — замахнулся он на пса.

Тот предостерегающе зарычал, ощерившись. Показавшиеся клыки остудили гнев Колюна.

— Ты у меня еще схлопочешь, — пообещал он псу, вытряхнул из авоськи осколки и побежал вниз.

Пес неспешно затрусил следом.

Колюн пронесся мимо бабок.

— Побёг, — сказала одна из них. — Не хватило.

— Не, — сказала вторая. — Это он про запас. Магазин-то закрывается.

— Собачку жалко, — вздохнула третья.

...Покуривающая на ступеньках фургона сварщица и слесари враз повернулись — по доске через канаву спешил Колюн. Как только он благополучно преодолел препятствие, они отвернулись, а Колюн с псом нырнули с заднего хода в дверь кирпичного дома, пересекли фешенебельный холл и сразу же очутились на улице.

Подойдя к магазину, Колюн сразу направился к штабелям пустых ящиков.

— Посторонись... Посторонись, мужики, — шел Колюн сквозь очередь, неся перед собой ящики, и вдруг во что-то уперся. Перед ним скалой стоял здоровенный мужчина.

— Ты чего? — удивился Колюн. — Не видишь, что ли?

— Вижу. Очень умный?

— Не понял.

— Сейчас поймешь, — мужчина взял Колюна за шиворот. — Из-за таких, как ты... бутылку шампанского на день рождения взять не мог.

— Теперь понял, — сказал Колюн. — Извини, браток. Больше не повторится.

— Вот так-то лучше, — мужчина отпустил его.

— Подержи на секунду. Шнурок развязался, — протянул ему Колюн ящики.

Мужчина взял их, и в ту же секунду Колюн ужом ввинтился в толпу...

...Задняя дверь магазина открылась.

— Я же предупреждала, артист, — сказала продавщица, выпуская Колюна на улицу.

— Мелочи жизни, — отмахнулся Колюн, прижимая к груди авоську с драгоценным содержимым.

Вид у Колюна был такой, словно его пропустили через мясорубку. Под глазом наливался сизый фингал.

Теперь Колюн уже бежал к дому, подгоняемый нестерпимой жаждой. Большими скачками пес неся за ним.

Оказавшись у дубовых дверей подъезда, Колюн набрал на кодовом пульте цифры и влетел в холл. Из-за стола с телефонами встала женщина в очках. Взгляд ее сквозь стекла был одновременно приветливым и строгим. Чертыхнувшись, Колюн повернул обратно, выскочил из подъезда и бегом бросился вокруг кирпичного дома.

— Шустрый. Успел, — сказала бабка на скамейке, увидев приближающегося Колюна.

— Вечером концерт будет, — вздохнула вторая.

— Собачка-то, собачка чем виновата, — пригорюнилась третья.

Замок в двери, как всегда, заедал — одной рукой управиться было невозможно. Колюн хотел было опустить авоську на пол, но, взглянув на стоящего рядом пса, передумал. Взял авоську в зубы.

— Вы же не собака, — сказал вдруг отчетливо пес.

Колюн, не выпуская изо рта авоську, оглянулся. Рядом никого не было.

— Я говорю, вы же не собака, — громко повторил пес. — Дали бы мне подержать.

— Тебе?! — раскрыл Колюн рот.

Авоська упала, грохнули бутылки.

— С-с-сука! — вырвался у Колюна отчаянный вопль. — Сука!.. Сука!.. — молотил он в ярости кулаками в дверь.

— Вы кого-нибудь зовете? — спросил пес.
— А?! — затравленно обернулся Колюн и затряс головой. — Ты чего-то сказал? — спросил он с надеждой, что все услышанное ему лишь представилось.

— Я спрашиваю, разве у вас в доме уже есть собака? — повторил пес.

— Допился. Белая горячка, — прошептал Колюн и медленно сполз на пол, прямо в лужу плодово-ягодного.

Колюн держал голову под струей холодной воды из крана. Не вытираясь, обернулся. Пес сидел рядом, внимательно глядя на Колюна.

— Ты все еще здесь? — спросил Колюн.

— Как видите, — сказал пес.

— Ясно. — Колюн снова сунул голову под кран.

— Может, хватит? — сказал пес. — Пол-часа уже голову мочите.

— Мамочки, — сказал Колюн, опускаясь на ближайший стул.

— Вам плохо? — спросил пес.

— Но ведь не пил же! Не пил ничего с утра! Сухой!.. — запричитал Колюн.

— Могу подтвердить, — сказал пес.

— А с кем я тогда разговариваю?! С кем?! — заорал Колюн. — Ты кто?

— Друг.

Колюн помолчал немного, внимательно глядя на пасть пса. Она не открывалась во время разговора, но голос шел явно из собачьей глотки. Глухой, хрипловатый.

— Плохо мне, — сказал тихо Колюн.

Огляделся кругом, закрыл глаза, снова открыл. Обстановка была прежней, но и пес никуда не пропал. Сидел, таранился на Колюна своими огромными, по-человечьи грустными глазами. Колюн дернул себя за ухо, подскочил на стуле.

— Думаете, снюсь вам? — участливо спросил пес.

Колюн отмолчался.

— Может, «скорую» вызвать? — немного погодя спросил сам себя, потому что все никак не мог поверить в реальность существования говорящего пса.

— Лучше лечь спать, — посоветовал пес. — Вы сейчас немного перенервничали. Стресс у вас.

Колюн встал, прошел в комнату и, не раздеваясь, рухнул лицом вниз на неприбранную кровать. Пес, покрутившись немного, как это делают собаки перед тем, как лечь, устроился рядом.

Утром Колюна разбудил луч солнца. Колюн сладко потянулся, потом, видно, вспомнив вчерашнее, замер, зажмурился. Осторожно

приоткрыл один глаз, осмотрел комнату. Никого не было. Колюн открыл второй глаз, затем, соскочив с кровати, заглянул под нее. Никого. И под столом никого. И в шкафу. Повеселев, Колюн вышел на кухню. И здесь никого.

— Ну и надрался вчера, — засмеялся Колюн облегченно. — Это же надо — с собакой разговаривать.

Замурлыкав какую-то мелодию и обнаружив при этом отменный слух, Колюн прошел в угол кухни, занятый батареей пустых бутылок, поднял наугад несколько, посмотрел на свет. Глухо, ни капельки. Нашел авоську, вышел в прихожую. На ходу глянул в растрескавшееся, полуразбитое зеркало на стене, плюнул на ладонь, пригладил вихор и направился к выходу. Вдруг за дверью туалета послышался звук спускаемой воды. Колюн замер.

— Митька, ты?

— Ответа не последовало.

— Мить, ты чего молчишь? — улыбнулся Колюн.

Дверь отворилась, вышел Друг.

— Доброе утро, — сказал он.

— З...з... — все никак не мог выговорить Колюн. — Здравствуйте...

— Вы куда-нибудь собрались? — поинтересовался пес, загораживая выход.

— Я? Да так, в магазинчик вот решил, — заискивающе сказал Колюн.

— По-моему, было бы неплохо вначале умыться, — сказал пес.

— Как?!

— И побриться, — добавил пес.

— Понимаю, — сказал Колюн после долгой паузы и прошел в ванную.

Вышел он оттуда несколько преобразившимся. Конечно, о серьезной перемене и речи быть не могло, но во всяком случае гребень и бритва пошли Колюну явно на пользу.

— Теперь можно в магазинчик? — фальшиво улыбнулся Колюн.

— Вы разве по утрам не завтракаете? — спросил пес.

— Когда как. Если остается.

— Не осталось?

— Откуда? — горько сказал Колюн, подняв пустую бутылку. — Разве тогда ты бы мне снился? Наяву?! Бр-р-р...

— Я вам не снюсь. Я существую, — сказал пес.

— Разберемся, — пообещал Колюн. — Сейчас вот полечусь немного — обязательно разберемся.

Пес выскочил из подъезда первым. Следом вышел Колюн и сразу же направился к «Запорюжку».

— Андреич, — постучал он по капоту.

Из-под машины показалась рука с трешкой.

— Да не то, — отмахнулся нетерпеливо Колюн.— Скорее. Голова кругом идет, — смотрел он на пса рядом. — Говорящие собаки уже видятся.

Рука с трешкой исчезла, из-под машины вылез Андреич, без слов поставил вчерашнюю бутылку на крышу и снова нырнул под днище.

Затаив дыхание, Колюн смотрел на бутылку. До вожделенной жидкости было всего два шага. Колюн сделал первый, затем второй. Медленно, словно боясь спугнуть, протянул руку. Она дрожала. Причем тем сильнее, чем ближе была к бутылке. Вот рука почти уже коснулась ее. Колюн искоса взглянул на пса, невозмутимо сидящего неподалеку, и вдруг отдернул руку. Колюн даже сам не понял, почему он это сделал.

— Андреич, — севшим от волнения голосом позвал Колюн.

Андреич безропотно вылез из-под машины и протянул Колюну трешку.

— Да отстань ты с нею... Возьми бутылку. — В ответ на удивленный взгляд Андреича Колюн объяснил: — Я не могу. Волнуюсь... Осторожней! Двумя руками!..

Андреич так и сделал.

— Уф-ф! — вздохнул Колюн с облегчением. — А теперь дай ее мне... Не торопись!.. Бережно, бережно, черт очкастый... Так, так...

Как неразряженную мину протягивал Андреич бутылку на раскрытых ладонях. Навстречу, так же держа руки, тянулся Колюн. Оставалось совсем немного, как вдруг пес оглушительно гавкнул. Андреич вздрогнул, бутылка выскользнула, упала на землю и разбилась. Андреич испуганно вжал голову, ожидая неминуемой кары.

Колюн молча смотрел то на осколки, то на пса. Страшная мысль зародилась в мозгу у Колюна.

— Не виновен, — сказал он Андреичу и пошел со двора.

Андреич тряпкой стер с желтого капота капли «бормотухи». Под ними заблестел металл.

— Кислоту, что ли, они пьют! — удивился Андреич. — Вся краска слезла!

Колюн вышел из магазина с толстым длинным свертком под мышкой, прошел с псом за угол.

В небольшом скверике, читал на скамейке газету пожилой мужчина.

— Папаша, до свиданья, — сказал Колюн.

— Простите... — не понял мужчина.

— Чеси, говорю, отсюда, — гаркнул Колюн.

— Эх, встретился бы ты мне лет десять назад, — с горечью сказал мужчина и, прихрамывая, ушел.

Колюн опустился на скамейку.

— Садись, — сказал он псу. — Поговорить надо.

Пес послушно сел и почесал задней ногой за ухом.

— Послушал бы кто-нибудь, — тоскливо сказал Колюн. — С кем разговаривать собрался?.. — Он набрал побольше воздуха и резко выдохнул: — Значит, так. Ты кто?

— Друг, — ответил пес.

— Чей? — Колюн внимательно следил за пастью пса. Во время ответа она не открывалась.

— Ваш.

— В гробу я видел таких друзей!.. Ты откуда взялся?

— Вас интересует история моего рождения? — спросил пес.

— Чего?!.. Нет, сумасшедший дом. И ведь трезвый же, трезвый! Второй день!.. — Колюн заставил себя прекратить панику и вдруг хитровато улыбнулся: — Слушай, а чего у тебя здесь, — покрутил он пальцами перед своим ртом, — ничего не двигается. И язык наружу.

— Когда это, — немного язвительно сказал пес, — у меня двигается, получается лай. Я же собака.

Колюн подумал немного и облегченно засмеялся.

— Все. Понял. Ты не собака. Ты... черт! Угадал?.. Ты смотри... — сам даже удивился, — значит, вы все же существуете.

— И это современный человек. Постыдились бы, — сказал пес укоризненно.

— Но не говорят собаки! — заорал Колюн. — Не умеют!

— Вы же меня слышите, — кротко сказал пес.

— Вот это-то и плохо, — искренне признал Колюн. — Тебя кто-нибудь подослал ко мне?

— Я вас сам выбрал, — сказал пес. — На Птичьем рынке. И попросил хозяина заинтересовать вас деньгами.

— Но зачем?! Зачем я тебе?!

— Чтоб спасти.

— От чего?!

— А вы разве сами не догадываетесь?

Колюн раскрыл было рот, но снова закрыл — пересилил себя. Развернул сверток. В нем оказался целый батон вареной колбасы. Колюн смачно откусил от него.

— Вкуснота!

— Гав! — вскочил пес.

— Жрать хочешь? — осклабился Колюн.

Пес завилал хвостом.

— А я выпить! — Колюн щелкнул себя по горлу. — Понимаешь?

Пес выжидательно смотрел на Колюна.

— Можно договориться. Ты меня оставляешь в покое, а я тебе за это — колбасу. Всю! А? Идет?

— Другей не предаю, — сказал пес и сел.
— С...с... — от возмущения Колюн стал заикаться.

— Напоминаю, я кобель, — предупредил готовое сорваться слово пес.

— Ты не кобель! Ты знаешь, кто... Ты... ты...

— Может, мы продолжим беседу дома? — невозмутимо предложил пес. — На нас уже смотрят.

И в самом деле, прохожие удивленно оглядывались на человека, возмущенно размахивающего руками перед псом.

— ...И так как нам предстоит долгая совместная жизнь, было бы неплохо понять друг друга, — говорил пес Колюну в квартире. — У меня к вам ряд требований... Да перестаньте же вы так часто упоминать мою маму. Не думаю, чтобы вы ее знали.

Колюн быстрым шагом прошел к двери, распахнул ее и заорал:

— А ну, убирайся отсюда!.. «Совместная жизнь»... Пошел вон!..

Пес с безразличным видом сел и стал выдвигать что-то у себя в боку.

— Я кому сказал?!.. Вон!.. Пошел отсюда! — надрывался Колюн.

Пес смачно зевнул и улегся.

— Ну, хорошо, — совершенно спокойно произнес Колюн и не спеша направился в кухню. — А-а!.. — вылетел он оттуда с отчаянным воплем и шваброй наперевес...

...Бабули на лавочке, подняв головы, вслушивались в крики и собачий лай, доносящиеся из окна квартиры Колюна.

— Гуляет, — неодобрительно сказала первая бабуля.

— По-черному, — согласилась вторая.

— Раньше над женой измывался, а теперь собачку мучает, ирод, — вздохнула третья. — А все от того, что бога забыли...

...Пес стоял во весь свой огромный рост, упершись передними лапами в платяной шкаф. Шерсть Друга вздыбилась, из груди рвалось злобное рычание. На шкафу, поджав ноги, сидел Колюн.

— Ну все... Фу... Хватит, — пытался он успокоить собаку.

Пес прыгнул вверх. Клыки клецнули в опасной близости от ног Колюна.

— Сказано — все!.. Больше не буду!.. Мир!.. — крутился юлой на шкафу Колюн.

Пес, задрав морду, изучающе смотрел на Колюна. Затем опустился на четыре лапы, сел и спокойно произнес:

— Вернемся к моим требованиям...

— Нет! — сказал Колюн. — Лучше загрызи меня сразу.

— Это я всегда успею, — сказал пес. — Но

вначале хочу попробовать убедить. Я ведь действую в ваших интересах...

— Во, во, все так врут. Да ты кто, жена мне?! Или милиция?

— Вы губите здоровье, лишаете себя нормальных человеческих радостей. Посмотрите, как вы живете. Один, без семьи, без детей...

— Вот чешет, — восхитился Колюн на шкафу. — Как наше радио.

— А что вы хотели бы от меня услышать? — возмутился пес. — «Голос Америки»? Что слышу — то и говорю. — И опять несколько менторским тоном продолжил: — Неужели весь смысл вашей жизни в том, чтобы напиться, опохмелиться и снова напиться...

— Не твое дело! — заорал Колюн со шкафа.

— Вы же царь природы! Передвигаете горы, изменяете течение рек, в Космос летаете!..

— Вот именно, летаем! А ты мне здесь поперец дороги становишься.

— Извините, — с иронией сказал пес, — вы лично пока поднялись только до шкафа. Сидите, понимаете, как наседка, и о глотке отравы мечтаете.

— Ну не могу я без нее, не могу, дурья твоя башка, — взмолился Колюн. — Горит все внутри. Посмотри, руки дрожат, весь организм на пределе. Это же лекарство для меня. Я помереть без него могу. Ты соображаешь это или нет?!

— Зато умрете трезвым, — невозмутимо сказал пес.

— Ну нет, — прошептал Колюн. — Чтоб я какому-то псу сдался. — И, вооружившись сорванной с ноги кедой, с воинственным криком бросился вниз. — Убью!..

Смеркалось. В комнате от уличного фонаря было светло. Колюн тоскливо сидел на шкафу. Рубашка была изодрана в клочья, из разорванного носка кеды торчали пальцы.

— Эй! А еще говорящие собаки есть? — спросил вдруг Колюн.

— Не знаю. Мы про это друг друга не спрашиваем. Нескромно. Это только собаки и ее хозяина касается, — сказал пес.

— То-то я смотрю, народ помешался на вас. Раньше еще ничего, а сейчас на каждом шагу вашу морду встретишь.

— А птички, хомяки, рыбки? — спросил пес.

— Чего, и они разговаривают?! — с отвращением спросил Колюн.

— Ну что вы всё уперлись — говорящие, говорящие. Живые! Это главное. У нас же с вами одна мать.

— Что?! — вскочил Колюн на шкафу. — А ну повтори, сукин ты сын!..

Пес громким рычанием остудил пыл Колюна, а потом добавил:

— Я говорю, у нас с вами одна мать — природа.

— Братана, значит, я встретил, — зло ухмыльнулся Колюн. — И теперь, значит, по такому случаю мне здесь всю жизнь сидеть?

— Почему же? Соглашайтесь с моими требованиями и спускайтесь, — сказал пес.

— А вот хрен тебе! — взыграло в Колюне человеческое достоинство. — Чтоб я с какой-то шавкой облезлой договаривался?! Вот! — и показал псу кукиш.

— Как хотите.

Колюн помолчал немного, поерзал. Его определено что-то угнетало.

— Как тебя там, — позвал он. — Мухтар... Джульбарс...

— Я — Друг, — ответил пес.

— Подыхать буду — так не назову! — сказал Колюн.

— Ваше дело, — сказал пес.

— Мне это... вниз надо, — попросил Колюн.

— Для чего?

— Для того! — возмутился Колюн. — Стану я тебе объяснять.

— Вообще-то я тоже непрочь прогуляться, — сказал пес. — Ладно, перемирие. На полчаса.

Колюн пулей слетел со шкафа.

— Пошли на улицу, — приказал пес.

— Ты же умеешь, — удивился Колюн, кивнув на дверь туалета.

— Умею, — сказал пес. — Но предпочитаю на природе.

Колюн подумал немного и потянулся за поводком.

— С сегодняшнего дня обойдемся без него, — сказал пес. — Знаю я ваши фокусы.

— Чтоб ты сдох! — Колюн открыл входную дверь.

Лунный свет заливал пустой двор, вытянутый длинный блик лежал на крыше «Запорожца». Колюн зашел за фургон, задрал голову вверх. Пес, метя по собачьей привычке стволы деревьев, время от времени оглядывался на хозяина. Тот все стоял в прежней позе.

— Что-нибудь случилось? — забеспокоился пес, подбежав.

— Луна, — каким-то странным голосом произнес Колюн.

— Она. Ну и что? — не понял пес.

— Сто лет не видел.

— Пить надо было меньше, — ворчливо произнес пес. — Очнулся, луну он заметил, алкаш несчастный.

— Пошел ты отсюда, — беззлобно ска-

зал Колюн. — Ты гляди, а облака какие! Бегут... И все разные.

— То вон на кость похоже. На сахарную, — сказал пес.

— Какая же это кость. Пузырь. С винтом. За пятнадцать двадцать. Точно, он... А вон видишь звезду, ну вон, яркая такая. Знаешь, как она называется? Черт, забыл. А ведь помнил.

— Хотите, чтобы я еще в астрономии разбирался? Хватит с меня и других забот, — сказал пес и после паузы добавил: — Альтаир она называется.

— Точно! — обрадовался Колюн. — Альтаир, Денеб и Вега — «летний треугольник»... погоди, а ты откуда знаешь?!

— Перемирие окончено. Домой! — строго оборвал его пес и зарычал.

— Да погоди ты, — попросил Колюн. — Дай посмотреть еще немного.

— Успеете, — сказал пес. — Меня каждый вечер выгуливать надо.

— Ну и характер у тебя... собачий! — Колюн сплюнул и вошел в подъезд, успев напоследок еще раз взглянуть на луну.

— Что, опять на шкаф? — спросил Колюн в квартире.

— Как хотите. Условие мое вы знаете.

Колюн задумчиво посмотрел на шкаф.

— Уж очень тоскливо там... Черт с тобой. Говори, что я должен делать?

— Дать слово, что больше не будете пить.

— И только-то? Так чего ж ты меня, террорист чертов, столько на шкафу держал?

Сказал бы раньше — я б тебе сто слов дал.

— И обманули бы. Что я, вчера родился? Знаю я вашу породу. Нет, вы должны поклясться. Самым дорогим.

— Чем это?

— Вам лучше знать, что для вас самое дорогое.

Колюн молчал, уставясь в пол.

— Я жду, — напомнил пес.

— Мне нечем поклясться, — хмуро сказал Колюн и пошел к шкафу.

— Да, далеко вы зашли, — сказал пес.

— Спокойной ночи. — И вышел на кухню.

Колюн, уже собравшийся лезть на шкаф, остановился, затем украдкой приблизился к двери и заглянул на кухню. Пес уже лежал. Колюн на цыпочках вернулся в комнату и с величайшей осторожностью, чтобы не скрипнули пружины, лег на кровать.

— Послушайте... — раздался голос пса.

Колюн вскочил с кровати и ринулся к шкафу.

— Вы не могли бы погасить у меня свет, — попросил пес. — Я не умею.

Колюн вышел на кухню. Подняв голову,

пес молча смотрел на Колюна, словно ждал чего-то.

— Спокойной ночи,— выдавил из себя Колюн и ударил по выключателю.

Ранним утром по аллеям парка сновали бегуны. При всей непохожести их объединяло одно — сосредоточенность, с которой они бежали за своим здоровьем. В парке было тихо, лишь иногда слышалось дыхание да шуршание кроссовок бегущих спортсменов. И вдруг в тишину ворвались веселый собачий лай и хриплый мужской голос:

— Ты что?!.. Зверюга!.. Кончай, больно... Хватит!..

Из-за поворота аллеи, запаленно дыша, вынесся Колюн. В длинных «семейных» трусах, грязной майке и разодранных кедах. За Колюном, оглашая парк громким лаем, бежал Друг, время от времени укусами подгонявший хозяина. Бегуны оскорбленно сторонились, пропуская странную пару.

— Всел.. Больше не могу, — Колюн в изнеможении повалился на траву.

— Ладно, на первый раз достаточно, — сел пес рядом, свесив набок язык. — Будем постепенно увеличивать нагрузку.

— Смерти моей хочешь? — едва выговорил Колюн, с ненавистью глядя на пса.

— Алкоголь из вас вывожу. Могли бы и сами сообразить, хомо сапиенс, — сказал пес.

Возле «Гастронома» пес обнюхивался с роскошной, ухоженной колли, чья владелица, красивая женщина, словно сошедшая с портрета XIX века, разговоривала неподалеку по телефону-автомату, не сводя глаз с собак. Заметив вышедшего из «Гастронома» Колюна с набитой продуктами авоськой, пес в два прыжка подскочил к нему и, как это подобает воспитанной собаке, пошел справа от хозяина, держась его ноги. Женщина проводила их взглядом.

— Вы все купили? — негромко, чтобы не привлекать внимания окружающих, спросил пес.

— Взял я тебе ливерную, успокойся. Сорок копеек отдал. Почти бутылка пива, — сокрушенно сказал Колюн.

— Я не о еде.

— А о чем же?

— О духовной пище. Для вас.

Колюн непонимающе уставился на пса.

— Газеты вы не думаете покупать? — вежливо осведомился пес.— За завтраком почитали бы.

— А чего я в них не видел?!

— Дожил, — сказал Колюн за столом. — Чай с утра пью.

Поморщившись, он взял стакан, сделал глоток.

— Это не чай, — удивленно сказал он. — Чего-то мне не то в магазине сунули.

— Вы когда его в последний раз пили? — спросил пес.

— Да не в этом дело. Запах-то я помню. А этот... вроде веником пахнет.

— Чай это, чай. Только грузинский, — успокоил пес хозяина. — Совсем от жизни отстали. Хороший сейчас только в заказах. А их заслуженным людям дают, совсем не вроде вас.

Колюн посмотрел на пса, но ничего не сказал, сделал бутерброд и взял в руки газету.

— Да, давненько вы в руках газеты не держали, — сказал пес. — Это их раньше с конца читали. А сейчас самое интересное на первых страницах.

— Ты прекратишь меня шпынять или нет? В кои веки за стол нормально сел. Дай хоть позавтракать спокойно, — миролюбиво попросил Колюн.

То ли он весь выложился на пробежке и не было сил ругаться, то ли так на него подействовала давно забытая атмосфера мирного домашнего завтрака, с чаем, с утренней газетой.

— Подумаешь, невидаль. Чаем он завтракает, — проворчал пес, но приставать больше не стал, лег у ног хозяина и задремал.

Уютно шипел на плите чайник, шелестели страницы газеты.

— Странная какая-то газета,— сказал вдруг Колюн с удивлением.— Чего думают — то и пишут. Интересно, где это ее печатали?

— Название газеты прочли?

— Ну.

— Так чего удивляться, что правду пишут? Нет, все же поразительная вещь человеческая логика... Кстати, поглядите, про вас там ничего нет?

— А чего про меня должно быть? — удивился Колюн.

— Ну, не знаю. «Вести из вытрезвителя», например, — пес деланно зевнул.— Большого, по-моему, вы не заслуживаете.

Колюн даже задохнулся от ярости.

— Не смей!.. Пес шелудивый! — грохнул он кулаком по столу.— Ты... Да ты знаешь, что про меня писали?!.. Я...— Он выбежал из кухни.

Как одержимый, рылся он в пыльных, сваленных прямо на пол папках, свертках — книжный шкаф и письменный стол были уже давно пропиты, — расшвыривал пожелтевшие от времени газеты и яростно шептал:

— Я тебе сейчас докажу!.. Ты сейчас узна-

ешь, кем я был... Думаешь, я никто?! Я просто так?!..

— Ну что, нашли? — появился пес на пороге комнаты.

Колюн не отвечал. Он сидел на полу, уставясь на книжицу твердого красного переплета у себя в руках.

— Что это? — спросил пес.

— Диплом. Мой диплом, — сказал тихо Колюн и вдруг вскочил на ноги. Глаза его лихорадочно блеснули, весь он был в каком-то отчаянном порыве. — Все! Хватит! Больше не могу!.. — И ринулся к выходу.

Пес вскочил, зарычал. Колюн замер у двери, медленно обернулся и... неестественно широко улыбнулся.

— Погулять-то я имею право, — просительно сказал он. — Или нет?

Они шли по улице. Колюн рассеянно улыбался, что-то напевал с отменным слухом. Пес, озадаченный такой быстрой переменой в настроении хозяина, недоуменно поглядывал на него снизу вверх. Они проходили мимо остановки, у которой в это время стоял автобус.

— Кошка! — ткнул пальцем Колюн.

Пес невольно повернулся, и в то же мгновение Колюн впрыгнул в автобус. Пес, чуть замешкавшись, ринулся следом, но ударился грудью о закрывшиеся двери, отлетел назад и сел, обескураженный. Колюн в заднем стекле уходящего автобуса хмуро и зло смотрел на Друга.

Пес посидел еще некоторое время, глядя в конец улицы, где исчез автобус, потом встал, шумно отряхнулся всем телом, аж до кончика хвоста — словно сбрасывая с себя все дальнейшие заботы о хозяине — и медленно потрусил прочь.

По мелководью паркового пруда, вздымая фонтаны сверкающих на солнце брызг и радостно лая, пес носился за палкой, которую ему бросали дети: мальчуган лет шести в синих плавках и девочка лет восьми в цветастом купальнике.

— Ирка, Сашка... Хватит, прекратите... Отойдите от нее. Она вас укусит...

Пожилый мужчина, с улыбкой наблюдающий за возней детей с собакой, успокоил мать:

— Вы напрасно беспокоитесь. Это же нюф. Они как дети.

Мальчик с девочкой тем временем, совсем осмелев, приблизились к псу вплотную. Они взбирались к нему на спину, хочода, падали обратно в воду, плавали с ним наперегонки, подныривали под него и, судя по счастливому виду пса, трудно было сказать,

кто получает от этого большее удовлетворение. А если б в этот момент кто-нибудь мог заглянуть под воду, ему бы представилось удивительно красивое и трогательное зрелище: беззвучно скользкий в голубой воде могучий аспидно-черный головастый зверь и льнущие к нему худенькие детские тельца.

Потом они все трое отдыхали на крошечном островке посреди пруда. Лежа на песке, дети положили головы на прохладный мокрый бок собаки. Солнце приятно грело, и они задремали.

Вдруг, как от толчка, пес проснулся, осторожно, стараясь не потревожить детей, поднялся, бросился в воду, стремительно, оставляя за собой расходящиеся «усы» волн, переплыл пруд и огромными скачками понесся по парку.

Уличные часы показывали начало первого. Колюн стоял у витрины парфюмерного магазина и с большим вниманием изучал выставленные на ней товары. Позади послышалось легкое покашливание. Колюн обернулся. Перед ним, с умильной мордой, сидел пес.

— Вы по мне не соскучились? — невинно поинтересовался он.

Лицо Колюна перекосила гримаса отвращения. Секунду-другую он тупо смотрел на пса, затем решительно шагнул к входу магазина. Пес прыжком загородил дорогу.

— Простите, вы куда?

— Лосьон у меня кончился, — после недолгой заминки нашелся Колюн. — Для бритья, — и он похлопал себя по щеке.

— На спирту? — ласково спросил пес. — Дилетант, — добродушно укорил. — Кого провести вздумали. Да я в сто раз больше вашего знаю способов. Политура, БФ, пудра, зубная паста. А валерианка, раствор календулы, капли Вотчела...

Колюн облизал пересохшие губы, подошел к автомату с водой, грохнул по нему кулаком, взял наполнившийся «чистой» стакан и с жадностью выпил.

Поздней ночью Колюн встал и вышел из комнаты. Пес, лежавший у входной двери, поднял голову и сонными глазами посмотрел на Колюна.

— В туалет, — буркнул Колюн.

Войдя в совмещенный санузел, Колюн достал из кармана четвертушку бумаги, огрызок карандаша и сел на край ванны.

«Митька, выручай, пропадаю!!! — торопливо писал Колюн. — За мной три «полметра». Нет, пять клянусь! Достань где хочешь деньги, я потом отдам, и своди в «Охотник». Мне нужен капкан или крепкая сеть...»

Пес встал и подошел к двери санузла.

— Вы скоро? Спать не даете.

— Иду, иду.— Колюн торопливо приписал в конце письма: «Как достанешь все — приходи. Только поскорее. Я бы позвонил, но эта зараза все понимает. Действуй, как договорились, и ничего не бойся.»

Колюн запечатал письмо в конверт, надписал адрес, сунул в карман, спустил воду в унитазе и вышел.

— Еще раз спокойной ночи,— весело пожелал он псу и направился к себе в комнату.

— Давай, давай... Жми на всю железку... Пятки отдаваю...— бодро неся ранним утром по аллее парка Колюн.

— Что-то вы сегодня очень веселый,— сказал пес, повернув на ходу морду.

— А это из меня алкоголь выходит. Сам же говорил,— радостно откликнулся Колюн.— Видишь почтовый ящик? Кто скорее до него... Догоняй, мешок с костями.

На этой дистанции Колюн выложил на конца и пришел первым. Опустил письмо в ящик и, обессиленно прислонясь к нему спиной, повернулся к отставшему псу:

— На этот раз я тебя обставил, дружок.

Они шли по улице. Пес нес в зубах авоську с торчащей из нее коробкой макарон. Колюн тащил огромную кастрюлю и сковороду.

— Это хорошо, что мы стали посудой обзаводиться,— сказал пес.— Люблю, когда хозяйство налаживается. Хотя, конечно, одним, без женской руки трудноато нам будет.

— А,— отмахнулся Колюн.— Ну их, женщин этих.

— Не понимаю,— поднял к нему пес голову.— Вы ведь совсем еще молодой, по человеческим понятиям... Хотя, да, забыл, последствия алкоголя.

— Да ладно тебе,— смущенно сказал Колюн.— Нашел тему для разговора.

— Мы же мужики. Почему бы и не поговорить об этом. Но вы не беспокойтесь. Подберу вам кое-какую траву. Есть тут у нас, растет в сквере.

— Так вот ты для чего зелень все время жуешь! — весело воскликнул Колюн.— Ах ты, кобель...

— А вот это уже пошлость. Болезни бывают разные — и травы тоже. И вообще, мы с вами сейчас говорим не о чем-нибудь там... таком. О семье! Могли бы быть и посерьезней,— сказал пес недовольно и свернул налево.

— Ты куда это? Эй! Вон наш дом.

— Дом без женщины — это жилплощадь, а не дом. Идемте, идемте, не пожалее.

—... Ну что ты пристал ко мне?! Чего еще от меня хочешь?! — возмутился Колюн. Он сидел в парке, держа на коленях кастрюлю и сковороду.

— Не от вас, а для вас. Счастья,— сказал пес.— Я тут недавно перекинулся с соседскими собаками. В доме шансов у нас никаких. Уж очень репутация у вас... известная. А вот в башне напротив универсама вас никто не знает. И по предварительным данным, есть там для нас кандидатура. Хозяйка колли. Одинокая, я имею в виду хозяйку. И характер неплохой. Насчет внешности ничего не скажу — у нас наверняка разные вкусы. Сами сейчас оцените — они как раз в это время здесь гуляют.

— Чего?! Да на кой черт! Никогда! — вскопчил было Колюн.

— Сидеть! — рывкнул пес и зарычал.— Нет, вы все же очень неблагодарный человек,— немного спустя уже другим тоном сказал он.— Сколько людей не знают, как найти себе подругу жизни, тоскуют, объявления в газетах дают, в клубы знакомств записываются, я же вам приношу все на блюдецке — и вы еще недовольны.

— Да что я буду с ней делать? Что ей скажу?

— Вы что, никогда не знакомились с женщиной? Хотя да. Вам же было не до этого,— саркастически заметил пес.— Для начала похвалите собаку. Хозяину это всегда приятно. Потом можно о погоде, об изменившемся климате... Внимание! Идут!

В конце аллеи появилась «женщина с портрета XIX века», она вела на поводке колли.

— Что вы там возитесь? — зашептал сердито пес.— Они уже близко.

— А что мне, так и сидеть с кастрюлей? — Колюн в панике запикивал посуду под скамью.

Женщина и собака приблизились. Колли, натянув поводок, подвела хозяйку к скамейке. Колюн, сам того не желая, встал — ноги просто подняли его. Видно, несколько уже очищенное от алкоголя сознание восприняло не только сам факт появления женщины, но и ее необычную красоту.

Женщина одарила Колюна ослепительной улыбкой. Колюн стоял дурак дураком, ногой пытаясь запахнуть кастрюлю поглубже под скамью.

— У вас очаровательная собака,— сказала женщина голосом, который можно было бы назвать ангельским.

Колюн молчал. Тяжело, безнадежно.

— Кобель? — спросила женщина.

У Колюна сил хватило только на то, чтобы кивнуть. Затем он еще поднатужился, с трудом разделел пересохшие от волнения губы и спросил?

— А у вас?

— Наоборот,— засмеялась женщина.
Сладкой болью отозвался этот смех в груди Колюна.

— Сучка, значит,— туповато заметил он, только чтобы сказать что-нибудь.

Удивление мелькнуло в глазах женщины.

— Простите,— сказал Колюн.— Сорвалось.

— Нет, нет, вы абсолютно правы. Это я... Любим мы иногда напустить туману. А они ведь настоящие дети природы, они естественны, что может быть прекраснее этого... Вы в школу ходите?

— К... куда?!

— Как, вы не ходите в школу?! — воскликнула незнакомка.— И не ходили?

— Нет, почему. Но уже давно... очень.

— А вот мы еще ходим. Правда, не слишком охотно, мы капризные,— мило улыбнулась женщина.

Все плыло перед Колюном, голова нежно кружилась, как после первой утренней порции.

— А сколько... это... возраст какой у вас?

— Полтора года. Мы еще очень молодые,— с невинным кокетством сообщила женщина.

— А... Ну да,— сказал Колюн, переведя невольно взгляд на колли.— Понимаю.

Туман несколько рассеялся, требовалась вторая порция. И Колюн ее получил.

— Вы не очень торопитесь? — спросила женщина.— Не могли бы вы уделить мне несколько минут?

— Кто?! Я?!.. Климат хороший... И погода меняется... То есть наоборот...— Полжизни отдал бы сейчас Колюн за былую свою находчивость, живость ума, умение вести разговор.

— Простите за откровенность, но я еще несколько дней назад обратила на вас внимание,— очаровательно смущаясь, призналась женщина.— Вы меня просто поразили, вы чудо, идеал. Я любовалась вами.— Вы — как ожившая легенда. Помните миф о золотом веке, когда все живое на земле жило одной жизнью?

Колюн молчал. На него было тяжело смотреть. Впервые за столько лет о нем говорили с восхищением. И кто? Женщина, да еще такая!

— Может быть, мы присядем? — несмело предложила женщина.— У меня к вам столько вопросов.

Это было как нельзя кстати. Подгибающиеся от волнения ноги уже не держали Колюна, и он рухнул на скамью. Грациозно, как мотылек, женщина опустилась рядом.

— Ну, рассказывайте, все рассказывайте. И, главное, как вам удалось добиться такого взаимопонимания с собакой.

Колюн сидел на стуле у себя в квартире, держа на коленях кастрюлю и сковородку и вперив отсутствующий взгляд куда-то в бесконечность.

— По-моему, вы ей понравились,— сказал пес за его спиной.

Колюн очнулся, снял с колен посуду, подошел к зеркалу и долго всматривался в свое отражение.

— Нет...Не может быть...— шептал он.— Почему?...

Пес громко чихал — пыль в квартире стояла столбом. Колюн затеял грандиозную уборку. Мысли даже покрытые уже археологической пылью окна.

С сумками, доверху набитыми пустыми бутылками, Колюн выбежал из подъезда. Рядом следовал пес.

— Здравствуйте,— поздоровался Колюн с всегдашними лавочки.

Бабули не ответили. Андреич, заметив Колюна, нырнул с головой под капот.

— Побёг. На полные обменивать,— сказала одна из бабуль.

— Не,— задумчиво произнесла вторая.— Вроде в завязке он. Какой день концертов не слышно.

— Сегодня в завязке — завтра развяжется. Узелок-то хилый,— горько вздохнула третья.

Колюн стоял посреди неузнаваемо изменившейся комнаты, на вымытом до блеска полу, в потоке света, волно и широко вливающимся сквозь идеально прозрачные окна.

— Еще бы шампанское,— несмело сказал Колюн.— Не для меня,— поспешно уточнил.

— Исключено,— отрезал пес.— А вот обувь сменить — было бы неплохо. В таком виде принимать гостей неприлично.

Колюн посмотрел на свой большой палец, выглядывавший из дыры в кеде.

Сидя на лавочке в обувном магазине, Колюн с удивлением глядел на обувь у себя на ногах. То так посмотрит, то этак. То на тупорылый ботинок на левой ноге, то на вельветовый туфель на правой. Черт его знает, куда ушла мода за последние годы!

— Девушка...А, девушка. Можно вас на минутку? — заискивающие попросил Колюн молоденькую продавщицу.

Неприступная, как Джомолунгма зимой, та нехотя подошла.

— Девушка, если б я вас в гости позвал... в этих туфлях,— тихо спросил Колюн,— вы бы пошли?

Окатив Колюна ледяным презрением и не удостоив его даже ответом, продавщица отошла. Колюн вздохнул, снял с ног обувь, взял ее в руки и пошел к витрине, через стекло которой был виден сидящий на улице Друг.

— Куда? Гражданин! — раздался голос продавщицы.— Касса в конце зала.

— Я посоветоваться. Другу показать,— кивнул Колюн на витрину.

Постучал в стекло, привлекая внимание пса, и показал ему туфли. Пес, встав на задние лапы, посмотрел на обувь и мотнул головой. Продавщица ахнула и прикрыла рот рукой.

— Девушка, а другого ничего нет? За ту же цену,— спросил Колюн.

— Да, да, сейчас, пожалуйста,— продавщица метнулась к входу в служебные помещения...

Теперь возле Колюна суетились сразу три женщины — заведующая магазином, заведующая секцией и продавщица. Рядом высилась гора коробок с обувью, которую они наперебой предлагали Колюну. Тот был несколько ошарашен таким вниманием со стороны сферы обслуживания, но не сопротивлялся.

— Скажите, а старый цирк снова откроется? — спросила заведующая секцией, надевая на ногу Колюна лакированный полуботинок.

— Цирк? — удивился Колюн.— А почему бы и нет — если закрылся. Конечно, откроется. Должны же где-то звери выступать.

— Наверное, там с билетами будет трудно,— прозрачно намекнула продавщица, обувая вторую ногу Колюна в умопомрачительный сапог с длиннющим носком, вид которого ввел бы в черную зависть любого укротителя.

— Будет, Екатерина, товарища глупостями занимать,— строго оборвала сотрудницу заведующая магазином и протянула Колюну пару кроссовок, которых еще не видывал свет.— Вот эти, я думаю, вам подойдут. Не наши. Фээргэшные. Мужу своему оставляла, но для такого знаменитого человека...— и она обольстительно улыбнулась...

Колюн расплачивался в кассе за покупку и слышал за спиной восторженный шепот продавщиц, сбжавшихся со всех отделов.

— Вот он...Дрессировщик знаменитый.

— Куклачев, что ли?

— Куклачев с кошками, а этот с собакой. Обувь она ему подбирает.

Колюн присосанился и вальжной походкой направился к выходу. У двери вскинул руку в театральном Жесте и громко произнес:

— Чао!

— До свиданья... Заходите к нам еще... Новых творческих успехов,— наперебой прощались с ним продавщицы.

Колюн шел по улице, поглядывая то на новую свою обувь, то на пса.

— Не жмут? — заботливо поинтересовался пес.

— Ты что? — гордо сказал Колюн.— Фээргэшные... Слушай, а может, и тебе обновку купить какую-нибудь? Ошейник новый, например?

— Если не жалко, лучше не ошейник.

— А что?..Не слышу, громче,— наклонился Колюн к псу.

— Не могу сказать. Стесняюсь,— пес низко опустил голову и заюлил хвостом.

— Ладно, чего там. Говори,— подбодрил его Колюн.

— А вы не будете смеяться?

— Не буду. Слово!

— Мячик,— сдавленным от стеснения голосом произнес пес.

— Мячик?!

— Понимаете, я вообще-то еще молодая собака. Поиграть иногда хочется,— очень тихо сказал пес, отвернувшись в сторону.

Колюн сидел в сквере и смотрел, как Друг наперегонки носится вместе с маленькой болонкой. Колюн свистнул. Пес стремглав подбежал, сел, выжидаяще глядя на хозяина.

— Ну-ка, закрой глаза,— сказал Колюн.

Пес закрыл. Колюн вытащил из кармана теннисный мячик.

— А теперь открой.

Увидев мяч, пес взвизгнул от восторга и радостно забил хвостом.

— Закиньте его куда-нибудь,— попросил Друг.

Колюн запустил мяч на середину лужайки. Пес рванул с места. Он то хватал мяч и валился с ним на спину, то подкидывал высоко вверх и прыгал следом, то катался по траве, кувыркаясь через голову и делая вид, что никак не может ухватить мяч.

Колюн снисходительно посмеивался. Вдруг улыбка медленно сползла с его лица, он весь подобрался и, когда пес скрылся в кустах, встал и на цыпочках стал уходить с аллеи.

Пес выбежал из-за кустов с мячом в зубах. Колюн замер. Пес подскочил к хозяину и опустил мяч на траву.

— Пожалуйста, запулите еще разок,— попросил пес, совершенно не заметив, что хозяин собрался дать деру.

И столько радости было в поднятых к хозяину глазах, столько щенячьего восторга,

что Колюн устыдился и, кинув мяч, вернулся на скамейку. Пес умчался за мячом, но вдруг с диким визгом, словно его убивают, понесся обратно к хозяину. Хвост Друга был трусливо поджат, уши опущены, а на морде такой жуткий страх, что даже человеку, никогда не имевшему дело с собаками, это было видно.

Подбежав, пес забился Колюну под ноги, скулил и плакал там, как маленький щенок, ищущий защиты у хозяина. Колюн недоуменно оглянулся. Вокруг все было спокойно. Мирно играли дети на соседней аллее, лужайку неторопливо пересекали двое мужчин среднего возраста. Один из них мельком посмотрел в их сторону. Высунув голову меж колен хозяина, пес вдруг залил бешеным лаем, шерсть встала дыбом.

— Прекрати... Хватит...— пытался успокоить Колюн собаку, но та замолчала только, когда мужчины вышли из сквера.— Ты что, совсем озверел?! На людей кидаешься.

— Это не люди! Это звери!— едва смог выговорить пес, дрожа всем телом.— Они из нас шапки делают. Воруя и шкуры снимают.

— Ладно, ладно, успокойся. Никто тебя не тронет. Ты же со мной,— сказал Колюн.

По аллее чинно следовали две собаки: ньюфаундленд и колли. За ними шли хозяева: Колюн в новых кроссовках и прекрасная незнакомка в белом платье и элегантной шляпе, которую она придерживала рукой от порывов теплого июльского ветра.

— ...Кому, как не женщине, дано распознать настоящее чувство,— говорила незнакомка.— Я вижу ваш взгляд. В нем страсть...

Колюн смущенно опустил глаза.

— Да, вы очень любите свою собаку.

— Чего?— опешил Колюн.

Друг обернулся, взглянул на хозяина.

— И не надо отпираться. Не надо отпираться, милый вы мой человек,— женщина ласково взяла его за руку.— Я понимаю, как всякий любящий, вы немного стесняетесь своего чувства... Но оно так трогательно,— дрогнувшим голосом сказала она.

Колюн молчал. Да и что он мог сказать?..
...Они подошли к выходу из парка.

— Я вам так благодарна. Теперь на многое я смотрю совсем иными глазами,— растроганно говорила женщина.— А о некоторых вещах я даже не догадывалась.

— Если по-честному, я и сам ничего не знал,— признался Колюн.— Просто перед нашей встречей расспросил пса. Ну, про их жизнь, понимаете? Чтобы было о чем разговаривать с вами. Не про это же...— Колюн чуть было не щелкнул себя по горлу, но удержал руку.

Женщина весело рассмеялась. Сердце Колюна снова сжалось сладкой болью.

— Нет, вы неповторимы,— восхищенно сказала женщина.— Такое слияние с природой. «Расспросить пса». Как это верно. Именно! Именно так надо слушать природу...

— Может, это... на бокал... то есть, на чашечку чаю?— несмело предложил Колюн.— Тут рядом, в двух шагах,— кивнул он на свой дом.

— Да, да, конечно,— с готовностью согласилась женщина и раскрыла сумочку.— Прощу вас.

— Что это?

— На бутылочку «чаю»,— женщина ласково улыбнулась, взяла руку Колюна и сунула в нее трешку.— Так сказать, гонорар за консультацию. Большое спасибо... Джерри, ко мне!— позвала она собаку.— Простите, очень спешу.

Она направилась к стоящей неподалеку машине, открыла дверь, колли привычно вскочила на заднее сиденье.

— Мы еще обязательно встретимся,— помахала незнакомка Колюну.

Колюн, держа в руке трешку, смотрел вслед отъезжающей машине.

— Ну как?— подбежал Друг.— Все в порядке?

Колюн медленно повернулся к нему.

— В порядке,— сказал он, проглотив комок в горле.— Вот, даже трешку дали.— И, вдруг устыдясь взгляда пса, выжал из себя жалкое подобие бодрой улыбки.— Живем.

— ...Но все же шло так хорошо!— возмущался пес на кухне. У меня сердце радовалось, когда я глядел на вас двоих... А может, вы ее чем-то обидели? Ну, конечно. Ляпули, наверное, что-нибудь про спиртное. А женщины этого не любят.

Колюн, повязав вместо фартука полотенце, отлил воду из кастрюли со сварившимися макаронами, разложил их поровну по двум тарелкам, одну поставил перед Другом.

— Пусть остынет, обожжешься.

— Но вы мне можете объяснить, что произошло?— настаивал пес, даже не взглянув на еду.

— А ничего,— с вымученной, притворной беспечностью сказал Колюн.— Я для нее не существую. Как мужчина не существую, понимаешь. Вот так вот.— И Колюн ткнул вилкой в макароны.

— Не понимаю. Как это не существуете? Вот же вы.

— И не поймешь. Думаешь, выучился разговаривать и все про людей стало ясно?

— Конечно. А разве не так?

— Дурачок ты,— грустно усмехнулся Колюн.— Ладно, хватит об этом. И так тошно.

Солнце давно уже село. В комнате было полутемно. Отмахиваясь от кого-то руками, Колюн громко стонал во сне, бессвязно молил. Пес ткнулся ему в щеку холодным носом. Колюн затих, открыл глаза.

— Ты кто? — с ужасом спросил.
— Вам плохо?

— А, это ты,— облегченно произнес Колюн.— Черт, жуть какая снилась.— Он прошел на кухню, напился из-под крана.— Будто бы все люди на земле куда-то подевались и остался я один. А вокруг собаки, говорящие. Бр-р...

Он вдруг усталился на вышедшего следом за ним пса.

— Слушай, а откуда ты вообще взялся, а? Только правду. Вранья мне и без тебя хватает.

Пес молча, не мигая, смотрел на него.

Колюн лежал на кровати, прикрыв лицо газетой от яркого света лампочки, висящей без абажура. Пес, поднявшись на задние лапы и упершись передними в подоконник, глядел в темное уже окно — время шло к ночи.

— Я его очень любил. Он был удивительным человеком,— сказал вдруг пес, не оборачиваясь. Сказал так, словно продолжил вслух какие-то свои мысли.— Большой, красивый, добрый. Но уже больной. Вначале это знал только я, по запаху. Ну а после... Короче, остался он совсем один. Тут он запил уже по-черному. А поговорить ведь с кем-то хочется. И вот ляжет он ко мне на коврик и разговаривает. А мне что делать? Отвечать же надо — плохо человеку,— пес шумно вздохнул.— А потом у него начался цирроз печени. Последнюю неделю он уже не поднимался. И говорить не мог, молчал. Только глазами просил, чтобы я разговаривал с ним... Одиноко было ему...— голос пса прервался.— На могиле хозяина я поклялся, что не пожалею жизни на борьбу с этой отравой...

Пес замолчал, его большое, сильное тело вздрогнуло.

— После его смерти у меня было еще два хозяина,— продолжал он немного спустя.— Я их сам выбрал. Как и вас. Теперь они нормальные, здоровые люди... Вы спите? — обернулся пес к Колюну.

— Это ты, значит, добровольно себе такую профессию выбрал — спасатель?— снял с лица газету Колюн.

— Это не профессия.— Пес спрыгнул на пол и подошел к Колюну.— Порода у меня такая — водолаз-спасатель. Я и вас спасу. Вы не беспокойтесь. Правда, иногда немного

грубо приходится действовать, вы уж извините. Но и одной лаской с вами тоже нельзя.

— А Дуров вон мог,— усмехнулся Колюн.— Слышал про такого?

— Он же с нами работал, с животными, а я — с людьми,— вздохнул пес.— Другая психология.

— Это точно,— вздохнул и Колюн. Помолчал немного, потом, смущаясь, спросил: — Слушай, а это... тебя приласкать-то можно?

— Вообще-то я люблю,— сказал пес.— Если от души.

Колюн осторожно опустил руку на большую лобастую голову пса, стал почесывать за ухом. Привалившись доверчиво к ноге хозяина, пес закрыл глаза от наслаждения.

— Да, хреново,— сказал вдруг Колюн.

— Что именно?— спросил пес, не открывая глаз.

— А все,— сказал Колюн.— Ты как думаешь, из Москвы в Москву письмо сколько идет?

— Когда как. Иногда и больше недели.

— А вы известие какое-то ждете?

— Жду?— задумчиво переспросил Колюн.— А шут его знает. Может, и не очень.

Почти все окна в доме были темные. Колюн сидел во дворе, слушал тихую музыку, доносившуюся из открытой двери фургона, и смотрел на целующуюся пару. Они сидели на ступеньках фургона — это были слесарь и сварщица. Пес крутился неподалеку, метя столбы и ножки лавочек. Парень с девушкой, не размыкая объятий, поднялись и вошли в фургон, свет в нем погас. Колюн понимающе хмыкнул. Но через секунду парень с девушкой вышли из фургона, навесили на дверь здоровенный замок и ушли. Колюн разочарованно смотрел им вслед.

— Людям с утра на работу,— возникший рядом пес проследил направление взгляда Колюна.— Это только мы с вами тунеядцы... Кстати, у нас там еще много денег осталось?

— С гулькин нос,— вздохнул Колюн.

— Значит, пора уже о работе думать. Вы, простите, кто по образованию?

— Музыкант. Был. По классу гобоя кончал. У профессора Ямпольского.

— Да-а,— вздохнул и пес.— Это отравы никого не щадит. А инструмент у вас сохранился?

— Пропил,— горько усмехнулся Колюн.— Давно уже.

— Как же вы до жизни такой докатились?— с состраданием спросил пес.— Ведь интеллигентный человек.

— А я что, один?!— зло бросил Колюн, резко вставая.— Другие не пьют? Пошел бы и спросил — отчего? Столько бы узнал про

нашу жизнь... Если, конечно, они не соврут, — ухмыльнулся он.

Колюн качался на детских качелях. Пес, мотая головой, следил за ним.

— Инструмент мы вам купим. Обещаю, — сказал пес.

Они поднимались по полутемной лестнице домой.

— ...Устроимся ночными сторожами. Пятьдесят рублей дадут на мое содержание и рублей сто сами будете получать. Накопим на инструмент, — громким шепотом говорил пес. — Я сейчас о другом думаю. На ноги я вас подниму, тут двух мнений быть не может. Но я все же собака. А человеку человек нужен. Вы понимаете, о чем я?

— Опять ты за свое? — с отчаянием выкрикнул Колюн.

— Тише, люди спят, — укорил его пес. — Послушайте, а может, нам театры начать посещать? Или абонемент взять в филармонию? Говорят, там тоже можно судьбу свою встретить.

— Никто мне не нужен, — сказал тихо Колюн, возясь с дверью. — И я никому... Да что там говорить. От меня даже жена сбежала.

— У вас была жена?! — от неожиданности вскрикнул пес.

— Ты чо орешь... Я что, по-твоему, с детства такой?! — обиделся Колюн, открывая дверь и пропуская пса. — Конечно, была. И дочка. Ленка. Сейчас ей, наверное, лет шесть уже. Или семь... Ну тебя к черту с твоими разговорами! — и он громко захлопнул дверь.

— Глупость все это! Глупость! Ясно?! — крикнул в сердцах Колюн, схватил со стола водочную бутылку с прозрачной жидкостью, закрутил ее «винтом», плеснул в рот и с громким звуком брызнул ее на белую тряпицу. Обжигаясь, снял с газа раскаленный кирпич и приложил сверху. Струи пара рванули из-под кирпича. — Кто я им теперь?! Они, может, забыли уже про меня! Шутка, столько времени прошло.

— Жена может забыть, — наставительно сказал пес, сидящий тут же, на кухне. — Дочка — никогда. Кровь родная.

— И что я ей скажу? Здрасьте, я твой папа?

— Вот именно. А потом поцелуете, приласкаете. Девочки, знаете, как по отцовской ласке скучают.

Колюн поднял кирпич, сдернул тряпицу и взял выглаженные брюки. Поглядел на них задумчиво и сказал:

— А, может, ей шоколадку купить? По моему, она любила.

— Гениальная идея! — восхитился пес.

Двор старого дома с вынесенными наружу застекленными лифтовыми столами. По ним вниз-вверх ползли кабины. Выбритый до блеска, причесанный, в свежeweыстиранной рубашке и брюках «в стрелку» Колюн, задрав голову, следил за кабинами.

— Ну что, поднимаемся? — спросил пес.

— Да подожди ты, — замылся Колюн. — Вдруг она замуж уже вышла и вообще... Посидим, — опустил он на лавочку.

Пес лег у ног хозяина...

...Прошло много времени. Солнце скрылось за тучами, накрапывал дождь. Колюн надел на голову вытащенный из кармана целлофановый пакет. Пес вылез из-под скамьи, шумно отряхнулся — во все стороны полетели брызги — и заботливо спросил:

— Вы не простудитесь? Может, лучше завтра еще придем?

Колюн мотнул головой и натянул пакет поглубже. Пес подошел к луже и стал громко лаять из нее.

— Да, дождевая вода — это вам не водопроводная. Зеленым листом пахнет, — повернул он морду к Колюну.

Колюна на скамейке не было. Он стоял в двух шагах, весь подавшись вперед. Из подъезда выбежала худенькая девочка в голубом прозрачном дождевике.

— Она? — подскочил пес к хозяину.

— Скройся. Залезь куда-нибудь, — отмахнулся Колюн, не сводя глаз с дочери. — Еще испугается.

Пес нырнул в кусты. Затем вновь высунулся.

— Пакет снимите, — сказал шепотом.

Колюн сдернул с головы пакет и вытащил из кармана плитку шоколада. Девочка с доброжелательным любопытством смотрела на приближающегося к ней мужчину. Колюн подошел... и не смог выговорить ни слова. Горло перехватило.

— Здрасьте, — улыбнулась девочка.

Колюн молча кивнул головой и протянул плитку шоколада.

— Это мне?

Колюн снова кивнул.

— Спасибо, — девочка взяла шоколад и кокетливо спросила: — Мы с вами где-нибудь уже встречались?

Колюн молчал. Девочка внимательно посмотрела на него и вдруг радостно «вспомнила»:

— А, вы наш водопроводчик, правда?

— Я... твой папа... — шепотом еле выдавил из себя Колюн.

Лицо девочки внезапно исказилось ужасом, на глазах выступили слезы и с громким отчаянным криком: «Папа! Папа!» она бросилась прочь.

Вышедшая из подъезда мать, худая женщина с морщинистым желтоватым лицом,

схватила девочку, рывком завела себе за спину, загородила дочь.

— Где?!.. Где он?!.. Не бойся!.. Я здесь!.. Где он?!— мгновенно, без перехода, словно постоянно была готовой к этому, зашлась отчаянным криком.

— Там!.. Там!..— заикаясь от испуга и продолжая плакать, девочка показывала пальцем на кусты, перед которыми, заслонив собой Колюна, сидел Друг.

Увидев только собаку, женщина в ярости подняла голову к окнам. Глаза матери обесцветились от гнева, рот перекосялся в истерическом вопле:

— Опять?!.. Подлецы!.. Негодяи!.. Зачем ребенка пугаете?!.. Подонки!.. Убью!.. Мучители!.. Всех!.. До единого!.. Топором!.. Сожгу!.. Вместе с собой!..— Она вдруг зарыдала, громко, некрасиво, грохнулась наземь и, судорожно притянув к себе девочку, спрятала лицо в ее дождевичке.

— Мама... пойдём домой... не надо... мамочка, стыдно...— плача, гладила ее по голове дочь.

Мать медленно поднялась с земли, не отряхивая грязи с юбки, пошла к подъезду. Девочка, прижимаясь к ней, шла рядом. В кустах катались по мокрой земле в беззвучных рыданиях Колюн и бил в нее кулаком.

— Ну, будь ты человеком! Подыхаю ведь. Сердце разрывается... Дай выпить, зараза. Жить мне тошно!— молил дома на коленях Колюн.

— Ну, миленький, ну, потерпите еще немного. Вы уже выздоравливаете,— просил пес, жалостливо и грустно глядя на хозяина.— Возьмите себя в руки. Вам трудно, я понимаю. Но вы ведь человек.

— Не могу-у... Не могу-у-у...— мотал головой Колюн.— Я жить не хочу. Помните это не хочу...

— Господи, ну что мне сделать для вас?— жался пес к хозяину, ластился, тыкался мордой.— Почему у меня нет рук?! Я бы обнял вас, приласкал, успокоил...

Вскочив, Колюн отшвырнул собаку.

— Я все равно избавлюсь от тебя,— тихо, но с огромной ненавистью прошептал он.

Была глубокая ночь. Колюн лежал на кровати. Глаза его были открыты. В комнату вошел пес. Колюн закрыл глаза. Приблизившись к кровати, пес вслушался в дыхание хозяина.

— Вы спите?— шепотом спросил.

Колюн молчал. Пес шумно вздохнул, как то умеют только собаки, и вышел.

Утром Колюна разбудил звонок в дверь. Одновременно с ним в комнату влетел пес. Вид у него был затравленный, шерсть дыбом, хвост поджат.

— Не открывайте!.. Это они! Живодееры!.. Прошу вас!..

— Митька это,— сухо сказал Колюн, вставая.

— Нет, это не Митька,— скулил и метался по комнате пес.— Это они! За мною! Я слышу их запахи!..

В дверь снова позвонили.

— Я же думал только о вас!.. Я не хотел ничего плохого!.. Почему?! Почему вы меня предаете?!— плакал пес.

— Да Митька это, говорю. Проведать меня пришел,— буркнул Колюн, направляясь к двери.

Пес залез под кровать. Вошел Митька, за ним двое парней, очень модно одетых. У одного в руке был чемоданчик.

— Здорово,— осклабился Митька.— Из плена выручать тебя пришли.

— А эти кто?— настороженно взглянул Колюн на парней.

— Клиенты. Меха сдавали. В подмогу взял,— сказал Митька.

Один из парней, открыв чемоданчик, стал деловито свинчивать друг с другом никелированные трубки с продетым сквозь них капроновым шнуром.

— Ребята, вы только поаккуратней. Чтоб не больно,— попросил Колюн, стараясь не глядеть на никелированные трубки, напоминающие хирургические инструменты.— Выведите куда-нибудь за город и отпустите.

— Не беспокойся, отец. Все будет в порядке. Держи,— второй парень вытащил из бумажника червонец.

— За что?— удивился Колюн.

— Комиссионные,— засмеялся парень и всунул червонец в карман рубашки Колюна.— Беги, беги в магазин. Уже открылся,— подтолкнул его к выходу.

На пороге Колюн остановился, обернулся. хотел что-то сказать, но дверь перед ним захлопнулась. Колюн медленно стал спускаться по лестнице. Тоскливый, рвущий душу вой из-за двери оглушил его. Колюн замер и... побежал. Вниз.

Он выскочил во двор, добежал до фургончика, около которого покуривала сварщица и нарезали резьбу слесари, упал в канаву, выкарабкался из нее, рванул дверь черного хода кирпичного дома, пронесся мимо выскочившей из-за стола с телефонами женщины, выбежал на улицу и затерялся в толпе. И только тяжелое прерывистое дыхание еще долго отмечало его след среди людей.

По лестнице за участковым спешили соседи — бабули с лавочки и Андреич.

— Ой-ёй-ёй,— причитала на ходу одна из бабуть.

— Жалость-то какая,— охала вторая.

— Да за что ж его, беденького,— вздыхала третья.

Они поднялись к двери Колюна, из-за которой доносились звериный рев и грохот разбиваемой посуды. На лестничной площадке уже стояли два дюжих санитара в белых халатах, врач и один из знакомых нам слесарей с ломом.

— Граждане,— участковый вытащил из папки лист бумаги,— вот направление в лечебно-трудовой профилакторий для принудительного лечения.

Андреич откашлялся и выступил вперед.

— Конечно, не мое дело, товарищи,— сказал он,— но, может, не стоит? Проспится, отойдет...

— Пожалели!— зло сказал врач.— Раньше надо было. Тогда бы и не дошло до такого. «Не мое дело»... Ломайте!— приказал он слесарю.

Тот ударил ломом в дверь. Через несколько ударов она поддалась, распахнулась. На полу в прихожей лежал Колюн. Приподняв опухшее лицо к вошедшим, он бессмысленно шершится.

По белой улочке с чемоданчиком в руке шел Колюн. Худое потрепанное пальтишко, облезлая ушанка, кроссовки на ногах. Позади Колюна осталась высокая стена с железными воротами и заснеженными верхушками деревьев за нею.

С тусклого зимнего неба крупными хлопьями валил снег. Пронеслась, вздымая снежную пыль, машина ГАИ.

Пропустив ее, Колюн медленно пересек удивительно пустынную улицу, вышел к кирпичному дому, обогнул его, миновал раскачивающиеся с ржавым скрипом качели, лавочки под снегом, занесенный до крыши «Запорожец».

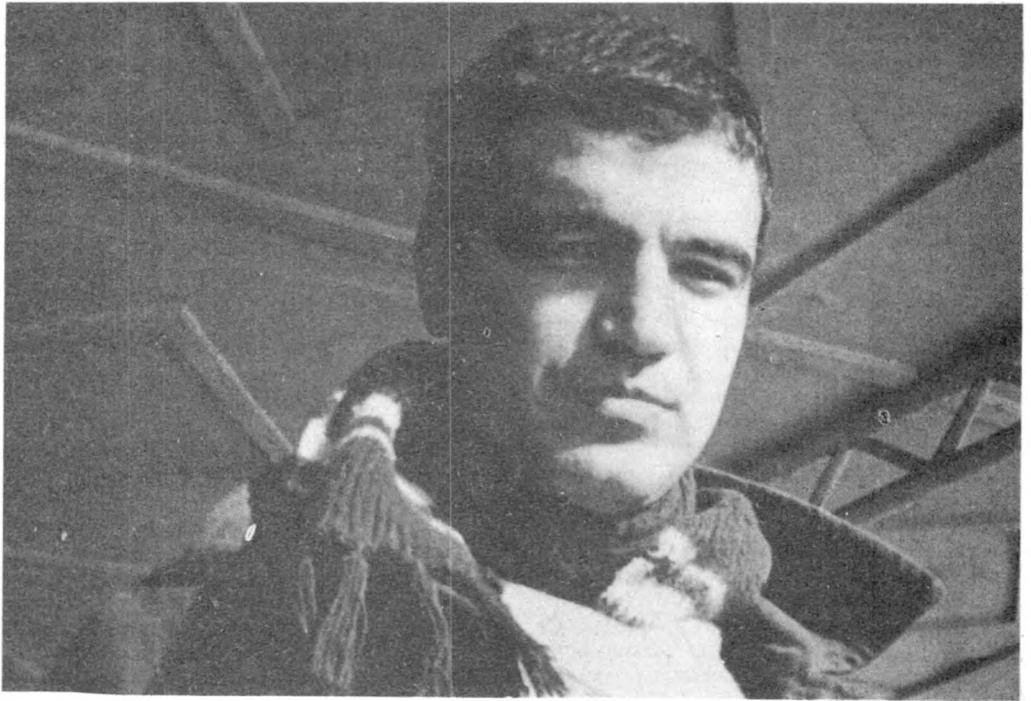
Вошел в подъезд и, оставляя на ступеньках снежные лепешки от кроссовок, поднялся на свой этаж и отпер дверь. Нежилым духом пахнуло на него из квартиры. Не отпуская чемоданчика, Колюн вошел в комнату. На полу валялись пустые бутылки, обломки мебели. Колюн постоял, глядя на них, открыл форточку и вышел на кухню.

Тяжело опустился на единственно уцелевший стул, поставил чемоданчик рядом. Вдруг что-то бросилось Колюну в глаза. Он нагнулся и поднял с пола... теннисный мячик. Замусоленный, со следами собачьих зубов. Колюн долго смотрел на мяч, потом стянул с головы шапку и закрыл ею лицо.

На Птичьем рынке Колюн купил кутенка ньюфаундленда и засунул себе за пазуху.

— Друг... Друг... Дружок...— одним пальцем гладил его Колюн по маленькой, но уже лобастой головке.

Щенок, шуря еще подслеповатые глазки, мелко дрожал и норовил забраться поглубже за пазуху хозяину.



ИЗ АРХИВА МАСТЕРОВ

ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ

«ДЕВОЧКА НАДЯ, ЧЕГО ТЕБЕ НАДО?»

К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Май уже в середине, а прохладно, особенно по вечерам. Белые в мае вечера, тревожные, и каждый похож на праздник или ожидание его.

Волга к вечеру желтая, темная, синяя. От близости ее, от преобладания надо всем, поскольку она здесь главная удица, воздух легкий, речной.

Отчаливает теплоход под марш «Прощание славянки», окошки на палубах желто светятся, с палуб машут руками неизвестно кому, платья в сумерках ярко белеют.

А музыка эта, вечерняя, и оркестр из городского парка, и слова, возгласы — все отчетливо, отдельно слышно.

Как позже — всплеск рыбы на темной тихой воде.

Надя Смолина пожалела, что вышла из дома без кофты, в платье с короткими

рукавами. Но возвращаться, как известно, не к добру, и она медленно спускалась по своей зеленой и наклонной слегка улице к Волге, где около новой гостиницы ее должна была ожидать машина.

Вышла Надя задолго до назначенного времени. Как на свидание — на этой простой мысли она себя поймала, вышагивая в сторону заката. Сумочка в руке, замшевая, покачивается. Платье, только что отглаженное, теплое еще от утюга, воротник свежий, белый. Легкость во всем.

Снизу, от реки, приближалась к ней, занимая неширокий тротуар, очень знакомая компания: Слава Малышев, с ним Лиза и еще двое ребят. Тех она знала меньше. Но видела этой весной почти каждый вечер. Долговязые, длинноволосые, в узких расклеванных брюках с разрезами, в ярких прозрачных куртках. В общем, довольно приятные ребята, похожие на солистов какогото

нибудь телевизионного конкурса «Алло, мы ищем таланты». Но была у них особенность в одежде, уже цирковая, что ли, — лампочки в разрезах брюк светились. Разноцветные, мелкие и яркости небольшой. Ничего подобного Надя не видела. Она даже приостановилась.

Слава негромко играл на гитаре, перевешенной через плечо. Лиза, высокая, длинноногая, в такой же короткой оранжевой куртке, прижималась к нему очень независимо — тем более, что Надю она уже успела увидеть.

У Нади был к Лизе свой, особый разговор, но она решила его отложить, пока что. Уж очень независимый и оттого еще более беззащитный вид был у Лизы.

— Славка! — весело спросила Надя. — Что это у вас за иллюминация на штанах?

— Простейшее устройство, Надежда Тимофеевна! — охотно и так же весело отвечал Слава. — Но каков эффект?

— Сам придумал? — Надя все глядела на эти мелкие разноцветные лампочки.

— Патента, конечно нет, — говорил Слава. — Мысль, как говорится, витала в воздухе. Вот, смотрите. — Он достал из кармана две плоские коробочки. — Работает от батареек!

— Ловко, — сказала Надя.

— А кто она такая? — кивнул на Надю один из ребят. — Чего-то я ее, Слава, не помню.

— Ребята, пошли, — нервно сказала Лиза. — Пошли!

— Надежда Тимофеевна, — Слава кивнул на ребят, — вы на них не обращайтесь решительно никакого внимания... Они ребята, — Слава ударил по струнам, — они ребята — семидесятой широты... Семидесятой широты...

— Ребята, — предложила вдруг Надя, — проводите меня до набережной, если у вас, конечно, никаких спешных дел нет.

— Какие наши дела? Пожалуйста! — сразу же согласился Слава.

Лиза раздраженно взглянула на него, но тоже повернулась — пошли все вниз по улице.

— А что это у вас, Надежда Тимофеевна, вид такой загадочный? — спрашивал Слава.

— Да как тебе сказать... — Надя улыбнулась.

— Свидание? — уверенно предположил Слава.

— Слава, прекрати! — вмешалась Лиза.

— А что тут такого? — удивился Слава. — Не понимаю. Ну, свидание. Надежда Тимофеевна, хотя и замужняя, но еще вполне молодая женщина. Правильно я говорю, ребята?

Ребята с готовностью еще раз оглядели

Надю и никак сомнений Славкиным словам не выразили.

— Спасибо, Слава, — сказала Надя весело.

— Пустяки. Вы лучше скажите, что вам сыграть для настроения?

— Для настроения? — спросила Надя. — «Самара-городок» знаешь?

— «Ах, Самара-городок, беспокойная я, беспокойная я, успокой ты меня...» — пропел Слава. — А дальше?

— Не помню, — сказала Надя и улыбнулась.

— Это надо бы у Розы Баглановой спросить! — вздохнул Славка.

— А кто такая Роза Багланова? — оживился один из ребят.

— Это то же самое, что Ирина Бугримова, — сказал Слава, — только она пела... Темные вы, ребята, а мы с Надеждой Тимофеевной старые...

— А говорят, Бугримову львы съели, — сказал один из ребят.

— Нет, тигры, — поправил его второй. — Тигры!

— Ну вот, — сказала Надя. — Верите всякой ерунде. Ничего они не съели, тигры.

— Отсутствие информации порождает слухи, — сказал Слава, наигрывая на гитаре. — Это вам, Надежда Тимофеевна, как нашему депутату надо хорошо запомнить... Двумя ногами ходят слухи... У меня вообще к вам есть ряд вопросов...

— Славка, брось! — одернула его Лиза.

— Что значит — брось? — возмутился Слава. — Можно, Надежда Тимофеевна?

— Валяй, — разрешила Надя. — Слушаю тебя.

— На мою избирательную бюллетень вы можете безусловно рассчитывать, — сказал Слава. — Но есть ряд вопросов...

— А почему ты, как мой избиратель, шляешься тут, а не спешишь сейчас на встречу со мной? — спросила Надя.

— А мы разве с вами уже не встретились? — удивился Слава. — А Лизавета и эти супермены как несовершеннолетние права голоса не имеют, но пусть послушают...

— Это они — несовершеннолетние? — не поверила Надя. — Сколько же вам лет, ребята?

— Мне шестнадцать, — сказал один, а второй независимо промолчал.

— Акселерация, — объяснил Слава. — Дети научно-технической революции... Вы, ребята, не обижайтесь...

— Так о чем же ты меня хотел спросить? — повторила Надя.

— Сразу не сообразишь... — усмехнулся Слава. — Надо еще свыкнуться: как же, член правительства на нашей улице живет! Хотя, безусловно, вас теперь из нашего захолустного района переселят...

— Ты так считаешь? — спросила Надя.
— А вы — нет?.. Вообще у вас теперь
вся жизнь резко переменится... Может, вы
сейчас в последний раз пешком идете...
Я, между прочим, совершенно серьезно
говорю... А вообще — смешно...

— Что — смешно? — спросила Надя.
— Да так... — улыбнулся Слава. — Первый
раз точно знаю, за кого голосую...

— Как так? — не поняла Надя.

— А что тут удивительного? — сказал
Славка. — Я в прошлый раз голосовал и
даже понятия не имел, за кого... Так, посмот-
рел на фотокарточку — на заборе висела, —
вроде парень ничего... Сорок пятого года
рождения... А в общем, какая разница?

— Ты считаешь — никакой? — спросила
Надя.

— А вы как считаете?

— Я считаю, разница есть.

— Ну и считайте, — спокойно согласился
Славка. — Считайте, что есть... А нам все
равно, а нам все равно!.. — ударил он по стру-
нам. — Мы волшебную косим трин-траву...

— Ты об этом хотел меня спросить? —
остановила его Надя. — Об этом?

Лиза и ребята настороженно молчали.

— Слава! — повторила Надя.

— Вы о чем? — Слава спокойно посмотрел
на нее. — Пустяки все это, Надежда Тимо-
феевна. Суета сует. Я же вам сказал:
на мою бюллетень вы можете абсолютно рас-
считывать. А я — голос массы... народа,
населения.

— Не хочешь говорить... Ладно... — Надя
повела ладонью по лицу. — Твое дело...
Тогда у меня к тебе всего один вопрос.

— Пожалуйста, — разрешил Слава. —
Только без политики.

— Без политики, — успокоила Надя. —
Чего ты каждый вечер пьешь?

— Как чего? — удивился Слава. — Порт-
вейн розовый.

— Это с Лизой? — спросила Надя.

— Она тут не при чем! — возразил
Слава. — Лиза, а ну, дыхни на Надеж-
ду Тимофеевну!

— Отстань! — зло сказала Лиза.

— Она же только березовый сок пьет, —
пояснил Славка. — Любимый напиток Сергея
Есенина. Этот сок у нас тут в трехлитровых
банках продают... Вот, кстати, интересный
вопрос: сколько же это надо погубить берез
на одну трехлитровую банку сока? Куда
смотрит охрана внешней среды?

— Веселый ты парень, Славка... — сказала
Надя.

— Чисто внешнее впечатление...

— Может быть... — Надя помолчала. —
Сам пьешь — тебе хуже... Да и не в этом
дело... А Лизу за собой не таскай! Понял?
Это я тебе серьезно говорю.

— А кто ее таскает? — Славка впервые
вышел из себя. — Я тебя таскаю? — обратил-
ся он к Лизе.

— Пошли! — Лиза дернула его за рукав,
быстро взглянула на Надю. — Никто меня
не таскает!

— Передай отцу, завтра я после работы
зайду, — сказала ей Надя, чего не хотела го-
ворить. — Часов в семь.

— А его дома не будет! — резко ответила
Лиза.

— Ты, главное, передай, — сказала На-
дя. — Спасибо, ребята, за музыку.

Она пошла вниз к набережной. Знала,
что смотрят ей вслед и что-то говорят.
Вот интересно — что?

«Волга» неслась по вечерним улицам.
В машине их было четверо. Рядом с шофером
сидел сравнительно молодой человек (пред-
ставитель обкома), а позади него — Надя и
Григорий Матвеевич (доверенное лицо депу-
тата, начальник цеха, где работала Надя),
лет пятидесяти, в темном костюме, белой ру-
башке и даже при ордене Трудового Красного
Знамени.

Если молодой человек, сидевший рядом с
шофером, был невозмутим, то Григорий
Матвеевич был настроен нервно и состояния
своего не скрывал.

Надя рассеянно смотрела в окно: улица,
толпа вечерняя, огни.

Григорий Матвеевич. Ты построже не мо-
гла одеться?

Надя. А что, форму специальную ввели на
кандидатов в депутаты?

Григорий Матвеевич. Форму не форму! Я
тоже орден не каждый день вешаю!

Надя. Пожалуйста! Могу парашютный зна-
чок привинтить. Может, вернемся?

Григорий Матвеевич. Ладно уж!

Надя. Дядя Гриша, да что с тобой? Чего ты
волнуешься? У нас, слава богу, не Америка.
Раз выдвигали — выберут. А не выберут —
тоже ничего страшного.

Григорий Матвеевич. Что ты мелешь? (К
представителю обкома) Что она несет?
При чем тут Америка! Ты лучше подумай,
что людям говорить будешь.

Надя. Что в голову придет, то и скажу!

Григорий Матвеевич. Ты меня не пугай,
Надежда! Я тебя знаю!

Надя. Что, может быть, репетицию прове-
дем? Я знаю, что мне говорить!

Григорий Матвеевич. Понятно, что без бу-
мажки. Это хорошо. Народ уже не любит,
когда по бумажке.

Надя. Дядя Гриша! Уймись! Я же тебе
пояснила: не в Америке — поймут!

Николаев (из обкома). Мы предварительно
все с Надеждой Тимофеевной обговорили.

Григорий Матвеевич. Главное — держись в рамках.

Надя. Я сама знаю, как мне держаться! И вообще, дядя Гриша, что ты суетишься? Кого выдвигают? Тебя или меня?

Григорий Матвеевич. Меня никуда не выдвигают! Но и ты не заносись! Знай свое место!

Надя. Это перед кем мне свое место знать? Перед тобой, что ли, дядя Гриша?

Григорий Матвеевич. Не передо мной! И повыше люди есть!

Надя. Конечно, есть. Все выше, и выше, и выше... Способ старый. Чуть что: сразу на кого-то на небесах ссылаться.

Григорий Матвеевич. Сама знаешь, что я имею в виду!

Надя. Ничего я не знаю!

Николаев (из обкома). Ну, товарищи... Надежда Тимофеевна все прекрасно понимает...

Григорий Матвеевич. Я тебе только добра желаю. Не лезь. Не командуй. Ты еще почти что никто. Если уж откровенно, были большие колебания — зная твой характер, выдвигать тебя или воздержаться!

Надя. Где же это были колебания? Опять — там?

Григорий Матвеевич. И там тоже! И с нами, на заводе, тоже советовались! Не зарывайся, Надежда! Не бери на себя слишком много!

Надя. Сколько люди скажут, столько и возьму! Не больше и не меньше. А ты, дядя Гриша, кто, между прочим? Мое доверенное лицо. Доверенное — значит, я тебе доверяю. А ты — мне. А ты ведешь себя, прости за выражение, как баба! Ну, чего ты меня пугаешь? Да что с тобой?

Григорий Матвеевич. Я за тебя отвечаю! Тебе люди такую честь оказали!

Надя. Вот именно — честь! (Шоферу). Машину остановите.

«Волга» резко затормозила.

Григорий Матвеевич. Ты что?

Надя. Не могу. Я от таких разговоров тупею, понимаешь? Тоска на меня нападает... Я лучше пройдусь... Тут недалеко. Я не знала в точности, что я буду сегодня говорить, а теперь, спасибо, надумали!..

Надя вышла из машины.

Григорий Матвеевич. Нервничает... Но понять ее можно. Вы уж строго не судите.

Николаев. Григорий Матвеевич, а она права. Нельзя так. И вы все-таки возьмите себя в руки.

Григорий Матвеевич. Она права! Вы правы! Но я же ее десять лет знаю! Я не за себя, я за нее боюсь! Характер у нее!.. Да что уж там говорить!..

Надя шла к клубу «Чайка» в толпе.

Фасад был ярко освещен. Издали она смотрела на свой, как ей показалось, не очень похожий портрет, укрепленный на высоком фанерном щите.

В направленном свете прожекторов прочитывалась надпись: «Сегодня состоится встреча избирателей с кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР Смолиной Н. Т. — токарем авиационного завода».

А портрет все-таки не похож, подумала она, еще раз взглянув на фанерный щит. Метра три будет — прямо на демонстрацию неси. Смешно. И эта твердость во взгляде — кто же это нарисовал?

Она шла среди множества знакомых и незнакомых людей. Ее узнавали или совершенно не обращали на нее никакого внимания, занятые своими делами, разговорами. Было желание повернуться — домой! Было! Но она шла, приближаясь к клубу, и очень хорошо знала, что никакого обратного хода нет, а тут еще какой-то высокий парень в клетчатом пиджаке, в белой рубашке с расстегнутым воротом, обернулся на ходу и посмотрел на нее самым обыкновенным образом, и даже улыбнулся, довольно нахально, и Надя вдруг окончательно успокоилась.

В тот же вечер.

Небольшая, несколько вытянутая комната с одним окном. В углу светится овальный экран телевизора — из новейших марок. Передают футбол. Звук приглушен — у стены стоит детская деревянная кровать. Комната погружена в полутьму, но обстановка угадывается самая простая.

За круглым столом ужинает Надя, простоволосая, домашняя, в старом, узком ситцевом халате.

Рядом сидит рослый, с плечами боксера и стриженный, как боксер, парень в белой безрукавке — Костя, ее муж.

Он изредка поглядывает в телевизор, в основном, занят Надей. Разговаривают они вполголоса.

Надя (отрываясь от тарелки). А у нас больше ничего нет?

Костя. Ты же десяток котлет смолотила!

Надя. Это, Костя, все на нервной почве. Чисто нервное.

Костя. Пельмени отварить?

Надя. Отвари.

Костя (подходит к холодильнику). Одну пачку или две?

Надя. А ты будешь?

Костя. Только на нервной почве. Глядя на тебя.

Надя. Тогда давай две!

Костя уходит на кухню. Она остается одна. Смотрит бездумно, как бегают по темному полю белые фигурки футболистов. Иногда

камера телеоператора приближает кого-нибудь из игроков. Возбужденное лицо. Почти у всех — длинные волосы. Футболки, темные от дождя. Передача из ФРГ — первенство мира. Иногда виден фон: трибуны в зонтах, рекламные щиты. Дождь там идет, в Ганновере.

Надя встает, подходит к кровати. Раскинув руки, спит девочка лет четырех, с густой, темной челкой. Лицо во сне у нее сердитое.

Входит Костя с двумя тарелками, осторожно толкнув дверь ногой.

Они молча едят. Надя вскоре откладывает ложку.

Костя. Ты что?

Надя. Не могу, и все.

Костя. На нервной почве?

Надя. А черт его знает! Не идет, все! Я бы сейчас водки выпила, честное слово!

Костя. Не держим, к сожалению. А что ты переживаешь? Я же сам видел, людям ты понравилась.

Надя. Вот именно, понравилась! И начальство довольно! И ты! Всем угодила! Да пойми же ты, не могу я всем нравиться! Не должна! Так и быть не может!

Костя. Тише ты...

Надя. Значит, что-то тут не то... Понравилась! Что я, балерина?

Костя. Балерины по ночам пельмени пачками не едят.

Надя. Сама ненавижу удобных людей! От них всё зло! А выходит, я всем удобна!

Костя. Ты?.. Да...

Надя. Костя, что теперь с нами будет?

Костя. Что будет? Месяц еще не прошел, а ты уже вся дерганая. Чего хорошего? Лично я, как лицо заинтересованное, буду голосовать против тебя.

Надя. И правильно сделаешь.

...Они молча лежат на раздвижном диване. Надя откинулась на подушку. Полосы света бродят по потолку. Фонарь качается за окном.

Костя. А все это, в общем, некстати. Лето, институт... Хотя тебя сейчас и без экзаменов примут.

Надя. Ну, это само собой. Уже ковровую дорожку расстелили, как космонавту.

Костя. Ты уж тогда и за меня похлопочи, ладно? Есть у меня, скажешь, такой родственник. Непьющий, член месткома... общественник.

Надя. А с квартирой правда глупо получается.

Костя. Что?

Надя. Ничего. Мы и так почти первые очереди, а скажут: вот, уже свое взяла, не успела.

Костя. А тебе, между прочим, еще никто ничего не предлагал.

Надя. Предложат — откажусь.

Костя. Ну, давай...

Надя. Хотя тоже глупо... Костя, до чего же на людях бывает тяжело!

Костя. Что-то я раньше за тобой этого не замечал.

Надя. Нет, на людях хорошо. В волейбол играть... Картошку грузить — и то хорошо... Костя...

Костя. Что?

Надя. Ты меня не бросишь, Костя?

Костя. Еще новость...

Надя. Злая я становлюсь.

Костя (обнимает ее). Ты — злая?

Надя. Ну, не злая.. Еще нет. Пока что нет. Но чувствую — всё к тому идет. И еще плохо, конечно, что я баба. Злых мужиков, если по делу, — уважают.. Боятся... А злая баба и есть злая баба. И всё... Что-нибудь, думают, личное у неё не сложилось — вот и глядит на всех, как сын.

Костя. А как сын глядит?

Надя. (показывает). Вот так.

Костя. Ужас.

Надя. Костя, Костя...

Костя. Надо телевизор выключить.

Надя. Не надо, пусть светится... Как окошко голубое... Страшно мне, Костя.

Костя. Глупая ты...

Надя. Другая бы возражала, а я нет...

Ты уж меня не оставляй, Костя. Я серьезно.

Костя. Это ты меня скорее бросишь. Променяешь теперь запросто.

Надя. На кого же я тебя променяю?

Костя. Известно, на кого. На Штирлица. Или на адъютанта его превосходительства.

Надя. Спи...

Костя встает, выключает телевизор. Гибкий, двигается бесшумно. Ложится рядом с Надей.

Тени плавают по потолку. Во сне вздохнула дочка, повернулась. Кровать скрипнула. Надя лежит с открытыми глазами. Лицо у нее сердитое, как у дочки во сне. Очень они похожи...

...Надя падала, раскинув руки, падала сквозь редкие облака к земле, еще далекой, утренней, с голубыми, желтыми и светло-зелеными квадратами полей, рекой, сверкающим полукругом огибавшей город, еле видимый справа, — пестрота крыш, дома.

Это еще не падение — полет, когда тебя вращает, если захочешь. А не захочешь — ты свободно лежишь на плотной подушке воздуха, плоско лежишь, как на воде, и через воздух, как через воду, видишь, как внизу, в прозрачной глубине, проступают предметы, знакомые тебе, но пока что они так удалены и приближение их едва заметно. Время остановилось, и ты по возможности растягиваешь его. Игра с пространством затяги-

вает, захватывает — пока земля, надвинувшись резко, не напоминает о себе.

Спокойный обзор кончается сразу. Камнем летишь, камнем в падении себя ощущая.

Но пока что — полет...

Лицо Нади скрыто за широкими очками. На голове — белый шлем. Полет ее направлен. Вокруг нее разбросаны в небе такие же фигурки парашютистов, летящих к земле. Плавные, еле заметные движения рук, и Надя уже скользит вправо, приближаясь к одной из парашютистов, тоже в белом шлеме, в ярко-синем комбинезоне, в тяжелых ботинках на толстой, рифленой подошве, так свободно и странно провисших в пустоте.

Маневр Нади понят и принят. И вот уже они летят рядом, вытянув руки, пальцами касаясь друг друга, сблизившись шлемами, расходятся, продолжая полет, и соединяются снова, как бы приглашая всех остальных, летящих вблизи и в отдалении, собраться вместе.

Вскоре, образуя вытянутыми руками круг из белых, синих, оранжевых курток, они цветком висят над землей, неясно проступающей сквозь редкие облака, еще далекой...

Как день начнется, так он и дальше пойдет. Это Надя знала точно, втайне подозревая, что множество людей точно такого же мнения.

Утром в цехе она первым делом заглянула в техничку.

За фанерным окошком, как и вчера, стояла все та же, как Наде показалось, совершенно безликая девчонка, с белесой челкой на лбу, в довольно замаранном халате и косынке, завязанной небрежно. Вообще она раздражала Надю, и главным образом потому, что на ее месте, здесь, вот за этой зеленой фанеркой, в этой прорези должно бы появиться совсем другое лицо.

— Где Лиза? — спросила Надя.

— Откуда я знаю? — как и вчера, точно таким же, бесцветным голосом ответила девчонка. — Я бы сама на нее посмотрела, на эту Лизу. Просто как Джоконда. У меня все про нее спрашивают. Третий день.

— А ты откуда? — спросила Надя.

— Вы меня вчера спросили, но не дослушали. Я здесь по направлению. У меня производственного стажа не хватает.

— А куда ты поступаешь?

— В медицинский. Уже второй год.

— Очень хорошо! А что ты у нас делаешь? — Надя раздражалась все более.

— Все что попало, — спокойно отвечала девчонка из этой фанерной дыры. — Меня сначала в машбюро отправили. Я и в столовую работала. Справа от проходной, знаете?

— Знаю, — сказала Надя. — Знаю я эту

столовую. Кто тебя к нам направил? Как тебя зовут?

— Вера.

— Фамилия?

— Быкова.

— Вера Быкова, — повторила Надя. — А зачем тебе эта производственная практика?

— Стаж, а не практика, — поправила Вера. — А здесь мне все равно ничего не доверяют. Это не тарелки мыть.

— А тебе у нас совсем неинтересно?

— Ну, как вам сказать... Нет, неинтересно.

— Хочешь опять тарелки мыть? — спросила Надя.

— Не очень. Но мне все равно.

— А такая простая мысль, чтоб пойти в санитарки, тебе в голову не приходила? Все ближе к делу!

— Я всю зиму санитаркой работала. В шестьдесят седьмой больнице.

— Ну и что?

— Нужна производственная практика, — сказала Вера.

— Но это полный бред!

— Что вы от меня хотите? — спросила Вера. — В столовую обратно? Пожалуйста. Я тоже все сначала спрашивала: зачем, почему, какой смысл, с какой стати? А это абсолютно никому не нужно. Я для вас никакой ценности не представляю. Главное, я поняла: не сопротивляться механизму всего, и тогда вынесет, понимаете?

— Какому механизму? — спросила Надя.

— Механизму всего, — повторила девчонка. — Вы на меня не смотрите такими глазами.

— В столовую иди, в столовую, — сказала Надя. — Или вообще на скамеечку сидеть. Сколько вас таких собралось: чуть что, руки кверху! Вы что, с ума сошли? Кто тебя научил, вот так, как... В столовую!

— Пожалуйста, только вы не кричите.

Работа тем и хороша, что успокаивает. Надя закрепила штамповку, включила станок. Все пошло верно, неспешно, обыкновенно. Главное — чтоб никто не мешал.

Подошел мастер.

— Тебя Григорий Матвеевич зовет.

— А что такое?

— Не знаю. Пришли к тебе, зовут.

— Василий Михайлович, скажи ему, что я не могу.

— Иди, иди.

— Но я не могу!

— Выключай станок!

Григорий Матвеевич, начальник цеха, несколько не походил сегодня на того, вчерашнего, задерганного и нервного. Сегод-

ня он был спокоен, ровен, самостоятелен — совсем другой человек.

Он провел Надю в свой кабинет. Тут же, рядом с цехом, где напротив окон (зелень за окнами, солнце) сидела женщина. Как только они вошли, Надя и Григорий Матвеевич, она сразу же встала. Рабочий халат, косынка. Какие-то бумаги в руках. Какая она — против окна не рассмотрити.

— Вот, Надя, это к тебе, — сказал Григорий Матвеевич. — Беседуйте. — И ушел.

— Вы уж меня извините, — сказала женщина негромко.

— Да вы садитесь. — Надя разглядывала вблизи ее немолодое отекшее слегка лицо. — Садитесь... — И сама села.

— Вы уж меня извините... — повторила женщина.

— Да что вы все время извиняетесь? — спросила Надя. — Вы из какого цеха?

— Из седьмого.

— Если у вас что-нибудь серьезное, — сказала Надя, — то, честное слово, зря вы ко мне обращаетесь. У меня ни прав, ничего. Я же только кандидат в депутаты. Меня еще могут и не избрать.

— Такого не бывает, — сказала женщина.

— Бывает — не бывает, а толку от меня пока что никакого. Это я вам сразу говорю... Что у вас?

— Сын у меня в тюрьме.

Надя удивленно посмотрела на нее:

— Где?

— В тюрьме, — повторила женщина. — Теперь вся надежда на вас... Вот тут все написано, — она протянула Наде бумаги.

— Это я после посмотрю, — сказала Надя. — За что — в тюрьме?

— По глупости... Мальчишка еще...

— Это понятно, что по глупости... И все-таки: за что посадили?

— За изнасилование, — сказала женщина.

— За что? — переспросила Надя.

Женщина молчала.

— Так, — сказала Надя. — И сколько ему дали?

— Десять лет...

— Мало! — Надя встала. — Ох, мало! Пожалели! Десять лет! Да таких раньше камнями забивали! Без всякого суда!

Женщина смотрела на Надю испуганными глазами.

— Ничего себе — мальчишка! — Надя уже не сдерживала себя. — По глупости! Я бы таких только расстреливала! Или посылала бы на какие-нибудь урановые рудники, чтоб там они подыхали медленной смертью!

— Да что вы такое говорите... Что вы говорите... — повторяла женщина.

— Что я говорю? — Надя резко повернулась к ней. — Бандит ваш сын! Бан-

дит! И вообще, у меня рабочее время и я всякой сволотой заниматься не желаю! А бумаги ваши забирайте!

— Эх ты... — Женщина все складывала, сгибала листки. — А я-то, дура, надеялась...

— Зря надеялись! — сказала Надя. — Пусть сидит весь срок! А ко мне больше не ходите!

— Не волнуйся, не приду... — сказала женщина. — А я уж думала, ты теперь сама мать, поймешь...

— И понимать нечего! У меня дочка растет! А какой-нибудь подонок, вроде вашего сына, — подумать страшно!..

Окна раскрыты — первый этаж. Рабочие останавливаются — особенно девочки, — слушают.

— Ты сначала одна вырасти сына, до шестнадцати лет дотяни, а потом уж суди, — сказала женщина. — Орать все умеют... Вот ты — какой там начальник, а уж голос пробуешь... — Женщина встала. — А я к тебе, как к своей, к рабочей, пришла...

— Тоже мне классовая солидарность — бандитов из тюрьмы вытаскивать! — в сердцах сказала Надя. — Думали, пожалео! А он ту девочку пожалел? Уходите отсюда... Не могу я больше все это слушать! Точно мне, понимаете? Уходите!

За раскрытыми окнами (подоконник низкий) стояли и слушали разные люди. Надя подошла. Захлопнула резко окно. И второе тоже. Только что стекла не выпали, а зрители-слушатели отшатнулись разом.

В цехе — грохот привычный. Вся эта музыка обыкновенная.

Уже открыли буфет — обеденный перерыв скоро. Покупают колбасу, булки, кефир.

— Надя! — на ходу остановила ее Вера Разнова, слесарь из ее бригады.

— Что тебе? — хмуро спросила Надя.

— Из милиции звонили! — сбиваясь, говорила Вера. — Лизу на вокзале забрали!

— Оставьте меня в покое! Забрали — и очень хорошо.

— Надя!..

— Что — Надя?

— Всю ночь сидит! — вздохнула Вера.

— Из какой милиции звонили? — спросила Надя хмуро.

— Неразборчиво говорили, Григорий Матвеевич все записал.

По коллектору в кабинете начальника цеха передали:

— Первый цех... Смолиной немедленно зайти к секретарю парткома. Смолиной — к секретарю парткома.

Надя шла сначала двором, между майских, зеленеющих свежо деревьев, мимо корпусов, по аллее.

По дороге ее поймал на ходу Костя. Но Надя даже не остановилась. Пошли рядом.

— Ты обедала? — спросил Костя.

— Тебе-то что?

— Я по селектору слышал, — сказал Костя. — В чем дело?

— Не знаю я, в чем дело. Надо дочку к маме везти, а то свихнешься ото всех этих забот, — сказала Надя. — Купи мне какую-нибудь булку, что ли, и молока и вот здесь посиди. Я скоро. Сам-то поел чего-нибудь?

— Ладно, ты иди, — сказал Костя. — Вот эта скамеечка, запомнишь? Напротив клумбы. Иди...

...Секретарь парткома ждал Надю на скамеечке в тени — жаркий был день. Секретарю было лет сорок, не больше. Был он в светлом пиджаке, в белой рубашке без галстука, и вообще выглядел празднично.

— Ну, что? — Надя присела рядом.

— Жара, — сказал секретарь, а звали его Гришей.

— Ладно, жара, — сказала Надя. — Это все понятно, что жара. В чем дело, кроме жары?

— Ты торопишься? — спросил секретарь парткома.

— Представь себе, тороплюсь, — ответила Надя. — Что такое? Не тани.

— Что ты Мухиной наговорила? — спросил секретарь.

— Уже нажаловалась? Быстро...

— Да не в этом дело...

— А в чем? — спросила Надя. — В чем?

— А черт его знает в чем, — сказал Гриша. — Нельзя людей обижать, понятно?

— Нет, непонятно.

— Да все ты понимаешь... — Гриша стукнул ладонью об скамейку. — Она у нас двадцать пять лет проработала. Сечешь? Двадцать пять лет.

— Ну и что? — сказала Надя.

— Ну, раз ты так говоришь — ну и что? — ну, что я тебе возражу? Дура ты, и все тут.

— Знаешь, можно сто лет какие-нибудь гайки завинчивать. Что, я должна за это ей в ножки кланяться? Да завинчивай — ради бога! А меня в свою грязь не мешай!

— Грязи испугалась?

— Не испугалась, — сказала Надя. — Знаешь, другое — мутит меня ото всего этого... Вот она рабочая, ты считаешь — я тебе верю, — нормальная, хорошая, стаж у нее приличный. Чего она за звание это прячет — рабочая? Чего? Раз рабочая, значит, все можно, да? И сын подонок, а, видишь, одна воспитала! Значит, и никто не виноват! Да он же у нас работал, я узнавала!

Удобно сейчас рабочим быть! «Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем!» Вот он был, при маме, ничем, никем, а ты мне на безотцовщину не ссылайся — и без отцов растут, а он рабочий, так называемый, и его не тронь...

— А насчет урановых рудников и расстрела ты правда обещала? — спросил секретарь парткома.

— Так, по ходу пришлось, — сказала Надя. — А вообще я не сгоряча сказала ей, и обратно слов своих не беру.

— И камнями забросать? — спросил секретарь. — Было?

— Камней не было, — сказала Надя. — Бульжниками. Жаль, до этих самых его лагерей не докинешь... Разве что какой-нибудь баллистической ракетой.

— Слава богу, ракеты тебе не дадут, — сказал секретарь парткома. — Откуда в тебе всё это?

— Что? — спросила Надя. — Что ты имеешь в виду?

— Надя, люди-то — они живые. Старые уже, не переделаешь, — сказал Гриша. — Да и молодых кнутом не возьмешь.

— Слышала, слышала! — сказала Надя. — То кнут, то пряник. Мура все это!.. По справедливости, не свое ты место занимаешь, Гриша. Характер у тебя — никакой. Всем ты хороший, для всех. Вроде меня... Всех тебе жалко. Жалко, да?

— Ну, ты даешь! — сказал Гриша. — Опомнись, Надя. Жалко — да! И тебя тоже.

— Ты меня не жале! Ты себя пожалей! — Надя встала со скамейки. — От твоей жалости люди только мучаются. А тебе так удобно. Добрый какой! Уж лучше последней сволочью быть, чем никаким! Да пусть меня ненавидят, лишь бы дело шло! А ты всем оправдание находишь, всем! Живые люди!

— Живые, — сказал Гриша. — В этом все и дело.

— А я говорю — нет! Пока их не раскачаешь — бред, пустота! За что жалеть? Нажрется себе перед телевизором, и — «шайбу!», «шайбу!». стакан врезал — и по новой!

— Интересные у тебя, Надя, знакомые, — сказала Гриша. — Шайбу — это хорошо...

— Новые идеи нужны! Понимаешь? Социализм — не жратва, не в гости ходить!

— Погоди ты про социализм!.. — вздохнул Гриша. — Какие-то у тебя замашки: всё сразу, всех сразу... Нехорошо получилось с Мухиной... Нельзя так...

— А я буду так! И только так! — сказала Надя. — Отвыкли называть вещи своими именами! Отвыкли! Бандит — и есть бандит. Подонок — он подонок. Тряпка, ни то

ни сё — тряпка! Вот была бы моя воля, я бы сейчас, по новой, сделала партийную чистку! Отбирала бы билеты, и всё! Книжечки эти красные — сколько за ними прячутся!

— Много на себя берешь, правда,— сказал Гриша.— Время, Надя, не то... Что-то ты пугаешь... Хотя я тебя понимаю...

— Спасибо, Гриша! За понимание! — сказала Надя.— А время — как раз то самое! Неудобное время! Гуманизм, люди-братья, планета Земля — шар небольшой, синий да зеленый! Может, границы скоро отменят? Если Земля такая уж всеобщая! Ты Ленина читал?

— Ну, читал,— сказал Гриша.— Читал. А что?

— Не помню точно. Но у него написано, что таких, как ты или вроде тебя, судить надо и гнать от живой работы с твоими так называемыми живыми людьми!.. Время тебе не то. Тоже мне просветитель, еще на время ссылается! Тебя бояться должны, а кто тебя боится? Кто?

— Ну ладно! — сказал Гриша.— Программа мне твоя ясна. Еще раз нахамишь — кому угодно,— плохо тебе будет, Смолина. Вот уж не думал, что депутатство на тебя в эту сторону сработает. Такое ощущение, что до тебя сплошная была пустыня. И все только тебя и ждали, на горизонт поспатривали — когда появишься.

— Я пошла,— сказала Надя.— Считаю необходимым довести до сведения обкома твои настроения. Должности своей ты явно не соответствуешь.

— Ладно, разберемся,— сказал секретарь.— А перед Мухиной ты бы все-таки извинилась.

— Еще чего не хватало! — отрезала Надя.— По-человечески я ее понимаю. Даже, может быть, и сочувствую. Но — хватит сочувствий этих и твоих разговоров запросто, этого демократизма липового... Вот так на скамеечке поговорить!.. Или у тебя еще была манера — свадьбы посещать!

— А что, хорошее дело — свадьбы,— сказал Гриша.

— Ну и ходи! — Надя встала.— На свадьбы, на именины! Как же — всегда с народом! Свой в доску! А все — от страха! Вот не будешь секретарем — ну что ты умеешь? Лопату в руки, и все дела! Снег чистить!

— Я, между прочим, инженер,— сказал Гриша.

— Какой ты инженер! Ты и забыл, как там и что! Некогда тебе, всё дела! Мне терять нечего — я на своем револьверном проживу, а ты, Гриша, номенклатура,— вот ты кто! Ну, и прыгай, перед всеми, пока тебя не вышибли! А вот, честное сло-

во, пока у меня такая есть возможность — пусть ненадолго — я тебя с этой скамеечки подниму!

— Что-то ты дельное среди этих взрывов говоришь...— очень спокойно сказал Гриша.— Что-то у тебя такое светится. Мне вообще все это нравится... И не нравится...

— Да не собираюсь я тебе нравиться! — Надя...

— Что — Надя? Что? — Надя ходила вокруг скамейки.

— Да не бегай ты,— вздохнул Гриша.— Сядь.

Надя села.

— Знаешь, я решила от депутатства сначала отказаться,— сказала она,— не по мне все это! А теперь уж нет! Вы из Советской власти богадельно сделали! Ничего я не преувеличиваю! Кормушку, понял? И людей вокруг себя подобрали таких, удобных — вроде меня! Раньше людям рты затыкали тряпкой, кляпом, а теперь — чем? Сыты, и слава богу! И шмотки есть! Ох, ненавижу!

— Сыты — это хорошо,— сказал Гриша.— И шмотки — тоже ничего, я вот только ботинки не могу никак найти подходящие... Надя, а, Надя...

— Что?

— Не суетись пока что. Ладно? Подумай.

— Это ты суетишься! — оборвала его Надя.— Такая у тебя тихая суета! Ты меня комсомолочкой считал: то, сё, воскресники, субботники, песенки под гитару! Хватит, товарищ Гриша! Надя — заводная, Надя — веселая, Надю и в депутаты можно — своя! Уж как-нибудь договоримся! Своя! Наша! Все удобства на дому! Из рабочих и крестьян — всё как надо! Ох, Гриша, ошибочка вышла! Меня эта советская власть вырастила в голодуху самую, да и не в том дело! Я вам ее на откуп не отдам, понял? И девочку со значком Верховного Совета вы из меня не сделаете!

Надя на трамвае поехала к отцу Лизы. Путь ее был долгий. По дороге, пока ехала, вспомнила, проезжая мимо молочного магазина, где на улице продавали молоко в пакетах, творог, кефир, что на скамеечке, на заводе, ждет ее Костя, и даже парень какой-то около магазина был на Костю похож — такой же большой, белобрысый, с пакетами молока.

Но все эти совпадения отпали, и мысли были о другом, хотя какие уж там мысли!

Жара в трамвае, народу — не протолкнуться. Надя ехала от конечной, и потому сидела, а трамвай несся мимо одинаковых блочных домов, этажей на пять, мимо ларьков, пивных, заборов...

Ехать долго. Ни газеты, ни книги, ничего.

Только колеса трамвайные стучат где-то внизу под ногами, да люди входят, да ветер жаркий в окно повеял, и уже полегче.

Стала пальцами отстукивать что-то по стеклу. Под трамвайный грохот. Вот колеса, они всегда что-то такое напевают, что-то у них там вертится, какая-то своя мелодия.

И пальцы по стеклу.

Только мелодия не сразу возникает, не сразу.

Но возникает.

Под пальцами, по стеклу.

...Надежда я... — осторожно пальцы коснулись стекла, теплого от солнца, — Надежда я... вернусь тогда, когда трубач отбой сыграет... Когда трубу к губам приблизит и острый локоть отведет... Надежда, я останусь цел: не для меня земля сырая, а для меня твои тревоги, и добрый мир твоих забот...

И мчался этот трамвай, набитый до предела, и окраина рабочая была за окнами, неслась в жаре, в пыли, и пальцы Нади едва стекла касались... А мелодия, слова — соединились в такт трамвайным колесам.

...Но если целый век пройдет, и ты надеяться устанешь, Надежда, если надо мною смерть развернет свои крыла, ты прикажи, пускай тогда трубач израненный привстанет, чтобы последняя граната меня прикончить не смогла...

Входили люди, выходили, и трамвай так повернул, что стекло, за которым сидела Надя, совсем стало золотым, жарким, слепое от солнца стекло, и пересаживались пассажиры на сторону теневую — такое горячее солнце ударило по этой стороне, но Надя не пересела, а только глаза прикрыла, а пальцы всё отстукивали по стеклу:

...Но если вдруг, когда-нибудь, мне уберечься не удастся, какое б новое сражение не покачнуло шар земной, я всё равно паду на той, на той далекой, на Гражданской, на той единственной Гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной...

Вот и остановка, нужная Наде. Все дома здесь одинаковые — блочные, в пять этажей, первой застройки.

Был тут раньше пустырь, всем ветрам открытый, а теперь — дома, на которых какой-то заботливый человек догадался написать (на каждом!) черной краской несмываемой огромные цифры: 7, 8, 18...

Улица имени Юрия Гагарина.

Май, ветер. Хотя бы дождь пошел, и Волга здесь, кажется, не так далеко, а такое ощущение, что вся эта улица в степи стоит.

Леши, отца Лизы, дома не оказалось.

Соседка открыла. Молодая еще женщина, но заматанная детьми — они высыпали в коридор и глазели на Надю. Она даже и посчитать их не успела.

— Нет его, — сказала женщина. — Что-то он громылчас с утра. И рубль у меня просил. Я ему молочные бутылки отдала.

— Давно ушел? — спросила Надя.

— Да не так уж и давно, — ответила женщина. — Вы проходите...

— Спасибо, — сказала Надя. — Где тут у вас посуду ближе всего принимают?

— А у пельменной, во дворе, — охотно сказала женщина. — Там они все и собираются.

Надя сразу заметила Лешу. Он стоял где-то в середине огромной очереди к ветхому сарайчику, где за окошком принимали посуду, а принимал ее, ловко собирая с прилавка пустые бутылки, оставляя в сторону ненужные, безошибочно кидая мелочь на алюминиевую тарелку, краснобордый, здоровый парень в синем халате с закатанными рукавами.

— Леша, — подошла Надя. — Пошли.

— А-а... — не удивился Леша. — Куда мне идти? Я час стою, уже недолго осталось.

— Да отдай ты эти бутылки! — сказала Надя. — Вот ему отдай. — Она показала на парня, стоявшего за Лешей. — Есть у меня деньги. На пиво тебе хватит.

Леша, не сопротивляясь, отдал свою авоську парню и пошел за Надей.

— Ты знаешь, что Лиза в милиции? — спросила на ходу Надя.

— В какой милиции? — Леша даже остановился. — Ты что?

— Ох, Лешка! — вздохнула Надя.

— Погоди, — сказал Лешка. — Я ничего не соображаю. Милиция... Ты видишь, я не в себе... — он пытался улыбнуться. — Ты не обращай внимания, что я побрился и рубашку переменял, а не в себе... Ты вроде бы на пиво обещала...

— Вот, — Надя протянула ему трешку.

— Здесь много, — сказал Леша. — Я сдачу принесу.

— Принеси, — сказала Надя. — Сдачу. Леша сразу заторопился.

— Ты... — сказал он. — Ты вот здесь, около газет постой... Почитай, как там и что... А я сейчас, я быстро...

Надя остановилась около газетного щита. Газеты были вчерашние, оборванные там, где телевизионная программа. Рыжая газета, вся на солнце выгоревшая, но Надя прочитала, что осталось — про Ирландию. Католики, протестанты. Военные машины на улицах.

А в Португалии «Броненосец Потемкин» идет! Вот это здорово!

Надя еще раз прочитала и, оглянувшись,

оторвала это сообщение и положила в сумку.

А тут и Леша появился. В руке у него было эскимо на палочке.

— Вот, на сдачу купил,— сказал он.— Тебе.

Он вполне пришел в себя.

— Ну, вот что.— Надя взяла эскимо.— Я временно переселяюсь к тебе. Ну, на месяц, два. Сколько там твое лечение займет.

— Какое лечение? — тревожно спросил Леша.— Ты что это придумала?

— Обыкновенное, от водки,— сказала Надя.— А Лиза со мной поживет. Пока что.

— Вот, значит, как! — Леша заволновался.— Без меня меня женили! Да кто тебя уполномочил!

— Слова-то какие знаешь! — усмехнулась Надя.— Как ты его с утра выговорить смог. Уполномочил. Надо же!

— Чего ты в чужую жизнь лезешь? — Леша говорил громко.

Прохожие останавливались. Очень эта сцена смахивала на самый заурядный скандал мужа и жены. Останавливались, слушали.

— Ну, ты! Чего? Чего надо? — кричал Леша прохожим.— Иди, иди! Валяй отсюда!

— Не хочешь сам, Леша, я тебя принудительно положу.— Надя говорила спокойно.— Направление я тебе сделаю. Не думай, что это так просто. Люди месяцами ждут. Мучаются. Да ты... Что, плохо, Лешка? Смотри, мокрый весь... Пошли, посидим...

— Отстань! — Леша рванулся.— Иди ты!

— Ну, ладно,— сказала Надя спокойно.— По-человечески не хочешь говорить. Жить по-человечески не хочешь. А Лизу я тебе не отдам!

— Ты к Лизе не прикасайся! — уже кричал Леша.— Лиза!.. Да я за нее... Я за нее! У меня никого больше нет, понимаешь ты...

— Понимаю,— сказала Надя.

— В милиции, говоришь? — Леша был уже сильно возбужден.— Я эту милицию всю разнесу! Я им покажу! Знаешь, какая она, Лиза! Она ж святая! Где эта милиция? Какое у этих сволочей отделение? За что они её?

— Ладно, Леша,— сказала Надя.— Иди домой. Я сама разберусь. Ты отдохни...— Надя сдерживала себя изо всех сил, чтоб не сорваться, не накричать сейчас на этого взбудораженного, взмокшего сразу человека с бегающими глазами, и губы у него беспомощно тряслись, и оставить его одного было явно нельзя, а быть рядом — невыносимо.

И все же, Надя резко повернулась и пошла.

— Надя! — вслед ей крикнул Леша.— Ты куда? Где это отделение? Где?!..

Немного времени прошло.

К дому Леша подкатила санитарная машина.

Нет, она не была похожа на скорую помощь. Это был крытый фургон, а то, что она санитарная, выяснилось только после того, когда из нее вышли трое крепких ребят в белых халатах.

Надя была с ними.

Они поднялись по узкой лестнице (такие уж лестницы спешно строились в этих домах) на третий этаж. Позвонили. Открыла та же соседка. Увидела молодых людей в белых халатах, Надю. Испугалась, но не удивилась нисколько.

— Проходите, проходите...

Прошли.

Общая квартира. И снова высыпали в коридор дети. Один, два, три, четыре — сколько же их? Женщина быстро загнала их в комнату.

Квартира была на две семьи. Леша и его дочь жили в боковой комнате.

Дверь была заперта изнутри. Ключ торчал с той стороны. Надя постучалась.

— Леша! — сказала она как можно спокойнее.— Леша! Это я, Надя!

— Чего тебе? — раздался злой голос Леша.— Чего надо?

— Открой дверь.

— Я сегодня гостей не принимаю,— ответил Леша.— День у меня нынче не приемный. Поняла?

— Леша, открой,— сказала Надя.— А то взломаем. Я тебя по-хорошему прошу.

— Иди ты!.. — Леша ответил долгой и замысловатой руганью.

Санитары терпеливо ждали. Ребята они были опытные. Всякого насмотрелись.

— Леша,— сказала Надя.— Открывай. Хватит валять дурака! Открывай, слышишь!..

За дверь, вперемешку с руганью послышался шум — что-то Леша передвигал поближе к двери, что-то там гремело, падало.

Санитары посмотрели на Надю.

— Давайте,— сказала Надя.— Хватит эту волюнку тянуть.

Санитары только этого и ждали.

Они вполне профессионально навалились на дверь. Но дверь не поддавалась.

А Леша кричал оттуда, из комнаты:

— Сволочи! Гады! В дурдом захотели спрятать! Не выйдет! Живым все равно не дамся! А тебе, Надька, никогда этого не прошу! Стерва ты последняя! Шкура продажная! Купили тебя, сука! Депутатша!

Санитары достали какой-то железный прут, просунули его в щель.

Надя стояла молча.

Нашло вдруг на нее такое ко всему безразличие. Ломают дверь, и пускай.

Кричит он там, за дверью, и ради бога. Пусть кричит. И злость на Лешку пропала. Дверь рухнула, опрокинув шкаф, который подпирал ее. Санитары ворвались в комнату.

Надя вошла за ними.

Но комната была пуста.

Распахнута балконная дверь. Все в комнате перевернуто. Посуда битая. Оборванная занавеска над балконной дверью висит...

...Леша лежал на асфальте, лицом вниз, неудобно подвернув руку, чуть завалившись на бок. Никого вокруг него не было.

Упал он во двор.

Надя успела заметить, что во дворе женщина снимала белье, простыни с длинной веревки, да так и замерла, с места не сдвинулась.

А простыни в безветрии висели неподвижно, белые, сохнувшие, наверное, быстро под таким палящим, слепающим, безжалостным солнцем.

Надя сидела в комнате Лешки.

Закат за окном. Света она не зажигала. Шкаф, наверно, санитары к стенке поставили, а так все осталось, как было. Битая посуда в угол сметена.

Сидела Надя ближе к балкону, и была у нее возможность впервые оглядеть эту комнату, но она в окно смотрела.

Вошла соседка. Помолчала в дверях.

— Чаю с нами не выпьете? — спросила она.

— Спасибо, — сказала Надя. — Чаю выпью.

Они пили чай за большим круглым столом — Надя, эта женщина, а звали ее Клава, и четверо ее ребятишек. К чаю было печенье, и варенье тоже было, в блюдечках.

Ребятишки все уже знали, и чай был невеселый.

— А муж-то где у вас, Клава? — спросила Надя.

— На Севере, в Самотлор подался, — сказала женщина. — Вот, говорит, заработаю, как надо, и вернусь... Уже третий год что-то зарабатывает...

— А деньги-то на ребят шлет? — спросила Надя.

— Временами... — усмехнулась женщина. — Какие там деньги... Ребята без отца растут...

— Адрес у вас его есть? — спросила Надя.

— Ну, есть... — женщина помолчала. — Не надо мне ничего... Вы не обижайтесь... Я понимаю, вы по-хорошему хотели... А Лешки нет... — Она отодвинула чашку. — Все какой, а человек хороший был... Вы уж не обижайтесь... Мы его тут все жалели. Вот. И молодой еще... Ему и сорока не было...

Ребятишки слушали маму сонно, но с интересом, и на эту тетку незнакомую, невеселую, которая ни варенья, ни печенья не брала и даже к чашке чая не притронулась, смотрели во все слипающиеся глаза, но тайна была — это уж точно.

— Жалко вам Лешку? — спросила Надя.

— Чего там — жалко... Эх, Надя...

— А мне — нет, — сказала Надя. — Чем так жить, уж лучше с балкона... Ведь ничего за душой не осталось... Работать не мог, побирался... Лиза его на свои копейки кормила, да он и не ел ничего... А вы — жалели... Ну, что молчите?

— Молодая вы еще, Надя... — сказала Клава. — Горь, слава богу, настоящего не видели... — Клава встала. — Ребята, спать, спать... Засиделись...

Ребята вставали неохотно.

Они вместе с Надей укладывали ребят: две кровати, одна раскладушка, а самая маленькая, Настя, она на диван легла, уже раздвинутый, застеленный — с матерью она спала.

— Вы тут останетесь? — спросила Клава.

— Да, у Лешки, — сказала Надя. — Мне только мужу надо позвонить, как он там... У меня у самой дочке три года.

— Правда? — оживилась Клава. — А звать-то как?

— Лена.

— А телефона у нас нет, мы от продовольственного звоним, если что. Но только знайте, у продовольственного телефон не работает. Там трубку оборвали. Вы к аптеке лучше идите, там у них есть свой телефон.

— Если Лиза появится, вы ее никуда не отпускайте, — сказала Надя. — Вы ей не говорите, что я здесь, ладно? Я скоро.

У продовольственного магазина, еще ярко освещенного, толпились люди.

Надя сразу все поняла, потому что общий разговор смолк, и все — а это были ребята из Лешкиной команды — смотрели на нее, как она шла к телефонной будке.

Трубка там и в самом деле была оборвана.

А между тем все эти ребята к ней приближались. Нет, не были они пьяные. Выпили свое, вечернее. Да и повод был.

Надя хорошо знала таких ребят: курточки нейлоновые-силоновые, челочки, волосы до плеч, но были и другие ребята, в старых плащах, и никакие не длинноволосые, а кое-как подстриженные, кое-как одетые — вечерние магазинные люди. Около магазинные.

Надя решила ничего не решать. Как будет, так и будет. Тем более, что снова на нее накатила эта волна безразличия ко всему.

и ни страха, ничего.

А ребята приблизились вплотную.

— Поминки справляете? — спросила Надя. — Чего же на улице?

— А негде, — сказал парень в красном шарфе. — Может, к вам пойдём?

— Можно, — сказала Надя. — Это можно.

— Смотри! — усмехнулся товарищ его (а было их человек десять, пятнадцать, двадцать — в темноте не разберешь). — А ты не боишься, а? Мы тебе Лешку не простим.

— Иди-ка сюда, — сказала Надя. — Ты, кто за «мы» говорит.

— Ну что? — подошел мужик лет сорока, держался он твердо. — Что тебе? Лучшее всего мотай отсюда.

— Нет уж, — сказала Надя. — Поминки так поминки.

Она сняла кепку у этого парня, открыла свою сумочку и высыпала, выкинула все, что у нее было. Пустила по кругу. И кепка эта, ржавая, пошла по кругу, из рук в руки, и сыпали в нее, выгребая карманы, все что было — мелочь, рубли.

— Ребята, — спросила Надя, помахивая оборванным телефонным проводом. — Вот интересно, кому это трубка отдельно от телефона нужна? С марсианами, что ли, разговаривать?

— Только тише, — говорила Надя, входя в квартиру. — Тут маленьких полным-полно. Тише...

И за ней человек двадцать тихо вошли, а некоторые даже разулись для тишины. В комнате Лешки было темно. Единственная лампочка, без абажура, перегоревшей оказалась.

Сидели на полу, у стен, на кровати — все бутылки и еду какую-то поставили на стол.

— Сейчас, — сказала Надя, — я сейчас.

Она пошла на кухню и вывернула там лампочку. Вернулась, поставила шаткий стул, лампочку винтила. Теперь комната озарилась, хотя и слабо, но все уже были видны. И тихо было, никто бутылок не касался.

Сидели, стояли.

Надя впервые разглядела лица — не все, не сразу, но как-то общо они все смотрелись. Печаль была.

— Стаканов-то нет... — сказал кто-то.

— Это мы сейчас, — сказала Надя. — Это просто...

...Вошла Надя вместе с Клавой — они принесли капусту, хлеба, колбасы, огурцов и всякой безразмерной посуды — и банки из-под соков, и кефирные чистые бутылки, и стаканы, и рюмки, и две пивные кружки, каким-то непонятным образом оказавшиеся в этой семье без мужика, — всё они принесли. И Клава даже скатерть захватила,

с бахромой, белую, с цветами.

— Помянем, — сказала Надя, когда разлили. — Помянем.

Выпили. Помолчали.

— Не верю я тебе, — сказал парень помладше. — Зачем ты сюда нас позвала?

— Брось... — остановил его другой, тот, кто Наде советовал уйти. — Брось. Прекрати.

— А откуда я знаю, она сейчас милицескую машину подгонит — и привет! — сказал тот, в красном шарфе.

— Пускай подгонит, — сказал кто-то из угла. — Какая разница...

— Ты... — сказала Надя, обращаясь неизвестно к кому. — Ты... Шпана ты, и все. По своим законам людей меришь. Да неохота мне тут с тобой разговоры говорить. Пей уж лучше...

Выпили.

— Может, кто тост скажет? — спросила Надя. — А то я могу.

— Ну, скажи, — сказал кто-то из полутьмы этой. — Скажи, за Лешку.

Надя молча вертела в руке баночку из-под какого-то сока. Ребята ждали, слушали. Пили и без тостов.

— Ребята, вот все вы, я, мы... — сказала Надя. — Есть какая-то идея, ради чего стоит жить? Хорошо, пускай не ради идеи. А тогда — для чего? Потеряли мы что-то все! Мне плевать, когда вообще говорят... В коммунизм из книжек верят средне, мало ли что можно в книжках намолоть... А я верю, что ничего лучше не придумали, и лучше вас, ребята, нет на свете людей! И хуже вас тоже нет... Вот я за это противоречие с вами выпью, хотя все вы — руки кверху! И Лешка струсил!.. И ты на меня не ори! Струсил! Перед жизнью — дешевка! Советские мы все, таких больше на земле нет. То, что он с балкона сиганул, — тоже поступок, я его понимаю, но... Чего вы все суслики перед жизнью!

— Ты за всех не распоряжайся, — сказал кто-то.

— Я за всех не распоряжаюсь. — Надя встала. — Я вообще накакой вам не начальник. Мне просто интересно, кто следующий, за Лешей. Кто? Я не хочу, чтобы вы помирали — не от водки, конечно, а каждый день помирали не от чего! Вот, мне рассказывали, как поймали немцы наших. И у нее коса была, длинная, светлая. И с ней любимого человека тоже поймали, в сарае лежали они. Всю ночь. А после ее на косе повесили и его... А она сказала — вы послушайте! — я не целованной помру за нашу СССР... Длинная была коса, раз на двоих хватало, косы этой...

— Красивая история, — сказал кто-то (опять «кто-то», поскольку не разберешь кто).

— За жизнь поговорим? — сказала Надя. —

Я — пожалуйста.

— Давай за Лешу поговорим. — Тот же голос.

— Я уже все про него сказала. — Надя отхлебнула глоток. — Всё.

— Всё, да не всё...

— Тогда сам говори, — сказала Надя. — Если только по совести.

— А это уж не твое дело. У тебя — своя совесть, у Лешки — своя, понимаешь?

— Нет, не понимаю, Ты к свету подойди, не люблю в темноте разговаривать. К лампочке поближе, так и в глаза посмотреть можно.

— Лешка — человек, — сказал парень, держась за лампочку, хотя она была уже горячая, но он ее касался пальцами. — А ты... Ты — тоже человек, я вижу... Ты говоришь, Лешка сдался, ушел вот так... Но вот ты — депутат, ты — власть, ты — всё.

— Я не депутат, — сказала Надя. — Ты же знаешь.

— Ты тут за Советскую власть права качала, как будто мы какие-то белогвардейцы... Ты — Советская власть?

— Да, — сказала Надя. — На данном отрезке времени.

— Она своя девка, — сказал кто-то. — Оставь ты ее... Выпьем...

— Я никакая вам не своя, — сказала Надя храбро. — Я... — Тут она заплакала, лицом упала на стол, и плакала, и ребята молчали.

Лицом вниз, она запела, заговорила:

Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.
Куда ж еще идти солдату,
Кому нести печаль свою?

Пришел солдат в глубоком горе
На перекресток трех дорог,
Нашел солдат в широком поле
Травой заросший бугорок.

Не осуждай меня, Прасковья,
Что я пришел к тебе такой,
Хотелось выпить за здоровье,
А вот пришлось за упокой.

Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
А на груди его светилась
Медаль за город Будапешт...

— Надя, — сказала Клава, — пошли ко мне, я тебя уложу.

— Нет, я тут посижу, — сказала Надя, оглядывая ребят, но никого не видя. — Я тут уж... Ладно?

— Как хочешь, — сказала Клава. — А то пошли, а ребята сами посидят...

Ребята посидели бы сами, и никто их не гнал, но раздался такой длинный, такой тре-

вожный звонок в дверь, а потом еще и ногами кто-то стучал, и кулаками.

Открыла дверь Клава.

Лиза стояла в распахнутом красном пальто, рядом — Славка.

Лиза прошла в комнату отца. Никого не видя. Прямо к Наде.

— Здравствуйте, — сказала она. — Добрый вечер.

— Лиза... — только что и нашлась сказать Надя.

— Вон отсюда, ты! Вы — вон! — сказала Лиза. — Вы! Ты! Вон!..

Все, кто были в комнате Лешки, кроме Клавы, может быть, были на стороне Лизы, и все встали, и окружили Надю, как тогда около магазина.

А она голову на локти положила, лицо приподняла и внимательно на Лизу смотрела, и на Славу тоже, но потом снова голову на руки положила, ненадолго, в полной тишине, а потом встала.

— Появилась? — спросила Надя. — Или сон всё это?

— Явь, — сказал Слава. — Реально все, Надежда Тимофеевна.

— Ну и хорошо, — сказала Надя. — А то я тебя заждаюсь.

— Слава! — Лиза кричала. — Уберите ее отсюда!

— Всё, — сказала Надя. — Поминки кончились. Ребята, подымайся кто как может. А кто не может, пускай товарищи подсобят.

А Надю ребята эти подгоняли к балкону. Шли на нее, к балкону. Молча шли...

— Уходи по-хорошему, — сказал ей пожилой. — Плохо тебе будет.

— Ну, давай! — сказала Надя, отступая к балконной двери. — Я милицию звать не стану. Не бойся. Ты себя не бойся.

Парень в красном шарфе достал нож. Лиза и Слава остались притертые к стене. Парень, пьяный, уже шел с ножом на Надю. Она ждала.

— Ну, бей, — сказала Надя. — Бей.

Пока парень этот нож свой направлял, Надя отхлестала его по щекам. Раз, два. Еще раз.

И нож отобрала, очень спокойно. Сложила — он оказался очень удобным в руке, ореховая рукоятка. Теплая.

А ребята, собравшиеся на поминки, как-то незаметно смывались. Один за другим.

Остались только Лиза, Слава и Клава, да стол этот, неприбранный. И нож у Нади в руке. Она его раскрыла.

Длинный нож, тонкий.

На студии телевидения Надю повели поначалу в примерную.

Она не сопротивлялась — куда вели, туда и

шла. Коридоры, коридоры — пластик, лампы дневного света, а он вовсе и не дневной, а жесткий, холодный.

Коридор бесконечен.

Зеркало.

Надя рассматривала себя. Ничего, все как следует. Причесалась, кофточка розовая, воротничок из-под нее белый.

Так, все как надо, и она не обращала внимания на то, что ее чуть подмалевали, слегка подкрасили, что текст на столе гримерном лежал — всего две страницы, две странички печатного текста, очень аккуратно выполненного — все буквы разглядишь.

Тот парень, который отвечал за нее, за ее выступление, вертелся тут же, и суета его Надю раздражала.

Гримерша спросила:

— Вам тон посветлее?

— Спасибо, — сказала Надя. — Все замечательно. Пошли.

В разных домах в этот час светились телевизоры. Светился он и у Кости, он сидел, ждал...

— Слово предоставляется знатной работнице, кавалеру ордена Знак Почета, кандидату в депутаты Верховного Совета СССР Надежде Тимофеевне Смолиной.

Был это «голубой (местный) огонек». Столики стояли с бутылками боржома и лимонада, и ведущие очень весело расхаживали между столиков, приглашая к разговору избранных людей, а люди эти, выбранные, вели себя скромно, и неловко им было пить боржом, кофе и что-то говорить развеселым голосом.

— Итак, Надя, вы наша гостя, — сказала дикторша телевидения, присев к Наде за столик. — Что бы вы хотели сказать вашим избирателям, вы, самый молодой наш депутат?

— В Первомайском районе, — сказала Надя, — вы, наверно, знаете, где это, есть свалка, общегородская.

Дикторша, сидевшая рядом, попыталась переменить тему, но Надя взяла ее за руку и продолжала говорить — прямо в камеру.

— Как тебя зовут, девушка? — это она у дикторши спросила.

— Светлана Бодрова, — сказала дикторша.

— Ты где живешь? — спросила Надя.

— На проспекте Коммунаров, — ответила дикторша.

— Значит, тебе, Света, повезло, — сказала Надя.

— Вот, — сказала дикторша, — сейчас сплет наш московский гость...

Камера двинулась к московскому гостю, который был уже готов запеть, и микрофон держал в руке.

— Песня про Волгу, — объявила дикторша. — Волга — это колыбель...

— Надя пошла вслед за ней, забрала микрофон у певца, и пошла на камеру.

— Песни мы споем потом, — сказала Надя. — После, товарищи. Я тут впервые, на «голубом огоньке», и тут веселья мало, конечно, но раз уж я пришла, и меня позвали, то я не кофе пить тут буду и песни слушать — это после, я по другому поводу. Вы меня выдвинули в депутаты, спасибо вам, — Надя поклонилась. — Вы эту камеру, — это к телевизионщикам, — вы ее поближе, а то, я знаю, плохо слышно будет... Вот, товарищи, я коротко скажу. В Первомайском районе свалка, на весь город позор. Туда все, извиняюсь за выражение, дерьмо свозят. А завод по переработке всего этого — через четыре года предполагают строить! Понимаете! Четыре года! За эти четыре года чего только там не случится! Я уже не говорю, что дети там. Так вот, товарищи, я вас призываю, через телевизор, в субботу, то есть завтра, всем туда прийти кто с чем и уничтожить все это, всю эту свалку, извиняюсь, дерьма. Лучшее всего, с утра. Я там буду, товарищи. И жду всех. Спасибо, как говорится за внимание...

Тут камеру отвели быстро в сторону, но Наде это было уже безразлично. Камера поехала к певцу, который уже очень нервничал, но собрался и запел:

Я люблю тебя, жизнь,
Что само по себе и не ново,
Я люблю тебя, жизнь,
Я люблю тебя снова и снова...

...Надя шла по коридору студии, бесконечно длинному, а за ней бежала ассистентка. Бежала, что-то говорила, но Надя ее не слушала.

Ночевала Надя у Лизы. Дома ее не было. Надя легла на диван, накрылась пальто, свет не зажигала. Лежала, ждала. Тихо было в доме. Клава ее больше не беспокоила и даже с чаем не обращалась. Лежала Надя, слушала, как трамваи за окнами гремят, как кто-то на мотоцикле пронесся без глушителя — шум на всю улицу Гагарина.

Спать, надо спать.

И тут пришла Лиза, дверь открыла своим ключом, вошла тихо.

Надя и не встала, а только посмотрела на нее, с дивана.

И Лиза не подошла, а в дверях осталась.

— Есть хочешь? — спросила Надя. — Там, на кухне, я тебе тарелкой накрыла. Рыба

жареная...

— Рыба жареная...— повторила Лиза.

— Ну, какая есть,— сказала Надя.— Ложись спать.

— Нет уж, нет,— сказала Лиза.— Вы эту рыбу сами кушайте, на здоровье. Я вас ненавижу, ясно? Вот, шла по дороге и решила на огонек зайти... И сказать: ненавижу вас я.

— Но темно же тут, Лиза, и никаких огоньков нет.— Надя не приподнималась с подушки.— Сядь, не уходи... Тоска у меня что-то...

— Так вам и надо,— сказала Лиза.— Там вам и надо...

— Я дома уже неделю не была,— сказала Надя.— Как там и что...

— Я вас по телевизору смотрела, очень красиво выглядели,— сказала Лиза.

— Ты опять выпила? — спросила Надя.

— Конечно,— сказала Лиза.

— Ложись спать, я тебе постелила,— сказала Надя.— Там и простыни я купила, и наволочка чистая, ложись, спи...

— Ох, какая добрая! Ох, какая заботливая! Наволочку купила, чистую!

Надя отвернулась к стене, накрылась с головой.

— Ненавижу! — сказала Лиза.— Ненавижу! За всё! За всё!

— Не ори.— Надя и не повернулась.— Ребятишек разбудишь. Ложись и спи. Тебе же лучше.

Лиза как была упала на раскладушку. Лицом вниз. Надя осторожно ее раздела, та не сопротивлялась, а только всхлипывала, и все теплое, что было в доме, Надя на Лизу положила, и чаю ей принесла, но та не стала чай пить, а уткнулась лицом в подушку.

А Надя, накинув одеяло, села рядом, а после и прилегла сбоку, и обняла ее осторожно — плечи у Лизы вздрагивали во сне, и лицо было беспомощное, детское.

А мотоцикл, тот самый, без глушителя, мчался по уже совсем пустым улицам.

Мотоциклист (это был Славка) шлем где-то забыл, оставил.

Неистово он мчался, взлетал на булыжные улицы, и машина его на дыбы становилась, как конь, и Славка укрощал ее, несся вдоль набережной, мимо Волги, темной, тихой, мимо гостиницы, стекляшки этой в двадцать этажей, а она вся еще была в огнях, и еще теплоход, последний, у пристани стоял, музыка оттуда неслась.

Отчаянный он был парень Славка. Вот так, наверно, чемпионаты мира выигрывают, но Славке соревноваться в эту ночь было не с кем. Вот если только с самим собой. Да с улицами, со спусками, подъемами, поворотами внезапными,— он и скорости не снижал, а

подхлестывал и подхлестывал себя, и коня своего с высоким, нестандартным рулем.

Костя открыл дверь на долгий звонок.

В дверях стоял Славка. Кожаная куртка на нем, старая, летческая — откуда они такие куртки достают?

— Заходи,— сказал Костя.

— Я ненадолго,— Славка вошел.— Поговорить надо.

— Проходи, только тихо...

Они вошли в комнату. Лампа у Кости горела, прикрытая платком. Книжки на столе. Тетрадки.

Дочь спала.

Славка осмотрелся, дальше порога не пошел.

— Ну, что ты?— спросил Костя.— Проходи.

— Пошли на кухню,— предложил Славка.— Я тут выпить принес... Ты не возражаешь? Поговорить надо, Костя, я серьезно... Ты же видишь — я ни в одном глазу...

— Пошли,— сказал Костя.

Он включил свет. Осторожно прикрыл дверь.

На кухне они уселись за стол, клеенкой покрытый. Славка поставил бутылку. Костя открыл холодильник.

— Смотри,— сказал он.— Все молочное. Ты двоюрод любишь?

— Мура все это...— Славка махнул рукой.— Что я, ужинать к тебе пришел?

— Вот, яблоки есть,— сказал Костя.— Сойдет? Колбаса.

— Да сядь ты...— горестно приказал Славка.— Ладно... Ну, яблоки. Какая разница...

Разлил сам, поровну. Выпили.

Славка начал без предисловий. Только яблоком хрустнул — вот так он мотоцикл мотал по городу, так и яблоком яростно хрустнул. Молча достал нож, положил его перед Костей:

— Вот, возьми, это я у Лизы... Ну, час назад...

Костя повертел нож в руке.

— Знакомая вещь...

— Да, Надя сама тогда вернула... Борьке Степанову... Набила морду и вернула... А Лизка у него отобрала, да он, дерьмо, сам ей сунул. стакан портвейна сначала, а после — и сунул... А она, дура, взяла...— Славка помолчал.— Костя, мотай отсюда... Забирай Надю, дочку — и... Плохо вам будет...

— Пугаешь?— спросил Костя.

— Нет.— Славка говорил серьезно.— Я не пугаю. Надька, она человек... Думаешь, я такой, не понимаю?... Я понимаю... Только плохо это кончится!

— Опять пугаешь,— Костя говорил спокойно.

— Костя... Ты что? Ты на самом деле ничего не понимаешь? Или прикидываешься? Ты что, с Луны? Даже Лизка, дура, могла ее сегодня ночью, сонную, прибить... За отца, так она считает... Лиза — что! А эта вся рваный.. Да о чем мы говорим! Она жена твоя, а ты книжки под абажуром читаешь!
— Пугаешь, Славка,— сказал Костя.— Пустой номер.

— Нет, не тот у нас получается разговор, Костя! Я ведь Лизу люблю... Тебе это могу сказать, никому не говорил — ей не говорил... Ну, дело ночное, можно... Надька твоя думает, Лизе легче, если она с ней. На завод чуть ли не за ручку водит. Кормит. Книжки приносит интересные... Очень интересные книжки. А зачем? Кому это нужно — она спросила? Она, конечно, идейная, и все такое. А тебе от ее идейности хорошо? Ленке вашей хорошо? Ну, и черт с ней! Пусть живет как хочет! Самоед она, твоя Надька! Женюсь на Лизе, и все, и крышка! Но — опять твоя Надька! Что ей надо? Ну что? Как забор. Никого к Лизе не подпускает. Какая-то монополия, что ли! Меня, понимаешь — меня! — через милицию от Лизы отвела! — Славка говорил без истерики, ясно.— Ну что — милиция разбирается, кто кому нужен? При чем тут милиция-полиция? Я ее люблю, я все для нее сделаю, а она у Надьки как поднадзорная!

Славка выпил.

— Вот Надька говорит, что людей любит... А она не людей любит, а себя! Ей так удобнее, выгодней — смотри, какая я хорошая, а какие вы все подонки...

Славка говорил громко, забыл про девочку, за стеной спящую, забыл, а девочка проснулась и заплакала.

— Ты погоди,— сказал Костя и встал.— Погоди. Я сейчас.

Вскоре он вышел на кухню с девочкой, завернутой в одеяло. Ноги босые у девочки торчали, она хныкала.

Славка сидел молча.

Костя ходил по кухне, укачивал. Но девочка все хныкала и, судя по всему, намеревалась и зареветь — всерьез.

— Может, ей на горшок надо? — предложил Славка с ясностью выпившего человека.— Чего ты ее качаешь? Где горшок?

— Под кроватью,— сказал Костя.— Давай...

Славка вынес горшок.

Они посадили девочку на него.

А сами к столу.

Девочка со сна, спросонья, смотрела на отца и незнакомого дядю, принесшего горшок и так неловко ее на горшок посадившего.

— На Надьку похожа,— сказал Славка.— Принцесса на горшке. Сейчас бы сфотогра-

фировать, на память... У тебя аппарата нет?

— Да снимал я ее на горшке,— сказал Костя.— Целая серия есть.

— А хорошо ей сейчас,— сказал Славка.— Горшок, что ли, мне купить? Все радость...

Так они посидели недолго.

Лена на горшке, а ребята за столом, и Лене явно все это нравилось — сидеть среди ночи рядом с папой и не спать... И мало ли что вертелось у нее в голове, это все тайна.

А пока что Костя снял ее с эмалированного трона и в комнату унес...

...А когда он вернулся на кухню, Славки там не было.

Стояла недопитая бутылка. Нож лежал, тот самый, с ореховой ручкой.

А через какое-то, очень недолгое время, взревел мотоцикл, без глушителя, и умчался в ночь.

И в мае бывают пасмурные дни, предгрозовые.

Небо еле раздвинулось, еле что-то пропустилось сквозь облака, летящие низко.

Утром — а было часов шесть, не больше — свалка эта знаменитая смотрелась не так уж и страшно. Фантастика, конечно, но при определенном освещении вся эта огромная, совершенно нереальная гора отбросов, ржавых листов железа, обломков чего-то, листов бумаги, которые тихо-тихо взлетали, кружась, под утренним ветерком, опалили, и еще какие-то ящики, доски, банки, битые бутылки, тряпье — все это смахивало даже на какое-то нелепое, но произведение искусства. На любителя, конечно.

Но близко к этому произведению подойти было никак нельзя. В противогазе — можно. А так — нет.

И все же рано утром стоял около этой горы один человек. Это Надя стояла.

Свалка не была чем-то единым. Это, скорее, был хребет, а не гора — пологий, упругий. Кое-где что-то выступало, вздымалось, дыбились, но при таком освещении, смутном еще, сумеречном, все сглаживалось, и очертания, если не вглядываться подробно, были без определенностей, без деталей...

Надя стояла напротив, в светлом плаще. Руки в карманы. Стояла, соображая.

Дома вокруг, невдалеке, и свет в окнах вспыхивает. Одно окно, другое.

Холодно было еще, рано, сыро.

И снова — рев мотоцикла. Славка, сделал круг, затормозил перед Надей.

Она не удивилась.

Славка был такой же замотанный, в грязи, и шлем он привез — для кого, пока что неизвестно.

— С добрым утром,— сказал Славка.— И с хорошим днем.

— Ну и грохот от тебя.— Надя обошла мотоцикл.— Красивый, красный...— Она ручки потрогала, нестандартные.— Научил бы как-нибудь, на досуге... С мотоциклом у меня не вышло... Это раз... Мечтала всю жизнь на планере полетать. Это два... Море ни разу не видела. Представляешь, какая жизнь?

— Да, уж чего хорошего...— сказал Славка.— А мотоцикл — это просто. Садись.

Славка ей показал, куда нажимать, шлем предложил, на Надя от шлема отказалась. И пронеслась вокруг этой горы, и ехала ничего, рулила.

Славка стоял, смотрел. Шлемом помахивал.

А Надя круг этот неровный завершала. Всё мимо летело, она и не оглядывалась — летит и летит.

После они присели на камнях.

Слава. Что ты собираешься с этим делать? (Он показал на свалку).

Надя. Не знаю.

Слава. Ты думаешь, кто-нибудь придет?

Надя. Придут. Ты же пришел.

Слава. Я — другое дело.

Надя. У всех свои дела. Но ты же пришел.

Слава. Чем я могу тебе помочь?

Надя. Да ничем... Пришел, и спасибо... На мотоцикле я покаталась... Славка, Славка... Ты Лизу береги. Вот и все.

Славка ничего не ответил. Он ходил около этой горы, примериваясь, приглядываясь.

Слава. Дело это безнадежное, Надя. Честно.

Надя. Как сказать. По-моему, да. Но переступить через безнадежность можно. И нужно.

Слава. Ты куда отсюда не уходи.

Надя. А я и не собираюсь. Я подожду, люди должны прийти.

Слава. И ты веришь. Веришь, что придут?

Надя. Ты пришел. Приехал, пригрохотал.

Слава. Не уходи отсюда никуда, я быстро. Он умчался, вздыбив своего красного коня, а Надя осталась одна. Отошла в сторону, присела на камень какой-то серый.

Облака, облака.

Но люди подходили. Не сразу, не вместе, поодиночке, и семьями тоже шли. Собирались люди молча.

Сколько их было, сюда пришедших?

Не подсчитать. Как сказал поэт: «Толпы лиц сшибают с ног». Вернее и не скажешь.

Шли люди и шли.

Они окружали постепенно эту гору, холмы эти. И милиция вскоре приехала, но поскольку все было тихо, то милиция не вмешивалась. Только к Наде подошли.

— Вам в обком к десяти утра надо прибыть,— сказал старший лейтенант.

— Не знаю,— сказала Надя.— Вряд ли я смогу. А вот вы, товарищ старший лейтенант, зря сюда приехали.

— Мне приказали, я приехал.

Люди шли и шли, присаживались, завтраки раскрывали — день был субботний, и транзисторы уже где-то играли, хотя было еще сравнительно рано, но и транзисторы, и гитары. И вокруг этой горы образовалось что-то вроде праздника, вроде поездки за город, пикника, если хотите. Общественное мероприятие, или — так уж получилось — повод, чтобы собраться вместе, и случай такой уж выпал — недалеко идти.

Всё разом.

— «Казачок, казачок... Казачок — казачок...» Та-ра, та-ра...

Надя шла между скатертями на субботней траве, на досках тоже что-то свалили, и транзисторы играли.

Хороши вечера на Оби,
Ты, мой миленький, мне подсоби,
Буду петь и тебя целовать,
Научи на гармошке играть...

Шла мимо. Ее узнавали. Тянули сидеть.

Соловьи, соловьи,
Не тревожьте солдат...

Шла, глаза чуть прикрыв, к дороге.

Все выше и выше, и выше
Стремим мы полет наших птиц...

Все сидели в некотором отдалении от горы, не приближаясь к ней. Пили. Закусывали.

Надя шла мимо всего этого.

Прошла и села на траву.

Музыка вокруг. Вроде бы и праздник.

А люди шли и шли. Садись, пили, пели, отдыхали, глядя на эту свалку.

Все было отдельно: свалка — и люди вокруг.

Надя сидела на траве. Ждала. Чего?

Уже танцы начались около свалки. Под транзисторы. Под гитары. Под хлоп-хлоп и хула-хуп.

Они приехали внезапно: Славка и Лиза. Мотоцикл резко остановился, прямо перед Надей.

— Дашь прокатиться? — сказала Надя, не вставая с травы.

— Только вместе,— сказал Славка.— Лиза, ты погуляй, у нас тут небольшие дела.

— Ладно,— сказала Лиза.— Я погуляю.

Лиза медленно шла среди людей, сидевших на траве, на досках, на газетах.

Транзисторы, стаканы, яблоки, огурцы. И вся команда отца ее покойного была здесь, и звали они ее, но Лиза шла мимо.

— Куда ты меня привез? — спросила Надя, когда Славка остановил мотоцикл на совершенно пустом шоссе, чистом, идеально вымытом дождем, в лужах еще, но сохнущем, с ясным обозначением бетонных плит.

— Надя,— сказал Славка.— Если дело безнадежное, то, как ты сама сказала, надежда всегда есть.

— Ты проще говори, обыкновенными словами,— сказала Надя.— В чем дело, Славка?

— Да все очень просто. Нам нужен бензовоз. Один, а лучше два. Вот по этой дороге они ходят. Вот здесь. Я знаю. По этому шоссе, ясно? Тебе, конечно, это не простят, а люди поймут.

— Ты точно знаешь, что они здесь ходят? Эти бензинные машины? — спросила Надя.

— Да, точно.

— Пусто вокруг,— сказала Надя.— Но это ничего. Я тебе верю, Славка. А что касается — поймут, простят — плевать. Честное слово, меня это совершенно не интересует. Кто чего боится, то с тем и случится, а ничего бояться не надо! Понял?

— Надя,— спросил Славка,— а зачем тебе все это?

Надя сразу не ответила.

День только начинался. Шоссе пустое, деревья, воздух, еще непонятный, легкий воздух — в мае такой бывает.

— А тебе зачем все это? — спросила Надя.— Зачем ты здесь сидишь?

— Не знаю,— сказал Славка.— Ничего я не знаю.— Он посмотрел на часы.— Вот у нас еще минут десять осталось — на все разговоры.

— Зачем ты Лизу привез? — спросила Надя.

— А куда ее девать? Ты же рано ушла, а она...

— Что она?

— Ну что? — сказал Славка.— Все обыкновенно. Яичницу ей сделал. Чай — ну что еще?

— Славка, ты не покидай ее,— сказала Надя.— Не надо ее покидать. Люби ее... Она не злая, это так... Не покидай, ладно? У меня программа очень простая: нет ничего вообще, а есть люди, живые, и, понимаешь, когда мне говорят — народ, я этого не понимаю.— Надя пошла по бетонке.— Слово какое — народ! А это все не так... Это только сволочи могут за именем этим прятаться! Народ — это ты, Лиза, понимаешь? Население. Вот так.

Они, Славка и Надя, легли на шоссе, на бетонку эту сохнущую. И Надя видела — вплотную, разглядывала подробно. — лужа, а в ней небо опрокинуто, небо это, поверхность эта, облака, а еще была шершавость под рукой бетонки, и гром машины приближался.

Шофер, ехавший на бензозаправщике, еще издали увидел два распластанных тела, но лежали они, как живые,— убитые так не лежат.

Один из лежавших даже присел. А девушка лежала, руки раскинув, и в небо смотрела.

Тормозить было надо, и парень этот затормозил.

— Выходи,— сказал Славка шоферу.

Надя стояла рядом.

— Нет,— сказал парень.— Нет.

Но из кабины он вышел, с этой ручкой, которой машину заводят,— тяжелая ручка.

— Я тебе ничего объяснить не стану. Времени нет,— сказала Надя.— А этой, не очень-то размахивай.

Но шофер, парень этот, пошел на них, и не размахивал он железкой, а держал ее твердо.

Надя стояла, смотрела, как он на нее идет.

Славка рванулся, сбил парня — железку бумерангом запустил.

Парень еще не успел прийти в себя. Он, как во сне, видел красный мотоцикл, свою машину, в которую садятся эти, что на дороге лежали, и машина его — рывком — исчезла.

Славка вел машину, Надя сидела рядом.

— Спасибо, Славка,— сказала Надя.

— Не за что! — весело ответил Славка.— Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново! Понимаешь? Я люблю тебя, жизнь — я люблю тебя снова и снова! Эх, Надька,— всё прекрасно!

Они подъехали прямо к свалке, вплотную. Там, у бензовоза, шланг есть. Надя взяла его и пошла на эту фантастическую гору.

Подъехали они внезапно, и никто ничего не мог понять — куда она идет, что за собою тянет и что за машина — вдруг.

Надя тянула за собой шланг, и бензин лился на все это — лился, но никто не понимал, что происходит, что сейчас произойдет.

Славка понимал.

Надя тянула шланг этот до самой вершины горы, падала, вставала — она уже сама вся мокрая, в бензине этом.

Вот теперь спички достать. Вот и все. Повезло — с первой спички все сразу

вспыхнуло.

Ярко, весело.

Надя стояла в огне.

Это недолго было, упала она, и к ней не так-то просто было прорваться — пламя охватило все, и те, кто бросился к ней — Славка, Лиза, какие-то незнакомые люди — не успели, не смогли.

...Надя падала, раскинув руки, падала сквозь редкие облака к земле, еще далекой, утренней, с голубыми, желтыми, светло-зелеными квадратами полей, рекой, сверкающим полукругом огибавшей город, еле видимый справа пестротой крыш, домами...

—...Надежда, я вернусь тогда,— говорила Надя, а не пела, приближаясь к земле,— когда трубач отбой сыграет, когда трубу к губам приблизит, и острый локоть ответит...

Это еще не падение — полет, когда тебя вращает, если захочешь, а не захочешь — ты свободно лежишь на плотной подушке воздуха, плоско лежишь, как на воде, и через воздух, как через воду, видишь, как внизу, в прозрачной глубине, проступают предметы, знакомые тебе, но пока что они так удалены, и приближение их едва заметно...

—...Надежда, я останусь цел, не для меня земля сырая, а для меня твои тревоги, и добрый мир твоих забот...

Полет пока что — игра с пространством захватывает, пока земля не напомнит о себе, надвинувшись резко.

—...Но если целый век пройдет, и ты надеяться устанешь, Надежда, если надо мною смерть развернет свои крыла, ты прикажи,

пускай тогда трубач израненный привстанет, чтобы последняя граната меня прикончить не смогла.

Лицо Нади скрыто за широкими очками. На голове — белый шлем. Полет ее направлен.

Вокруг нее разбросаны в небе такие же фигурки парашютисток, летящих к земле.

Плавные, еле заметные движения рук — и Надя уже скользит вправо, приближаясь к одной из парашютисток, тоже в белом шлеме, в ярко-синем комбинезоне, в тяжелых ботинках, так свободно и странно провисших в пустоте.

Маневр Нади понят и принят — и вот уже они летят рядом, вытянув руки, пальцами касаясь друг друга, сближаются шлемами, расходятся, продолжая полет, и соединяются снова, как бы приглашая всех остальных, летящих вблизи и в отдалении, собраться вместе.

...Но если вдруг,
Когда-нибудь,
Мне уберечься не удастся,
Какое б новое сраженьё
Ни покачнуло шар земной,
Я всё равно паду на той,
На той далекой, на Гражданской,
И комиссары в пыльных шлемах
Склонятся молча надо мной.

Это Надя договорила, приближаясь к земле.

Вскоре, образуя вытянутыми руками круг из белых, синих, оранжевых комбинезонов, они цветком зависают над землей, неясно проступающей сквозь редкие облака, еще далекой.

ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРЕЗ БЕЗНАДЕЖНОСТЬ

Из всех загадок, заданных внезапным, трагическим уходом Геннадия Шпаликова, загадка последнего сценария, законченного за несколько дней до смерти, казалась мне до поры не самой главной. Тринадцать лет назад я не понял, о чем этот крик. Мы вообще чаще всего умны поздним умом, и нужно немало собственных переживаний и дум, отчаяния и надежд, чтобы понять чужое отчаяние и надежду.

Прочитав тогда этот сценарий, я удивился, но не задумался. А удивляться было чему — так не похожа на то, что писал Шпаликов до этого, трагическая история Нади Смолиной, кандидата в депутаты Верховного Совета СССР.

Впрочем, удивление вызывало даже не высокое общественное положение героини или публицистичность темы. Парадоксальной выглядела странная измена принципам и формам исповедальной драматургии, едва ли не единственным приверженцем которой был тогда Шпаликов. Объективистская сущность кинодраматургии всегда находится в разладе с вечным стремлением художника выразить свою личность, свое сознание и подсознание, свое я. Чего только ни делал Шпаликов, чтобы преодолеть и победить этот разлад, как только ни экспериментировал в ущерб судьбе своих сценариев.

Поэзия, которой он был неизменно очарован, особенно в зрелые его годы, внесла в сферу драматургических, сюжетных трюизмов необычайную новизну и широту возможностей в плане свободного расположения образов и ощущений, свободного

парения индивидуальности. Важнее для него стало не высказаться, а выразиться. Потому так неожидан был этот сценарий с его четкой социальной задачей, определенной конструкцией, прямой, митинговой направленностью монологов.

Теперь-то — о поздний ум! — понимаю, что удивление во многом было предвзятым. Маска лирика, менестреля, мистификатора, которой Шпаликов в последнее время прикрывал свое погрустневшее и помудревшее лицо, не одного меня ввела в заблуждение. На самом деле он вовсе не был тогда так уж нечувствителен к «мировым» вопросам. Сценарий был неожидан, но совсем не случаен, скорее даже глубоко, драматически закономерен.

Путь к нему начинался как знамя опаленной и продырявленной в боях с тогдашним начальством, но все же полной социальной романтики «Заставой Ильича». Продолжался непоставленными «Летними каникулами» и «Днем обаятельного человека», в которых совершенно независимо от вампиловской «Утиной охоты», тоже открывался характер, реагирующий на двойственность времени раздвоением души. И, наконец, на этом пути возникает «Ты и я», где, пожалуй, впервые человек, воспитанный пятидесятью годами, в семидесятих подвергает себя самосуду за разочарование в целостности мира, за утрату веры и сил.

Однако только ли одного себя надо было судить — вот в чем вопрос. Волновал ли он Шпаликова в конце пути? Во всяком случае, думаю, в нем давно копилось недоумение. Для человека, влюбленного в республиканскую идею, конечно же, естественны, органичны и безусловны равенство, справедливость, правда. Но желаемое на его глазах слишком часто вступало в конфликт с действительным.

Семьдесят четвертый год на исходе. Середина, пик пресловутого двадцатилетия. Вопреки уму и сердцу преспокойно разрушается достигнутое — и духовное, и материальное. Вовсю копятя подпольные миллионы, хотя еще не все короли овощей и маек обзавелись «мерседесами» и не все имеют счастливую возможность на дому разглядывать по видео розовые заморские ляжки. Однако они не теряют надежды. Надежду теряем мы. Еще далеко до двадцать седьмого партсъезда. Еще тишь да гладь. И вдруг — недогнущей рукой Шпаликов в финале своего сценария зажигает городскую свалку, чтобы пламя, в котором добровольно сгорает его героиня, осветило все вокруг с безжалостной яркостью и чтобы на эту общую народную беду, на этот пожар совести со всех сторон сбегались потрясенные, прозревшие люди...

Но это я так понимаю и прочитываю финал сейчас. А тогда?

Шпаликов дописал сценарий и сдал его на машинку двадцать восьмого октября семьдесят четвертого года. В ночь с тридцать первого октября на первое ноября он ушел из жизни — добровольно, как и его героиня.

Стоп! Мне кажется, я держу в руке драгоценный ключ. Вставляю в замок, отпираю дверь в чужую судьбу... И застаю в смущении и тревоге. Потому что вижу на вершине свалки не девочку Надю, а друга своего — Гену Шпаликова. Миг остался, некогда думать и рассчитывать. Только бы успеть выкрикнуть, облить все бензином и поднести спичку. Сжечь, выжечь проклятое дерьмо. Привлечь внимание людей.

Примем этот как возможную версию, совместим героиню и автора. Сразу станет ясно, что этот сценарий, порой нарочито объективизирующий реальность, явление все той же субъективной, исповедальной драматургии. Однако это исповедальность особого, не келейного рода, когда уже не до изысков самовыражения, а лишь бы скорее, точнее, прямотушнее высказаться и все назвать своими именами. Но так же, как «душа человеческая есть нечто большее своего данного фактического состояния», так и эта горячая, личная исповедь значительно шире своего фактического содержания.

А содержание вообще довольно простое. Как Смолину Надю, токаря из волжского города, кандидатом в депутаты выдвинули и что из этого вышло. Нечто невероятное вышло, чего вроде в жизни и не бывает. А все потому, что повела себя Надя по совести и по своему крутому, искреннему, максималистскому характеру.

— Девочка Надя, — изумились тогда вокруг, — чего тебе надо? Чего тебе ЕЩЕ-ТО надо? Получила ведь уже сверх головы, успокойся, не рыпайся.

Не с таким ли вопросом действительность прежде обращалась и к самому Шпаликову? Чего тебе еще надо? Известности, славы, уважения, положения? Сейчас даже трудно представить, каким любимцем и фаворитом нашего кинематографа был этот сценарист с гитарой. Всемогущий Пырьев при битком набитом зале не на-

чинал просмотр лакомого иностранного фильма, пока не явится легкомысленно где-то задержавшийся Шпаликов. Все было, все. И от всего отказался. Или, может, это время, обернувшееся вдруг жестокой пародией на славные ожидания молодости, отказалось от него?

Да, достаточно загадок задано и временем, и жизнью, и смертью, и этим сценарием. Но в нем не разобраться толком, если не вспомнить, что кроме Нади Смолиной есть там еще один важный персонаж, стоящий, так сказать, на совсем другой ступеньке, на нижней. Это сорокалетний Леша, умный, тонкий, добрый, больше всего на свете любящий свою юную дочку, но — спившийся. От всего отказавшийся. Махнувший на все рукой. Или, как говорит Надя, поднявший лапки вверх.

Чувство недоумения, общественной неудовлетворенности, боли, протеста, тайно от нас жившее в Шпаликове — гражданине, он для последней своей работы словно выделил в некое беспримесное вещество. И из него создал свою неожиданную Надю. Кто она? Комиссар из «Оптимистической трагедии», комсомольская богиня, соратница Павла Корчагина? Осмелюсь предположить, что она вообще фигура скорее мифологическая, идея, а не тип. Скорее очень сильно желаемое, со Шпаликовским высоким талантом и с его обаятельным мастерством обмана почти неотличимо выданное за действительное.

А вот несчастный Леша, в тягостном полубреду абстиненции сизанувший из окна, пока в дверь ломились вызванные Надей санитары, он, этот вечный российский Леша — чистый реализм. Причем именно тот реализм, без которого Надя, а вместе с ней и весь сценарий, возможно, так и остались бы мифом. Леша уравнивает, заземляет Надю. Чрезвычайно на первый взгляд далекие друг от друга в нравственно-идеологическом смысле, они тем не менее составляют конструктивное единство. Одно целое. Но с внутренним диалектическим противоборством силы и слабости, надежды и отчаяния, экстремизма и примиренчества. Это целое и есть выраженное в двух противоположных ипостасях сложное и трагическое авторское я. Недаром Леша и Надя даже сходством конца объединены. Только он кончает как Актер из ночлежки, а она — как Данко из сказки...

Итак, двадцать восьмого октября семьдесят четвертого года Шпаликов завершает последний сценарий, который прочтут только теперь, когда автора уже не будет. Сценарий поставлен не был. И понят не был. Даже не как художественное произведение, а как документ, свидетельствующий о мучительной попытке одного из лучших сыновей времени постигнуть реальную действительность, объяснить ее себе самому, чтобы сойтись с ней вновь или же расстаться навсегда. Как Актер? Как Данко?

Ну, а был бы понят этот сценарий, думаю я, и что тогда? И тут, как мне кажется, делаю еще один запоздалый шаг к возможной истине. Что, если это не только призыв к сохранению ценностей нашей жизни и к уничтожению всяческого окаменевшего дерьма? Что, если это еще и предчувствие, предсказание? Или нет, бесповоротное решение? Или, наоборот, крик о помощи?

Каждый человек уносит с собой одному ему известную тайну существования. Повидимому, и эта загадка так и останется загадкой. Но, как написано у Шпаликова: «Переступить через безнадежность можно». Только не будем больше крепки поздним умом. Будем как никогда понятливы и внимательны к тому, что есть. И чаще станем оглядываться туда, откуда неопалимыми маяками светят для нас судьбы наших современников.

Павел Финн

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ
«КИНОСЦЕНАРИИ»
ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО,
ЧЕТЫРЕ РАЗА В ГОД.**

Альманах публикует литературные сценарии полнометражных художественных фильмов до выхода этих фильмов на экраны страны, а также сценарии короткометражных и мультипликационных лент и сюжеты Всесоюзного сатирического киножурнала «Фитиль».

Цена каждого номера альманаха 1 руб. 20 коп.

Подписку на альманах «Киносценарии» можно оформить во всех отделениях связи. Стоимость годовой подписки 4 руб. 80 коп. Стоимость полугодовой подписки 2 руб. 40 коп.

1р.20к.
70434

КИНОСЦЕНАРИИ

1987

3